

Екатерина Казакова,  
Алена Харитоновна

# Пленники Раздора



## Annotation

Нет ничего общего между человеком и нелюдью. Только многовековая ненависть, только обоюдная жажда крови, доставшаяся в наследство. Нет ничего общего между человеком и зверем. Только безудержная жажда мести, только желание истребить друг друга, живущее в сердцах. Но много общего между человеком и человеком. Потому что только любовь и сострадание способны утолить боль и излечить раны тех, кто привык жить в плену нескончаемого раздора.

---

---

**Екатерина Казакова,  
Алена Харитонова  
Пленники Раздора**

**Авторская редакция.**

Темнота была непроницаема. Он сперва даже решил, будто ослеп. Нос ему, по всему судя, опять сломали. Дышать приходилось ртом, как собаке. В висках гулко тукала кровь. Хотелось пить.

Фебр с трудом поднял тяжелую голову, надеясь всё-таки разглядеть, где очутился, но в крошечном мраке по-прежнему ничего не увидел. Попытался шевельнуться, не смог. Только понял, что подвешен, словно шкура на распялках — руки разведены в стороны и крепко стянуты веревками — ни опустить, ни свести вместе. Пошевелился. Ноги тоже связаны. И отзываются глухой болью. Сколько он корчился тут, обвиснув в путах? Судя по тому, как затекли плечи и спина — долго. Пленник завозился, пытаясь подняться с колен, но туго натянутые верёвки держали крепко — не встанешь.

— Плохо тебе? — вдруг спросила темнота женским голосом.

Обережник промолчал.

— Стони, если больно. Зачем терпеть? Всё равно никто не услышит.

Сквозь узкие щёлочки заплывших глаз ратоборец разглядел смутные очертания женщины и хищную переливчатую зелень звериного взгляда. В груди Фебра жарко полыхнуло, Дар рванулся было прочь, но жесткий кулак волколачки врезался в живот. Мужчина задохнулся и скорчился, насколько позволяли путы.

А через миг на голову узника обрушился ледяной водопад.

Вода текла по лицу, капли щедро сыпались с волос. Фебр, наконец-то, сумел сделать судорожный вдох. Он жадно облизывал разбитые губы. Хотелось наклонить голову и высосать из набрякшего ворота влагу, чтобы заглушить горько-соленый привкус во рту. Гордость не позволила.

— Больше воды не будет. Долго, — насмешливо сказала Ходящая.

Он не вслушивался в её слова. Куда насущнее и страшнее оказалось осознание того, что всё произошедшее не сон, не горячечный бред. На него не просто напали. Его пленили. Как такое возможно? От бессильной ярости шумело в ушах, а ещё — отголосок последней схватки — кружилась голова, да вскидывалась из желудка к горлу вязкая волна тошноты.

Волколачка подошла близко-близко и с усмешкой спросила:

— Плохо быть беспомощным, верно?

Ответом ей снова была тишина.

Скрипнула дверь. В узилище вошли.

Фебр по-прежнему различал во мраке лишь силуэты. Пятеро.

— Что, Охотник, — обратился к пленнику один из вошедших, — опамятовался никак?

Голос был молодой, спокойный. Не звучало в нём ни безумия, ни ненависти. Будто человек говорил.

Ратоборец молчал. Он не понимал, как дикие твари могут вести себя, словно люди? Подкараулили в лесу, ладно. Но почему не загрызли? Не сожрали почему? Зачем привязали?

Оборотень тем временем сказал:

— Я хочу знать, сколько вас. Особенно, тех, кто носит чёрное.

Вон оно что!

Удивительно, но молчание узника не разозлило Ходящего.

— Я и не тешился надеждами... — вздохнул волколак. — Тот, здоровый, из Суйлеша —

тоже все молчал.

Фебр вскинулся, пристально глядя в темноту. Из Суйлеша? Неужто Милад? Его туда отправили, да. Но Суйлеш далеко... Что это за стая, которая охотится на столько вёрст окрест? И почему эти шестеро не ярятся? Кровью ведь пахнет, а у волков нюх острее собачьего, отчего не бросаются?

— Чего молчишь-то? От страха онемел? — усмехнулся оборотень.

Пленник смотрел на него и безмолвствовал.

Та, с зелёными глазами, глядела из-за спины вожака и дышала тяжело. Ей самообладание давалось непросто.

— Не хочешь говорить? — вздохнул Ходящий. — Вот хлопот с вами... ну да ладно. Отвязывайте.

Двое волколаков начали сноровисто распутывать веревки.

Когда те ослабли, ратоборец рухнул на каменный пол. По спине и плечам горячими валунами перекатывалась боль, тьма перед глазами раскачивалась... Он всё-таки попытался собрать Силу в кулак. Впусте. Закостеневшее тело не подчинилось. Ходящие пересмеивались.

Мысль о том, что звероподобные твари каким-то образом научились ловить и мучить Осенённых, подстегнула, разозлила... Но, когда Дар уже готов был вспыхнуть, согревая кончики ледяных пальцев, на ратоборца словно обрушился могучий кулак. Чужая Сила вдавила в холодный пол, грозя размазать по камню. Пленник глухо застонал.

— Жизнь — есть мучения, — назидательно сказал оборотень, у ног которого скорчился обережник.

Фебр про себя от души согласился, тем более что удар по ребрам как нельзя более подтвердил слова волколака. Тьма вокруг расцвела маками.

Чуть поодаль глухо заворчал зверь. Узника обожгло горячее дыхание хищника, в лицо ударил запах псины.

Темнота скалилась и сверкала глазами. Темнота собиралась броситься...

Человеку позволили подняться на ноги, опираясь плечом о неровную стену. Позволили оглядеться. Позволили руке привычно метнуться к поясу, на котором прежде всегда висел нож. Позволили понять, что ни пояса, ни оружия на нём больше нет. Позволили даже горько усмехнуться собственной глупости.

А потом темнота прыгнула. Навалилась. Сомкнула тяжёлые челюсти и захлебнулась рычанием.

Кровавый клубок, в котором человека уже было не разглядеть среди хищников, покатился по полу.

Пленника грызли, трепля, словно старую тряпку.

И та, с зелёными глазами, тоже.

Студеный ветер ударял в спину, подталкивал. Клёна брела, держась за руку отчима. Через рыхлые, сыпучие сугробы идти было тяжело. И с каждым шагом боль в груди разрасталась, становилась все сильнее, а дыханье перехватывало. Слезы на щеках индевели, ресницы смерзались.

Мороз стоял трескучий. Но девушке было душно и жарко. Хотелось распахнуть уютный полушубок, отдаться на волю ледяющему ветру, чтобы выстудил пекущую боль. Однако вместо этого она лишь сильнее сжимала ладонь Клесха.

Буевище находилось в стороне от Цитадели. Чреда едва приметных под снегом холмиков. Много их. А один, с краю — самый свежий. На нём белое покрывало тоньше, чем на прочих, ведь последние несколько седмиц мело не так уж сильно...

Клёна отпустила руку отчима, обогнала его на несколько шагов и почти бегом устремилась вперед. Однако ноги изменили ей, подломились, и девушка упала в сугроб.

Обережник подошел и стал рядом. Падчерица скорчилась у могилы, закрыв лицо руками. Плечи мелко дрожали.

— Поднимись, застудишься, — сказал он то, что непременно сказала бы Дарина, останься она жива.

Помотала головой. Не встанет. Клесх опустил рядом на колени. Мелькнула мысль: они двое, словно кающиеся грешники, которые вымаливают прощение. Он — за то, что не оказался рядом, она — за то, что мать умерла с горьким осознанием невосполнимой потери.

— Доставай.

Девушка послушалась, отвязала от пояса холщовый мешочек, ослабила горловину и высыпала на холмик зерна пшеницы, что-то тихо-тихо шепча про себя. Сейчас она говорила всё то, что не успела сказать Дарине. Сбивчиво, давясь слезами, всхлипывая... Птицы склюют зерно и поднимутся в небо, туда, где в горних высях живут покинувшие землю души. Так слово дочери достигнет матери. Клесх мог бы тоже что-то сказать. Но, как всегда, не знал что. Да и следовало ли жалобами и просьбами о прощении тревожить тех, кто, наконец-то, обрел мир?

Он врал сам себе. Он молчал не потому, что не хотел нарушить покой жены. Нет. Он молчал, так как боялся. Боялся, что она его не услышит. Потому что в небе — только солнце, луна, облака и звезды. А больше ничего нет. И даже радуга — не сверкающий мост, по которому живые могут, если повезет, попасть к ушедшим и вернуться обратно. Радуга... это просто радуга. Разноцветная дуга в небе.

— Не плачь, — застывшая узкая ладонь легла на плечо мужчине.

Крефф покачал головой.

— Я не плачу.

Падчерица пытливо заглянула в застывшее лицо отчима. Глаза у него были сухие. А взгляд отрешенный.

— Я слышу, — негромко сказала она. — Просто у тебя все не как у людей. Поэтому и слез нет.

Клесх медленно повернулся. Как сильно она похожа на мать. Даже говорит её словами. «Все не как у людей...» Черная тоска снова стиснула горло. Обережник поднялся.

— Идём. Холодно.

Клёна вдруг порывисто обняла его и сказала:

— Ты прости меня! Прости меня за всё! Я... я просто глупая! — из её глаз текли и текли слезы.

Часто она теперь плачет. Почти постоянно. Как приехала накануне, так и заливается. А раньше ведь было слезинки не выжать. Гордая.

— Хорошо, что ты это понимаешь, — сказал он.

Девушка отпрянула, испугавшись, а потом посмотрела внимательнее в его лицо и улыбнулась. На ресницах поблескивали льдинки. Клесх обнял падчерицу. Он опять не знал, что сказать. Поэтому просто сжал в объятиях и сразу же отпустил. Да ещё повторил:

— Идем.

Они отправились обратно. Клёна ещё судорожно всхлипывала, вытирала ладонями замёрзшее лицо, а отчим размышлял, как с ней быть? Девка на выданье, красы такой, что поглядишь — глаза сломаешь. А в Цитадели одни парни. Ну, к чему ей с будущим обережником миловаться? Материну судьбу повторять? И не отошлешь ведь, некуда, да и опасно...

Клесх смотрел на падчерицу, гадая — как отцы управляют с дочерьми? Что с ними делать? Как уму-разуму наставлять, да и можно ли? Ты ей про здравый смысл, про то, что не всякому верить можно, а она глазищами хлоп-хлоп и слезы сыплются...

И ещё, поверх всех этих тяжких дум, не давала покоя другая мысль. Которая была много важнее мыслей о Клёне. Что делать с Беяном и Лютом? Что с ними, Встрешник поberi делать?

Белян сидел на топчане и мастерил из прелой соломы крошечных человечков. Такими он, как все деревенские ребята, играл в детстве. Глупость конечно, но больше ему тут нечем было заняться. Человечков набралось уже больше дюжины, он рассадил их вдоль стены.

Дважды в день юноше приносили еду. Утром миску каши, ломоть хлеба и ковшичек молока. Вечером — похлебку и сухарь. Да ещё кувшин воды — пей, сколько влезет. Но ни пить, ни есть не хотелось. Пленник то ходил из угла в угол, то возился на топчане, то вздыхал, то мастерил из соломы человечков, то снова ходил...

Волк, томившийся в соседней темнице, иногда выл. Он любил это делать, когда тишина становилась звенящей. Тогда Охотник, несущий стражу у входа в казематы, злобно рывкал на узника, а тот насмешливо отвечал:

— Не ори. Я проверяю. Вдруг спишь.

Белян же, в отличие от оборотня, старался вести себя тихо, быть учтивым и услужливым, чтобы к нему не относились, как к бешеному зверю. Увы, эти усилия его стражей не смягчили, напротив! Смирного угодливого пленника недолюбливали. Видать, решили, лицедействует, а сам держит зло за душой. Но он не держал. Просто хотел жить и боялся пыток.

На топчане в длинном рядке человечков появился ещё один, когда засов на двери темницы заскрежетал в пазах. Узник тут же вскочил на ноги. Время вечерней трапезы ещё не настало, значит...

— Выходи, — приказал стоящий в дверях статный парень.

Ходящий засуетился: пригладил волосы, одёрнул рубаху и шмыгнул к выходу.

— Эй, — Охотник постучал кулаком по двери соседнего каземата и посветил сквозь решетку внутрь.

Из каморки злобно рыкнул оборотень, которого яркое пламя ослепило, больно резанув по глазам.

— Не ори, — язвительно сказал ему человек. — Я проверяю. Вдруг спишь.

Белян прикусил щеку, чтобы не прыснуть со смеху. А волколак лязгнул зубами и... расхохотался:

— Не сплю. Если девку какую-нибудь мне приведешь испортить, так и вовсе скучать забуду.

— Скажи спасибо, что не оторвали ещё то, чем девок портят, — ответил страж и подтолкнул Беяна к выходу: — Иди, иди, чего встал?

Тот поспешно прибавил шаг.

Его вели туда же, куда и прошлый раз — в покои Охотника, которого здесь называли Главой. Юный пленник не помнил, чтобы кто-то прежде вселял в него столь дикий ужас. Глаза у мужчины были, как гвозди, смотрит на тебя и будто взглядом к стене приколачивает. Вот и нынче. Уставился, словно броситься хочет. У Ходящего даже колени ослабли. Захотелось плюхнуться на лавку и сжаться там в комок. Нельзя. Не разрешали. И он стоял, жалко сутулясь.

— Я хочу знать, где сейчас твоя стая и что там происходит.

Человек глядел пристально и зло. Не собирался жалеть. Не хотел сочувствовать.

— Я... — юноша закашлялся. — Я попробую.

Он зажмурился.

Клесх наблюдал. Лицо кровососа напряглось, по нему прошла едва заметная дрожь. Несколько мгновений пленник молчал, а потом открыл глаза и сказал:

— Они в Лебяжьих переходах.

— И что там?

Ходящий перемялся с ноги на ногу и виновато сказал:

— Не знаю. Просто они там. И всё.

Ему показалось, будто глаза того, кого называли Главой, потемнели.

— Сколько их? — негромко спросил мужчина.

— Не знаю, — Белян развел дрожащими руками, — не знаю, господин. Я могу видеть очень мало. Очень. Больше может рассказать только тот, кто там был, а я... вижу урывками. Защита вокруг этого места сильна. Она не дает дотянуться.

— Уведи его в мертвецкую и упокой, — равнодушно сказал Глава кому-то, кого пленник до этой поры не заметил — сидящей в дальнем углу женщине в сером одеянии.

Незнакомка легко поднялась на ноги.

— Топай, — она толкнула Ходящего в плечо. — Живее, ну.

Белян вцепился в запястье той, которой предстояло исполнить страшный приговор:

— Госпожа, не надо! Не надо! Умоляю! — он бухнулся в ноги женщине, даже не заметив того, что расшиб колени о каменный пол. — Не надо! Простите! Я, не лгу, я, правда, не могу! Не надо!

Бьерга застыла, потому что визжащий в отчаянье кровосос обхватил её колени и уткнулся в них носом. Колдунья перевела растерянный взгляд на Клесха. Лицо того по-прежнему было каменным.

— Не ори, — обережница дернула паренька за волосы. — Вставай!

— Нет, нет, нет!!! — он так крепко обхватил её ноги, что женщина покачнулась.

— А ну хватит! — Клесх грохнул ладонью по столу, так, что лежащие на нём берестяные грамотки подпрыгнули.

Белян скорчился на полу, подвывая:

— Я всё сделаю, всё...

— Ты бесполезен.

— Нет! Я... я могу позвать того, кто всё знает! Я могу позвать!

Глава поднялся на ноги и шагнул к пленнику:

— Ишь ты...

— Я... я позову своего вожака. Он знает... Только не убивайте!!!

Колдунья передернулось от жалости и отвращения. Белян решил, она его сейчас ударит, но вместо этого женщина больно схватила полонянина за ухо. Несчастный заскулил. По лицу покатались слезы.

— Вот же, теля глупое, — покачала головой обережница, — и как тебя угораздило-то таким стать, а?

Он плакал, размазывая слёзы по щекам.

— Зови.

— Нынче? — голос пленника был сиплым.

— Нынче.

Он снова зажмурился и стоял так на коленях едва не четверть оборота. Из-под ресниц

катились слезы. Быстрее, быстрее, быстрее...

— Не слышит. Он меня не слышит, — в глазах Беяна уже не было страха, только глухое смирение. — Я не могу... Оградительная черта на совесть сделана. Не получается.

Клесх и Бьерга переглянулись.

— В мертвецкую, — только и сказал Глава.

Плечи приговоренного окаменели.

— Я не виноват, — шептал юноша. — Не виноват.

Как они не понимают? Что он сделает, если защита Переходов так сильна? Столько Осенённых в одном месте! Взять хоть Цитадель, тут тоже Сила потоками льется на протяжении веков. Так ведь и в Переходах Дар тратят не менее щедро.

Беян стоял, опустив голову, а Клесх наблюдал за пленником — спина сгорблена, в лице ни кровинки, губы перекошены от едва сдерживаемого рыдания, слёзы падают и падают. Не врет.

Убить его?

Не так уж много у них Ходящих в казематах, чтобы раскидываться. А этот к тому же Осенённый, мало того, Дар видит, да и согласен на всё, до того боится боли и смерти. Жизни его лишать глупо. Знай себе, пугай. Но дашь слабинку, поймет, что угрозы Главы пустые, что грош им цена, тогда уж не жди пользы.

— Хватит рыдать, — оборвал тихие всхлипывания Клесх. — Какой от тебя толк?

Пленник вскинулся и в отчаянье выкрикнул:

— Я знаю ещё одного Осенённого! Он рассказывал нашему вожаку про Переходы. Я... я попытаюсь... может услышу его... Он вряд ли мне отзовется, нас не связывает кровь, он меня не кормил, но он кормил того, кто... кто сделал меня таким. Я попытаюсь.

Глава усмехнулся:

— Пытайся.

Беян снова закрыл глаза.

Женщина в сером одеянии села на лавку и неторопливо раскурила трубку. Юноша почувствовал запах дыма, вдруг ощутил, как болят разбитые колени, понял, что сильно устал и глубоко презирает самого себя, подумал о том, что если и сейчас ничего не получится, то эта самая женщина, годящаяся ему в матери, отведет его в подземелья, туда, где холодно и пахнет прелью, а там...

Он очень-очень старался. Но по лицу Главы так и не понял — доволен тот или по-прежнему считает его бесполезным.

— Свет ты мой ясный! — раздался звонкий голосок.

Донатосу сразу же захотелось вжать голову в плечи. А выученики, что были в покойницкой, побледнели, застыли и, кажется, перестали дышать.

— Чего тебе, Светла? — тяжело вздохнул колдун.

— Так поесть принесла, родненький, ты ж, вон, опять в трапезную не ходил, — зачастила девка и поставила на стол кособокую корзинку.

Крефф едва заметно повел бровями и выучей сдуло.

Подлетки колдуна блаженную любили от всей души, ибо с её появлением наставник почти всегда либо сам уходил, либо их отсылал — и то, и другое было великой благодатью. Поэтому парни дурёху пестовали и опекали. Пару дней назад и вовсе случилось в Цитадели неслыханное — вышли за конюшнями стенка на стенку выучи-одногодки. Колдуны сшиблись с ратоборцами. Хотя, какие там колдуны и ратоборцы? Смех один, едва по две весны отучиться успели. Но рожи поразбивали друг дружке знатно. А из-за кого? Из-за дуры скаженной, которой один из выучей Ольста отвесил напутственного пинка за то, что крутилась под ногами. Да ещё и подзатыльником наградил, покуда из сугроба поднималась, дескать, нечего тут мельтешить.

Донатос о том не знал. И не узнал бы, если б не побоище, из-за которого к нему прибежал один из старших — Годай — и выпалил с порога:

— Наставник, щеглы там с Ольстовыми схлестнулись, зубы во все стороны летят! Я уж ихних и наших старших кликнул, чтобы разнимали, а креффа найти не могу. Они там за конюшнями сейчас поубивают друг друга.

У наузника глаза на лоб полезли. Отродясь не бывало такого, чтобы парни в Цитадели выходили друг против дружки, как в деревнях, на сшибку.

Когда оба наставника примчались с разных сторон крепости к месту побоища — один злой, как Встрешник, а второй растерянный, и оттого ещё сильнее хромающий — снег за конюшнями был искапан кровью и изрыт, будто там носился табун. Старшие послушники уже раскидали дебоширов по разным углам двора, но двое все ещё пытались стащить одного из донатосовых подлетков — Зорана — с его супротивника, которого парень отчаянно вбивал в сугроб кулаками.

— А ну встал! — Донатос так рявкнул на выуча, что тот кубарем скатился с неприятеля, да ещё и отпрыгнул.

Краса-а-авец... губищи расквашены, волосы торчат, морда лоснится от пота, кожух распахнут, рубаха на груди разорвана, от разгоряченного тела валит пар.

Покуда наставники растащили полудурков, покуда выяснили у них, перелаивающихся и плюющих кровью, что к чему, во двор спустился Клесх. Оглядел место потасовки и спросил невозмутимо:

— Ну и кто кого?

Выучи притихли. Зоран рукавом вытер разбитый рот и ответил:

— Мы. Этих, — он небрежно кивнул на сгрудившихся вокруг Ольста ребят.

Глава окинул потрепанную рать задумчивым взглядом и сказал:

— Молодцы.

Те пристыженно поникли головами, а крефф их, напротив, вскинулся:

— Глава, они...

— Молодцы, — так же спокойно перебил его Клесх. — Хватило ума Дар в ход не пускать. А вы, — он перевел взгляд на понурившихся послушников Донатоса, — с какой цепи сорвались? Если б из них хоть один Даром врезал? О чем думали? Вас бы тут от стен отскребали.

Парни отводили глаза. Наконец, Зоран не выдержал:

— Так то — Даром. А без Дара, всё одно, мы их уделали!

Ольстовы ребята загудели и единой стеной подались вперед, тесня наставника:

— Вас больше пришло! А нас только семеро! — зло сказал тот, от которого еле оттащили Зорана.

— Кто мешал ещё привести? — тут же обернулся выуч колдуна. — Я что ли? Так и скажи, другие не пошли.

— А ну тихо, — Глава не возвысил голоса, но перебранка смолкла. — Разорались. И тех, и других высечь, а потом попарно сажать на ночь казематы караулить. Вот этих двоих — первыми, — он кивнул на Зорана и Ольстова парня, с которым тот перебрехивался. — В остальном наставники вас сами накажут, как нужным сочтут.

И он уже было отправился прочь, но у двери в крепость, обернулся:

— Так из-за чего разодрались-то?

Зоран, который, видимо, всех и взбаламутил, ответил:

— Ихний упырь Светлу пнул. Я сам видал.

— Что ж не вступился?

— Я вступился! Дак их семеро, сразу стеной встали, — враждебно ответил парень. — Вот и сказал, чтобы в полдень сюда приходили, коли смелые такие.

— А сам, значит, решил пол-Цитадели привести?

— Никого я не приводил, — буркнул выуч. — Сказал — зачем идём, все и пошли. За этими-то, вон, никто не увязался.

Клесх покачал головой и усмехнулся. Поглядел на Ольста, который от подступившего гнева стоял багровый, будто только из бани вышел.

— Ольст, я б их не столько за драку выдрал, сколько за то, что девку обидели, — признался Глава. — Драка что... коли сил много и девать их некуда.

Крефф ратоборцев от этих слов стал ещё пунцовее.

— Донатос, к парню этому присмотришь, — тем временем кивнул Клесх на Зорана. — И девку свою... запирай что ли.

Колдун сделался злее, чем был, а на Зорана метнул такой взгляд, что выуч сразу же слился с неровной крепостной стеной.

«Девку свою». Вот уж и, правда, ярмо. И Клесх от него избавлять не станет... Надо ему больно. Поди, потеха — глядеть, как полоумная к нелюдимому креффу льнет.

... — Сейчас — сейчас покушаешь, свет ты мой ясный, а то, вон, гляди, как с лица спал, одни глаза и остались...

Колдун очнулся от мрачных размышлений. Светла тем временем продолжала хлопотать — отодвинула на край стола пилы, ножи и крючья, прикрыла мертвое тело с развороченной грудиной рогожей, метнулась к рукомойнику сполоснуть руки. После расстелила на освободившемся месте тканку, водворила на неё миску, ложку, хлеб и закутанные в войлок горшки.

— Ты садись, ненаглядный мой, сейчас кашки откушаешь. Сама варила.

Донатос с безмолвным страданием во взгляде смотрел, как в стоящую перед ним миску юродивая наливает жидкую кашу. От увиденного обережника передернуло и он мученически простонал:

— Молочная?

— Так да, — развела руками скаженная. — Ты всё воду хлебаешь, а без молока как же? Матрела вот сказала, завтра петухов резать будут, так я тебе похлебки куриной сделаю. Ты клади, клади маслица-то, как же кашку, да без маслица.

В миску полетел ярко-желтый кусок масла.

Крефф смотрел на морщинистую молочную пенку и мечтал оказаться где-нибудь далеко-далеко — на буевище, среди мертвяков. Он даже готов был упокаивать навьих, но только не есть молочного. С детства терпеть не мог — ни томлёного молока, ни парного. Однако под взглядом широко распахнутых глаз, смотрящих со слепой любовью, колдун отважно зачерпнул ложку и, зажмурившись, пихнул её в рот.

— А на второе я тебе репы с потрошками заячьими принесла, ты кушай, кушай, миленький, у меня, вон, и кисель припасен...

От этих её слов колдун едва не выматерился.

— Славен, открывай! Ишь, заперся среди бела дня! Боишься, что украдут, что ли? Ясна есть кто живой?

— Иду! Иду! — донесся из-за тына женский голос. — Не слышала, кур кормила.

Створка ворот поползла в сторону, впуская гостей.

— Мира в пути, обережники, — хозяйка подворья, чуть посторонилась, пропуская вершников. — Случилось чего?

— Мира в дому, Ясна, — поприветствовал женщину ратоборец.

Он был молод, статен и хорош собой, однако русые волосы и бороду уже тронула седина. Следом въехал на гнедой лошадке колдун — темноволосый, но при этом с такими светлыми глазами, что они из-за смуглой кожи, темных бровей и ресниц казались незрячими бельмами. Сторожевики так и прозвали его промеж себя — Слеп, хотя в миру он был просто Велешом. Этих двоих на заимке видели часто и не раз они останавливались здесь на ночлег, а потому были свои, почти родные.

— Идите в дом скорее. Замерзли, поди, — торопила Ясна. — Метёт-то как! Случилось чего, что в непогоде такое по требам поехали?

Она обеспокоенно смотрела на путников.

— Случилось, — кивнул Велеш, спешиваясь. — Ходящие случились. Вот, в Верёшки ездили, на обратном пути решили к вам заглянуть, хоть обогреться.

Женщина покачала головой.

— Проходите, проходите. Сейчас на стол соберу.

— Славен-то дома? — спросил колдун, поглаживая коня. — Или опять по лесу бродит?

— Да что ты, какой лес! — замахала руками женщина. — Вон, в бане. С утра хлев чистил, теперь моется. Пока светло-то.

Обережник кивнул, неторопливо расседывая лошадь.

Проводив приезжих в дом и накрыв на стол, хозяйка отправилась кликать мужа и заканчивать свои хлопоты.

Когда, спустя четверть оборота, дверь в сенцах хлопнула и распаренный Славен появился на пороге, гости как раз заканчивали трапезу.

— Мира в дому, — кивнул ратоборец. — Как ты не утолщал ещё на эдаких шах, какие твоя Ясна готовит, а?

Славен улыбнулся. На вид ему можно было дать весен тридцать пять — лицо чистое, без морщин, светлые волосы, светлые брови, почти белые ресницы, а глаза темные, им бы с Велешом поменяться очами, вышло б в самый раз:

— Мира! Хороши щицы, Елец? — весело спросил хозяин у воя.

— А то! — расплылся тот в ответ. — А у меня Лада знатные блины печет.

Хозяин заимки хмыкнул. Обережник любил молодую жену, опекал, как ребенка, и, как ребенком любимым же, гордился.

Наконец, и колдун отложил ложку, сказал:

— Щи, блины... Сегодня нам и солома за радость была б. Как собаки бездомные — голодные, озябшие, никак не отогреемся.

Славен снова улыбнулся, забросил на печь тулуп, в котором пришел, и сказал:

— Вовремя приехали, вон, как выюжит. Сами-то в баню не хотите?

— Сил уже нет, — ответил ратоборец и добавил: — Славен, ты б дровишек принес, а то промерзли мы. До сих пор поколачивает...

Мужчина потянулся обратно за тулупом и проворчал:

— Так говорю ж, в баню идите. Но подтопить надо, что верно, то верно.

И он, набросив на плечи одёжу, направился к выходу, однако у самой двери замер с нелепо вытянутой вперед рукой. Будто на невидимую стену наткнулся.

Застыл.

Плечи напряглись.

А потом хозяин медленно повернулся к сидящим за столом гостям.

Колдун смотрел на него тяжелым взглядом и молчал. Ратоборец крутил в пальцах нож, словно девка веретено, и задумчиво глядел на тускло поблескивавший клинок, острый кончик которого упирался в лавку.

— Не получается? — сочувствующе спросил Елец, не поднимая впрочем глаз. — Не пускает? Велеш, если круг обережный чертит, ни одна тварь не переступит.

Наузник, сидящий напротив своего сотрапезника, продолжал неотрывно глядеть на Славена. Тот молчал. Окаменел и смотрел по-волчьи.

— Что глазами жжёшь? — снова спросил вой, не отрывая взора от ножа. — Схожу-ка я и, правда, в баню. Ясну встречу.

С этими словами он поднялся из-за стола. Хозяин дома от этого простого движения рванулся вперед — удержать. Но снова налетел на невидимую преграду и побелел, как береста.

— Хранителями молю, не тронь жену... — попросил он. — Человек она.

Обережники переглянулись.

— Не знает ничего, — торопливо продолжил Славен. — Дай ей спокойно в избу прийти, не пугай. Я всё, что хотите сделаю, только Ясну не обижайте.

Мольба в его осипшем голосе была столь сильна, а страх за жену столь непритворен, что Елец буркнул:

— Не обижу, ежели сама не кинется, — и вышел.

Мужчина проводил его встревоженным недоверчивым взглядом и вновь повернулся к колдуну:

— Велеш, вы же все тут бывали не по разу. Пушкину брали, ночевали. Зачем, как со скотиной со мной? Сейчас жена придет, пройдет через этот круг и не заметит, я тебя жизнью молю, выведи меня, будто в баню идем. Слово даю — убежать не стану. Только ей... не говори ничего, я с тобой, как человек всегда был, так и ты со мной тоже человеком останься.

Наузник некоторое время молчал, не отводя взгляда от собеседника, а потом медленно кивнул. Он и сам до конца не мог поверить, что Славен — Славен! — которого в сторожевой тройке почитали почти своим, оказался Ходящим. Это не вмещал ум, отторгала душа... И тяжело от нового знания было обоим — и человеку, сидящему за столом и тому, кто стоял напротив него, скованный силой обережного круга.

Мужчинам казалось, будто время остановилось. Ясна все не шла и не шла, не возвращался и Елец. Славен беспокойно поглядывал то на дверь, то на колдуна, светлые глаза которого и впрямь казались ему теперь слепыми.

А метель выла за окном, бросала в стены снегом...

Но, наконец, в сенях раздались шаги. Вошла румяная, укутанная в заячий полушубок

женщина. Из-под платка выбивалась ещё влажная прядь волос, круглое курносое лицо было румяным и счастливым.

— Никак отобедали? — улыбнулась она, отряхнула занесенную снегом одежду и прошла мимо мужа к вбитому в стену колышку. Повесила шубку, обернулась: — А ты что стоишь тут, как прибитый, а?

Славен бросил растерянный испуганный взгляд на Велеша, до последнего опасаясь, что колдун не смолчит. Но тот лишь пристально смотрел, как Ясна перешагнула невидимую, нацарапанную на половицах черту, переняла из рук у Ельца охапку дров и направилась к печи.

— У вас тут тихо, прямо как на пепелище. Или не поделили чего? — спрашивала женщина, разгребая кочергой головни. — Случилось что?

Она не подозревала плохого и говорила весело, потому что была уверена — ни с Велешем, ни с Ельцом её мужу делить нечего. И оттого вид мрачного, стоящего в дверях ратоборца, напряженного Славена и задумчивого колдуна, казался всё более и более неуместным.

— Выдумаешь тоже, — слегка осипшим голосом сказал Славен. — В баню мы собрались, потолковать надо. А ты отдыхай пока.

Ясна кивнула, не поворачиваясь:

— Ступайте, ступайте, холстины сухие из сундука возьми, не забудь.

Так обыденно женщина всё это говорила, что трём мужчинам, напряжённым, как перед смертельной схваткой, вновь стало не по себе. Первым из избы вышел Велеш, незаметно чиркнувший сапогом по половице и что-то пробормотавший, следом отправился хозяин заимки, а за ним уже потянулся Елец, словно невзначай положивший руку на пояс, поближе к ножу.

Прозрачные зимние сумерки встретили крепким морозцем и резким ветром. По сиреневой тропинке, расчищенной так, чтобы мог пройти лишь один человек, отправились к бане. Славен шел, с трудом переставляя ноги, будто схваченный параличом. Он и впрямь не пытался бежать. Его шатало. Но и сторожевикам, шедшим один впереди, другой следом — было по-своему тяжело свыкнуться с новой непривычной мыслью, что тот, с кем делили хлеб, в доме у кого находили приют и ласку — оказался тварью нечеловечьего племени. Возможно ли такое? И если возможно, то сколько их — живущих, как этот? На душе было муторно.

— Садись, — приказал Елец Славену, когда все трое вошли в предбанник. — Рассказывай.

— Что? — глухо спросил тот. — Что рассказывать?

— Как ты обжился тут, как девку себе взял, почему не сожрал её до сих пор? Или мы не ведаем чего? Может она тебе уже и детей наплодила? — ратоборец говорил, а самому делалось тошно от собственных злых слов, от того, как непотребно и не по-людски они звучали.

— Каких детей? — горько усмехнулся Славен, глядя на свои сцепленные в замок руки. — Не родится от мёртвого живое.

В его голосе звучала нескрываемая горечь.

Велеш закончил вязать узелки на тонкой веревочке и, не спрашивая позволения, вздел науз на шею тому, кого ещё вчера считал человеком, да что там — другом считал!

— Говори толком, как девку взял, как осел тут с ней, — приказал Елец. — Ну!

— Я её в лесу нашел, радость мою, — сказал Ходящий и взгляд тёмных глаз потеплел. — Заплутала. Дело к вечеру было. Повезло ей, что на меня набрела. Луна не подошла, и собой уже умел владеть. Увидела, глупая, обрадовалась, кинулась навстречу — всё не так боязно, как одной. Проводи, просит. Я проводил. Она в деревню зазывала переночевать, да куда мне — через Черту... Отнекался, соврал, мол, с обозом я осторожным, возвращаться, дескать, надо быстрее. А сам думаю: как так — не увижу её больше? И эдак сердце стиснуло, будто морозцем прихватило. Вроде не красавица, мимо пройдешь — не взглянешь, но вот понял — не смогу без неё. От стаи оторвался своей, от братьев. Сказал: остаюсь. У нас вожак сильный был, справедливый. Отпустил меня, понял — лихое дело дурака удерживать. До отхода помогли землянку устроить и частоколом обнести. Дальше, мол, сам. А что сам? Ну, на зверя стал охотиться. Ну, живу один. Месяц, другой... Кормиться к дальнему селу ходил. Сам понимаешь... А потом опять Хранители свели, снова набрел на неё — в брусничнике ползала. Увидела меня, глазки заблестели: «А я, — говорит, — знаю, что ты не к торговому обозу торопился. Заимка тут у тебя. Не страшно одному-то?» Все остальное уж сама выдумала, будто из рода извергся, будто к ней в село не пошел, оттого что бедности своей постыдился... «Мы ж, — говорит, — тоже перебиваемся». И правда, семья у неё оказалась небогатая, даже такому нищему жениху порадовались, только бы избавиться от лишнего рта. Пришлось сказать — в деревню свататься не пойду, мол, из почепских я, не принято у нас... Родители её и на это глаза закрыли, благословили среди леса, в приданое дали две рубахи да глиняный горшок. Вот и всё богатство. С той поры и живём. Лет уж пятнадцать как. Не бедствуем, видишь. Но она до сего дня уверена, что я с почепской придурью. Любит меня. Вот только детей нет... Жалко её. Как-то попросила, мол, может, сиротку какую возьмем в дом? Плохо ведь без ребятишек. Я ответил: или мои, или ничьи. Она и тут не осудила. Только мне каково жить с этим? То-то... Не говорите ей ничего. Не заслужила Ясна такого.

Мужчина замолчал, устремив остановившийся взгляд в пустоту.

Обрежники переглянулись.

— Завтра поутру едем в Цитадель, — сказал Елец, у которого по-прежнему духу не хватало увидеть в Славене лютого врага.

— А жену? Жену куда я дену? Тут ведь осторожной черты нет! — вскинулся мужчина. — Куда её?

Ратоборец ответил:

— С собой возьмём. Так что знай: измыслишь какую пакость, недолго твоя радость будет в неведении томиться.

Ходящий поднял глаза на сторожевика и сказал глухо:

— Зачем ты так, а?

Елец промолчал. Он и сам не знал — зачем. Оттого было ему ещё поганее, чем Славену.

На смену вчерашней метели пришёл погожий день — яркий, искрящийся, безветренный. Сугробы намело сыпучие, глубокие, но огромный лось легко тянул крепкие сани. В лесу было тихо и деревья под шапками снега стояли торжественные и тёмные. Красиво. Но Ясна, которая сидела в санях, едва не по самые глаза укутанная в меховое одеяло, еле сдерживала слезы. Она не понимала — куда и зачем они едут, отчего их, будто провинившихся, вырвали из дома, разом лишив всего, что было: покоя, уверенности, достатка, привычной жизни.

Пока рубили головы курам и резали кабана, женщине всё казалось, будто не с ней происходит, не на её подворье, потому что зачем обережникам, которые всегда были такими приветливыми и благодарными, лишать хозяев заимки всего немудрёного добра?

Но когда мужчины вошли в хлев и оттуда испуганно, тревожно замычала Ночка, Ясна зарылась лицом в тканки, устилающие лавку, и разрыдалась, как по живому человеку.

— Родная моя... — Славен зашел в избу, сел рядом с женой, обнял, притянул к себе, но она глухо плакала у него на груди, не желая успокаиваться. — Сама подумай, до Цитадели путь неблизкий, кто за скотиной ходить будет? А так... хоть мясо. Сама ведь понимаешь, ни сёстры, ни мать с отцом своё подворье ни кинут ради нашего, да и страшно им здесь одним в лесу-то. Это уж мы привыкли... А корова, ну что — корова? Другую купим...

Он гладил её по волосам, убаюкивая, но Ясна внезапно вырвалась, оттолкнула мужа и в глазах полыхнул гнев:

— Зачем мы им нужны? Чего приехали они? Не говорят, не объясняют! Что нам в той Цитадели? Почему ты их слушаешься?! — она говорила, захлебываясь слезами, но в этот миг от двери донесся спокойный голос:

— Не сердчай, хозяйюшка, иначе нельзя. — Велеш вырос на пороге беззвучно. — Нынче у Курихи разорили такую же вот заимку. Всю семью разорвали. А в Цитадели вам будет защита, сорока, вон, прилетела оттуда — просит Глава охотников к себе, народ прибывает, кормиться как-то надо, да и тебе дело найдут.

Его слова не вполне убедили женщину, но рыдать и причитать она перестала. Славен посмотрел на обережника с благодарностью. Однако взгляд колдуна был пустым и остановившимся, будто всё сказанное он произнёс через силу.

...А теперь вот Ясна сидела в санях, рядом покачивались обёрнутые в холстину кабаньи туши, связки забитых, но неоципанных кур и короб, в котором изрубленная на куски лежала Ночка. И уже не верилось, что ещё вчера хозяйка доила её, угощая подсоленной горбушкой.

Под полозьями скрипел и скрипел рыхлый снег. Бежали мимо деревья, мелькали кусты. Двоих обережников путники увидели выезжающими с большака: колдун и ратоборец в посеребрённых инеем полушубках.

— Наши, — сказал непонятно кому Елец и придержал своего жеребца.

Славен тоже натянул вожжи и лось остановился, подрагивая боками. Ясна испуганно посмотрела на незнакомцев. С недавних пор она вдруг стала бояться тех, кого раньше почитала, как защитников и кому верила безоглядно.

— Мира в пути, — сказал Велеш. — Эк, вы ловко обернулись, точно к условленному сроку.

— Мира, — ответил незнакомый Ясне вой. Голос у него был пересушенный, усталый. —

Как сказали, так и приехали.

— Лесана?! — колдун произнёс это недоверчиво и радостно.

— Я, Велеш, — грустно улыбнулась та, к кому он обращался.

Они съехались, похлопали друг друга по плечам.

— Чего мрачная такая? — спрашивал наузник. — Случилось что?

Девушка помотала в ответ головой. Видно было — не хочет говорить.

— Тамир, — сторожевик повернулся к её спутнику: — Ишь, отощал как...

Незнакомый Ясне обережник в ответ лишь пожал плечами:

— Не успеваю жиры копить... Этих, стало быть, в Цитадель-то? — он кивнул на сани.

Ясна растерянно поглядела на мужа, сидящего на облучке — лицо его было спокойно, словно ничего особенного не происходило, словно не о нём и жене сейчас говорили, как о скотине, которая ничего не слышит и не понимает.

Меж тем, колдун направил своего коня вперед, приблизился к Славену, наклонился и небрежно, не спрашивая позволения, отогнул ворот полушубка, протянул между пальцами шнурок висящего на шее оберега. Потом усмехнулся, выпрямился в седле и повернулся к Велешу:

— До Ирени вместе доедем?

— Вместе, — подал голос Елец, который со вчерашнего дня избегал глядеть Ясне в глаза, а отчего — она не могла понять. Стыдно ему, что с места их сорвал? Нет, не в том дело... Но какое-то неловкое отчуждение пролегло между двумя сторожевиками и обитателями лесной заимки. Будто рассорились из-за чего-то, а теперь всем стало совестно, потому и вести себя, как обычно, уже не получалось.

Хранители, да что же происходит?!

Но вот девушка, которую называли Лесаной, тронула пятками лошадку и приблизилась к саням.

— Вы уж простите его, — кивнула она на своего спутника. — Тамир иной раз про вежество забывает. Это он по привычке оберег проверил, надежно ли заговорен. Все-таки, не у каждого ладанка должным образом начитана, а дорога дальняя. Меня Лесаной зовут.

— Ясна.

— Славен, — в голосе мужчины слышалась благодарность.

Обережница улыбнулась.

— Дозволь и твой посмотрю, — кивнула она женщине.

Та поспешно пошарила под одеждой и вытянула теплый от касания с телом оберег. Лесана скользнула по нему пальцами, грустно улыбнулась, посмотрела на Славена и сказала:

— Дельно.

Лицо мужчины на миг словно окаменело, но обережница тут же продолжила:

— До Ирени вместе доедем, ну и оттуда мы с вами в Цитадель подадимся, а Велеш с Ельцом обратно в город.

Осенённые двинулись вперед. Ясна, нет-нет, бросала удивленные взгляды, то на оружную девушку, одетую в мужское платье, то на её спутника, то на мужа, который был задумчив и молчалив.

Ирени достигли ещё до наступления сумерек. Большая весь стояла на пересечении двух лесных дорог и жили здесь тем, что давали приют странникам. Перед воротами Велеш спешил. Ясна решила, будто он что-то обронил и теперь шарит над сугробами. Остальные терпеливо ждали, пока колдун не махнул рукой, призывая двигаться дальше. Сани

выкатились на широкую улицу, но Ясна краем глаза заметила, что Тамир отстал и въехал в ворота последним, перед тем тоже спешившись и пошарив в снегу.

А когда обережник нагнал спутников, женщина видела, что он перевязывает ладонь тряпицей.

Приезжих разместили в гостинном доме, выделив две комнатенки. Ясна-то, глупая, думала, их с мужем положат вместе. Куда там! С ней осталась обережница, а мужчины отправились ночевать в другой покойчик.

Устраиваясь на своей лавке, женщина с трудом сдерживала слезы. Тревога поселилась в сердце, тревога и страх. А от непонимания происходящего ещё и беспомощность.

— Ясна, — тихо вдруг позвала со своего места Лесана.

— А? — она постаралась, чтобы голос звучал спокойно, но вышло всё равно сдавленно, с отзвуком рыданий.

— Ты любишь мужа?

Чудной вопрос!

— Как же его не любить? — голос женщины дрогнул.

— Всякое бывает... — сказала задумчиво обережница.

— Бывает. Но меня за него силой не отдавали. Сама пошла. И с той поры дня не пожалела.

Девушка помолчала, а потом сказала:

— Редко так бывает. Иных счастье лишь поманит, а потом отвернется, — с этими словами она уткнулась лбом в сенник и больше не произнесла ни слова.

Ясна долго лежала без сна и глядела в потолок. От этого короткого разговора тревога лишь усилилась. Пойти бы к Славену, но разве сунешься в комнату, где мужики одни? Да уж и легли они, поди, спят. А в уме всё кружились, всё бередили душу слова обережницы. И отчего-то вдруг подумалось: Хранители пресветлые, только не насмехайтесь, только не отбирайте то единственное, что есть!

Славен сидел на лавке и зло глядел на стоящего напротив колдуна.

— Ты с цепи что ли сорвался? Зачем жену мою напугал? Что я вам сделал?

Тамир смерил его тяжелым взглядом и сказал:

— Рассказывай, как головы Осенённым дурил.

— Ты мне никто. И говорить я с тобой не стану. Везёте в Цитадель, так везите. Там и побеседуем. А Ясну ещё пугать вздумашь, зубы выбью, придётся по всему лесу собирать.

— Э-э-э... — между мужчинами вклинился Елец, разводя руки так, чтобы бранящиеся, буде приспичит, не могли друг до друга дотянуться. — Хватит, хватит. Славен, охолопись.

— И не подумаю, — Ходящий неотрывно смотрел на колдуна. — Я с вами добром пошёл, никому ничего плохого не делал. Если будете, как со скотиной со мной, не ждите добра. Я в холопы не отдавался и с грязью себя мешать не позволю.

— А ну как жене расскажем, каков ты есть, небось по-другому запоешь? — прищурился Тамир.

— Вы меня уж который день этим пугаете, я даже бояться перестал.

— Тамир, — негромко подал голос из своего угла Велеш. — Оставь его, правда, в покое. Вези в крепость, пусть Клесх и спрашивает. Главное-то уж понятно — обереги его — деревяшки простые, а обережная черта — без Дара нанесена, резы он на воротах сам рисовал, тем глаза и отвел. А мы и не вняли. Знамо дело — живет человек в лесу, значит защищён. Мы ж и знать не знали, что они днём ходят, да и притом... — он осекся, не желая продолжать, что не догадывался, будто ночные твари могут быть, как обычные люди.

Колдун скрипнул зубами, но от пленника отстал. Славен обвел троих мужчин мрачным взглядом и вдруг произнес:

— Вот потому Серый вас и жрёт.

— Чего сказал? — дёрнулся Елец.

Мужчина спокойно, с расстановкой повторил:

— Потому. Вас. Серый. И жрёт. Как вы во мне человека не видите, так и он в вас себе подобных. Мы для Цитадели — твари кровожадные. Вы для нас — еда. Только, вот ведь, как получается: в доме моём вы уют и ласку находили. Никого не тронул, хотя мог. И ног бы не унесли. Отчего ж вы теперь взъярились, едва узнали, какого я племени? Я-то в вас еду не видел. А вы во мне только зверину дикую зрите.

Обережники переглянулись. Ответил Велеш, как самый спокойный:

— Славен, тяжело нам это... — Он с трудом подбирал слова, но так и не придумал, что ещё добавить, лишь вымолвил через силу: — Прости.

Ходящий усмехнулся:

— Прощаю. Но последний раз прошу жену не пугать. Больше молить не стану.

Тамир глядел волком, но взгляд прозрачных глаз Велеша несколько охладил клокочущую в нём ненависть.

...Когда укладывались спать, Елец подвинул свою лавку так, чтобы стояла на входе, поперек двери. Славен на это только грустно усмехнулся. Тамир раздевался, зло дергая завязки на рукавах и вороте рубахи. Он никак не мог взять в толк, из-за чего вправду накинулся на мужика? Ну Ходящий, ну и что теперь? Вон, Лют, тоже Ходящий, да ещё из тех, кто людей жрал, не нежничал. Или, например, Белян, на которого и вовсе глядеть

противно. А тут — обычный мужик, так отчего?

Обережник пытался разобраться в себе, никак не понимая причин внезапной ненависти, а потом, когда уже улегся и около оборота повертелся с боку на бок, запоздало сообразил: Лесана. Вот, в ком дело... Она снова пожалела дикую тварь, он по глазам видел — пожалела. И это его злило. Зачем она их жалеет, как может? Он же заметил. Заметил, как последние дни ходила по Цитадели, будто мертвая. И глаза были опухшими от слез. Колдун все ещё помнил, каково это — терять. Пусть плохо, но помнил. И сочувствовал ей в душе. Потому что... ну что она в этой жизни видела, кроме боли и потерь? Но всё равно ничему не училась, всё равно всех жалела. Дура.

С этой мыслью он и уснул.

Назавтра, когда солнце перевалило за полдень, они добрались до Цитадели. Тамир был угрюм и вспыльчив, поэтому Лесана старалась с ним не разговаривать, всю дорогу беседовала с Ясной и Славеном, расспрашивала о том, как живет одним на заимке, не страшно ли, не лютуют ли волколаки? Колдун ехал рядом и молчал. Девушка гадала, чему он злится? Ответа не было.

— Ой, громадина-то! — ахнула Ясна, когда из-за деревьев появилась крепостная стена. — Ты погляди!

Она обернулась к мужу, но тот лишь кивнул и обеспокоенно посмотрел на Лесану. Обережница понимала, Славен особенно остро сейчас осознал, что скоро тяжелые ворота Цитадели захлопнутся у него за спиной и тогда путь назад окажется отрезан. Нет его и сейчас, но остается хотя бы вероятность умереть свободным. А что ждёт там, впереди?

— Не бойтесь, — сказала девушка спутникам. — Тут не обидят.

Славен глубоко вздохнул, стегнул лося, и сани покатались вперед.

Тамир ехал следом мрачный и оттого ещё более похожий на Донатоса, будто тот сам во плоти явился. Лесане сделалось досадно, и она больше не глядела в его сторону.

Двор крепости встретил прибывших многолюдством, гудел, как растревоженный улей — приехало сразу три обоза, купцы и странники гомонили, разбирая поклажу с саней.

— Эй! — Лесана махнула девушке из служек и повернулась к Ясне: — С ней ступай, она тебя к людским проводит, там у нас много покоев свободных, обустроишься, поглядишь — где что. А мы Славена к Главе отведем. Да не робей, не робей.

— Ясна! — муж вдруг порывисто обнял женщину и прошептал: — Иди, не бойся ничего, я скоро вернусь.

Она улыбнулась, не подозревая даже о том, что творится у него на душе, какие сомнения и опасения гложут. Сама-то Ясна уже успокоилась. Глухая тревога отступила поутру, едва откланялись и отбыли восвояси Елец и Велеш. Будто гора с плеч свалилась. А теперь за высокими каменными стенами и вовсе сделалось спокойно. Чужое всё, да, но безопасно и народу много.

— Идём, — Лесана кивнула Славену.

Они двинулись к высокому крыльцу.

Мужчина оглядывался, всё пытался отыскать взглядом жену, запомнить в какую сторону та пошла, но за мельтешащими головами ничего не увидел.

Внутри каменной громады после яркого зимнего дня показалось темно и мрачно, путанные коридоры, бесчисленные входы... Славен быстро потерял счет шагам и ступенькам. Пожалуй, бросят тут одного — не выберешься до ночи. Остановились же перед самой обыкновенной дверью. Лесана толкнула створку и шагнула через порог, а Славена пихнул в спину идущий следом колдун.

В прохладном и светлом покое за крепким столом сидел молодой мужчина и разбирал сорочки грамотки. Птица важно прохаживалась перед ним по столу. В остывшем очаге угли уже подернулись пеплом.

— Глава, вот тот, кого ты приказал доставить, — Лесана кивнула на Ходящего.

Обережник оторвался от берестяных завитков, лежащих на столе, и устало сказал:

— У Радая, что ни грамота, то, будто сорока набродила — ничего не разобрать.

Садитесь.

Но девушка не села, подошла к очагу, бросила несколько поленьев, подула на угли и спросила просто, хотя и не к месту:

— Ты сегодня в трапезной был?

— Нет, — он потёр лицо и повернулся к тому, кого она привела с собой. — А ты, значит, Славен?

— Значит, да, — ответил мужчина, глядя в уставшее лицо Главы Цитадели.

Славен был удивлен. Он ожидал увидеть либо мудрого старца, либо могучего головореза, а напротив сидел мужчина одних с ним лет. Неужто, он держит Крепость? Тем временем обережник спросил:

— Есть хочешь?

Растерянный и сбитый с толку Славен медленно кивнул. Он приготовился, что с ним снова будут говорить, как со скотиной, оболъют презрением, а вышло иначе. Может, подвох? Пока он лихорадочно над этим размышлял, хлопнула дверь покоя — это ушла куда-то Лесана.

Тамир остался сидеть в углу, сверля Ходящего глазами.

— Как вы меня нашли? — задал, наконец, Славен вопрос, который больше всего его беспокоил.

— Показали на тебя. Мальчишка из ваших. Лесана его поймала по осени в деревеньке одной разоренной. Парень трусоват и мало что знает, вспомнил лишь про тебя, да рассказал, где искать, а я отправил сторожевиков из тройки. Мне надо поговорить хоть с кем-то, кто в ясном разуме.

— Понятно, — мужчина вздохнул. — О чём ты хочешь поговорить?

— О Лебязьих Переходах. О тех, кто там живет. О таких, как ты. Я хочу понять. Как ты умудрялся столько лет жить с женщиной и не загрызть её? Способны ли на это остальные? Много ли таких? Что у вас думают о Сером?

Славен растерялся. Вопросов было слишком много. И это человек вёл себя слишком просто. Говорил с ним, как с равным, но просил о немислимом — просил рассказать про стаю... Да, сейчас Глава Цитадели казался простым мужиком, уставшим от усобиц и потерь, забывающим поесть или выспаться, но Славен понимал, что думать так — ошибка. Потому что вот эти пальцы, перебирающие тонкие завитки берестяных грамоток, легко могут озариться мертвенным сиянием Дара. И тогда — смерть.

Опять хлопнула дверь, это вернулась Лесана с корзиной в руках, подошла к столу, согнала сердито застрекотавшую сороку, постелила чистую холстину, взялась доставать горшки, миски, хлеб.

Глава задумчиво отложил в сторону прочитанную берестяную грамотку и уже собрался было взять следующую, но девушка, словно этого и ждала, — тут же вложила ему в освободившуюся руку ложку. Видимо опасалась, что если этого не сделать, он так и не поест. Обережник усмехнулся, а потом кивнул Славену:

— Садись ближе, — и повернулся к Лесане и её спутнику: — А вы ступайте.

Они вышли. Едва спину перестал прожигать взгляд колдуна, дышать сделалось легче. Славен, будто во сне, взял ломоть хлеба и спросил:

— Как тебя называть?

— Клесхом, — спокойно ответил Глава.

— Чудное какое-то имя... — растерянно произнёс собеседник.

— Северное. Я вырос у Злого моря.

Происходящее казалось вымыслом. Они сидели рядом и ели. Славен даже не разобрал, что именно, ибо сама трапеза была слишком странной...

— Как думаешь, что скажет твоя жена, если узнает, с кем жила все эти годы? — спросил спустя какое-то время Клесх.

Вот оно! Славен напрягся. Отложил ложку и посмотрел исподлобья на человека.

— Не знаю. Хотел бы узнать — рассказал бы, — а потом глухо добавил: — Но... она бы не поняла. И никто бы не понял.

— Почему? Я вот сижу, ем с тобой, разговариваю. И мне всё равно, что ты — Ходящий.

Мужчина усмехнулся:

— Это тебе оттого всё равно, что ты бережник. И в любой миг убить меня можешь, только дёрнусь.

— А ты дашь повод? — спросил Клесх с удивлением.

— Нет, — покачал головой Ходящий и добавил: — Пока в разуме. Но луна подойдет, и рассудок будет мутиться.

— И как же ты держался рядом с человеком живым?

— Уходил. Говорил, на охоту.

Глава усмехнулся:

— Не врал. А как же в те дни, когда охоты нет? Когда непогода и из дому не сунешься?

Его собеседник уронил взгляд в пол и замолчал.

— Ты кусал жену... — понял бережник.

Ответом ему была тишина.

Какое-то время мужчины безмолвствовали. Есть Славен больше не мог — кусок в горло не лез, да и человек, сидящий напротив, тоже, видимо, не был голоден. Наконец, он отодвинул в сторону горшки и произнес:

— Скажи своей жене, кто ты есть.

Ходящий вздрогнул и медленно поднялся со скамьи:

— Зря я вам доверился. Надо было бежать. Все одно, также бы остался ни с чем — без жены, без дома. Но я решил — должны ведь понять...

Клесх смотрел на него снизу вверх, словно не замечая зарождающегося в тёмных глазах гнева:

— Твоя жена тебя любит. Знает много лет. Ты не ждешь от неё понимания. Но хочешь его от меня и других бережников. Не слишком ли это странно? Мы *должны* видеть в тебе человека, относиться, как к себе подобному, а она?

Взгляд Славена стал колючим и злым:

— Ты и правда разницы не понимаешь? Или насмехаешься?

— Нет. Я объясняю, почему в тебе не замечают людского. И не будут замечать, пока сам не принудишь. Скажи жене, кто есть. В подземелье узников у меня довольно. Тебя я туда сажать не хочу. Нет надобности, вроде. Но если ты хочешь жить, как человек, то и веди себя по-человечески.

— Зачем? Что вы все пристали к моей жене? — рявкнул Славен и врезал кулаком себе по бедру, не зная, как ещё выместить гнев, страх и ярость.

Бережник спокойно убрал в корзину миски и горшки, бросил туда же холстинку и заметил:

— Славен, таких, как ты, много. Вы ведь не хотите умирать, верно? А я не хочу, чтобы

гибли люди. Значит, нам надо учиться жить вместе. Мне бы поговорить с кем-нибудь из ваших вожаков. Они ведь тоже не любят Серого. И нам, и вам он, как кость в горле.

Ходящий задумался. В словах человека была истина. Стая волков и впрямь приносила лесу и его обитателям слишком много хлопот. Если б не оборотни, то Славен и дальше бы жил себе на заимке, никем не раскрытый, а люди по-прежнему ничего не знали о Лебяжьих Переходах... Вот только, помощь обережникам может выйти боком. Дашь убить Серого, как бы не принялись после за всех остальных... С другой стороны, не поможешь — сама по себе поднимется Цитадель, и тогда кровью умоются все. Обережникам-то гибнуть не привыкать, по ним и не заплачет никто — привычное дело. А у Звана в стае ребяташки, бабы, старики и всех под нож?

Мужчина молчал долго. Наконец, сказал:

— Серого тебе Зван сам отдаст. Эта скотина дикая всем уже опротивела. Но я не поведу вас к Лебяжьим Переходам. Я недостаточно тебе верю.

— Это правильно, — спокойно кивнул Клесх. — Я ведь тебе тоже недостаточно верю. Но я хочу с вами договориться. А это вряд ли получится, если мы будем сидеть по норам и осторожничать. Серый в силу с каждым днем входит. И опасен он нам одинаково.

Славен выслушал эту речь, но потом всё равно помотал головой и упрямо сказал:

— Не поведу тебя на наших Осенённых.

Клесх досадливо хлопнул себя по колену:

— Да нешто я такой страшный? Меня к ним не поведешь, они в Цитадель тоже вряд ли явятся. И чего? Мне к вам сватов засылать что ли? Значит, так. Я тебя отпускаю. Иди отсюда на все четыре стороны. Без жены. Могу даже спутника дать, все одно в каземате томится и слезы льет целыми днями. Прикажу — вас выведут. И ступайте, куда глаза глядят. Все, что мне от вас надо — это узнать, как Серого обложить, сколько волков у него, насколько сильны. И быстро.

Славен изумленно хлопал глазами, не в силах поверить в то, что его и впрямь готовы отпустить. Лишь потом дошло — без Ясны. Она тут останется. Клесх не дурак.

— Я вернусь и всё расскажу, — ответил мужчина. — Всё, что узнаю. Обещай ничего не говорить жене.

Обережник пожал плечами:

— Мне от её слёз никакой пользы.

Ходящий задумчиво потёр подбородок и осторожно спросил:

— А кого ты мне в спутники дать вознамерился?

Глава Цитадели задумчиво ответил:

— Никого. Он мне и тут пригодится. Иначе, как я узнаю, что ты дошел, куда отправляли? Но сперва я вас познакомлю.

Уже несколько дней Клёна почти не выходила из своего покойчика. Цитадель её пугала. А ночами снились кошмары. Первые ночи девушка провела в комнате отчима. Засыпала на соседней лавке, прижимая к лицу старую шаль. Та ещё пахла мамой...

Слезы катились, катились, катились. Голова сразу же начинала болеть — биение сердца глухими ударами отдавалось в затылке, темени, висках. Главное, не всхлипывать, а то Клесх проснется. Спит он крепко, но звук рыданий его будит. А отчим и так не высыпается и лицом чёрен. Почти не ест. Седины в волосах добавилось. Складка между бровями залегла глубже.

Падчерице было жалко его, такого молчаливого и окаменевшего. В нём будто жизнь остановилась и замерла. Как в ней.

— Ты что такая бледная? — спросил Клесх как-то вечером.

— Голова болит, — виновато ответила девушка.

— А чего ж молчишь? Идём.

Он повел её куда-то в соседнее крыло. Там пахло травами и воском. В одном из покоев, где с потолка свисали пучки сушеницы, а на полках стояли рядами горшки и корчажки, мужчина с изуродованным лицом готовил на маленькой печурке духмяное варево. Вариво весело булькало, источая запах девятильника и меда.

— Ихтор, — Клесх подтолкнул падчерицу. — Погляди, чего с ней. Белая вся. Говорит, голова болит.

Клёна сробела и опустила на краешек скамьи, пряча глаза, чтобы не глядеть на развороченную пустую глазницу целителя. Откуда-то из-под стола выглянула рыжая кошка, зевнула во всю пасть, неспешно направилась к госте, запрыгнула на колени и боднула ладонь, гладь, мол. Девушка провела пальцами вдоль рыжей спины. Кошка довольно заурчала и прикрыла янтарные глаза. Хорошо ей — ни тревог, ни забот...

Тем временем на затылок Клёне легли тяжёлые руки. Под кожу сразу побежали врассыпную горячие искорки. Девушка хихикнула. Щекотно! Но головная боль отступила.

— Она очень сильно ударилась, Клесх, — послышался сверху голос лекаря. — Кость треснула, вот тут. Сейчас уже ничего, не страшно. Видать, Орд поработал. Но Дара излечить её совсем у него не хватило. Если б раньше она мне попалась... В ушах шумит у тебя? — наклонился мужчина к девушке.

Та кивнула и сказала виновато:

— И ухо одно слышать хуже стало. Правое.

Ихтор покачал головой.

— Эк, тебя. Могу только... — он неожиданно крепко обхватил голову Клёны, так, что та испуганно пискнула. Горячие ладони стиснули затылок и лоб и обжигающие токи хлынули в кровь, перед глазами всё смерклось, девушке показалось, будто бы кости под кожей шевельнулись, даже челюсть повело. И тут же накатила тошнота, а потом облегчение.

— Лучше? — спросил целитель. — Голова не кружится?

— Нет... — ей и впрямь стало лучше, в ухе больше не шумело, и боль отступила, почти исчезла.

— Завтра ещё придешь. Хоть на время полегче будет.

Клесх, который всё это время стоял, привалившись к косяку, мрачно спросил:

— Это что ж — навсегда теперь?

— Головные боли притупятся, но совсем не пройдут, — ответил крефф. — Поздно спохватились. Может, Майрико бы и смогла её поправить. А мне не по силам. Да ты не горюй, красавица. — Лекарь потрепал девушку по макушке: — У нас в этом году хорошего мальчонка из Любян привезли. Подучится, глядишь, и не такое сможет исцелить. А пока ко мне приходи. Дорогу запомнила?

Она кивнула и опустила глаза в пол. Страшно было на него смотреть. И стыдно этого страха.

— Ну, ступай.

Девушка вернулась обратно в их с Клесхом покойчик. Там можно было спрятаться ото всех. Хоть на время. Клёна понимала — надо заняться каким-нибудь делом, нельзя вечно сидеть в четырех стенах и скорбеть. Увы, переневолить себя не получалось. Покуда старая шаль ещё пахла мамой, хотелось просто обнимать её и не думать ни о чем. Лишь вдыхать родной запах, который медленно-медленно истончался, становился всё менее заметным...

Через несколько дней Клесх показал ей маленькую комнату и спросил:

— Не забоишься одна ночевать?

Девушка помотала головой. Нет. Теперь уже не забойтся. Да и ему ведь тоже, небось, надоело слушать ночами её всхлипы. В покойчике оказалось на удивление уютно. А ещё тут можно было до ночи жечь лучину, смотреть на огонёк, на пляшущие тени, слушать ветер за окном. Одной. И кутаться в мамину шаль. Но так случилось, что именно в этот первый свой по-настоящему одинокий вечер Клёна с тоской поняла: шаль теперь пахнет Цитаделью и ей самой.

Следующим утром, Клесх заглянул в её каморку. Падчерица сидела, забравшись с ногами на лавку, в одной исподней рубаше и бездумно перебирала косу. А в плошке под светцом лежала горка сгоревших лучин.

Отчим окинул покойчик быстрым взглядом и с порога сказал:

— Значит так, девка. Хватит. Нагоревалась. Одевайся. Тебя на поварне ждут. А то таким манером, совсем усохнешь. Зеленая, вон, вся, только плачешь да сопли глотаешь. Поднимайся, поднимайся.

Она испуганно вскочила и принялась торопливо одеваться. Клёна боялась его таким — властным, резким, с колючим взглядом серых глаз.

— Ну, будет, — смягчился он, увидев её испуг. — Затряслась. Идём.

И вдруг обнял. Уткнулся носом в макушку, глубоко вздохнул. Клёна окаменела, а потом с опозданием поняла — он тоже чувствует запах... запах мамы, дома, всего того, что исчезло навсегда. И она, так похожая на Дарину, для него то же, что для неё старая ношенная шаль — память о самом дорогом.

— Клесх! — девушка вцепилась в него.

— Хватит... — он сразу отстранился. — Идём, покажу кое-кого.

— Кого? — падчерица взглянула с удивлением.

— Увидишь.

На поварне было душно, жарко, пахло луком и вареным мясом, а у окна на огромном присыпанном мукой столе месили тесто...

— Нелюба?! — Клёна подалась вперед, не веря глазам. — Цвета?

Девушки обернулись на её возглас и несколько мгновений изумленно хлопали глазами, словно не узнавая.

— Клёна! — первой взвизгнула Цвета. — Клёна!

— Ну, — Клесх шагнул в сторону, чтобы не мешать подругам обниматься. — Вижу, дело на лад пойдет. Небось, теперь повеселеете.

С этими словами он вышел.

Однако были на свете вещи, в которых Глава Цитадели ничего не смыслил. Такие как, например, глупые девки. Поэтому не мог Клесх предугадать, что три чудом спасшиеся подружки возьмутся рыдать на всю поварню, вспоминая сгибшие Луцаны, родню и женихов. Повеселеть в тот день у них не получилось. Да и у него тоже.

Он не знал, сколько прошло времени — оборот, день или седмица. Темнота не сменялась дневным светом. Она оставалась все такой же непроглядной и глухой.

В узилище постоянно кто-то был. Сторожа приходили разные. Одни являлись в зверином обличье и ложились у двери, другие оставались людьми и просто сидели на полу, разглядывая пленника.

Эта со злющими зелёными глазами навевалась часто — устраивалась напротив и начинала шептать. Во мраке голос звучал глухо и казалось, будто с обережником беседует темнота.

Темнота предлагала воды или еды. Темнота издевалась. Темнота рассказывала про то, что в лесу светит солнце. Темнота ходила кругами, то вкрадчиво шепча, то глумливо уговаривая, темнота касалась холодного лба мягкой горячей ладонью или хищно рычала. Темнота смеялась. Реже вздыхала. Но не от жалости. Нет. Ей было скучно с ним. Пленник молчал.

Молчал и лежал, закрыв глаза. Изредка вяло шевелился на жестком полу, если шёпот становился невыносимым, а боль в разбитой голове — тошнотворной. Когда приходилось совсем уж тяжело, он глухо стонал, кусая разбитые губы. В конце концов, нет ничего стыдного в том, что страдание отворяет глотку, позорно, когда оно развязывает язык.

То ли седмицу, то ли месяц, то ли год назад — он не знал, как давно — его приходили первый раз кормить. Тогда он ещё мог сопротивляться. Слабо, но мог. Вырывался, дергался. Кто-то ударил его головой о каменный пол. С той поры у него в ней всё перемешалось. А, может, не с той... Он не помнил. Может, это случилось тогда, когда ударили, из-за того, что молчал, не отвечал на вопросы вожака? Или вожак после того, первого раза более не приходил? Мысли пугались.

Сознания ратоборец больше не терял, хотя иной раз и предпочел бы беспамятство яви. Его уже не грызли. Он без того был едва жив. Сила уходила вместе с кровью, тело сделалось чужим, неповоротливым, холодным. Он замерзал.

Все чаще и чаще, обережник погружался в равнодушное вязкое полузабытьё и плавал в нём, будто в киселе. Не размышлял, не злился, не надеялся. Просто был. Ни живым, ни мертвым. Никаким. С ним что-то делали, то поили, то через силу вливали безвкусную похлебку. Сам он не ел — зачем давать откармливать себя, как свинью, на убой? Но *эти* не хотели, чтобы он умирал. Им нужна была кровь. Сила, которой в нём почти не осталось. Поэтому пленнику позволяли окрепнуть ровно настолько, чтобы не умер. Но Фебру было уже всё равно. Он хотел спать. Просто спать. И тишины. Чтобы темнота молчала. Он же молчит. А ей чего неймется?

Ходящие больше не вызывали ненависти, скрип двери — любопытства, а собственная беспомощность — злости. Он лежал, как бревно. Его о чем-то спрашивали. Что-то обещали, если ответит. Он не вслушивался в слова.

Эта, с зелеными глазами, иногда подсаживалась близко-близко. Клала горячие ладони на его раны и под кожу лилась стужа. Разорванная плоть затянулась, но сил пленнику это не прибавило. Он только ещё больше зяб. И мечтал, чтобы мучительница ушла и оставила его в покое — плавать, плавать, плавать в полузабытьи.

Время от времени, узника вздергивали с пола. Он висел на руках оборотней, словно

мёртвый, безучастный ко всему. Его трепали по щекам, в надежде, что обессиленный, измученный, он всё же начнет говорить хоть что-то, но голова обережника лишь безжизненно моталась туда-сюда. На том всё и заканчивалось.

Он молчал.

Тянуть сведения из пленника болью опасались. Помрёт ещё. Волколаки злились. Но Фебра это уже и не радовало, и не забавляло. Он хотел лишь одного — чтобы опустили обратно на пол, чтобы не трогали. Пусть будут шум в ушах и холод в теле, только не приступы вязкой тошноты, когда вздергивают на подгибающиеся ноги, не холодный пот по спине, не сердце, бьющееся у самого горла, не эта боль, грозящая разорвать голову...

Та с зелеными глазами приходила снова и снова. Глядела, шептала, дергала за волосы. В голове будто разлетались осколки камней. Больно. Что ей всё надо? Он вяло удивлялся. А она щупала изгрызенные предплечья, водила пальцами по рубцам, резко надавливала на едва затянувшиеся раны. Узник глухо стонал. И даже за руку схватить её не мог, чтобы отстала. Сил не осталось.

Серый навевался несколько раз, смотрел, пнул носком сапога, но уже безо всякого интереса. От пленника, который и сидеть без поддержки не мог, больше не ждали ответов. Да, небось, не так и важны были эти ответы. Нужнее была кровь. И Дар. Которого в Фебре уже не осталось.

Нынче волчица опять пришла. Села рядом. Сладко говорящая темнота.

Пару раз эта темнота касалась его головы ледяными руками и под кожу лилась стынь, казалось, волосы покрываются инеем и даже глаза в глазницах замерзают, схватываются ледком. Как он хотел, чтобы она ушла!

— Эй, ты... всё никак не сдохнешь? — спрашивала Ходящая и сама отвечала: — Живучий попался. Это хорошо.

Он молчаливо не соглашался. Плохо. Теперь участь сдохнуть казалась ему такой желанной...

— А хочешь я поговорю с Серым? Попрошу для тебя легкую смерть? — волколачка наклонилась близко-близко, словно угадав мысли человека. — Просто и быстро. Скажи мне — сколько вас в Цитадели?

Фебр понимал — ответы ей неинтересны. Просто нравится издеваться над беспомощным. Он злился. Как-то вяло. Пытался отвернуться.

— Тьфу, — брезгливо отпихивала его женщина. — Воняешь, как тухлятина!

Конечно, воняет. Сколько он уже тут? Лохмотья от грязи и крови уже задубели.

В другой раз волчица пришла с кем-то из мужчин, села поближе к пленнику и не давала ему покоя: дергала за слипшиеся волосы, щипала, принуждая стонать, вырывая из порубежного забытья. И этот холод, который тек под кожу с её пальцев! Инистый озноб, мешающий забыться...

— Отстань от него. Видишь, глаза мутные, — недовольно говорил другой оборотень. — Что ты прицепилась? Загнется ещё раньше времени.

— От такого не умирают! Не так уж много из него испили.

— Да нет, вполне довольно, — усмехался собеседник.

На это она шипела:

— Мало! Из-за него Грызь обезножел! А Крап, Зим и Жилка? Где они теперь? Забыл? — зелёные глаза вспыхивали, а потом волколачка плюнула в пленника и ушла.

Нет никого гаже мстительной злобной бабы. Фебр с облегчением погрузился обратно в

кисельные волны. Темнота, не дававшая ему покоя, хоть ненадолго угомонилась и смолкла.

Руська жил в Цитадели уже вторую седмицу. Попервости всё здесь удивляло мальчишку: и высокие каменные стены, и мрачные коридоры с крутыми сводами, и выучи, так не похожие на обычных парней и девок. Пострижены послушники были коротко, одеты одинаково, глядели серьезно, даже не зубоскалили. Сразу видно, что заняты люди. Не подступишься.

Окромя того изумляли поварня и трапезная. Ух, огромные! Из конца в конец покуда дойдешь, замаешься. А ему-то вовсе бегать приходилось. В день по три раза. Потому что к величайшему разочарованию рвущегося в бой мальчонки, ему не вручили сразу же меч и не взяли учиться ухваткам оружного боя. Как бы ни так. Клесх привел подопечного к старшей кухарке Матреле, передал с рук на руки и сказал:

— Пусть помогает на столы накрывать, а то без дела набедокурит ещё.

Вот Руська и бегал из поварни в трапезную, расставлял по столам стопки мисок, приносил ложки, двигал лавки, сметал крошки, носил объедки в сорочатник. Тьфу.

Почти то же самое, что и дома — хлопчешь, как девка, по хозяйству и тоска берёт. А то всё: «Цитадель, Цитадель...» На деле же только без конца шасть туда, шасть сюда, дай, подай, уйди, не мешай.

Но, до чего же здорово было глазеть на ратном дворе на яростные сшибки выучей воев! Как зло метали стрелы, как яростно бились, сходясь один на один...

Наставники поглядывали на паренька, но даже не предлагали взять в руки деревянный меч. Вместо него давали обычную палку. Досада. Вот отчего так? Но он всё равно хватался и бился с кем-нибудь из младших послушников. Остальные подбадривали, давали советы. Впрочем, то недолго. Потом снова отправляли посидеть в сторонке, не путаться под ногами. Обидно...

В покой к Лесане Русай возвращался вечером, ложился сестре под бок и лежал молча. Но не потому, что сказать нечего было. По чести говоря, он бы болтал и болтал, без умолку. Да только, что с этих девок взять? Вон, уж который день супится, будто устала, но он-то видит — глаза на мокром месте, того гляди заревёт.

— Ты чего? Чего ты? — спрашивал он, глядя по руке. — Обидел кто?

Она горько усмехалась:

— Деревню сожрали, а там... в общем, люди там жили, хорошие. Близкие... как родня. Жалко их.

— А-а-а... — тянул братец. — Да чего ж теперь? Назад ведь не повернешь.

Он старался говорить, как взрослый, но сестра лишь горько улыбалась, да обнимала его за плечи... А у самой губы дрожали.

Эх, и жалко было дуру глупую! Только и Руська ведь тоже хорош. Едва Лесана бралась мокрыми ресницами хлопать, так и у него, ну никаких сил терпеть её печаль не оставалось. Все мужество и строгость улетучивались. Тут же принимался глаза тереть да моргать. Хоть вовсе не приходи в каморку! А как не придешь? Что ж ей — девке бестолковой — одной что ли выть? Одной-то совсем тошно. Вот и ревели вместе, носами хлопали.

А когда наплакались вдосталь, день на третий ли, четвертый, сестра повела меньшого «кое-кого проведать». Он обрадовался, что ж не проведать? Чай лучше, чем сопли на кулак мотать.

Миновали несколько переходов — все вниз и вниз, потом спустились на один ярус. Темнотища... только кое-где в стенах факелы чадят. И душно, как в бане. Завернули в какой-то кут, в дверь постучались. А за дверью бабка. Ну, чисто шишига! Зубов всего два — сверху да снизу, сама скрюченная, патлы седые платком кое-как покрыты. Бр-р-р...

— Лесанка, ты что ль? — карга прищурилась.

— Я, бабушка, вот, гляди, кого привела, — и сестра вытолкнула братца вперед.

Тот сробел. Ничего себе «бабушка»! Этакая во сне привидится, как бы под себя не сходить.

— Батюшки! — всплеснула руками старая. — Совсем твой упырь меченый с ума посходил, ребенка приволок! Ой, нелюдь, ой, нелюдь... А ты иди-тко сюда, дитяtko, иди, иди. Меня что ль так напужался?

Как же «напужался». Не пугливые мы. Просто... просто к шишигам не приучены.

Хрычовка, заметив замешательство мальчика, хихикнула:

— Обережник будущий старую каргу боится? Да подойди, не съем, я уж сытая. Матрела меня нынче щами потчевала.

Услышав имя стряпухи, мальчишка приободрился и шагнул к бабке.

— Ой, горе мне с вами, горе... Лесанка, ножни подай, патлы состригу хоть ему. Да не крутись ты, вот же веретено! Гляди, уши-то обкорнаю!

Руська с тревогой посмотрел на старуху, кто её знает, вдруг и правда ухо оттяпает? А Лесана-то, вон, ничего, стоит, посмеивается. Знать, можно не бояться.

— Да не трясись, не трясись, нужны мне твои уши, как нашему Койре молодуха.

Паренек и сам не заметил как оказался сидящим на низкой скамеечке.

— Кто ж учить-то его будет? — продолжала расспросы карга. — Клесх что ли? Ай ты?

И бабка залязгала ножнями.

— Да Глава сказал, мол, пусть до весны обживется, пообвыкнется, а там уж, как новых выучей привезут, так с ними и станут учить. Кто ж посередь года науку ему давать будет? Подлетки, те далеко ушли, ему не догнать, да и старше они. Пока, вон, Матреле помогает, на ратный двор наведывается. Хоть не шкодит...

Руська недовольно шмыгнул носом. Не шкодит! Совсем уж его тут за дите глупое держат, чай понимает, куда попал.

— Ну, коли он пока не первогодок, так одежду не дам, неча трепать попусту, — закончив стричь паренька, старушонка уселась на большой ларь, будто боялась, что Лесана скинет её с него, чтобы силой захватить добро.

Впрочем, девушка внимания на хозяйку каморки не обращала, знай себе, сметала состриженные волосы в совок:

— Вон там-то тоже махни, иль не видишь? — командовала карга и зачем-то снова сказала: — А одёжу не дам, так и знай.

Обережница посмеивалась:

— Нурлиса, вы с Койрой не родня, а? У него тоже снега зимой не допросишься.

По морщинистому лицу пробежала лёгкая тень, и старуха сказала негромко:

— Не родня, дитяtko, просто жизнью мы битые. И я, и дурак этот плешивый, и все тут. Ты, что ль, думаешь, другая?

Лесана забыла выпрямиться, глядела на бабку с удивлением, держа в одной руке совок, в другой веник. Впрочем, Нурлиса моргнула и шикнула:

— Ну, чего растопырилась? Мети, давай, наберут лентяев!

Девушка лишь головой покачала.

А Руська стоял в стороне, щупал вихрастую голову и только глазищами: луп-луп.

— А правда что ль, Лесанка, ты волколака в казематы приволокла? А? Да будто в разуме он? — поллюбопытствовала тем временем Нурлиса, поправив на голове платок. — Это у нас теперь два Ходящих? А он, как тот кровосос, случаем, не Осенённый ли?

— Нет, — девушка ссыпала содержимое совка в печь. — Обыкновенный. Но в разуме. Сидит, на луну воет.

— Молодой? — живо поинтересовалась старуха.

— Меня постарше чуть.

— Хоть бы поглядеть свела, — обиделась карга.

— А чего на него глядеть? — удивилась обережница. — Сидит, вон, зубоскалит, да мечтает, чтобы девку привели повалять.

Бабка хихикнула:

— Ишь, какой! И что, Лесанка, прям-таки с хвостом?

Девушка растерялась:

— Да нет, мужик, как мужик... трепливый только. И всё просится, чтоб из клетки выпустили, делом каким заняли, мол, тошно сидеть. А куда его? Он же света дневного боится.

Бабка едко усмехнулась и сказала:

— А то в Цитадели тёмных углов мало! Схожу к Главе, в ноженьки упаду, авось не оставит милостью. У меня, вон, дров на истоп совсем нет. Пущай зверина ваша колет да наносит. Воды опять же. Чего на него харч переводить, коли пользы никакой? Да и мне будет, с кем словом перемолвиться...

Лесана едва не рассмеялась, представив, как вредная бабка станет гонять острого на язык Люта по коридорам Цитадели. Пожалуй, на вторую седмицу взмолится, наглец, чтоб пощадили...

Девушка совсем забыла про братца, а тот стоял себе рядом, развесив по плечам уши и разинув рот: в казематах Цитадели сидит настоящий кровосос! В клетке. Да не просто кровосос, а Осенённый! Волколак-то ладно, чай с ним он седмицу в санях ехал, даже привык. Но кровосос... Говорят у них зубы, каждый длиной с медвежий коготь.

Лесанка упала дрыхнуть. Казалось, ноги ещё с полу на лавку не закинула, а к подушке летит и уж сны видит. Но хоть не ревет, и то ладно.

Русай выждал, покуда дыхание сестрицы выровняется, станет тихим и плавным. Авось теперь не проснётся. Спит-то она, конечно, крепко, но слух остёр.

Мальчик осторожно сел, стараясь не шуршать. Вздел штаны и рубаху, потом нащупал ногами сапоги, подхватил их и как был босой, по студеному полу прокрался к двери. Два раза глубоко вдохнул-выдохнул, потянул створку. Уф. Не закрипела. Накануне он её нарочно смазал тряпицей, смоченной в масле. Благо, на поварне масла этого стояли полны кувшины.

В коридоре было тихо и темно. Привалившись к стене, паренек быстро повязал обмотки, всунул ноги в обувку и шмыгнул прочь, на нижние ярусы. Лишь бы не налететь на кого, а то ведь за ухо обратно сведут. И он бежал во весь дух.

Вот и лестница. Теперь вниз. Так-а-ак... Мальчонок озадаченно замер перед расходящимися в две стороны коридорами. Налево или направо? Направо темно. Налево вроде свет брезжит. Значит, налево, Ходящие ж вроде огня пугаются, стало быть, там, где факела чадят, и искать надо.

Когда он вылетел из-за угла, впереди оказалась забранная надёжной решеткой дверь, возле которой на скамье сидели два послушника и читали при свете лучины свитки. Чего сидят? Кого высиживают?

— Опа! А ты как сюда попал? — не дав Руське и рта открыть, поднялся крепкий паренёк весен девятнадцати с виду.

— Да это... — развел руками мальчик. — Вот... заплутал.

— Зоран, сведи его наверх, — кивнул выуч приятелю.

Второй, придержав пальцем строку, на которой прервал чтение, бросил угрюмый взгляд на товарища:

— Сам дойдет, — и добавил, повернувшись к мальчику: — Ступай прямо, а потом два раза налево. И по всходу наверх. Гляди только, в другую сторону не потащись. Там мертвецкие, оттуда наверх не выйдешь. Чеши, чеши.

Пришлось, повесив голову, брести назад.

Сходил, называется, поглядел на кровососа. Тьфу.

Хотя...

Направо мертвецкие? Там все дохлые, конечно, но хоть одним глазком-то поглядеть можно. Любопытно ж! И Руська заторопился по полутёмному коридору вперед. Однако бежал недолго, потому что налетел с размаху на кого-то, вынырнувшего некстати из-за угла.

Донатос шёл в мертвецкую. Он едва отвязался от Светлы, усадив её перебирать сушёный горох. Сказал дуре, будто хочет каши. Вот она теперь и перекладывала из миски в миску отборные горошины. Пусть забавляется, а то спасу нет.

Крефф уже спустился с первого яруса, когда из-за поворота навстречу ему вылетел привезенный Клесхом мальчишка — ростом от горшка два вершка — и врезался рослому обережнику в живот.

— А, чтоб тебя Встрешник три дня по болотам гонял! — выругался колдун, ловко цепляя мальчика за ухо. — Ты чего тут шныряешь, а?

Даже в тусклом свете догорающего факела было видно, какой отчаянной краской залился паренек.

— Дя-а-адька, — заныл он, — я ж плохого не делаю, чего ругаешься? Заплутал просто.

— Заплутал... — передразнил крефф. — Иди отсюда, пока по заднице не отходил. Давай, давай, шевели копытами-то.

И он пихнул мальчишку, придавая ускорения.

Тот шмыгнул носом и побрел прочь.

— Стой, — колдуну вдруг стало любопытно. — А куда это ты пёрся на ночь глядя?

Руська посмотрел на мужчину исподлобья и буркнул:

— Хотел на кровососа живого поглядеть.

Крефф в ответ хмыкнул:

— Ну, тут живых нет. Только мёртвые. Топай.

Паренёк нахохлился и спросил угрюмо:

— А мёртвых чего, нельзя глядеть?

Донатос пожал плечами:

— Отчего ж нельзя. Можно. Только я не пушу. Все вы сперва люты<sup>е</sup>. А потом блюёте по углам. Тебе ж такое видеть и вовсе не по летам, будешь ночами в сенник дуться.

— Чего это я буду дуться? Чай, ты не дуешься, — пробурчал мальчик.

Обережник усмехнулся и привалился плечом к стене:

— Чай, я и постарше буду. Не боюсь.

Руська вздернул подбородок:

— А я, можно подумать, боюсь.

— А то нет? — спросил крефф, а глаза смеялись.

Русай осмелел:

— Чего их бояться? Они ж мёртвые.

Колдун вздел бровь:

— Они — Ходящие. Ну и воняют ещё.

— Конечно, воняют, раздохлые. Дай посмотреть-то. Жалко что ли?

Крефф подошел к пареньку, взгляделся в синие глазищи и сказал задумчиво:

— Не жалко... идём, коли смелый такой.

Детское лицо просияло на все казематы.

— Дядька, а тебя как звать-то? — Русай понял, что его не гонят и осмелел.

Мужчина удивленно оглянулся и ответил:

— Звать меня креффом. Всё ясно?

— Дык, а по имени?

— Соплив ты ещё больно, по имени меня звать, — беззлобно сказал обережник и распахнул перед мальчиком дверь. — Заходи.

Мальчонок, не задумываясь, не задавая вопросов, смело шагнул в просторную залу с низким потолком. Здесь ярко горели факелы, освещая стоящие рядами длинные столы.

В зале оказалось полным-полно выучей в серых одеждах. Завидев Русая, ребята, сгрудившиеся вокруг наставника, недоуменно смолкли, один даже шагнул в сторону незваного гостя, чтобы вывести, но увидел заходящего следом Донатоса и замер.

— Иди, иди, — крефф подтолкнул своего спутника в спину. — Чего застыл?

Тот обернулся сердитый:

— Так куда идти-то? Столов, вон, как много.

— К тому, который больше нравится и иди. Гляди сколько всего. Интересного.

Колдун смотрел на Русая внимательно.

Паренек огляделся. Краем глаза заметил, что незнакомый крефф глядит на него и стоящего позади обережника с таким же интересом, что и послушники. И больше не обращая ни на кого внимания, Русай медленно двинулся вдоль столов.

На одном лежала здоровенная волчица с окровавленным боком. Слипшаяся от крови шерсть влажно блестела. Мальчик сунулся поближе. Потрогал безжизненно висящий хвост. Шерсть на нём свалаялась, примялась. Некрасиво. Длинные когти на лапах оказались чёрные, крепкие. Пострашнее собачьих. А, может, и медвежьих.

— Здоровая какая! — восхитился Руська. — А это, вон, чё?

Он кивнул на что-то, торчащее из меха.

— Это? — крефф подхватил со стола щипцы и с хрустом вытащил из туши измазанный в чёрной крови наконечник. — Это стрела.

— А-а-а... — протянул с пониманием паренёк и снова двинулся вперед. — А это?

Донатос посмотрел в ведро, куда уставился мальчик.

— Не видишь что ли? Голова.

— Чья? — Русай обернулся.

Крефф наклонился, взял голову за волосы и выдернул из деревянной лоханки.

— Упыриная. Гляди зубы какие.

— Фу, воняет, — поморщился паренёк, глядя на мёртвое бородатое лицо — распухшее и синее. — Да не дурак, вижу, что не человечья.

И с любопытством посмотрел на безвольно отвалившуюся челюсть.

— Острые какие.

— Ну да.

Двинулись дальше. Незнакомый Руське крефф стоял, переплетя руки на груди, и наблюдал с явным интересом, выучи молчали.

— А этот нож для чего? — тем временем кивнул Русай на здоровенный тесак.

— Кости перерубать, — спокойно ответил Донатос.

— А этот?

— И этот.

— А тот?

— Ты на ножи пришёл любоваться или на Ходящих? — спросил колдун.

— На Ходящих! — паренёк двинулся дальше.

Послушники расступились, пропуская его вперёд — к столу, на котором лежало

принесенное с ледника обнаженное мужское тело с развороченной грудиной.

Мальчонок несколько раз обошел стол по кругу. Деловито потыкал мертвеца пальцем, задумчиво пошевелил губами. Выученики переглянулись. Один Донатос смотрел только на Русая. Смотрел пристально, надеясь увидеть в сосредоточенном лице то, что оставалось неведомым прочим. А, может, просто ждал, когда парнишка испугается. Или, напротив, не хотел, чтобы пугался?

— Так и знал, брешет Тамир! — глубокомысленно изрек тем временем Рууська: — Говорил, у них в нутре — опарыши и черви. А там кишки только.

— Блевать-то не тянет? — спросил обережник.

— Не. Когда воняют, конечно, противно. Дядька, а чего вы с ними тут делаете? А?

Колдун взял нож с соседнего узкого стола, на котором поверх холстины были разложены чистые пила, крючья, тесаки, клещи...

— Палец уколи.

— Донатос... — подал было голос другой крефф.

Но колдун в ответ лишь вскинул руку, призывая молчать.

— Коли, чего смотришь? Боишься что ли? — сказал он мальчику.

Руська, неотрывно глядя в глаза обережнику, проткнул кончик большого пальца на левой руке. Выступила капля крови.

— Молодец, — похвалил колдун. — А теперь ему разрежь вот тут.

Он указал на широкое запястье.

Мальчишка старательно, хотя и неумело, рассёк мертвую плоть.

— Голова не кружится?

Руська строго посмотрел на креффа:

— Я что, девка что ли?

Тот довольно кивнул:

— Капай на рану и скажи: эррхе аст.

Паренек посмотрел на обережника с подозрением, но сделал, как было велено.

Мертвая ладонь поднялась и застыла.

— Ух ты! — Русай отпрыгнул от трупа. — Это как, дядька? Это я?!

Выучи глядели на него, разинув рты.

— Понятно? — обвёл Донатос парней тяжёлым взглядом. — А вы тут как куры квохчете. Ты. Со мной пойдем, — и крепкая рука ухватила мальчишку за плечо.

— Дядька, — задохнулся тот и взмолился: — Только сестре не говори! Уши надерет!

— Быстро ж ты смелость растратил... — крефф толкнул паренька к двери. — Шагай, упырёнок.

— Чего это я упырёнок? — обиделся Руська.

— Вот и я тебе не дядька.

Мальчонок надулся, но пошел, куда вели — на верхние ярусы.

— Сюда, — крефф втолкнул его в освещённый лучиной покой, в котором за столом сидела растрепанная девушка и перебирала в миске горох. — Светла, на вот тебе помощника. Проследи, чтобы спать лёг.

— А Лесана? — вскинулся мальчик.

— А что Лесана? Пусть спит. Завтра с ней поговорим, — с этими словами колдун вышел.

Утром, когда Донатос вернулся в свой покой, то нашел зевающего Руську сидящим на лавке, возле свернувшейся калачиком Светлы. Увидев колдуна, мальчик протер глаза и сердито проворчал:

— Ты чего так долго, дядька? Я уж заждался. Вон, она горячая вся. Захворала.

— Выдеру я тебя за дядьку, — пригрозил наузник и сел рядом.

Светла не спала — металась в полубреду. Огненная.

— Беги в башню целителей, позови кого-нибудь. Или выучей из старших, или креффа. Пусть пока лежит.

— А ты куда? — спросил Руська, поспешно обуваясь.

— Куда надо. А ну, бегом!

Мальчишка унёсся, Донатос же — делать нечего — отправился к Лесане.

Далеко идти не пришлось. Девка налетела на него в коридоре, злая, как Встрешник:

— Ты... какого... он дитё совсем, упырь ты смердящий!!!

Крефф смотрел на обережницу красными от недосыпа глазами:

— Будет уж орать-то. Сам пришёл. Не по нраву, так забирай обратно. Только назавтра он всё одно под дверью мертвецкой будет сидеть. И у тебя не спросится. К Клесху идем.

— Ты!.. — она схватила колдуна за плечо, но он рывком стряхнул её руку.

— Охолопись. Расквохталась. Он — колдун. Ты его учиться привезла или к подолу своему поближе? Хотя... откуда у тебя подол.

Лесана медленно отвела в сторону руку, на пальцах которой вспыхнули, переливаясь, голубые огни.

— Уймись уж, дура, — устало сказал крефф. — Боюсь тебя, спасу нет. Совсем, как ты меня. На том и разойдемся. Ты б меня убила, да не можешь. А я тебя, но тоже терплю. Цитадель — она такая, всё в пыль перемелет: и ненависть, и злобу, и любовь. Не живут они тут долго. Да только ты никак этого понять не хочешь. Зря. Наставник твой быстрее повзрослел.

Девушка смотрела на него глазами, полными ненависти, но сияние её Дара медленно угасало.

Колдун пожал плечами.

— Идём к Главе. Мне тут с тобой языком чесать никакого интереса. Как и тебе со мной. А мальчишку не бери. Как тебе ни противно, он к мёртвому ближе, чем к живому. Привыкай.

Развернулся и пошёл дальше. Лесана скрипнула зубами, но, делать нечего, подалась следом, в душе жалея, что не может удавить скотину прямо здесь — посреди коридора.

Когда Лесана и Донатос пришли, Глава беседовал с Лютом. Оборотень с плотно завязанными глазами сидел на лавке и что-то говорил, живо размахивая руками, однако услышав, что в покой вошли посторонние, осёкся и смолк.

Девушка при виде пленника с трудом подавила досаду. Его тут только не хватало! Будет сидеть, уши греть. Не гляди, что уже несколько седмиц в темнице бока отлёживается, вон, ни самоуверенности не растерял, ни дерзости. Учужал обережницу и расплылся, подлец, в такой улыбке, словно она на свидание к нему явилась.

Поэтому, поприветствовав Клесха, Лесана прошла мимо волколака, как мимо порожнего места. Опустилась на соседнюю лавку и даже головы не повернула. Пленник, того хотя не видел, но всё одно, как-то понял и едва слышно хмыкнул.

Донатос, в отличие от обережницы, яростью во все стороны не пыхал, сел спокойно рядом с оборотнем, небрежно отогнул у того ворот рубахи, прошелся пальцами по собачьему ошейнику, которым, не мудрствуя лукаво, волколаку заменили плетёные наузы. Крефф по привычке проверил чужую работу — не ослабло ли заклятье? Нет. На совесть сделано. Видать, Бьерга наговаривала, уж её-то крепкую манеру везде узнаешь.

— Это что за сход? — тем временем сухо осведомился Клесх. — Я вас не звал.

Лесана насупилась. Вот так приветил наставник! Хотя, какой он теперь наставник? Глава. Просто так уж не ввалишься. Она открыла было рот, ответить, но Донатос, нож ему под ребро, заговорил первым. Перебить старшего, значило и вовсе явить себя последней дурой, поэтому девушка уронила взгляд в пол, зло кусая губы.

— Да вот, Глава, — тем временем миролюбиво начал колдун, — обережница досадует, что у меня выуч новый появился. Говорит, не по моим зубам. Ты уж рассуди по чести. Обиды я ей чинить не хочу, как скажешь, так и будет.

У Лесаны от злости даже дыхание перехватило. Вот же, тварина беззаконная, как всё вывернул! Да ещё Лют тут сидит, уши развесил. А Клесх глядит, вздёрнув бровь. Удивлен. А пуще раздражён, что пришли, прервали беседу по пустяковому зряшному делу. Вот ведь!

— То есть как — не по зубам? — наставник посмотрел на выученицу, а той под его прожигающим взглядом захотелось провалиться сквозь все четыре яруса Цитадели. Но делать нечего, поднялась, стараясь ничем не выдать гнева и волнения.

Говорить начала, а голос хриплый:

— Глава, Донатос Русая ночью водил в мертвецкую, упырей показывал, руку резать заставлял. А мальчишка — дитё совсем, его даже к ратному делу не допускают пока. Зачем его пугать раньше срока?

— Ну, во-первых, — спокойно прервал её колдун, — не водил и не заставлял. пришёл он сам. Я ещё отговаривал, чему и видоки, и послухи есть. Во-вторых, руку он не резал, не выдумывай. Палец всего уколол. Но я ж не знал, что будущему обережнику, если он твой брат меньшей, такое позволить нельзя... А пугать, Лесана, в моё дело не входит. Я не упырь. Я — наставник. Учужа тут. Страхи перебарывать, гадливость, леность и другое многое.

Крефф покаянно развел руками, мол, не серчай и строго не суди.

Прибить захотелось сей же миг!

— Глава, Русай — дите! — Лесана заговорила с жаром, но тяжёлый взгляд наставника охладил её пыл, поэтому девушка сдержалась и продолжила спокойнее: — Какие ему

покойники? А напугается если? Потом науку клином не вобьёшь. Да и крефф, как позабыл, что даже взрослых ребят-первогодок готовят, прежде чем в казематы вести...

Брови наставника сошлись на переносице.

— Лесана, покойников никто не любит. — Клесх говорил сухо, будто стыдясь выходки выученицы. — Понимаю, брата жалко, но, раз он сам пошел, раз силком не волокли, чего ты блажишь? Если парень к науке тянется, зачем его гнать? Ты хоть видела его? Говорила с ним?

Девушка нахмурилась:

— Нет. И ещё даже не знаю, где искать. Может, в нужнике блюёт.

Донатос в ответ на это ровным голосом ответил:

— Искать его надо у целителей, я его туда отрядил с поручением. А спал он нынче в моём покое, как подстреленный. Под себя не ходил и не вскрикивал, — последнее он сказал, повернувшись к Лесане.

Та вперила в собеседника ненавидящий взгляд.

Клесх задумчиво посмотрел сперва на креффа, потом на выученицу и, наконец, спросил:

— Всё у вас?

Она поджала губы:

— Всё.

— Тогда забирай вот этого, — кивнул Глава на пленного оборотня. — Отведи в мыльню, у Нурлисы смену одежды попроси. Как намоеется, устрой его в покойчике, там, возле её каморки. На дверь наложи охранительное заклятие, чтобы сам выйти не мог. А то будет по коридорам слоняться. Ступайте.

Девушка поднялась и поглядела на Люта. Так хотелось на нём сердце сорвать! Погнать бы пинками до самых мылен! Да только он-то тут причем? А на беззащитном душу отводить — вовсе стыдища. Бить надо того, кто заслуживает, а не того, кто под руку подвернулся. Хотя... этот заслуживает, откуда ни посмотри.

— Идём.

Оборотень поднялся, но вместо того, чтобы двинуться к двери, вдруг повернулся к Донатосу, втянул носом воздух... озадаченно покачал головой и похромал прочь. Крефф колдунов смерил его равнодушным взглядом, после чего снова обратился к Клесху:

— Глава, у Русая Дар к колдовству. Дар сильный. И к делу мальчишка тянется. Возьму его, коли ты не против.

Лесана всё-таки замерла на пороге, ожидая, что ответит Клесх. Тот сказал:

— Забирай. Но учи без лютости.

Колдун кивнул:

— Нешто я зверь?

Девушка чуть не до крови прикусила губу и вышла. Едва сдержалась, чтобы дверью не хлопнуть. Не зверь...

Оборотень шёл впереди, припадая на увечную ногу. И так шёл... вот вроде лица не видно, а даже по спине, по затылку, по всей походке понятно — забавляют его и Лесанин гнев, и её безуспешные попытки справиться с обидой.

— Что?! — рявкнула обережница так, что пленник, незряче скользкий ладонью по стене, вздрогнул.

— Чего орешь? — спросил он, оглянувшись. — Я иду, никого не трогаю.

— Чему ты радуешься? — наступала на него девушка, сжав кулаки.

На удивление Лют не стал ехидничать, а миролюбиво сказал:

— Да не радуюсь я! Он мне тоже не понравился — самодовольный и воняет мертвечиной. Но ты сама виновата — неправильно разговор повела. Говорила б иначе, глядишь, услышали бы.

Девушка, которой не нужны были ни его сочувствие, ни его советы, ни, тем более, его порицание, сквозь зубы процедила:

— А ну, п-шёл!

— Иду, иду, — покорно захромал вперёд волколак. — Чего ты рассвирепела?

Слепой гнев поднялся в груди обережницы обжигающей волной. Лесана не сдержалась. Со всей злости она толкнула пленника между лопаток, чтобы пошевеливался и перестал чесать языком. Без того тошно. Вот только в своей праведной ярости девушка не рассчитала силу — пихнула дурака, а сама забыла про то, что он хромым.

В попытке удержать равновесие оборотень неловко вскинул руки, но увечная нога предательски подвернулась, он оступился и с размаху упал на колено.

Не вскрикнул. Только зубами скрипнул так, что Лесана побоялась — раскрошит.

— Прости! — девушка виновато склонилась над Лютом: — Я не хотела, я...

Пленник оттолкнул протянутую руку небрежным движением плеча:

— Чего это ты удумала — перед тварью Ходящей каяться, — он поднялся, опираясь о стену.

Обережница видела, что левое колено волколак ссадил до крови, даже штанину порвал. Не диво — пол-то каменный. Но Лесана не стала больше ничего говорить. И правда, кто он такой — виноватиться перед ним.

— Шевелись тогда, пока ещё не добавила, — прошипела девушка и удивилась себе — неужто это она говорит, со злобой такой?

Спрашивается, чего взъярилась? Это-то дурень не виноват в том, что Донатос — сволочь последняя. Но не прощенья же снова просить? Поэтому дальше пошли молча. Внизу, не доходя до мылен, Лесана ухватила Люта за ошейник и впихнула в каморку к Нурлисе, однако в последний миг удержала, ну как опять растянется назло спутнице.

— Бабушка! Это я — Лесана.

И про себя с трудом подавила досаду, не дай Хранители, сейчас ещё и Нурлиса разразится привычной бранью. То-то Лют самодовольство потешит! Охотницу, его словившую, как поганый веник по Цитадели пинают.

— Доченька? Ты никак?

Обережница удивилась непривычной ласке в голосе старухи и тут же устыдилась собственных злых мыслей. Правда, чего взъелась на всех? Ходит, как упыриха, злющая, того гляди кидаться начнёт.

— Я, — сказала девушка и кивнула на своего спутника: — Вот на этого одежду бы сыскать. Глава приказал переодеть.

— Ишь ты! — Нурлиса окинула пленника цепким взглядом: — Экий лось!

Лесана открыла было рот, объяснить про «лося», но тот опередил. Видать, соскучился молчать. Языком-то почесать он любил не меньше Нурлисиного:

— Я, бабулька, не лось. Я — волк.

Старая уперла руки в бока и осведомилась:

— Ты где тут бабульку унюхал, а, образина? Волк он. То-то я гляжу, ошейник на тебе

собачий. Будку-то сколотили уже? Али на подстилке в углу спишь?

Лесана стиснула оборотня за плечо — удержать, если вдруг от злости рассудком помутится да кинется на сварливую каргу, но этот гордец опять удивил. Расхохотался:

— Экая ты, старушонка, злоязыкая! Поди, в молодости красавицей была?

Нурлиса опешила и насторожилась:

— Чего это красавицей? — недоверчиво спросила она.

— А красивые девки всегда злые и заносчивые, потому к старости, как ты, сварливыми делаются, — оборотень повернулся к Лесане и сказал: — Смотри, оглянуться не успеешь, такой же станешь.

Девушка раскрыла рот, осадить его, но не нашлась, что сказать, а Нурлиса сквозь смехок прокрипела:

— Лесанка, а он ведь тебя только что красавицей назвал. Ну и хлыщ. Ладно. Дам тебе порты. За то, что языкастый такой.

Лют опять рассмеялся:

— Что ж только порты-то?

— На рубаху не наболтал, — отрезала бабка. — Вот дров наколешь, будет тебе и смена. А пока свою ветошь прополощешь, да взденешь. Ничего, крепкая ещё. И иди, иди отседова, псиной воняешь!

Сунув в руки Люту штаны и свежие обмотки, карга вытолкала его в три шеи, но за шаг до двери удержала Лесану и шепнула:

— Правду ты сказала, эх, и треплив...

Из уст Нурлисы это прозвучало, как похвала.

В раздевальне, куда Лесана привела пленника, никого, по счастью, не оказалось. Лют тут же стянул через голову рубаху, взялся разуваться, а девушка поглядела на болтающийся на его шее науз. Да уж... нарочно ведь кто-то такое удумал — на волка ошейник нацепить. Сняли, видать, на псарне с какой-то собаки. Затянули не туго, но железную скобу для шлеи оставили, то ли не заметив, то ли, наоборот, с намеком. Для острастки.

Казалось бы, Люту, с его гордостью, да при таком-то «украшении» держаться надо надменно и заносчиво, пытаясь сохранить хоть остатки достоинства, но пленник был беспечен и будто не злился на своё унижение и обережников.

— Ты со мной и в мыльню пойдешь? — ухмыльнулся волколак, распутывая завязки штанов. — Я уж даже мечтать не смел.

Обережница смерила его угрюмым взглядом:

— Даю четверть оборота.

Он пожал плечами. Девушка вышла.

Когда, спустя условленное время, она заглянула в раздевальню, там было пусто. Выругавшись про себя, Лесана шагнула в душную и тёмную помывочную залу. Лют лежал, вытянувшись на скамье, и дрых, уткнувшись лицом в скрещенные руки. Только патлы мокрые до пола свисали. Вот же! Ну, будет тебе... Обережница неслышно прокралась по сырому полу к лоханке с холодной водой, подхватила её и с размаху окатила оборотня. Ох, как он подпрыгнул! Будто не колодезной обдали, а крутым кипятком. Любо-дорого поглядеть.

— Тьфу! Вот ведь злобная девка! — отфыркивался Лют. — Вот, есть же ведьмы!

— Одевайся. Быстро. Иначе вместо каморки отведу обратно в каземат и на цепь там пристегну, — сказала Лесана и вышла вон.

— Да иду я, иду, заноза!

Волколак похрамал следом. В раздевальне девушка села в сторонку, давая ему одеться. Мужчина неторопливо вздел порты, повязал чистые обмотки, обулся, постиранную отжатую рубаху закинул на плечо.

— Веди, чего расселась? — сказал он, будто обережница должна была сразу же броситься к выходу.

— Шагай. Разговорчивый больно.

Девушка в душе жестоко досадовала, что Хранители обделили её острым языком и она не находилась, что ответить Люту. Получалось обидно — последнее слово всегда оставалось за этим трепачом, а Лесана словно щелбан очередной получала. Но ведь и если взгреть наглеца, никакого облегчения не получишь. Да и он сразу поймет, сколь сильно её ранят едкие речи.

От этих мыслей ещё пуще захотелось врезать болтуну так, чтобы повывлетали все зубы. Но ведь это неправильно, поскольку от беспомощности. Пленник-то от злоязычия не терялся. Вон, Нурлиса, как словами отстегала, а он и не поморщился. Посмеялся только. Отчего у Лесаны этак не получается? Отчего любой укол жалит до слез? Вот и приходилось идти, хмуриться, делать вид, будто плевать. Но на душе так горько было!

По счастью, каморка, которую Клесх распорядился выделить пленнику, оказалась неподалеку. Обережница отодвинула засов и распахнула низенькую дверь.

Кут был крохотным — несколько шагов в длину и ширину. Но чего Люту ещё надо? Стол, да старая скрипучая лавка с соломенным тюфяком поверх.

— Ну и хоромы... — насмешливо протянул пленник, бросая на стол сырую рубаху. — Но хоть тепло и лёжка есть.

И он сразу же брыкнулся на ложе.

— Ну, давай, дверь заговаривай да иди. Спать хочу.

Вот как у него так получается, а? Будто это он тут приказывает, будто не полонянин даже! Лесану снова взяла злая досада. Что за день сегодня? Сперва проснулась, не поняла, куда Руська утёк ни свет, ни заря, затем встретила одного из молодых выучей Лаштовых, который, кругля глаза, поведал о мальчонке, приведенном Донатосом в мертвецкую. От гнева даже разум помутился. Потом Клесх, будто плюх навешал. Теперь скотина эта вонючая над ней изгаляется!

— В серьёзных беседах, Лесана, — вдруг негромко сказал со своей лавки Лют, — нельзя горячиться. Огонь только в сердце гореть должен, а разум в холоде надо держать. Ты же, когда злишься, об этом забываешь. А ещё никогда не обличай наскоком. Если обвинять берёшься — храни спокойствие. Крикунов не слышат.

— Поговори ещё, псина облезлая! — огрызнулась Лесана и захлопнула дверь.

Она задвинула засов с такой злостью, словно это он был виноват во всех её горестях.

А Лют лежал на тюфяке и улыбался в темноту. Он был доволен.

Донатос вошёл в жарко натопленную лекарскую и отыскал глазами Русту. Тот отчитывал двоих старших выучей, неловко переминавшихся с ноги на ногу. Светла, на диво смиренная, сидела в стороне на лавке да перебирала обтрёпанные концы своего опояска.

— Вас обоих высечь надо, как подлетков! Последний год учатся, а ума не прибавило за столько лет, — лютовал крефф целителей.

Парни угрюмо молчали.

Колдун переждал, пока наставник закончит распекать провинившихся и лишь после этого спросил:

— Ну? Чего с ней? — и кивнул на скаженную, которая счастливо ему улыбнулась.

— Да нет — ничего! — сварливо отозвался Руста. — Я вот этого дуболома отправил её поглядеть, а он дружка позвал, и они вдвоем девку твою сюда приволокли.

Целитель кивнул на одного из ребят, который стоял, сжав губы в тонкую линию и молчал, не пытаясь оправдаться.

— Вместо того чтобы делом заниматься, решили вокруг дуры хороводы водить. То ли беда, что у нас в обозе, который нынче пришел, три человека от сухотной погибают? Нет, мы Светле примочки на здоровую голову ставим.

Парни искоса переглянулись, но промолчали.

— Что значит «на здоровую»? — не понял Донатос.

Колдун шагнул к Светле, положил ладонь ей на лоб и поглядел на выучей.

— Она ж, как из пекла, полыхала.

Руста дернул плечом:

— А ныне полыхает?

— Нет... — удивлённо ответил наузник, глядя на свою подопечную.

— Ну, а коли нет, какого Встрешника её примочками пользоваться? Дел других мало?

Донатос повернулся к выучам:

— Был жар у неё?

Один из ребят угрюмо кивнул:

— Ещё какой! А пока сюда притащили, пока настойку варил, она отживела. Вон, сидит, ногами болтает...

— Ты сколько уже на выучке? — рассердился Руста. — Если жара нет, чего вы тут вдвоем топчетесь вокруг здоровой?

Крефф был зол не на шутку.

— погоди, Руста, — Донатос внимательно посмотрел в разноцветные глаза девушки. — Это я приказал, чтобы её со всем тщанием оглядели. И правда полыхала девка.

— Вон отсюда, — сверкнул глазами на выучей Руста.

Послушники исчезли раньше, чем он успел договорить.

— Донатос, — целитель повернулся к колдуну, — ты ж не дите малое, вон, голова, почитай, вся седая. Ты или не знаешь, отчего у девок иной раз хвори случаются? Ну, сам же видишь — здоровая. Да и я её оглядел уж всю. Может, у неё пора лунная подошла занемочь? А, может, просто истомилась в четырех стенах. Она уж которую седмицу у тебя носа из крепости не кажет. Вся прозрачная, как навь. Собаку и ту с цепи иногда спускают — побегать. Ты б хоть погулять её выводил.

Колдун в сердцах махнул рукой:

— Вот ведь наказанье! Что мне жалко её выпустить? Да на все четыре стороны. Только без меня нейдёт. А самому когда?

И он с досадой посмотрел на дурочку, во взоре которой светилось слепое обожание.

— Так чего ж ты хочешь тогда? — развел руками целитель. — Этак кто угодно зачахнет.

Обережник в ответ покачал головой и кивнул девушке:

— Идём. Ишь, расселась.

Светла заторопилась. Всунула ноги в валеные сапожки, накинула тулупчик, обмотала кудлатую голову платком и спросила с надеждой:

— Гулять?

Донатос про себя вздохнул. Какое «гулять»? Ему бы доползти до покоя, уткнуться мордой в сенник и выспаться...

— Иди уже, — подтолкнул он дурёху. — Всю душу вымотала.

— Родненький, устал? — на крыльце Башни целителей блаженная обернулась к спутнику и сострадательно коснулась плеча. — Идём, ляжешь, отдохнёшь. Я тебе похлёбки с поварни принесу...

Он глядел на неё, на то, как она суежилась, как светилась от счастья, что может быть полезна, может ухаживать за ним... Вот создадут же Хранители бестолочь такую!

— Не надо мне похлёбки. В лес идём. Гулять, — обережник с трудом вытаскивал из себя слова. — А то, правда, загнёшься, скажут — уморил.

Нет, он бы не сожалел, случись дуре и впрямь загнуться, но ведь, стрясись чего с этой малахольной, как бы Клесх не насторожился, не передал Русая другому креффу. Ещё попустится уговорами Лесаны и отдаст парня, кому помягче. Да той же Бьерге! Она — баба, к тому же в тех самых летах, когда всякий делается жалостливым да мягким.

— Гулять? — Дурочка забежала вперёд, заглянула в глаза спутнику, стараясь угадать — не насмехается ли? — Прям так-таки гулять?

— Прям да. — Он пропустил её вперед, почти вытаскивая за ворота крепости. — Ну. Гуляй.

Девушка обернулась, смерила креффа удивлённым взглядом:

— Как?

Он рассердился:

— А я почему знаю, как тебе гулять надо? Туда сходи или вон туда. От меня отстань только.

Светла тут же заплакала:

— Родненький, ты почто же меня гонишь? Куда же я туда пойду? Там ведь снегу по колена! Да и холодно! Идём домой, родненький, — и потянула его, дурища, обратно в Цитадель.

Но Донатос не дался. Схватил скаженную за плечо, подогнал пинком и направил в сторону леса.

— Пока три раза вокруг крепости не обойдешь, никакого дома. Иди. Я тут посижу, — он устроился на старом выворотне. — Ступай, ступай. Там, вон, белки. На них поглядишь. Может, ещё чего забавного увидишь.

Блаженная упёрлась:

— Одна не пойду. А ежели волк?

Колдун вздохнул. Да, о волках-то он не подумал. Да и зачем ей три круга вокруг

крепости давать и, правда, в снегу увязнет... Ну вот что с ней делать?

— Ладно, идём до каменоломен. Там тропинка натоптанная. Тудаходим, обратновернемся, как раз нагуляешься.

Девушка радостно кивнула и взяла спутника за руку.

Зимний лес был молчалив. Снег под ногами скрипел. Шумели деревья. День стоял не самый погожий — ветер нес с закатной стороны тяжелые тучи. К ночи быть метели...

Когда впереди показался старый лог, колдун собрался повернуть назад, но Светла удержала его.

— Что? — Донатос очнулся от своих размышлений.

— Свет ты мой ясный, — позвала девушка и посмотрела на бережника переливчатыми глазами. — Когда умру, хоть вспоминать будешь?

Крефф замер, глядя в безумные очи.

— Я тебя для того тут выгуливаю, чтоб померла? — строго спросил он.

Сказанная грустно улыбнулась и коснулась его щеки кончиками тёплых пальцев:

— Всякому свой срок отмерян. Однажды придётся прощаться, — её голос был тих и серьезен. — Хоть вспомнишь меня, глупую, иной раз? Или забудешь тотчас же?

Колдун смотрел на девушку и будто снова не видел в чертах её лица и во взгляде привычного безумия, не слышал в голосе беспокойства.

— Да ты, никак, к Хранителям собралась? — спросил бережник.

Она склонила голову на бок и улыбнулась:

— Нет, свет мой. Но ведь однажды придётся.

Донатос усмехнулся:

— Однажды всем придётся.

Сказанная вдруг прижалась к нему, сдавила в объятиях и прошептала:

— Нет-нет, как же я тебя оставлю-то? На кого брошу? Ты же ведь и поесть забываешь. А не озяб ли? Ещё расхвораешься...

Крефф с трудом высвободился из кольца неожиданно сильных рук.

— Обратно идём, — сказал он, с усталостью понимая, что короткое просветление, случившееся в скудном уме дурочки, завершилось.

— Ты вот не любишь меня, — меж тем лопотала блаженная, — а зря. Зря не любишь. Я же ведь тебе добра одного желаю. А ты всё гневаешься, всё ругаешь меня...

Она щебетала и щебетала, а он равнодушно шагал рядом, уносясь мыслями далеко-далеко: надо отыскать Русая и всыпать паршивцу, чтобы больше не вздумал убежать от креффа без позволения. Потом надо дуру на поварню отвести, чтобы накормили, да попросить меда, пусть ест, а то и правда, вся синяя, будто на непосильной работе ломается...

— ...женишься на мне, тогда уж... — вырвал бережника из раздумий голос сказанной.

— Чего? — Донатос даже споткнулся. — Чего сделаю?

Дурочка глядела на него радостно:

— Женишься!

— А-а-а... — протянул крефф. — И когда?

Она счастливо улыбнулась:

— Так по осени. По осени свадьбы-то играют.

— И правда... — мужчина пошел дальше. — Глупость спросил.

Сказанная устремилась следом:

— Так вот женишься когда... — продолжала она. — Там уж я...

— Светла, — вновь остановился Донатос, которому неожиданно стало весело: — Как я на тебе женюсь? Я крефф — у нас семей нет. Да и старше насколько. Ты мне в дочери годишься. Ну и дура ты ещё. Это тоже, с какой стороны не взгляни — причина.

Девушка нахмурилась:

— Тебя, родной, послушать, так во мне вовсе ничего хорошего нет.

Обережник искренне рассмеялся:

— А чего ж в тебе хорошего?

Она замолчала. Открыла и закрыла рот, не найдясь, что ответить, потом рвано вздохнула, моргнула, брови надломились, губы искривились и из разноцветных глаз полились слезы. Они катились градом по щекам, застывая на морозе.

Выгулял дуру. Тьфу.

— Хватит, — крефф вытер блаженной лицо. — Хватит, я сказал.

Но она все всхлипывала и всхлипывала, брела рядом, спотыкалась, сопела, хлюпала носом и никак не могла успокоиться. Она плакала, когда они шли через двор, плакала, пока поднимались по всходам на четвертый ярус, пока раздевалась в покойчике... А потом легла ничком на свою лавку и разрыдалась так безутешно, что Донатос почёл за лучшее уйти, нежели слушать эти тяжкие стенания.

Он спустился в мертвецкую, подцепил в коридоре за ухо невесть откуда появившегося Руську и отправил к Светле — приглядеть. Когда через несколько оборотов мальчонок вернулся с известием о том, что скаженная мечется в бреду, Донатос даже не удивился.

Очищенная луковица упала в миску с водой. Плюх!

Клёна вытерла локтем слезящиеся глаза, повернулась к Нелюбе и сказала:

— Да прям так он тебя и пустит!

Спор между подружками тянулся уже две миски репы и миску лука. Девушки чистили овощи и едва не оборот препирались о том, пустят ли их выучи, стоящие на страже каземата, поглядеть на кровососа, томившегося в одной из клеток.

— А я попрошу! — с жаром говорила девушка. — Ильгар там нынче, он парень незлобивый!

Цвета рассмеялась:

— Да уж, Ильгар только и ждёт, когда ты придёшь попросишь. И уж вовсе не кровососа казать будет.

Девушки прыснули, а Нелюба залилась жаркой краской.

— Сходи, сходи. Он давно, небось, тебя дожидается. Там в казематах кутов темных мно-о-ого, — продолжала насмешничать Цвета. — А Ильгар парень видный, можно и не краснеть.

После этих слов смеялись уже в три голоса.

— Они там, вроде, по двое стражу несут, — задыхаясь, вымолвила Клёна. — Не иначе, Цвета, и тебе идти придётся.

— Да ну вас! — топнула ногой Нелюба. — Трусихи! А я бы вот сходила, поглядела. Чего его бояться, он же...

— ...лицом пригожий такой, — перебила Клёна и девушки снова закатились хохотом.

— Да не Ильгар! Вот же заладили! Я про кровососа вам! Чего его бояться? Он в темнице заперт и весь в наузах. А поглядеть-то, страсть как любопытно!

Цвета хихикнула:

— Так и скажи, по Ильгару сердце истомилось. Поверю я, что ты на кровососа идешь любоваться.

Подружка снова залилась румянцем, однако отступить не подумала:

— Ну, давайте сходим? Коли я одна пойду — стыдоба ведь. А ежели втроем, может, пустят?

Девушки переглянулись.

— Не пустят, — убежденно сказала Цвета. — Нипочем не пустят. Но... сходить-то и впрямь можно. Давайте, как стемнеет?

...Ночь принесла с собой снегопад. Мороз стоял уже не такой трескучий. Клёна смотрела в отволоченное окно на медленно падающие снежинки, куталась в шаль и досадовала сама на себя — зачем согласилась идти с подругами? Мало страху натерпелась летом, на дереве сидючи?

Снова разболелась голова, захотелось лечь на лавку, свернуться калачиком и ни о чем не думать. Подступала к горлу привычная уже тоска. Ну, Цвета с Нелюбой, ладно — их любопытство гонит, а пуще прочего красивые статные парни, которых они хотят уговорить показать казематы. А ей — Клёне — зачем с ними идти?

Однако заставила себя. Обулась, набросила на плечи шерстяную накидку. Едва закончила собираться — в дверь поскреблись.

— Ну, долго ты? — глаза подружек горели от возбуждения.

Нелюба сжимала в руках светец.

— Так уж оделась.

Девушки двинулись в сторону лестницы.

— Не заплутать бы, — громким шепотом сказала через плечо Цвета. — А то будем до утра ходить...

— Не будем, я слышала, как Матрела службе новому объясняла, где в казематы спускаться, — ответила Нелюба и махнула рукой.

Они отправились дальше. Миновали несколько коридоров, один переход, потом спустились на нижний ярус, где располагались мыльни.

Клёна шла последней, и с каждым шагом ей отчего-то становилось всё страшнее:

— Нелюба, Цвета, — жалобно позвала она подруг. — Давайте не пойдём...

Девушки оглянулись.

— Ты что? Забоялась? — с пониманием спросила Цвета. — Да ведь мы ничего запретного не делаем.

Как сказать. А, если Клесх узнает, куда падчерица ходила? Вряд ли возрадуется и уж точно не похвалит. А при мысли о том, что там, в крошечной темноте, спрятанные всего за несколькими дверьми, сидят Ходящие...

Ноги подкосились.

— Нелюба, Цвета! — снова взмолилась Клёна. — Ведь и нам, и парням нагорит. Нас-то только поругают, а их высекут. Пойдёмте обратно! Лучше на пряже погадаем или на лучинке, или просто пошепчемся...

Подруги переглянулись. И Клёна с опозданием заметила, что обе от нетерпения едва не подпрыгивают. Конечно, парни их не пустят в казематы, конечно, велят уходить, но ведь не ради кровососа Нелюба с Цветой переплели косы и не от страха так рдели их щёки.

— Ступайте одни, а я лучше спать пойду, — стараясь ничем не выдать досады и обиды, сказала Клёна.

Подруги даже отговаривать не стали. Только Нелюба спросила:

— Тебе, может, светец отдать? А то заплутаешь...

— Нет, — Клёна покачала головой. — Не заплутаю, а вам ещё вниз идти.

— Ладно, — легко согласилась девушка. — Мы тебе завтра всё расскажем.

С этими словами они развернулись и отправились дальше, а Клёна, чувствуя себя одинокой и покинутой, побрела в обратный путь.

Зря она не взяла светец. Видать, не туда свернула, прошла по душной непроглядной темноте, споткнулась о ступеньки короткого восхода, поднялась по нему, потом миновала узкий коридор и ещё один восход, который упёрся в невысокую дверь.

Девушка осторожно потянула створку на себя. В открывшуюся щель ветер забросил пригоршню снежинок. Уф... Лучше уж снаружи пройти, чем по подвалам скитаться.

Клёна запахнула накидку и вышла на тёмный крохотный дворик.

Тук! Кха-а-ась!

— Ой... — девушка испуганно отступила, потому что отлетевшее полено едва не приземлилось ей на ногу.

И лишь после этого Клёна разглядела сквозь паволоку снежинок мужчину, коловшего дрова. Он как раз разогнулся и теперь смотрел в её сторону.

— Ты не знаешь, как выйти на верхние ярусы? — спросила девушка. — Я заплутала...

Мужчина одним ударом вогнал топор в чурбак, на котором колол дрова, вытер лоб, и ответил:

— Отсюда не выйдешь. Это внутренний двор, тут только дровяник. Ступай назад, мимо мылен пройдешь, повернешь налево и по восходу такому длинному поднимешься как раз на первый ярус. Дальше сама разберешься.

Она кивнула:

— Спасибо. А... не проводишь меня? — по чести сказать, плутать впотьмах было страшно.

— Нет. Работаю. Видишь, куча какая, — он кивнул на березовые чурки. — А ещё сложить надо.

Девушка посмотрела туда, куда он указывал, и лишь теперь заприметила возле стены сложенную вкривь и вкось нескладную поленницу.

— Батюшки! — Клёна рассмеялась. — Это что ж такое?

Мужчина посмотрел, куда она указывала, и пожал плечами:

— Что, что. Дрова. Не видишь как будто.

Девушка прыснула.

— Это кто ж такую страсть сложил? Ты?

Он подобрал с земли разлетевшиеся поленца и понёс их к кладке, неловко припадая на правую ногу.

— Я, а кто же ещё? Плохо?

Он оглядел дело своих рук, словно не понимая, что с ним не так.

— Тебя разве не учили дрова складывать? — удивилась Клёна. — Давай, покажу.

Дровяник был — страх что такое. Чуть пальцем ткни, весь развалится. Клёна быстро разбросала поленья.

— Гляди, по бокам вот так, решеткой их укладываешь, чтобы держались, а середку вот эдак — сперва острым кверху, а новый ряд — острым книзу. Тогда не рассыплется. Понял?

Он кивнул:

— Понял, — и с улыбкой протянул ей полено. — У тебя хорошо получается.

Клёна рассмеялась. Каков хитрец!

Но обратно в свой покой идти не хотелось, а тут — живая душа. Хоть поговорить. Да и дрова она уже давно не складывала...

С неба, медленно кружа, падал снег. На маленьком дворике было темно и тихо.

— А ты что же не спишь? — спросила девушка, укладывая новый рядок. — Наказали что ли?

Мужчина ответил:

— Наказали. Меня Лютом звать.

— Меня Клёной, — просто сказала она, продолжая принимать у него поленья.

— А куда же ты, Клёна, шла на ночь глядя, что заблудилась?

Девушка вздохнула:

— Хотела с подружками в каземат спуститься, на кровососа живого поглядеть, но испугалась.

Лют присвистнул:

— Кто ж тебя пустит на него смотреть. Да и на кой он тебе сдался?

Собеседница пожала плечами:

— Любопытно... А ты не озяб?

На мужчине была только короткая шерстяная безрукавка поверх рубахи, да холщовые штаны.

— Нет. Работаю ведь.

— За что ж тебя наказали? — Клёна опустила передохнуть на стоящий рядом с поленницей чурбан.

— Да язык, говорят, длинный, — хмыкнул Лют и тут же пояснил: — Не наказали меня. Просто дрова колоть для мылен приставили. А ты что же — уйдешь сейчас?

Она покачала головой. Зимняя ночь была чудо как хороша. Чёрное небо, белый снег, громада Цитадели, возносящаяся во тьму... Дыхание вырывалось изо рта белым паром, а на вдохе казалось, будто легкий морозец укрощает страдание, заставляет головную боль отступить.

— Тогда расскажи что-нибудь... — предложил Лют. — А то мне одному тошно.

— Что рассказать? — не поняла она.

— Ну, хотя бы, откуда девицы такие красивые в Цитадели берутся, — мужчина снова взялся за топор. — Ты говори, говори, а я пока рубить буду.

Клёна улыбнулась:

— К отцу приехала. У нас деревню волколаки разорили. Я одна спаслась...

Он замер и повернулся к ней, облокотившись о топор:

— Как?

— Ночью ворвались. Я в погребницу спряталась, а на другой день на дерево забралась...

Мужчина смотрел на неё с удивлением, а потом вдруг рассмеялся.

— На дерево?

— Да, — растерянно кивнула она, не понимая, что его так развеселило. — А чего ты смеешься?

— Смекалке твоей удивился, — ответил собеседник. — Я б не догадался. На дерево...

Клёна не разделила его веселья, только судорожно вздохнула, вспомнив то, что довелось пережить.

— Ну... — теплая ладонь опустилась ей на плечо. — Что ты? Обидел?

Она покачала головой.

— Или озябла? — продолжал допытываться Лют. — Знаешь, ты иди. Мне ещё, вон, сколько работы. До утра не переделать. А ты в одной накидке. Даже рукавичек нет.

Он накрыл её окоченевшие ладони своими — шершавыми и горячими.

— Расхвораетесь ещё... Ступай, ступай.

Девушке отчего-то расхотелось уходить, она посмотрела на мужчину:

— А ты завтра здесь будешь?

— Куда ж я денусь, — вздохнул он и вдруг спросил: — Ты придёшь? Только оденься потеплее. И рукавички захвати. А то руки занозишь.

Против воли Клёна рассмеялась. Эх и ушлый!

— Не приду, — сказала она.

Он вздохнул:

— Жаль. Ну, ты запомнила? Мимо мылен, потом налево и по всходу на первый ярус.

Девушка кивнула. Она ушла, не оглядываясь, но затылком чувствовала — он смотрит ей в спину. Почему-то от этого стало теплее на душе.

Лесана куда-то уехала. Клесх целые дни проводил в покое Главы. Цитадель жила своей обычной жизнью: камень, холод, строгость. На поварне было скучно. Нелюба и Цвета после недавнего свидания с парнями в казематах ходили неразговорчивые и виноватые. Клёна едва дозналась, что случилось. Оказалось, обережники и слушать не стали нарядных девок. А Ильгар так напустился на Нелюбу, что та всю ночь проплакала у подружки на плече.

— Говорит, мол, чего пришли? Утра вам мало? Грозился за ухо из подземелья вывести и Главе на руки передать, чтобы вразумил, — гнусавым голосом жаловалась девушка.

Цвета стыдливо прятала глаза...

— Да чтобы я в его сторону ещё хоть раз поглядела? Да не дождется, упырь проклятуший! — в своём гневе Нелюба забыла, что Ильгар вовсе не звал её миловаться.

Клёна только утешала несчастную и вспоминала про себя Люта. Он её не прогнал. Хотя... Лют ведь не послушник. Одежу-то он носил самую обыкновенную, стало быть, простой служка, что ему её ругать?

А Нелюба с Цветой в своей обиде даже не спросили подругу, как она дошла до своего покоя в кромешной-то темноте. Ну и ладно. Нелегко девкам пришлось. Крались на свидание, а уши, словно хворостиной отстёганные. Обидно ведь!

Но про себя Клёна решила, что к Люту нынче не пойдёт. Ну его. Кто знает, может, приветит ещё хуже, чем Ильгар Нелюбу? А и рад будет, так нечего баловать. Решит ещё, что влюбилась. А она не влюбилась. Вот и нет! Просто... хотелось хоть с кем-то поговорить. Не слушать про парней, не вспоминать разоренную деревню, не думать о маме и брате. Лишь разговаривать, хоть о чём. И чтобы не объяснять ничего, не слушать утешений и жалобных всхлипываний. А то и пуще того. Забыть все. Навеки. Будто не было в жизни ни Луцан, ни Вестимцев, ни Фебра, ни отчима... никого. Стать бы деревом. Да. Деревом. Как та сосна, которая укрывала от Ходящих. Стоять, качаясь под ветром, расправив могучие ветви и ничего не бояться, ни о чем не горевать.

Нет. Не пойдёт она больше к Люту. Парни чёрствые, что камни.

Вон, Ильгар, вроде как подмигивал Нелюбе, вроде поглядывал. А пришла девка — напустился, как на Ходящую. И не подумал, какой храбрости ей стоило на нижние ярусы спуститься.

Или взять хоть Фебра?

Однако при воспоминании о старградском сторожевике Клёне сделалось так горько, так тошно и стыдно, что уши запыльхали. Поэтому завершив хлопоты на поварне, она вернулась в свой покойчик, заперлась и села прясть. Только бы не видеть никого. Не думать ни о чем. Почему не говорила мама, как тяжело становится взрослой?

Тянулась шерстяная ниточка, крутилось веретено, выл за окном ветер, в очаге потрескивали поленья. Не пойдёт она больше к Люту. И ни к кому не пойдёт...

Много люди сами себе дают зарок. Много и часто. А сдерживают далеко не все. Так и Клёна, переборов приступ острой тоски, к вечеру следующего дня заскучала. Подруги позвали гадать на лучинке и шерстяных нитках. И, правда, почему нет?

Собрались у Клёны в каморке — принесли с поварни плоское блюдо, ковш воды, набрали обрезков нитей, которые спряли сами.

— На что гадать-то будем? — шёпотом, замирая от сладкой жути, спросила Цвета. —

На близкое или на далекое?

— На близкое, — так же шёпотом ответила Клёна. — О далеком чего гадать? Когда оно ещё наступит.

— А о близком чего? А то мы не знаем, что завтра снова будем котлы чистить да лук резать.

Девушки задумались.

— Ну, давайте на далёкое, — сказала с сомнением Клёна и взялась завязывать узелком обрывки ниток.

Некоторое время подружки молчали, каждая выплетая свою судьбу.

— На женихов гадаем-то? Или на судьбу?

— На женихов! — решительно ответила Нелюба, одним махом отсекая всё остальное. — Какая судьба без жениха, верно?

Девушки кивнули.

Первой подошла к своей плетенке Цвета. Держала, сколько сил хватило терпеть огонек, обжигающий пальцы, и скороговоркой шептала слова гадательного наговора: «Гори-гори нить. Сама тебя сучила, сама тебя пряла. Сама тебя сплетала, сама тебя сожгла. Гори-прогори, что не знаю — яви», потом бросила пылающую плетёнку в блюдо, а Нелюба тут же подставила светец так, чтобы видеть тень.

— Ой, гляньте-ка, девоньки! — тихо взвизгнула Цвета. — Гляньте, чудище какое с рогами!

На тени и впрямь вышла голова не то быка, не то тура.

Девушки ахнули, разглядывая страшилище, а потом одна из прогоревших нитей осыпалась и, вместо турьей головы, тень превратилась в человечка, сжимающего в руке хворостину.

Клёна прыснула:

— Гляди, Цвета, будет муж тебя хворостиной воспитывать.

Подружка рассмеялась:

— Может, пастух какой?

— Может...

Ещё покрутили блюдо, но так ничего толкового и не разглядели, поэтому стряхнули прогоревшие нитки в ковш с водой. Следующей плетёнку жгла Нелюба.

У Нелюбы на тени вышло и вовсе чудное — не то дом, не то башня. Крутили-крутили блюдо то так, то эдак, но все одно — не поняли, чего значит.

Клёна, чтобы не получилось, как у Нелюбы, связала ниток побольше и узелков-петелек наплела затейливых. Шерсть вспыхнула радостно, затрещала, а когда к почерневшему комочку поднесли лучину и глянули на тень, то ахнули в три голоса, потому что на щербатой каменной стене, подрагивая в свете лучинки, отразилась ощеренная волчья голова.

— Ой! — пискнула от ужаса Цвета и вцепилась в руку подруге.

Клёна, державшая блюдо, вздрогнула, сгоревшие нити распались, тень всколыхнулась, и волчья морда превратилась в человеческое лицо, но до чего уродливое!

— Стра-а-асть-то какая... — протянула замороженно Нелюба и тут же выхватила блюдо и смела нитки в ковш с водой. — Тьфу, вот же дуры, прости Хранители! Сами себя пугаем. Клёна, да ведь сегодня не Первоцветов день, чтобы всякому гаданию верить. Ты не пугайся. У меня вот, знаешь, сестра старшая с подругами гадала, так ей вышел мужик — в одной руке у него топор, а в другой голова девичья, за косу схваченная. Тоже вот перепугались, плакали,

а потом замуж она вышла в семью дружную и хорошую. Ничего не сбылось. А потому, что не на Первоцветов день гадали. Мне знахарка говорила, мол, на Первоцветов день Хранители тайны открывают, судьбу являют, а всё остальное — это Встрешник, мол, головы дурит.

Цвета согласно закивала. Однако сгоревшие нитки вместе с водой из ковшика девушки выплеснули в окно, а потом осенили его лучинкой, чтобы никакие злые силы не смогли сунуться на страх.

Они ещё посидели в обнимку на лавке, повспоминали всяческие истории про гадания, но только чтобы непременно с хорошим концом. Поговорили даже про Цветину бабу, которая нагадала себе мужика с горбом, а вышла замуж за сына мельника — ладного статного парня. Уже думала, Встрешник на Первоцветов день гадание подпакостил, но потом однажды увидела мужа, когда он, согнувшись в три погибели, мешок с мукой на спине до телеги нес... Вот уж потеха-то была.

Разошлись подружки, вдоволь насмеявшись и успокоившись. Но когда Клёна закрыла за девушками дверь и вновь бросила взгляд на стену, с которой всего оборот назад скалилось на неё чудовище, сделалось так страшно, что даже руки затряслись.

Поэтому, путаясь в рукавах полушубка, девушка оделась и вылетела со светцом прочь из коморки. А уж потом и сама не поняла, как оказалась перед дверью, ведущей на задний двор. И ведь не заплутала. Поставила светец в нишу на стене и сделала решительный шаг вперёд.

Когда она вышла в морозную ночь, мужчина, рубивший дрова, на миг замер и сказал, не оборачиваясь:

— А вчера не пришла.

Девушка удивилась:

— Как ты узнал, что это я?

— Так по шагам, — он повернулся. — Ты ступаешь легко, как летишь.

Она улыбнулась.

— Получается поленницу складывать? — и окинула взглядом дело его рук.

Дровяник заметно подрос, но был по-прежнему неровный и нескладный.

— Получается, — ответил Лют, поднимая со снега нарубленные полена. — Зря ты вчера побоялась прийти.

— Я не побоялась! — тут же обиделась Клёна.

— Да? — искренне удивился собеседник. — А что же не пришла?

Она растерялась. Что ему сказать? Захотела характер показать? Грустила? На весь мир обижалась?

— Я... не смогла.

— Жаль, — ответил он. — Вчера были такие звезды... Я хотел показать тебе лисицу. А сегодня, вон, облака опять.

— Какую лисицу? — не поняла Клёна, помогая ему собирать разлетевшиеся по всему двору поленья.

— Которая на небе. Ты ведь видела звезды?

Девушка укладывала дровяник, укрепляя по тем сторонам, где дрова были сложены неровно и криво.

— Видела. А причем тут лисица?

Он усмехнулся:

— Завтра придёшь — покажу. Завтра будет ясная ночь. Или опять испугаешься?

Девушка заносчиво вздернула подбородок:

— Чего это мне бояться?

Лют пожал плечами:

— Вот и я думаю — чего? А ты боишься. Или, погоди... — он на миг застыл, а потом расплылся в улыбке. — Да ты не меня боишься. Ты темноты боишься, верно?

И рассмеялся. А Клёна покраснела, словно её уличили в каком-то непотребстве.

— Все темноты бояться! — рассердилась она. — И нет в этом ничего смешного.

— Да как же, — он забрал у неё тяжёлую охапку поленьев. — Очень смешно. Ты ведь в Цитадели.

Она поджала губы:

— Зря я пришла.

Лют удивился:

— Я тебя опять обидел? Извини.

Он сказал это так легко и искренне, что досада слетела с Клёны, словно ветром её унесло. И то верно, что на него сердиться? Ведь прав.

— Почему ты работаешь ночами? — спросила девушка, уводя разговор в другую сторону.

— Днём народу много. А ночью тихо. Красиво. Ночью много интересного можно увидеть и услышать.

— Куда там... — уныло усмехнулась Клёна.

— Ты сегодня совсем грустная, — сказал Лют, усаживаясь на чурбак для колки дров. — Что случилось? Обидели?

Девушка вздохнула. И сказала правду. Лют не красовался, не пытался понравиться, говорил просто и искренне, не то что иные парни. И этим был неуловимо похож на Фебра.

— Не обидели. Мы нынче с подружками на суженого гадали. Нитки жгли и на тень глядели.

— Плохое привиделось? — с пониманием спросил собеседник.

Клёна кивнула, а он снова беспечно пожал плечами:

— Нашла из-за чего горевать, из-за сгоревших ниток.

— Там волчья морда была, — попыталась объяснить Клёна свой испуг: — Зубищи, как ножи, и щерилась страшно.

Лют покачал головой, словно сокрушаясь о том, какие все девки трусихи.

— Ну, если тебе волк не по сердцу, так и не ходи за него замуж, — просто заключил он. — Силком-то ведь никто не отдаст.

Отчего-то от этих его слов Клёне сделалось легче и спокойнее на душе. И, правда. Чего она так встревожилась? Вообще рядом с Лютом все становилось не таким страшным, как казалось. Будто тьма ночная отступала.

— А что ты всё лоб трёшь? — вдруг спросил мужчина. — Надьсь тёрла. И ныне. Болит что ли?

Она кивнула:

— Болит... я головой ударилась сильно.

— Где же тебя так угораздило? Упала?

Девушка вздохнула:

— И упала, и ударили... Когда на деревню оборотни напали, на меня волк кинулся. Хорошо кобель наперерез ему метнулся, он и спас.

Мужчина смотрел внимательно, потом поднялся, похромал к куче чурбаков, взял один и

сказал совсем пригорюнившейся Клёне:

— Поди, волку-то тому тоже досталось.

Об этом девушка не думала. А ведь, правда, оборотню, который на неё кинулся, могло перепасть от пса.

— Ступай, — негромко сказал Лют, заметив, как она, сама того не замечая, постукивает ногой об ногу, стоя в снегу. — У меня ещё работы много. А ты зябнешь. Нет, погоди. На вот.

И он нагнулся, пошарил возле поленницы, вытащил откуда-то охапку лучин:

— Держи. Я нарочно тебе наколол. А завтра приходи. Лисицу покажу.

Он не просил, не предлагал. Сказал и всё. Не было в голосе ни намека, ни обещания. Поэтому Клёна забрала лучины и ответила:

— Приду.

Бьерга крутила в руках погасшую трубку. Впервые в жизни острая на язык бережница не знала, что сказать. Радовало одно — вместе с ней не знали, что сказать и два других колдуна Цитадели: Лашта и Донатос. Сидели, глядели остановившимися взглядами в огонь, горящий в очаге, и молчали.

Тамир устроился в стороне от наставника и смотрел под ноги. Парня было жаль, потому что сейчас он более всего походил на виноватого первогодка, готовящегося отведать кнута. Бьерга в очередной раз удивилась, как удастся Донатосу так пестовать своих подлетков, что они сперва ненавидят его люто, а потом, как отца родного почитают. Вон, и Тамир не знает, куда спрятаться от стыда, что доверил Главе то, чего не доверил крефффу.

Клесх ходил по покою туда-сюда, угрюмо хмурясь. Нэд сидел за столом, постукивая пальцами по скобленным доскам, мрачный, как туча.

Да уж. Молодой Глава задал задачу. Огорошил.

— Ну, что молчите? — спросил, наконец, смотритель Цитадели. — Я не колдун. Мне предложить нечего. Жду, когда вы слово молвите. А уж чуть не треть оборота тишина. Донатос?

Наузник очнулся от размышлений, прожёл взглядом сидящего напротив выуча и ответил:

— Что сказать-то? Вот что? Любую навь упокоить надобно. Это тебе всяк подтвердит, не только я. Но как упокоить того, чьих костей по всей округе не собрать, а? Я не чудодей, чего ты ждешь?

Клесх нахмурился:

— Я жду решения. Или ты не понял, что у нас с одной стороны бережник, который Ходящих породил, навью бесприютной по болотам бродит. С другой — Серый с бешеной Стаей. А посеред ещё один мужик мается, тоже Осенённый, тоже неуспокоенный. Что делать с Серым я знаю. Убить и шкуру содрать, чтобы на ворота Цитадели прибить вместо украшения. А вот, что делать с двумя другими я хочу услышать от вас. И услышу. Бьерга, может, хоть ты слово обронишь?

Колдунья задумчиво потерла переносицу:

— Донатос прав. Нам не приходилось иметь дела с такой древней навью. Как её упокаивать — одни Хранители ведают. А самое главное, где искать-то? Ну, положим, Тамир этого... как его... Волынца на Встрепниковых Хлябях видел. Так ведь и видел недолго, тот исчез и ищи свищи. Как его выманить — не знаю. Ну, со вторым хоть что-то ясно — он, видать, на Ходящих тянется.

Лашта от этих слов оживился, вскинул голову:

— А ведь верно! Тамир первый раз его видел, когда девочку с собачкой встретил, а второй, когда оборотней в Невежи Лесана побила.

Донатос в ответ только покачал головой и спросил с привычной едкостью в голосе:

— Одному мне тут диковинным кажется, что выуч мой навь видит и говорить с ней умеет?

Обережники переглянулись:

— Не одному, — ответил за всех Нэд.

— Так, может, они и не на оборотней или там ещё что-то идут, а на моего дуболома?

Тамир хмуρο поглядел на наставника, но промолчал.

— Думаешь, на парня выманить удастся? — с сомнением спросил Нэд.

— Не к спеху нам их выманивать, — сказал Клесх. — Сейчас от Серого вреда куда больше, чем от нави. Но и забывать о них — не дело. Две души Осенённые маяются. Решать надо. Сегодня. Сейчас. Ну?

Колдуны опять переглянулись, ответил за всех Лашта:

— Глава, как быть и без того ясно. Мы же сказали — упокоить обоих. От смерти их беда на десятки поколений обрушилась. Да только неведомо никому — как это делать. Сколько крови пролить? Какой наговор твердить? А самое главное — к чему души привязать, коли останков нет?

— А если к человеку? — негромко спросил со своего места Тамир. — Если к человеку живому привязать, тогда как?

Донатос смерил выуча задумчивым взглядом и спросил:

— К живому человеку? Можно. Ненадолго.

Крефф колдунов задумался. Что ж, если Клесх хочет услышать решение. Пусть слушает:

— Если взять кого из выучей младших, с Даром послабее. Навь, она ведь к живому тянется, плоть ищет. Вот если выуча взять...

— Ты совсем очумел? — спросил Нэд.

Донатос хлопнул себя по колену:

— Глава сказал — решать надо, как быть. Я вам говорю, как быть. Чего не так?

— Кроме того, что ты предлагаешь двоих младших послушников убить? — холодно спросила Бьерга.

В ответ колдун зло выдохнул:

— Ты *другой* способ знаешь? Навь без плоти упокоить тяжко. Забыла? Иной раз трех-четырех колдунов надо, чтобы обычную душу отпустить. А тут две. Да ещё Осенённые, да ещё столько лет мыкающиеся. Тут хоть вся Цитадель досуха кровь из жил сцеди — не поможет. Пока единственное решение, какое мне известно — привязать мёртвые души к живым телам. И упокоить. Ежели тебе другое что известно, так говори. Я послушаю.

Клесх опять прошёлся туда-сюда, замер у окна и ответил:

— Выучей губить мы не станем. Их и без того мало. Да и не потянется такая сильная навь абы к кому. Вон, Тамир первый раз с Велешом в лесу был. Только Велеш — ни сном, ни духом, не гляди что старше да и отучился тогда побольше.

Все замолчали.

— В общем, решайте, — сказал Клесх. — Время покуда есть. Сперва с Серым разберёмся, а там уж с этими двумя. Вы же думайте, как это сделать.

— Глава, — негромко позвал Тамир. — Может, у нави-то и узнать, чего она маяется? Душа заблудшая ведь не просто так...

— Конечно, не просто так, — оборвал выученика Донатос. — Не упокоили их, потому и болтаются.

— Я не об том, — молодой обережник покачал головой. — Ведь, поди, не без причины они скитаются и упокоения не находят. За каждым — вина горькая. У одного стыд, у другого — отчаяние. Что если это их и держит?

Бьерга было кивнула, соглашаясь, но потом спросила с усмешкой:

— Вот только как нам этих двоих отыскать и хоть что-то выведать, если кроме тебя их никто не видит и не слышит? Отправить одного по лесам блуждать?

Колдуны опять замолчали. Хмурый и грозный сидел за столом Нэд. Озадаченно смотрел в пустоту Лашга, угрюмо размышлял о сказанном Донатос, Бьрга по-прежнему вертела в руках трубку.

— Думайте, — подвел черту Клесх. — У нас тут не молельня — охать, ахать и на чудо надеяться. Сроку вам — до таяльника. Потом с каждого спрошу. Не взыщите.

Белян лежал, уткнувшись лбом в войлок, застилающий топчан. Лучина в светце, который ему оставили, давно прогорела. Пленник мог бы подняться и зажечь другую, но не хотел. Нынче он весь день ходил туда-сюда по своему узилищу: вперед, назад, вперед, назад. От лучинки в глазах рябило и начиналось головокружение. Поэтому, когда она погасла, пленник был только рад. В темноте он видел ничуть не хуже, чем при свете. Даже как-то уютнее стало.

Узника снедало беспокойство. Необъяснимое волнение глодало изнутри. Перед глазами мелькали смутные расплывчатые образы, доносились отголоски разговоров, смысла которых он не успевал уловить...

Тошнота подступала к горлу, язык казался шершавым и распухшим, будто не умещался в пересохшем рту. Взялись болеть десны. Пульсировали, зудели... Тело словно распирало изнутри от жара, который искал выхода, но, не находя, отзывался тревогой в душе и болью в костях.

Несколько раз Белян прикладывался к кувшину с водой, но никак не мог напиться. Жажда становилась лишь сильнее, а изнутри встряхивала, подбрасывала крупная дрожь, не давала усидеть на месте. Каменные стены и потолок давили на плечи, усиливали беспокойство и смутную тоску.

Что он тут делает? Почему? Этот запах... плесени, камня, сырости, прелости. До чего душно! Воздух стал густым и вязким. Вдыхаешь его, вдыхаешь, а он будто не проливается в горло, застревает комками. О, как же зубы болят! Челюсти сводит. И в висках: «Тук-тук-тук...»

Жизнь у него... хотя, разве можно *это* жизнью назвать? Кого он обманывает? Тот, кто родился подъяремной скотиной, никогда не станет вольным зверем. Не сумеет. Хоть сотню свобод дай ему, будет бояться, обмирать, искать хозяина, который защитит, не даст в обиду. Да. Исчезнут Охотники, будет татей бояться, исчезнут тати, испугается хищника в чаще. Трус всегда останется трусом. А он — Белян — трус. Чего уж греха таить.

Он видел, как на него смотрели — брезгливо и с жалостью. Все. Не только Охотники, даже вожак, обративший его и ставший вместо отца, жалел потом, что связался с парнем, который всех боялся: людей, Охотников, диких... Думал, его разочарование незаметно. Но, увы, от Беяна оно не ускользало.

Юноша понимал. Все понимал. Но разве себя переломишь? В Стае с ним считались только потому, что он их кормил. В Цитадели не считались вовсе — здесь к нему относились, как к таракану.

Но большее, обиднее всего было то, что эту его трусость принимали как должное, будто не мог он быть иным, будто родился вот таким ущербным — порожним сосудом, в который Хранители забыли вложить самое главное — человеческое достоинство.

И даже Славен, которого Белян предал, которого лишил дома и спокойной жизни, так вот, Славен, узнав, *кто* привел к нему Охотников, не устыдил его, не взялся укорять, лишь вздохнул и сказал: «Эх, горе ты, горе...»

От этой жалости, от незаслуженного сострадания Беяну сделалось ещё гаже, чем могло бы быть, возмись, мужчина его обвинять. Выходит, такой он — Белян — выблевок, что ни гнева, ни ненависти не заслуживает за свой поступок? Только сочувствие?

А потом Глава заставил его пригубить крови Славена. Ну да, все верно. Им же надо знать, дойдет он до Лебяжьих переходов или нет. А если дойдет, то, как его там примут.

Кровь была густая и пьянящая. Она оставила горько — соленый вкус на языке, обожгла гортань. Сил сразу прибывало, но юноша от этого лишь острее почувствовал себя ничтожеством. Исподволь он глядел на Славена, который даже в мудрёных наузах оставался уверенным в себе. Да, настороженным, да, недоверчивым, но не сломленным.

Или взять хоть Люта? На этого вообще нацепили собачий ошейник, а глаза спрятали от дневного света под повязку. А ему — хоть бы что! Так почему же Белян чувствует себя таким червяком? Разве же он настолько жалок? Нет. Он не боится. Никого. Он хотел вести себя с людьми по-человечески. Но они видят в нём только больного пса, на которого и смотреть тошно, и пнуть жалко. А он не скотина какая-то! Он Осенённый! Ходящий! В нём Сила!

И Дар kloкотал в груди, калился. От напряжения на лбу **высыпал** пот, сердцебиение ударами молота отзывалось в груди и висках.

Как же болят десны!

Нет, он не трус. Если бы не наузы, которыми его оплели, он бы разорвал глотки этим самонадеянным скотам, он бы...

— Белян? Ты чего?

На пороге каземата застыл озадаченный Ильгар. В одной руке обережник держал горшок с ужином, а другую отвел в сторону. На кончиках пальцев переливался голубой огонек.

Сияние чужого Дара ослепило Беяна, резануло по глазам, ужалило внезапной болью. И страшная глухая ярость наполнила душу пленника до краев. Она душила, мешала думать, застила сознание. Он уже не видел ничего от гнева, от невозможности отпустить злость и обиду.

...Ильгар успел увернуться, хотя движение кровососа было стремительным и внезапным. Выуч ударил метнувшуюся к нему смазанную тень, та взвыла, захрипела, прынула в сторону, бросилась к стене. Отскочила. Кинулась снова.

— Зоран, оберег! — успел прокричать ратоборец за миг до того, как Ходящий упал на него сверху...

Неслышимый, но при этом раскатистый и гулкий звук ударил по ушам, взорвался в голове. Белян не понял, что это такое, да и задумываться не стал. На его стороне были сила, скорость и злоба. А человек... он слишком медленный и неповоротливый.

И всё-таки Охотник успел ударить. В каморке было тесно — не развернуться. Правый бок взорвался жгучей ослепительной болью. Узник взвыл, чужая Сила отшвырнула его в сторону. Он едва устоял на ногах и тут же снова бросился. Ударил наотмашь, чтобы убить, снести голову с плеч. Ух, сколько же в нём мощи! Однако человек ловко пригнулся, и тут же снова что-то чиркнуло по боку. Пленник взревел и рванулся прочь.

Не смогут. Они не смогут его остановить. Ни один.

...Ильгара с размаху приложило об стену. На миг перед глазами всё помутилось, но боли он не почувствовал — лишь злость. Вот же тварь! Там ведь Зоран у двери. Не отобьется!

Послушник рванулся туда, где катался по полу клубок из двух сплетенных тел. Навалился сверху, вцепился тому, кто явно одерживал победу, в волосы. Дар вспыхнул, хватывая голову кровососа. Ходящий выгнулся и заорал, но вместо того, чтобы ослабнуть, рванулся с ещё большей яростью, оставляя в кулаке у обережника клочок волос...

Низкую дверь Белян сорвал с петель. Она с треском грохнулась об стену. Позади кричали, но беглец уже не слушал, он рванул вперед, по длинному коридору, туда, где ждала свобода. Он им всем покажет...

...Зорана дёрнули вверх, ставя на ноги. Ильгар рывкнул в лицо колдуну:

— В покойницкую, бегом! Скажи, чтобы заперлись! — и ещё толкнул для скорости, а сам бросился в другую сторону, видимо, к людским.

Выученик Донатоса мчался коридорами, сжимая в руке нож. В голове билась только одна мысль, дарившая хоть какое-то облегчение: успел сломать оберег, успел подать сигнал тревоги. Гулкое эхо сорвавшегося Дара разошлось по Цитадели, оглушая. Волна Силы пронеслась, встряхнув каждого Осенённого Крепости. Наверху уже вскинулись креффы, уже оружаются. А этот говнюк никуда не денется. Поймают. Главное людей предупредить, чтобы не высывались, вон, в нём силища какая...

После дня работы на поварне девушки устали, словно чернавки. С раннего утра до позднего вечера три подружки крутились, как белки в колесе, едва-едва успевали оборачиваться под окрики старшей кухарки. То репы начистить, то лук накрошить, то крупу перебрать, то посуду помыть.

Клёна сызмальства помогала матери, но одно дело на троих-четверых чугунок напарить, а другое — на прорву молодых здоровых парней, которые едят, словно последний раз в жизни.

А Матрела посмеивалась, мол, ничего, обвыкнетесь, девоньки.

На счастье «девонек» тяжелую работу поручали младшим послушникам — они выносили помои, таскали воду и дрова на истоп. Но и без того работницам хватало дел. Так что к вечеру, употевшие, раскрасневшиеся они только и мечтали, что об отдыхе.

— Уф, аж ноги гудят, — Нелюба опустила на лавку и убрала с потного лба выбившиеся из косы волоски. — Надо в мыльню сходить, а то, словно в бороне весь день ходила — так упрела.

— Да-а-а... — мечтательно протянула Клёна. — И одежду надо взять, простирать.

Цвета кивнула:

— Давайте за чистым сходим и у входа на нижние ярусы встретимся.

На том и порешили.

В своей коморке Клёна достала из ларя смену одежи, обтирочную холстину, гребешок и огляделась — не забыла ли чего? В этот миг душу словно кольнуло: надо бы поглядеть рубахи отчима, собрать те, которые пора постирать да посмотреть, не починить ли какую. Они ж на нём горят, как проклятые!

Перебирая Клесховы рубахи, девушка наткнулась на стоящий в углу сундука кувшинец. Наткнулась и оцепенела. Взяла в подрагивающие руки, погладила глиняные бока, словно не сосуд в руках держала, а живое что-то, родное... Потому что кувшинец был из дома. Дарина обычно снимала в него сливки. Вот и крохотный скол на горлышке — это Эльха стукнул, когда в бадье полоскал.

Клёна смотрела на столь знакомую ей вещь, а та казалась нелепой и неуместной в стенах Цитадели. Вот и всё немудреное наследство, которое осталось от некогда счастливой семьи: шаль старая да этот кувшинчик, на дне которого что-то плещется.

Девушка сняла заботливо обмотанную тканью крышку и понюхала содержимое сосуда. Пахло травами — терпко и горько. Надо будет спросить у отчима, что там такое, неужто мамино?

А пока она убрала кувшинец обратно и обложила чистыми рубахами. Не разбился бы. И тут же встrepенулась, идти пора! Нелюба с Цветой, поди, заждались.

Спускаясь вниз, Клёна молилась, чтоб не попала на пути Нурлиса. Впусте. Та выкатилась из какого-то угла и заскрипела:

— Ты чего тут колобродишь на ночь глядя? Нет бы спать шла, зеленая вся, ажно жилы, вон, сквозь кожу просвечивают. Так нет, ходит...

— Да я помыться, — виновато ответила девушка. — И не поздно ещё, только-только стемнело.

— Не поздно ей, — ворчливо отозвалась старуха. — А это что у тебя?

Бабка, подслеповато прищурив глаза, разглядела в охапке одежды, которую Клёна прижимала к груди, рукав чёрной рубахи.

— Отцовы рубахи взяла постирать...

— Ишь ты... отцовы. Ну, иди, стирай, — карга посторонилась и сказала в спину поспешно удаляющейся Клёне: — Гляди там воду-то не лей без меры, а то знаю я вас. И батю своему передай, как увидишь, чтоб до весны за новой одеждой не приходил! Повадился.

Клёна в ответ кивнула и заторопилась прочь.

По счастью, Цвета и Нелюба не стали её дожидаться, ушли в мыльню вдвоём. Поэтому когда она явилась, обе уже вовсю плескались. В клубах пара мелькали обнаженные тела, распущенные косы, слышался смех.

— Ты чего так долго? — спросила Нелюба.

— К отчиму ходила, вот, рубахи собрала... — стесняясь неведомо чего, ответила девушка, а про себя гадала — отчего при подругах так и не может заставить себя назвать Клесха отцом? Поди, пойми дурь собственную. При бабке смогла, а при них нет, словно кость в горле застряла.

Пока Клёна стирала, распаренные девушки поочередно терли друг друга мочалом и смеялись, как в родных Луцанах пошли топить баню, да испугались неведомо как забежавшей туда кошки, приняли за банника, уж визжали, уж вопили, едва не вся деревня сбежалась!

А у Клёны от воспоминаний о доме, опять слёзы из глаз. И сердце давит. Да ещё стыдно, что какую рубаху Клесха не возьми, ни одной целой нет, то тесьма рукава на последней нитке болтается, то по вороту истрепалась... Мама бы увидела, ахнула. Надо завтра время выгадать, починить. Не дело Главе Цитадели ходить оборванцем. Сам-то он на это и внимания не обращает, мол, тепло, удобно, чисто — да и ладно. Но не бесприютный ведь, есть кому позаботиться. И отчего её раньше так сердило в нём то, к чему теперь вдруг возникло понимание? Отчего злили эти обтрёпанные рубахи, эти завязки, срезанные по вороту?

Пока она размышляла, стирала, полоскала да отжимала, подруги намылись, завернулись в холстины и ушли отдыхать в раздевальню.

Клёна же скинула исподнюю рубаху, в которой всё это время оставалась, и побыстрее расплела косу, чтоб прикрыть наготу. Она стыдилась того, как похудела после болезни. До сих пор оставалась похожей на замороженного цыпленка: тощая, ребра выпирают, колени острые. Подруги-то кровь с молоком — стройные, ладные, телом мягкие, как яблочки наливные. Она среди них, будто рыба сушёная. А ведь раньше красавицей была.

— Клёна, хватит поливаться-то, уж как снег скрипишь, — в мыльню заглянула Цвета и протянула подруге сухую холстину. — пойдём наверх, нам Матрела взвара ягодного дала да лепёшек с медом. А то уж слюнки текут.

Вот так лакомства! Всё же старшая кухарка баловала девок, жалела... И теперь, предвкушая сладкую трапезу, все трое оживились, поспешно оделись и заторопились из мыльни. Голоса отскакивали от потолка, от каменных стен, смех рассыпался по коридору эхом.

Клёна перекинула бадью со стираным бельем с одного бедра на другое, когда из-за поворота вылетел оскалившийся окровавленный парень с такими безумными выпученными глазами, что девушки отпрянули.

— Мамочки... — чужим каким-то жиденьким голоском пискнула Нелюба.

Больше сказать ничего не успела, потому что страшный незнакомец кинулся к ней, скалясь и захлёбываясь рычанием.

Происходящее показалось вдруг Клёне медленным, неторопливым. Вот обезумевшее чудовище, лишь отдаленно похожее на человека, несется вперёд, плавно взмывает над полом... Вот она хватает из лоханки рубаху отчима и наотмашь бьёт нападающего по лицу. Медленно. Всё очень медленно. Будто во сне.

Мокрая ткань хлестнула почище кнута — звонко, с оттягом.

Вой, рык. Тяжелая лоханка полетела в нападающего следом за рубахой. Что-то скользнуло по плечу, обжигая кожу... А Клёна, для которой происходящее вдруг снова понеслось разноцветным вихрем, подхватила сомлевших подруг за руки и ринулась прочь единственным известным ей путем.

Лют замер, прислушиваясь. Что-то случилось. В обличье человека слух у него был не чета звериному, но и не чета людскому... Оборотень воткнул топор в чурбак и в этот миг дверь, ведущая из Цитадели, распахнулась, ударилась о заснеженную стену, а во двор вылетели три испуганные полуодетые девушки. Глаза вытаращены, рты открыты в беззвучном крике, лица — белее снега, а у той, которая в середине, ещё и рука поранена.

Густой пряный запах крови ударил в лицо.

— Лют!

Оборотень успел её подхватить — испуганную, дрожащую, в сползшей с одного плеча рубахе, под которой проглядывало нагое тело. Мужчина заметил мокрые волосы, ощутил запах мыльного корня, услышал как тяжело и часто колотится её сердце, и тут же отстранил, задвигая себе за спину, потому что в дверном проеме возник тяжело дышащий, всклокоченный, израненный... Белян.

Лицо у него было дикое, а глаза безумны. Кровосос замер, озираясь, пригнувшись.

— Расстегни! — Лют рванул ворот рубахи и подставил шею Клёне. — Быстро!

Но девушка, не отрываясь, глядела на стоящего у входа в Цитадель тяжело дышащего человека и не понимала, чего от неё хотят. Видать, об одном лишь думала — путь отрезан. Другого выхода из дворика нет.

— Расстёгивай! — прорычал Лют незнакомым низким голосом, и, схватив Клёну за руку положил её ладонь себе на шею.

Девушка нащупала железную пряжку и, не вдаваясь в раздумья, рванула её.

— Держи! — в руки ей легло гладкое топориче. — Подойду — бей. И его тоже.

Она не поняла, что он имеет в виду, пока оглушительно до звона в ушах не закричали жмущиеся к дровянику Цвета и Нелюба. Потому что мужчина, чья спина только что закрывала их от опасности, припал на колени и резко выгнулся. Клёна услышала треск и хруст, в свете ущербной луны увидела, как лопается его кожа вдоль хребта, как стремительно выступают кровавые кости, жилы, мокрая шерсть... А через миг огромный волк встряхнулся и уробно зарычал.

Топор едва не выскользнул из ослабшей, вспотевшей ладони. Нельзя. Лют сказал бить. Она перехватила оружие посподручнее и замерла.

Что было следом, подруги толком не разглядели. Едва видимая глазу тень метнулась от входа, зверь взмыл навстречу, перехватывая её в прыжке, и вот уже рычаще-хрипящий клубок катится по снегу, разбрызгивая чёрную кровь.

И надо всем этим летел, летел, летел какой-то противный, оглушающий звук. Клёна круто развернулась и вцепилась Цвете пощечину. Звук оборвался. А девушка стала заваливаться на поленницу. Нелюба вцепилась в подружку трясущимися руками.

Чёрные тени метались по заметенному двору. Одна рвалась к сжавшимся возле неровного дровяника жертвам, другая кидалась и не пускала. А потом они снова переплелись, но в этот миг откуда-то со стороны полыхнуло ослепительно белым. Так ярко, что Клёна перестала видеть, лишь в глазах запрыгали сверкающие закорючки.

— Клёна!

Она узнала его голос, а когда он подбежал, обхватила за плечи и стала оседать, подломившись в коленях, содрогаясь от пережитого ужаса. И только теперь почувствовала,

что левую руку дергает от плеча до кончиков пальцев, что здесь — во дворе — холодно, ветер обжигает, и влажные волосы уже схватились ледком.

Потом она обернулась и увидела скорчившегося в снегу мужчину. Он был наг, а по плечам текла чёрная кровь.

— Я... я... твои рубахи постирала. Они где-то там, в коридоре валяются, — дрогнувшим голосом произнесла Клёна, пряча лицо на груди у отчима.

— Чистые? — спокойно спросил он.

— Чистые.

— Хорошо. Высохнут — заштопаешь.

Девушка обняла его и судорожно вздохнула.

— Эй...

Лют поднял голову. Над ним стояла Лесана и смотрела с удивлением:

— Ты чего скорчился?

Волколак потёр шею и сказал сипло, отрывисто:

— Ошейник... мой... принеси...

Обережница смерила трясущегося пленника обеспокоенным взглядом и огляделась в поисках пропажи.

Возле дровяника двух рыдающих навзрыд девушек утешали послушники из старших, Клёна жалась к отчиму. Ихтор с Рустой склонились над распростертым окровавленным Беляном. Над ними глыбой застыл Дарен, готовый, если что, вбить кровососа в снег. А маленький дворик был перерыт звериными лапами, вытоптан, залит кровью. Ну и где же искать?

— Кто его с тебя снял? — спросила обережница.

— Не помню, — прорычал в ответ волколак. — Найди!

С запозданием Лесана поняла, в чём дело, и тут же увидела пропажу — в судорожно сжатом кулаке Клёны.

— Разреш, — обережница мягко забрала у девушки ошейник и шагнула к пленнику.

Диво, но тот сам подставил шею и, лишь когда звякнула металлическая пряжка, его окаменевшие измаранные в крови плечи расслабились.

— Хоть плащ какой дай, что мне так и сидеть тут нагишом? — сварливо сказал оборотень.

Лесана повернулась к одному из старших ребят и жестом попросила отдать накидку. Тот без лишних вопросов бросил одежду пленнику. Лют перехватил её и благодарно закутался.

— Всё. Замаялся я с вами. Веди обратно, — кивнул он обережнице, поднимаясь.

Лишь теперь девушка заметила, что волколак едва стоит на ногах.

— Что с тобой? — спросила она озадаченно.

— Устал.

— А с ним? — она кивнула на простертого в снегу кровососа.

— Да Встрешник его разберет! Одурел, похоже. Лесана, я прошу, уведи меня отсюда, ты же знаешь, сам я не могу Черту переступить.

— Пошли.

Видя, что от него больше ничего не добиться, девушка подошла к Клесху:

— Глава, я уведу Люта. Он еле стоит.

Крефф отвлекся от падчерицы и смерил пленника острым взглядом.

— Уведи. Завтра с ним поговорю. Нынче не до того.

— Шагай, — обережница подтолкнула оборотня к выходу, но перед тем, как разомкнуть защитный круг, почему-то оглянулась на Клёну.

Девушки встретились глазами и Лесане показалось, будто падчерица Клесха смотрит на Люта не столько потрясённо, сколько задумчиво. Впрочем, он на неё даже не оглянулся.

Пока шли по коридору, обережница молчала. Волколак, пошатываясь, хромал впереди. Наконец, девушка не выдержала:

— Что с тобой, ты можешь объяснить?

— Я объяснил, — ответил он зло: — Устал.

— Налево.

— Что?

— Налево, — она толкнула его в спину по направлению к мыльням.

— Я не хочу мыться. Я хочу спать, — сказал он.

— Ты весь в крови.

Пленник вздохнул, понимая, что проще подчиниться, чем спорить.

В раздевальне он повернулся к своей спутнице и спросил:

— Ну? Так и будешь тут стоять?

Она пожала плечами:

— Прежде ты не стеснялся.

Лют хмыкнул, сбросил плащ и тут же исчез в мыльне. Лесана уселась на лавку ждать.

На душе было мерзостно. Кровосос, по всему судя, натерпелся от волчьих клыков. И что с ним приключилось — оставалось только гадать. Но всё равно незлобивого трусоватого парня оказалось жаль. Вот. Опять ей жаль Ходящего.

В этот раз Лют плескался недолго. Видимо просто опрокинул на себя несколько ушатов воды и вышел. Обережница увидела, что спина и плечи у него распаханы до мяса. Кровяные борозды влажно блестели.

До коморки дошли быстро. Лесане даже показалось, что идет Лют куда бодрее, видимо, помылся и стало легче. Наверное, оно и впрямь было так, потому что у самых дверей покойчика, оборотень резко обернулся к спутнице и дернул её к себе.

— Как же вкусно ты пахнешь...

Горячее дыхание обожгло шею.

Обережница не ожидала ничего подобного, поэтому, когда сильные руки перехватили её запястья, лишая возможности вырваться, а полунагое мужское тело оказалось совсем рядом... Память обрушилась ледяным водопадом. Девушку сковал ужас, дыхание перехватило, перед глазами поплыли чёрные круги.

Холод, темнота, мужчина.

И она одна.

Совсем одна.

Каменный пол крепости стремительно уходил из-под ног.

Казалось, будто все это длилось вечность, но на деле Лесана не успела сделать и полвдоха. Тело само пришло в движение, невзирая на скованный ужасом разум. Обережница швырнула пленника в стену, вывернула ему руку, одновременно крепко ухватив мокрые волосы на затылке, заставляя запрокинуть голову едва не к самым лопаткам.

Лют судорожно выдохнул, приложившись о камень, и тут же хрипло рассмеялся:

— Вот ведь злобная девка...

— Ты... — она вцепилась в его ошейник и дернула так, что оборотень был вынужден схватиться за кожаную полоску, сдавившую горло. — Руки переломаю...

Она все равно смеялся — сдавленно и сипло, хотя дышать было нечем.

Хватка ослабла.

— Я не хотел тебя пугать, — с искренним раскаянием сказал волколак. — Просто я только что перекинулся в зверя и обратно... трудно уняться. Тем более, запах этот. Хорошо, что ты нашла ошейник, боялся — не сдержусь, и тот здоровый мужик уложит меня рядом с

Беляном.

Лесана втолкнула пленника в коморку.

Как же он её злил!

Лют, между тем, скинул плащ и, как был нагой, упал животом на сенник. Девушка посмотрела на рваные борозды, налитые кровью и сказала:

— Это надо зашить.

Оборотень пожал плечами и широко зевнул:

— К утру сами затянутся. На волках всё заживает быстрее, чем на собаках. Вот одежду жаль. Бабка твоя злобная порты дала и то всего облаяла, а уж теперь, чую, вовсе нагишом ходить придется. Плащ-то хоть не забирай.

Обережница смотрела на него и опять не понимала. Зачем он её сгрёб? Знал ведь, что мало не покажется. И почему теперь опять зубоскалит?

— Лют... — она решила спросить напрямую. — Для чего ты меня нюхал?

Он приоткрыл один глаз, сверкнувший в темноте звериной зеленью, и ответил:

— В этих ваших верёвках тяжко. Естество ведь не перекроишь, оно выхода требует. А тут ошейник сняли впервые за столько времени. Я даже перекинулся, хотя и было больно. Знаешь, каково это — вдруг стать зверем? Запахи. Сотни запахов. Слух обостряется. Слышишь биение сердца того, кто рядом, слышишь далекие шаги... Столько звуков... А как эти девушки пахли... — он закатил глаза и честно сказал: — Так хотелось их съесть!

Это прозвучало нелепо, ведь он вёл себя как человек, говорил, рассуждал, как человек и вдруг признался в том, что...

— Съесть?

— Да. Они ведь боялись, а запах страха, он... лишает рассудка. Было очень тяжело с собой совладать. Я даже обрадовался, когда Белян вылетел. Потому что если бы он побежал каким-то другим путем... Я бы рехнулся, наверное. Веревки-то ваши держат. Получается — в собственном теле, как в клетке. А потом вы все примчались и... ты так пахла. Ты вообще очень вкусно пахнешь.

Она смотрела на него с отвращением.

— Ну, чего ты так скривилась? — усмехнулся оборотень. — Лучше, если б я наврал? Я такой, какой есть, Лесана. Глупо прикидываться человеком, если от человека в тебе лишь половина.

— Почему же ты их защитил? Почему не сожрал? — спросила она враждебно.

Лют усмехнулся и закрыл глаза:

— Зачем? Белян — Осенённый. От его крови толку больше. Ну и ещё я сыт. Будь голоден, разумеется, не удержался бы. Как тогда, когда ты кормила меня щами. Но я не голоден. Смог пересилить себя. Хотя это было непросто. Собственное естество всё-таки самый жестокий противник. Жаль, конечно, что Белян умер.

Лесана удивилась:

— С чего ты взял, что он умер? Ихтор с Рустой над ним колдовали, значит, был жив...

— Умер, Лесана, умер. Я же ему горло разорвал, — спокойно сказал волколак. — Тут, уж прости, не удержался. Надо было прикусить и не отпускать, пока вы не сбежитесь, но эти девушки, их запах — всю душу разбередили. Не могу сказать, что Белян мне нравился, однако убил я его не из ненависти. Просто слишком долго был человеком, а когда снова стал зверем, одурел. Всё ведь из-за ваших наузов. Они сил лишают, а потом те прибывают все разом, и животное теснит человечье. Это противно. А ты не попросишь у той бабульки

одежду?

Девушка смотрела на него задумчиво:

— Попрошу. Как думаешь, мог ли Белян вывернуться из-за наузов?

Пленник пожал плечами:

— Не знаю. Но, скорее всего, именно из-за них и взъярился. Он ведь Осенённый. Вы его оплели, лишили естества. Заперли Дар. Вот и аукнулось. Безумием. Мне... мне самому было очень тяжело последние дни. Ещё и луна прибывает...

Обережница смотрела на него — спокойного, вроде бы, искреннего...

Ходящий в Ночи.

Не человек.

Он легко может сравнить её с едой и не увидать в том ничего плохого. Легко может загрызть, а потом развести руками и миролюбиво сказать, что не справился с собой. Надо было только руку отхватить, а тут голова в зубы попала...

— Дай, посмотрю, — она склонилась над оборотнем, чтобы получше разглядеть борозды рваных ран на спине. — Закрой глаза.

— Что?.. — он глухо зарычал, когда сияние Дара осветило каморку.

Ничего страшного. Действительно затягиваются на глазах. Волколак прав — к утру и следа не останется. Девушка погасила огонек и направилась к двери.

— Лесана? — Лют сел на лавке. — Почему ты испугалась, когда я тебя схватил?

Она повернулась и сказала твердо:

— Я не испугалась.

— Испугалась, — оборотень упал обратно на сенник. — Ты пахла страхом. Так вкусно...

Последнее он протянул, мечтательно прикрыв глаза.

— Боялась, что не сдержусь и прибью прямо в коридоре, — буркнула девушка и прикрыла за собой дверь.

Когда в мертвецкую ворвался всклокоченный Зоран, Лашта объяснял второгодкам, как поднимать покойника.

Синее тело голого мужика, лежащее на полу, вяло дрыгалось, колыхалось, но вставать и подчиняться воле начинающего колдуна отказывалось. Вопревший выуч старательно бубнил слова заклинания, и усердно капал кровью на мертвяка. А тому хоть бы хны! Наставник терпеливо наблюдал.

— Никому не выходить! — рявкнул Зоран, нарушая покой мертвецкой, и одним рывком сдвинул массивный, оббитый железом стол, подпирая дверь.

В руке у парня был нож, рубаха разорвана, щека оцарапана, а глаза дикие.

Лашта посмотрел на выуча с удивлением. Донатос, который в дальней части залы учил своих подлетков потрошить оборотня, спокойно сказал:

— Не выйдем. Нож положи. И говори, что случилось.

Послушник, задыхаясь после отчаянного бега, выпалил:

— Кровосос этот — Белян — вырвался! Ильгара об стену приложил, голову ему разбил, потом на меня кинулся... Я только оберег успел сломать, а он уж в шею вцепился.

Услышав это, Лашта быстро кивнул выучам, чтобы отошли в дальний угол. Подлетки сгрудились у стены и теперь с тревогой смотрели на ненадежно, как им казалось, перегороженный вход в мертвецкую.

Донатос же, кропя кровью обережную черту перед дверью, спросил Зорана:

— А Даром его сковать ты, дуболом, и не догадался?

Послушник помотал головой:

— Он после этого только пуще взъярился. Если б Ильгар не подскочил — загрыз бы меня. Я в него вцепился и держу, чтоб не убежал, думаю — ну все... сил больше нет. А он сзади...

Пока парень сыпал словами, Лашта повернулся к своим ребятам и прикрикнул:

— Ну, чего встали, как стадо? Продолжаем, продолжаем... — он кивнул на синюшного покойника.

Выуч, который до появления встревоженного вестника безуспешно пытался поднять мертвеца, снова начал бубнить заклинание. Только теперь запинался и потел ещё сильнее, да к тому же то и дело обеспокоенно косился на перегороженный столами вход.

Зоран сидел на низкой скамеечке и жадно пил воду прямо из кувшина. Уф. Успел...

В этот самый миг, в подпертую столами створку загрохотали отчаянно и громко. Послушники подпрыгнули, а читавший наговор испуганно смолк. И в этой тишине из-за двери раздался звонкий и просительный голос Руськи:

— Дядька, дя-а-адька, ты там? Я что-то дверь открыть не могу... Дядька, невеста твоя совсем расхворалась.

Колдун выругался, в несколько стремительных шагов достиг двери, сдвинул в сторону стол и за шиворот выдернул Руську из коридора.

Зоран тут же захлопнул тяжелую створку, а Лашта перекрыл вход и подновил черту.

— Какая невеста? Я тебе сейчас весь зад синим сделаю! — тряс крефф за ухо пищащего паренька. — Коли взрослый такой по казематам шляться, так и у столба под кнутом выстоишь. Ум на всю жизнь вложу!

Мальчонок скулил, привставал на цыпочки, выворачивал шею и лопотал:

— Эта, лохматая. В жару мечется, всё тебя зовет, я и прибёг. Дя-а-адька, больно ж!

Донатос отпустил красное оттопыренное Русаево ухо и встряхнул мальчика, как пыльное одеяло.

— Нечего ночами шастать!

Он бы добавил что-нибудь ещё, да покрепче, но в этот миг в дверь снова загрохотали и на сей раз густым голосом Дарена возвестили:

— Отворяйтесь, поймали!

Снова отодвинули столы, открыли.

— Чего там стряслось? — спросил Лашта. — Как он вызверился-то? Я ж ему сам науз плёл...

— Да, будто спятил, — сказал ратоборец. — Хорошо ещё парень Ольстов не растерялся. Но досталось ему — бок подран, голова разбита.

— Ихтор с Рустой где? — спросил Донатос, направляясь к выходу.

— Там, — махнул рукой вой: — В башне. Храбреца нашего припарками пользуют.

Наузник обернулся к всклоченному Зорану и приказал:

— К целителям, бегом! — и после этого перевел глаза на Руську, распухшее ухо которого заметно оттопыривалось в сторону и горело, словно головня. — А ты идём. Невесту глядеть.

...Светла и впрямь металась в жару — губы пересохли, вокруг глаз залегли тёмные круги, горячие пальцы лихорадочно дергали ворот рубахи, будто собственная одежда давила девушке горло, заставляла задыхаться.

— Грехи мои тяжкие... — Донатос взял дуру на руки и кивнул Руське: — Сапожки её возьми, полушубок и за мной ступай.

Мальчонок сгреб всё, что велели, в охапку и побежал впереди, отворять колдуну двери. По счастью, пройти в Башню целителей можно было, не выходя во двор, но в каменных переходах стоял такой холод, что пришлось остановиться и закутать Светлу.

Когда колдун со своей ношей и Русаем в сопутчиках пришёл в лекарскую, Ихтор и Руста уже заканчивали перевязывать Ильгара. Тот был ещё заметно бледен, но не испуган, скорее, раздосадован.

— А с этой-то чего опять? — не скрывая недовольства, спросил Руста. — Без неё будто дел нынче мало. Зачем приволок?

— Да уж не тебе похвастаться, — огрызнулся колдун. — Горит, вон, вся, задыхается. Или, может, ты сам к ней хотел прибежать?

Руста дернул плечом, всем видом показывая, что бегать к дуре ему уже порядком надоело.

— На лавку положи, — спокойно сказал тем временем Ихтор, щупавший багровый от кровоподтека бок Ильгара. — Туда, к окну. Я посмотрю её. Руста, Зораном займись.

Донатосов выуч сидел на лавке и смиренно ждал своей очереди. Потрепан он был не сильно, но лекарь все одно общупал сверху до низу, напоил какой-то гадостью, а щеку намазал жирной вонючей мазью.

Колдун тем временем устроил свою ношу на лавке, выпростал из полушубка и потрогал лоб. Горит. Горит, клятая. Как печь пышет. И воздух губами ловит, будто мало ей его.

С подоконника прыгнула рыжая кошка, прошла по краю скамьи. Донатос хотел её согнать, но она зашипела и, вместо того, чтобы уйти, легла на грудь и без того задыхающейся

Светле. Легла, замурчала...

Крефф уже протянул руку, сбросить блохастую, но Светла вдруг рвано вздохнула и открыла глаза. Взгляд у неё был отрешённый, обращённый в никуда, но горячая рука нашарила ладонь колдуна и стиснула:

— Родненький, — прошептала скаженная. — Замаяла я тебя... ты уж прости... хоть ел... нынче? Или опять... позабыл?

Она слепо смотрела мимо него.

— Ел, — глухо ответил он, чтобы прекратить жалобное лепетание. — Если узнаю, что опять без полушубка на двор...

Дурочка слабо улыбнулась и еле слышно проговорила:

— Нет, свет мой... какой уж теперь двор?

Горячие пальцы погладили его запястье:

— Устал... тебе бы поспать... ты иди, иди... отдохни... я утром приду... каши принесу...

Ее голос угасал, веки отяжелели и медленно опустились.

Подошел Ихтор, согнал блаженствующую кошку, ощупал занемогшую, оттянул веко, потрогал за ушами, под подбородком...

— Не пойму, что с ней... — растерянно сказал целитель. — Не настыла — уж точно. Надо лучше глядеть. Раздевай.

Наузник поймал себя на том, что едва не начал пятиться обратно к двери. Хранители, за что наказание такое?! Может, ему ещё и припарками её обкладывать?

— Ну? — Ихтор повернулся от стола, на котором смешивал какое-то питье. — Служки спят все. Раздевай.

— Иди, за дверью постой, — приказал Донатос Руське, который уже присел на низенькую скамеечку и развесил уши по плечам. — А ты отвернись, — сказал колдун Зорану.

Парень покраснел и отвел глаза. Он и не думал глядеть, но наставник, видать, решил иначе.

Колдун приподнял бесчувственное тело и неловко взялся стаскивать с девки исподнюю рубаху. Отчего-то ему сделалось неприятно от мысли, что нагую дурочку сейчас будет смотреть сторонний мужик, трогать, крутить то так, то эдак.

Рыжая кошка снова устроилась на подоконнике, откуда внимательно наблюдала за мужчинами.

Ихтор подсел к блаженной, на которой из всей одежды остались только шерстяные носки, и взялся водить руками вдоль тела, то где-то мягко нажимая, то осторожно щупая. Искорки Дара сыпались с пальцев, таяли, уходя под кожу. В движениях целителя не было сластолюбия, не было глумления, лишь заученная отточенность. Он просто делал то, что следовало, не обращая внимания, кто перед ним.

Донатос скрипнул зубами и уставился в окно. Прибывающая луна торжественно сияла и будто ухмылялась со своей высоты.

— Чудно... — послышался из-за спины колдуна голос целителя. — Здоровая девка. А отчего у неё жар — не пойму... Ты часом не донимал её? Может, обидел как? Бывает с ними такое...

— Какое? — разозлился крефф. — Уж не первый день то полыхает, то снова скачет, как коза. Нынче, вон, совсем плоха. Ты лекарь или нет? Чего делать, скажешь? Колыбельными

мне её пользоваться что ли?

Ихтор покачал головой.

— Оставляй тут. Пусть будет под приглядом. Я к ней выуча приставлю следить, малиной поить, мёдом потчевать, глядишь, и пройдет всё. Ну и ты... помягче с ней.

— Я её тебе сюда на руках принес, уложил, раздел, — начал перечислять обережник. — Куда уж мягче-то, а?

Ихтор задумчиво кивнул. И впрямь, всё совершенное было для колдуна сродни подвигу нежности.

А Донатос поглядел на раздетую дурочку и не удержался — прикрыл её отрезом чистой холстины, лежавшим на одной из полок.

— Пойду спать. Завтра утром загляну.

Ихтор кивнул и снял с подоконника кошку. Погладил между ушами, отчего Рыжка довольно зажмурилась.

— Иди. Ежели что, я за тобой пришлю.

Колдун кивнул и вышел.

Спать.

Небось, с утра Клесх соберёт всех, будет пряники раздавать за Беяна. Лишь теперь крефф понял, что ни у кого не поинтересовался ни судьбой кровососа, ни обстоятельствами его побега. Ничем. Весь отдался хлопотам о своей дуре. Донатос даже не заметил, что почему-то впервые, хотя и всего лишь в мыслях, назвал Светлу своей.

Лют дрых, распластавшись на лавке, когда дверь его узилища распахнулась и на пороге возникла Лесана.

— Одевайся, — она положила стопку одежды на край стола.

Оборотень в ответ пробурчал что-то невнятное и отвернулся к стене.

— Эй, — обережница позвала громче. — Я говорю, тебя Глава хочет видеть.

Волколак в ответ зевнул и буркнул:

— Чего ему на меня глядеть? Соскучился что ли?

— Одевайся, — повторила Лесана.

— Вот есть же злобные девки! — сердито выдохнул оборотень. — И Главе-то вашему не спится! Утро же ещё...

Он недовольно бубнил, но всё-таки взял одежду и начал собираться. Обережница в темноте не очень хорошо разглядела его спину — зажала или нет, но двигался Лют легко, стало быть, раны не донимали.

— Я ведь говорил, что на волках все заживает быстро, — весело сказал оборотень.

Вот как он догадался, о чём она думает? Девушка угрюмо промолчала.

— Так что там Глава-то хочет? — спросил тем временем Лют.

— Да, небось, узнать, зачем ты его дочь на задний двор приглашал, — ответила Лесана.

Волколак замер. А потом медленно повернулся к собеседнице, забыв одеваться дальше — голову в ворот рубахи продел, а рукава так и остались болтаться.

— Кого? — переспросил он.

— Дочь. Клёну, — ответила девушка, в душе радуясь, что он, наконец-то, растратил самообладание и привычную насмешливость.

Просчиталась. Вместо того чтобы напугаться, смутиться или растеряться, Лют вдруг залиvisto расхохотался. Лесана никогда прежде не слышала столь беззастенчивого, а самое главное, заразительного смеха. С одной стороны ей тоже стало почему-то смешно, с другой захотелось дать пленнику подзатыльник, чтобы успокоился. Ведь не о безделице говорят, о дочери Главы! Да и просто... не привыкла она к тому, что мужчина может без повода заходиться, словно жеребец. От обережников слова зряшного не дождешься, не то что улыбки. А этот, чуть что — покатывается. Смотреть противно.

— Чего гогочешь? — удивилась девушка. — Что тут смешного?

Лют успокоился и совершенно серьезно ответил:

— Клёна вашему Главе не дочь. Можешь его расстроить. Ну, или обрадовать.

— С чего ты взял? — удивилась Лесана, а сама, к стыду своему подумала, мол, неужто Клёна говорила этому прохвосту что-то плохое о Клесхе? Да нет, не могла. Не водилось за ней привычки к злословию.

— Она им не пахнет, — тем временем пояснил Лют. — Она ему чужая. Как ты или я.

— Она — его падчерица, — сухо произнесла обережница. — Единственная, кто выжила из всей семьи. Сына родного Серый загрыз. Жена беременная умерла всего месяц назад. Он и попроситься не успел с ней — по требам ездил.

Девушка говорила негромко и ровно. Не обвиняла, не гневалось. Однако становилось понятно, что именно сейчас Лют ей глубоко неприятен, словно именно он убил и замучил всех тех, про кого она вспомнила.

Волколака это не пристыдило. Он лишь развел руками и вздел-таки болтавшуюся на шею рубаху.

— Не повезло. А на меня ты чего сердишься?

Лесана и впрямь не понимала — чего, потому ответила просто:

— Да все вы — семя проклятое.

Лют хохотнул и взялся вязать обмотки:

— Ничего не проклятое. Ты просто глядишь через злобу. А я, например, буду хорошим мужем.

— Чего-о-о? — обережница даже растерялась от такой дерзости.

— А что? Сама посуди — днем я сплю. Жену не донимаю. Ночью, когда мужик всего нужнее — я в самой силе. Опять же места в избе мне много не надо. Могу и в конуре спать. А ежели на цепь пристегивать, так и гулять не стану. Буду верным. И всегда рядом. В мороз об меня греться можно. А коли вычесывать, так ещё и носков навяжешь. Я — подарок, Лесана. С какой стороны ни взгляни. Ну и ещё ко всему, со мной ночью ходить можно и ничего не страшно. А в тебе просто злоба говорит. Или зависть.

Он подмигнул собеседнице, а та насмешливо ответила:

— Куда там. Зависть. Чему завидовать? Что ты однажды жене голову откусишь, не удержавшись?

Мужчина посмотрел на неё укоризненно:

— Зачем же мне жене голову откусывать? Что я — припадочный?

Лесана выразительно пожала плечами:

— Припадочный или нет, а Главе очень любопытно — зачем ты его дочь обхаживал?

Волколак покачал головой:

— Уж вы меня и в чулан заперли, и ошейник нацепили, и заклинаньями по рукам и ногам сковали, а всё одно, подвоха ждёте. Вот он я — весь ваш. Спросит — отвечу. И дочь я его не заманивал. Первый раз она заблудилась и случайно во двор вышла. А что ж мне не поговорить с красивой девкой? Второй раз, правда, сама пришла, да и то через день. Видать, от скуки. А третий — с подружками прибежала, когда от Беляна спасалась. Ну и чего я сделал не так? Надо было её в первый раз прогнать? Сказать, что я оборотень? Чтоб она на всю Цитадель голосила? Это бы Главе твоему понравилось?

Обережница ответила:

— Надо было сказать правду. А не смущать девочку. Ей и без того несладко.

— Ладно, — легко согласился Лют. — Правду, так правду. Я пленник — делаю, что велят.

Почему-то Лесана почувствовала подвох в этих его словах.

— Гляди, не вздумай на жалость давить. Ты — зверина дикая, она — человек. И нечего тут похохатывать и зубы ей заговаривать. Ишь, выискался.

Оборотень посмотрел на неё долгим задумчивым взглядом.

— Не буду. Чего ты хочешь? Как велишь, так и сделаю.

— Прекрати девочке голову дурить, — сказала обережница.

— Я не дурил.

Лесана тяжело вздохнула и произнесла отдельно:

— Скажи. Ей. Правду.

Лют рассердился:

— Да какую правду-то? Или ты думаешь, она не разглядела, что я — Ходящий?

Собеседница усмехнулась:

— Правду о том, что ты её сожрёшь и не подавишься. Что не спасал надясь, а лишь себе на радость поохотился нароком. Лют, давай на чистоту? Нрава ты самого поганого. И дурачить доверчивую глупышку тебе понравилось. Скажи честно? Она бы так и ходила к тебе, ни о чём не догадываясь, верно?

Волколак усмехнулся:

— Я всё думал, злость тебе глаза застит. Но ты всё-таки ко мне приглядывалась. Даже, вон, понимать начала. Там было скучно, Лесана. На этом вашем дворе. Я не люблю одиночество. И дрова рубить не люблю. А тут она пришла — такая красивая. Пахнет хорошо. Чего ради мне было её пугать? Она, вон, научила меня поленницу складывать.

Он, наконец, обулся.

— Ну, веди что ли, чего стоишь?

— Ты скажешь правду.

— Скажу, скажу. Я ведь уже обещал.

Обережница завязала ему глаза и лишь после этого отворила дверь, пропуская пленника вперед. Неторопливо они миновали коридор, поднялись по короткому всходу и в этот миг из крошечной темноты навстречу выступила... Клёна.

Оборотень замер и широко улыбнулся. В воздухе подземелья ещё витал запах дыма от погашенной лучинки. Клёна знала, что огонь причиняет Ходящему боль и не желала оказаться мучительницей.

— Пришла? — спросил Лют, снимая повязку.

— Я... я спасибо хотела сказать... — прошептала девушка, испуганно вжимаясь в стену.

— Не за что, — ответил волколак.

А потом мягко шагнул вперед и взял собеседницу за плечи.

— Ты так вкусно пахнешь, — прошептал он. — Совсем как тогда в деревне. Если бы не та псина, ты бы не убежала, ягодка сладкая, нет. Это из-за тебя я охромел. А сейчас мне ещё и от твоего батьки достанется... Добро бы, зубы не вышиб, а то придётся добычу не грызть, а обсасывать. Так что, чего уж там, поквитались.

Даже в этой синильной темноте было заметно, как побледнела Клёна. Поэтому Лесана схватила Люта за ошейник и поволокла прочь, в душе ругая себя за то, что позволила этим двоим перемолвиться. Испепеляющий гнев клокотал у обережницы в груди. Ярость слепая и удушающая.

Когда нынче Клёна упрашивала отвести её к Люту, Лесана воспротивилась. Чего ей там делать? Пугаться лишний раз или, напротив, привораживаться? Этот змей, если кольцами обовьёт — не вырвешься. Но Клёна так просила... Пришлось уступить — пусть встретятся. Пусть увидит, как мерцают во мраке звериные глаза, вспомнит, как перекидывался человек в волка. Глядишь, умишка-то и прибудет. Да и с волколаком Лесана заблаговременно поговорила, наказала, чтобы отсек от себя глупышку, не дурил голову. И ведь он обещал! Обещал сказать правду. Только кто же знал, что его правда окажется такой... уродливой.

Клёна шла рядом все ещё заметно бледная, но без слез и гнева в глазах. Однако же обережница озлилась на пленника за то, что обидел девушку, и вытолкала его на верхние ярусы, намеренно не защитив глаза повязкой.

Правду сказал? Добро же. Терпи теперь.

Волколак зажмурился, закрыл лицо рукой и наугад побрел туда, куда тычками направляла его Осенённая.

— Это правда? — спросила его Клёна в спину. — Это, правда, был ты?

— Я, — ответил Лют. — Просто тебе тогда повезло. А мне нет.

Он с сожалением вздохнул и пошёл дальше. Оборотень не видел, как девушки обменялись короткими взглядами. Причем Лесана словно безмолвно сказала: «Я тебе говорила». И Клёна ответила: «Я поняла».

Скоро Лют почувствовал, что Клёна отстала и повернула в другой коридор — её запах медленно ускользал, истончался, а потом и вовсе пропал.

А спустя несколько сотен шагов обережница впихнула пленника в покой Главы. Лют нащупал лавку, опустился на неё, крепко-накрепко закрыл глаза ладонями и изготовился к казни.

Лучинка чадила и потрескивала, огонек дрожал, бросая на стены зыбкие тени. Ихтор сидел за столом, перебирая старые свитки. Ночь уже была на исходе. Через оборот горизонт начнет светлеть и над лесом покажется солнце. Сугробы станут поначалу сиреневыми, потом розовыми... А пока за окнами тоскливо подвывал ветер, да сквозило в щели заволоченного окна.

У креффа уже спина затекла горбиться над старыми рукописями. Целитель читал шестой, не то седьмой свиток по лекарскому делу, но так и не сыскал ответа на вопрос, что же приключилось с Донатосовой дурочкой? Впервые Ихтор имел дело с эдакой чудной хворью. Прежде не видывал, чтоб больной, то огнем горел, то в ознобе трясся, то потел, то едва стонать мог от жажды, то задыхался, то кашлял, то блевал без остановки, то леденел до синевы. И все это сменялось с такой скоростью, что едва две лучинки прогореть успевали. А потом вдруг Светле становилось лучше, она немного дремала и поднималась свежей, полной сил, осунувшейся, конечно, но не умирающей. Да только через пару оборотов всё начиналось сызнова.

Как Встрешник сглазил!

Вот и сидел Ихтор, забыв про сон, читал — перечитывал ветхие свитки, но так ни на шаг и не приблизился к разгадке недуга.

— Не черная лихорадка, не сухотная, не падучая... — бормотал про себя целитель, перебирая названия всевозможных хворей, и сверяя их с приметамы болезни блаженной.

Крефф с ещё большим тщанием вчитывался в рукописи, тёр лоб, однако не мог доискаться причины нездоровья скаженной. По всему выходило, что девка болела... всем. Вот только как ни лил лекарь Дар, как не всматривался — не видел в его сиянии чёрных пятен, которые обычно расцветали на теле болящего там, откуда исходила хвороба. Как такое могло быть, Ихтор не понимал, а оттого и злился.

Когда очередной свиток был отложен в сторону, мужчина уронил голову на скрещенные руки. Сколько ни сидел — всё впусе.

Ветер тоскливо подвывал за окном, словно оплакивая печальную участь не то болящей дурочки, не то пытающегося её вылечить обережника. Лучинка, догорев, погасла, целитель, сам того не замечая, медленно уплывал в дремоту.

Очнулся он от неприятного царапающего слух звука — острые когти с противным скрипом скребли по двери в покойчик.

Рыжка. Явилась, гулёна.

Поди, как обычно, отворишь ей, а на пороге две или три дохлых крысы лежат. Чуть не каждый день Ихтор выкидывал разорванные тушки. А кошке всё нипочем. Зазевается хозяйин-дуралей, так она и в постель крысу притащит. Или мышь. Гляди, мол, пока ты тут дурью маешься, я вся в делах, вся в хлопотах...

А пока за дверью: «Царап-царап-кхр-р-р». Какой же противный звук, аж скулы сводит!

Крефф поднялся из-за стола и отправился отворять. Рыжая красавица вместо того, чтобы войти, уселась на пороге, вопросительно поглядела на человека круглыми янтарными глазищами и призывно мяукнула.

— Ну, заходи, чего замерла-то? — устало спросил обережник.

Он уже привык разговаривать с кошкой, как с равной. Собеседницей она была хорошей

— не перебивала, речами не досаждала, правда, иногда разворачивалась и уходила, не дослушав. Но так ведь животное, что с неё взять? А вообще Рыжка считала Ихтора диковинным недоразумением, которое почему-то возомнило себя её хозяином.

Кошка снова требовательно мяукнула и отошла от двери на несколько шагов. Уселась посреди тёмного коридора — только глаза мерцают. И снова: «Мя-а-а-ау-у-у!»

— Ну, не хочешь, не иди, — целитель захлопнул дверь, но не успел сделать и шагу прочь, как створку снова принялись терзать острые когти, обладательница которых требовательно и обиженно завывала.

— Тьфу ты, пропасть! — выругался крефф и снова отворил. — Чего тебе надо? Я спать хочу. Молоко у тебя есть. Нагулялась. Что вопишь?

Но она снова отбежала на несколько шагов и обернулась, идём, мол, надоел языком трепать.

Ихтор выматерился, однако подхватил с лавки полушубок и отправился следом. Кошка бежала впереди, то и дело оглядываясь — идёшь или отстал?

— Иду, иду...

Она фыркнула, давая понять, что думает о его расторопности. А уже через десяток шагов обережник догадался — Рыжка ведёт его в Башню целителей. Вот что за напасть с ней?

Перед дверью лекарской кошка остановилась и громко мяукнула. Ихтор толкнул створку, пропуская спутницу вперед, сам вошел следом.

— Наставник! — из соседнего кута выскочил обрадованный появлением старшего Любор. — А я уж не знаю, что и делать. Еле дышит девка-то. И вся ледяная. Как покойница. Сердце едва трепещет...

Крефф подошел к лавке, на которой лежала без памяти Светла и пощупал холодный лоб. И правда, как бы не пришлось Донатосу поутру упокаивать девку, когда навестить придет.

Выуч тем временем частил:

— Дохлая, чуть всё нутро не выплюнула, я её салом волколачьим стал натирать, а она как кинется блевать, как давай метаться, вон, рубаху мне порвала, — юноша кивнул, указывая подбородком на разорванный ворот и оцарапанную до крови кожу под ним. — А потом, как проблевалась, ничком повалилась и заглодела вся, будто сосулька. Я уж и очаг развел пожарче, и в одеяло меховое её закутал, всё одно — чуть дышит и холодная.

— Дай погляжу, — отодвинув послушника, Ихтор опустился на край лавки.

Рыжка обеспокоенно крутилась в ногах обережника, пока он водил мерцающей ладонью над телом скаженной.

— Да что ж с тобой такое! — зарычал лекарь, поняв, что Сила, которой он пытался пробиться к Светлиной хвори, уходит в девку, как вода в потрескавшийся кувшин. Вроде льётся, вроде наполняет, а глядь — снова пусто.

— Ты не мучайся со мной, не надо... — тихо-тихо прошептала вдруг юродивая.

Обережник с удивлением заглянул только что почти мертвой девке в глаза и подивился тому, какой покой отражался в прежде смятенном взгляде.

— Не надо... — Светла выпростала тонкую прозрачную ладонь из-под одеяла и мягко погладила Ихтора по запястью, утешая, прося не терзаться понапрасну. — Каждой твари живой свой срок отмерян. Ни прибавить его, ни убавить...

Рыжка зашипела из-под скамьи, зафыркала, почему-то ударила креффа лапой, будто призывая не сидеть сиднем, а хоть что-то делать. Однако, поняв, что делать человек ничего

не собирается, вновь прыгнула на едва вздымающуюся грудь хворой девушки. Скаженная с трудом подняла трясущуюся руку, погладила кошку по голове и прошептала:

— Ласковая... кто жизнью изуродован, цену состраданиям знает...

В ответ Рыжка жалобно мякнула, и стала тыкаться лбом Светле в подбородок, мол, вставай, хватит! Нам мышей ещё ловить, черепки собирать, шишки искать...

Но блаженная улыбнулась слабой угасающей улыбкой и закрыла глаза, снова впад в беспамятство.

Ихтору, которому выуч уже подал тёплый липовый отвар с мёдом — напоить девку, от досады захотелось побиться головой об каменную стену лекарской.

Рыжка глядела с укором, дескать, что же ты, а ещё целителем зовешься...

Вот только не мог обережник распознать диковинную хворь, а не можешь распознать, как вылечишь? Хуже бы не сделать. Хотя... куда уж хуже? Но ведь не глядеть равнодушно, как помирает дуреха? Для того он столько лет тут учился, а потом сам учил, чтобы дать человеку сгинуть, словно скотине, так и не распознав, что стряслось. А если завтра вся Цитадель от этакого недуга сляжет? Что делать? Хранителям молиться и в бубен стучать?

Второй раз за недолгое время он оказался не годным помочь в телесной скорби. Сначала Дарине, а теперь Светле.

Девки молодые мрут, а ему, уроду, всё ничего, никакая хворь и зараза его не берут. Только в глаз единственный, словно песка насыпали, а голова туманится от боли.

Любор притащил из читальни новый ларец со свитками:

— Наставник, может, тут поискать? Жалко девку. Так мается. Да и понять надобно, в чём дело-то.

Хорошим Любор целителем станет. Дар в нём ярко горит, ум к знаниям тянется и душа живая — на помощь отзывчивая.

Трещал светец, шуршали старые свитки, целитель задумчиво тёр обезображенную глазницу, скользя глазами по неровным строчкам, кошка спала, свернувшись клубком, у него на коленях.

А потом в окно заглянуло солнце и стало понятно, что ночь завершилась, но ответа на вопрос — от чего лечить Светлу — так и не сыскалось.

Ихтор сложил свитки обратно в ларец и, как был одетый, подложив под голову мешок с сушёным клевером, повалился на свободную лавку в смотровой. Хоть пару оборотов подремать, пока выучи не собрались.

Рыжка улеглась в голове креффа, отчего со стороны казалось, будто обережник натянул меховую рыжую шапку. Так они и сморились — за оборот до того, как проснулась, готовясь к новому дню, Цитадель.

Место тут было дикое. Глухое. И люди без надобности не совались. Да и с надобностью не совались тоже. Деревья встречались в два обхвата. Могучие ели, под которыми даже сейчас — зимой — не лежали сугробы, кряжистые сосны, с разросшимся у подножия багульником. Лищина, берест, дереза... Чего только не сыщешь.

Со стороны кажется, будто через такие заросли не продерёшься — всю одежду оставишь клочьями висеть на кустах. Место нехоженое. Жуткое. Чащоба глядит сотней глаз, говорит сотней языков, шепчет, предостерегает. Это чувствуется близость Черты.

Лыжи Славен давно скинул и нёс теперь на плече. Если бы не его Дар, давно бы уже сбился с пути, а то и вовсе повернул обратно. Но Сила вела вперед, путями, для людей заповеданными.

Когда путник усталый и, несмотря на мороз, взопревший выбрался к заросшему старому логоу, откуда-то слева свистнули. Пришлец обернулся — к нему, выдергивая ноги из рыхлых сугробов, спешил крепко сбитый мужик, с тёмной бородой, посеребрённой инеем, в лисьей шубе и меховых сапогах.

— Славен? Ты что ли? — воскликнул страж Черты, и новоприбывший узнал, наконец, Грозда.

— Грозд?

— Он самый! — обитатель Переходов похлопал знакома по плечу. — Ты чего к нам? Случилось что?

— Случилось, Грозд. Надо мне с вами потолковать.

— Ну, идем, потолкуем, — кивнул мужчина. — Что ж не потолковать-то...

— Постой, — Славен удержал его за локоть. — Там ведь оборотни с вами?

Грозд хмуро кивнул:

— С нами.

— Ты уж проведи меня так, чтобы не заприметили. Чтоб Серый не дознался.

В цепком взгляде карих глаз промелькнуло понимание:

— Серый своих припадочных хороводиться увёл. Осталось несколько Осенённых, да простые волки. Проведу тебя через Старую пещеру. Идём.

С этими словами мужчина махнул спутнику рукой и направился вперёд.

Они миновали несколько оврагов, склоны одного из которых оказались такими крутыми, что по ним и вовсе съехали на зад, поднимая волны снежной пыли. Потом продрались через торчащие из сугробов ломкие заросли старника и, улегшись на живот, по очереди протиснулись в узкую каменную щель.

У Славена перехватило дыхание — показалось, застрял, как в кувшинном горлышке, но его дернули за рукав и втащили в крошечную тьму невысокой, круто спускающейся вниз пещеры.

— Идём, — негромко сказал Грозд. — Они тут не ходят — подъём больно крутой, камни острые и выход неудобный. Шагай осторожней, а то оступишься — все кости переломаешь.

Мелкие камешки осыпались из-под ног, ход вёл вниз, петляя между каменных глыб. Кое-где приходилось цепляться за выступы в стене, кое-где поддерживать друг друга на особо крутых спусках. Но вскоре дно выровнялось и мужчины вышли в огромный подземный зал, в

котором вольготно стояли невысокие избы, и слабо пахло печным дымом.

— Идём, нам сюда, — Грозд поманил Славена к крайнему дому.

...В избе было жарко натоплено и после стольких дней странствий по зимнему лесу захотелось, наконец-то, скинуть одёжу, разуться, остаться в одной рубахе и штанах. Словно угадав его желание, Грозд кивнул в сторону вбитых в стену колышков, мол, полушубок вешай, пока не упрел.

Зван в горнице уже ждал прибывших:

— Что так долго-то? — спросил он. — Ты ж мне Зов послал едва не пол-оборота назад.

— Дак через Старую пещеру шли.

— Чего это вам напрямки не ходится? — удивился вожак.

— Мира в дому, Зван, — негромко сказал Славен от порога. — Разговор у меня к тебе.

О котором волки не должны ни сном, ни духом...

Хозяин дома смерил пришлеца пронзительным взглядом и ответил:

— Мира в пути, Славен. И что ж это за разговор такой?

Гость несколько мгновений помолчал, собираясь с мыслями. Вроде все дни в уме прокручивал нынешнюю беседу, а пришла нужда слово сказать — в голове пусто, как в старой бочке.

— Меня Глава Цитадели к тебе отправил. Просит помочь изловить Серого и его Стаю.

Зван и Грозд переглянулись.

— Погоди рассказывать, — мягко сказал вожак. — Тебе Смиляна сейчас на стол соберёт. А Грозд пока созовет остальных. Что, Ясна-то в крепости осталась?

Славен опустил глаза и горько кивнул. Зван умный мужик. Быстро соображает.

...Мирег, Ставр, Новик, Велига, Грозд и ещё несколько мужчин, имен которых Славен не знал, пришли через пол-оборота. Вестник как раз успел закончить трапезу и теперь сидел, прислонясь спиной к горячему печному боку.

Осенённые входили один за другим и вразнобой говорили:

— Мира в дому.

Наконец, расселись вокруг скобленного стола, с которого Смиляна — старшая Званова дочь — уже убрала миски и смахнула крошки.

— Это Славен, он жил с женой на заимке под Росстанью, — кивнул в сторону пришлеца хозяин дома. — В конце студенника к нему нагрянули сторожевики. Белян — твой выкормыш, Велига, когда попался Охотнице, выдал всё, что знал. Вот к Славену и пришли. Забрали в Цитадель, да пригрозили — или он к нам с посланием идёт, или жене его, Ясне, расскажут, с кем она столько лет ложе делит.

Осенённые угрюмо переглядывались.

— Ну, Славен, я пока тебе назову тех, кого ты не знаешь. Вот это — Дивен. пришёл к нам несколько лет назад, вы ни разу ещё не виделись. Это — Милан, вы тоже не встречались. Это — Отрад. Чаян. Юша...

Мужчины кивали, а Зван поочередно называл каждого, вот только имена миглом вылетали у Славена из головы. Он лишь счёл про себя собравшихся. Получилось семнадцать. Лет самых разных, иные Славену в отцы годились, другие в сыновья.

— Теперь рассказывай, с чем пришёл? — велел вожак.

Вестник Цитадели несколько мгновений помолчал и ответил:

— Глава Крепости просит нашей помощи. Уговор прост: мы подсобляем выловить и

истребить Стаю Серого, нас отпускают на все четыре стороны. Охотники уже знают про Лебяжьи Переходы. Белян всё рассказал. Им и сильно пугать его не пришлось. Так что сюда могут нагрянуть в любой день и вырезать всех от детей до стариков...

— Так что же не нагрянут? — спросил Велига — возжак, обративший в своё время Беляна. — Зачем тебя прислали? И можно ли тебе верить, Славен? Кто знает, говоришь ты правду или врешь? И если Цитадель так сильна, зачем ей наша помощь?

Он глядел на Славена насмешливо, словно уличил его в нелепой и бессмысленной лжи. Пришлец опустил глаза и ответил глухим, мёртвым голосом:

— Я, Велига, лишь посланник. Говорю то, что просили сказать. А уж как эту правду принять — решать вам.

Дивен потёр подбородок и, наконец, вымолвил:

— Нет в нас веры Охотникам.

Зван, сидящий напротив, усмехнулся:

— Так ведь и у Охотников нам веры нет. Иначе бы не Славена отрядили, а сами пришли. Разница в том, Дивен, что у нас бабы и дети. А у них мечи и стрелы. Ни жен, ни семей. Они окрепнут, с места снимутся, пойдут на Лебяжьи Переходы, и куда мы денемся? Куда женщин, ребятишек, стариков спрячем? А если и спрячем, но в битве поляжем, кто кормить их будет, чтобы не одичали?

В ответ на это сидящий рядом с возжаком Новик сказал:

— Если мы поможем им выманить Серого из логова, следом они примутся за нас. И это так же верно, как то, что солнце встает на востоке. Какой резон им помогать? Погибель приманивать? Не о чем нам беседовать.

Славен ответил:

— Глава говорил, мол, пока мы людей не режем, будто скот, нас не тронут. Говорил, если Серому дать и дальше бесчинствовать, Цитадель терпеть не станет, соберет все силы и тогда, мол, не обессудьте, будет кровавая баня. А поможете — сумеем договориться. Зван, ну сам подумай, он ведь знает, где мы! Цитадель без дела не сидит, оружиеается. А мы как защищаться будем? Кукиши им из кустов показывать?

— Кукиши... — усмехнулся Зван. — Чего он хочет? Какой помощи? Серого мы сами не скрутим. Да и зачем? И он, и стая его — полубезумные, от крови ошалевшие. В них Сил свирепая.

Славен опять опустил глаза и сказал:

— Глава предлагает одному или двум нашим Осенённым прийти к Серой речке. Там луга далеко просматриваются. Можно встретиться, не опасаясь засады, и поговорить. Там он скажет, какой помощи от нас ждет. А пока хочет узнать — сколько Осенённых в стае у волков. И ещё просил передать: в конце лета Серый разорил несколько деревень. Его стая вырезала всех, от детей до стариков. Никого не пощадили.

На другом конце стола хмыкнул самый молодой из Осенённых Лебяжьих Переходов — белобрысый паренек весен семнадцати отроду:

— А нам-то что до того? Вон, о прошлом лете Охотники две стаи вырезали под Тихими Бродами — там тоже дети и старики были. Кто их жалел?

Посланник Цитадели смерил говорившего усталым взглядом человека, много пережившего, много повидавшего и многому уже от жизни научившегося. Взглядом взрослого, который вынужден терпеливо объяснять ребёнку, что огонь жжётся, а вода мокрая. Под этим тяжёлым взором паренек почувствовал себя неуютно и отвел глаза.

Славен же спокойно продолжил:

— От себя я другое добавлю: Серый убил обережника. И не просто убил. Кормил им стаю, а потом замучил. И затем ещё глумился над телом — привязал его к дереву у дороги, а ко лбу прибил оберег. Его нашли двое Охотников, которые везли в крепость Беляна.

Осенённые переглянулись. В горнице повисла тишина.

— А правда ли? — с сомнением спросил Отрад. — Не набрехал? Белян храбрости цыплячьей, этому верить...

И он презрительно поморщился.

В ответ Славен покачал головой:

— Не набрехал. Он его хоронить помогал. Пока вспоминал, да рассказывал мне, трясся весь и чуть не блевал. Ту уж прости, Велига, врать твой парень толком никогда не умел... Озлилась нынче Цитадель. Пуще прежнего ожесточилась. Но покамест гнев её лишь на одного Серого с его обезумевшей стаей обращен.

— Я говорил, — сдавленным сиплым голосом произнес, наконец, Дарен: — Я говорил, приманят волки беду! — Он грохнул кулаком по столу: — Говорил — нельзя им верить! С того дня говорил, как подкидыш его припадочный ребятишек наших увел. Зван, коли отправишься, позволь, с тобой пойду. Я про детей спросить хочу. Знать хочу, кто?

Дёрнулся сидящий на другом конце стола Мирег:

— Каких детей? Ты что?! Уймись. Сказано ж — Серый Охотника замучил. Ну спросишь ты про детей. Тебе и ответят, мол, а вы чего ждали, когда обережника истязали?

— Я сердцем, сердцем чую, — глухо проговорил Дивен, с трудом беря себя в руки. — Серый на детей Охотника вывел...

Удивлённый Славен обвел глазами мужчин, и посмотрела на Звана. Тот мрачно пояснил:

— Летом волчонок Серого увёл четверых наших ребятишек за бобровую плотину — к ручью. А там Охотник ждал. Детей убили. Всех.

От этих слов лицо Дивена дрогнуло, словно он с трудом сдержал слезы. Славен уронил взгляд на свои руки, лежащие поверх стола. Никогда прежде не ощущал он себя таким чуждином. Вроде и вины на нём не было нынче, но отчего же чувство такое, будто не слова Охотников пришёл передать, а свою собственную волю? И так горько на душе стало, так тошно! На него, вон, и глядят уже, словно на врага, настороженно, хмуро, исподлобья.

— Посланник Цитадели будет в излучине Серой речки и Вороньего ручья на пятый день первой седмицы вьюжника, — сказал Славен. — Пождёт до следующего утра и уедет.

— А не боится их посланник, что мы Серого на него выведем? — зло спросил Велига. — Или сами придём всей оравой?

Славен пожал плечами:

— Того не ведаю. Боится, наверное. Но на кой ляд нам посланника убивать? Ну, убьём. И что? Думаешь, после такой оплеухи Цитадель отмолчится?

— Не убьём, — подал голос со своего места молчавший доселе Ставр. — Ни мы их, ни они нас. Там луга. Просматривается всё на несколько перестрелов. Да ещё и снег. На нём любая точка приметна. Поэтому, ежели с кромки леса углядят, что нас много, оборону занять успеют. Но и нам их хорошо будет видать.

Велига потёр лоб и кивнул, соглашаясь с этим доводом.

— Ну, довольно спорить, — произнёс, наконец, Зван. — Надо идти. Если Серый и правда

так озверел, то спокойной жизни здесь уже не будет. Я думаю обережников мало и они слабы. Сильный не просит помощи. Сильный берёт, что хочет. Они же обескровлены и отчаялись, раз готовы договариваться с теми, кого прежде истребляли, не задумываясь, — с нами. Да, мы можем не идти на встречу. Вот только, если откажемся, какая будет польза? Серый продолжит нападать на людей, продолжит мучить обережников, если сумеет ещё хоть одного взять в полон. Охотники закроются в городах, чтобы сохранить людей. Сами люди с наступлением не ночи даже — сумерек — будут прятаться по домам. А нам останется или с голоду звереть и дичать, или вместе с Серым без разбору жрать старых и малых, или с места сниматься и уводить Стаю. Но куда уводить? И как кормить? Скажи ему — мы согласны потолковать. Готовы выслушать. А там уже решим, помогать или нет.

Вожак гвоздил словами, а тот, кому вновь предстояло пускаться в путь (на сей раз обратный), слушал, глядя в пустоту. Серый — проклятое семя! Всех взбаламутил! Жили себе и жили, пока этот припадочный не объявился. А теперь, хоть камень на шею и в болото. Тварь дикая.

— Ну что, други? — обвел Зван тяжёлым взглядом Осенённых. — Согласны со мной?

Дивен кивнул:

— Если возьмешь, с тобой пойду.

Мирег на другом конце стола вздохнул и признал:

— Ты дело говоришь. Ни прибавить, ни убавить. Как скажешь — так и поступим. Выбор невелик. Или идти против Серого, или против Цитадели. С какой стороны ни взгляни — отовсюду мертвечиной прёт и кровью пахнет.

Остальные согласно закивали.

Только Грозд спросил негромко:

— А если Цитадель не слаба? Если она хитра? Может, и сил у них в достатке, и мечей? Может, хотят всего лишь узнать, сколько нас тут? Рассорить промеж собой, а потом накрыть одним ударом?

Вожак горько усмехнулся:

— Тот, у кого сил в достатке, не позволил бы Серому веси рвать безнаказанно, одну за другой. Припомни-ка, когда такое было, чтобы несколько деревень да за одно лето? И уж точно, сильный не дал бы мучить обережников и не подсылал бы к нам Славена, чтоб вызывал потолковать.

Грозд задумался, а потом медленно кивнул:

— Твоя правда.

— Славен... — негромко сказал Зван.

— А? — встрепенулся посланник.

— Ляг, отдохни. На тебе лица нет. Весь серый. Скоро уж увидитесь, не изводишь так. Ясну-то не тронут. Она для них — своя.

Ответом ему стала горькая усмешка.

Вожак на это лишь сочувственно развел руками:

— Ты сам свою судьбу выбирал. Вспомни. Говорили тебе — оставь девку подобра, не буди лихо. Но ты упёрся. А теперь вот пришла пора ответ держать, — мужчина вздохнул и уже мягче добавил: — Ладно, чего уж теперь судачить. Иди, отдохни. Мы пока ещё поговорим, покумекаем.

Лют сидел на лавке с плотно завязанными глазами. Глава сжалился. Не захотел смотреть, как пленник корчится, закрываясь от яркого солнечного света.

— Ты зачем его так привела? — спросил Клесх Лесану.

Та солгала:

— Повязку забыла.

— На вот, — Глава что-то бросил обережнице, та подхватила налету, шагнула к оборотню и приказала:

— Убери руки.

Он послушно отвел от лица ладони, а сквозь плотно зажмуренные веки катились и катились слезы. Но когда полоска мягкой замши плотно легла на глаза, стало легче. Волколак принюхался, пытаюсь понять — чего ждать и сколько народу в покое.

От Лесаны пахло гневом — горьковатый острый запах, бередящий обоняние. Однако кроме девушки Лют унюхал ещё троих мужчин: самого Главу, колдуна, спутника обережницы и того седого мужика, которого называли посадником. Их запах не сулил беды, но оборотень всё одно сидел настороженный.

— Ты собирался помогать, Лют, — напомнил Клесх. — И, пожалуй, я решил, как именно использовать твоё рвение.

Надо же. Решил он. Волколак напрягся. Сейчас предложат какое-нибудь непотребство. Чего от них ещё-то ждать? Тут тебе и дочку припомнят, и ночные разговоры, и убитого Беяна, и снятый ошейник.

Он ошибся.

Сперва Глава расспросил о том, что могло случиться с Беяном, и Лют сказал всё, что ранее уже говорил Лесане.

— Тамир, — обратился Клесх к колдуну. — Может такое быть, чтобы от наузов Ходящий ошалел?

Несколько мгновений висела тишина, а потом молодой обережник ответил:

— Может. Мы ведь наузы обычно на покойников плетем. А Ходящие... все же хотя и не совсем живые, но и не мёртвые. Видать, постоянно в этих путах им и впрямь быть опасно.

— Ну, а раз опасно, — легко сказал Глава. — Забирайте его и увозите отсюда. Лесана, проедете по сторожевым тройкам. По пути узнаете — где какие дела. Там, где рук не хватает — поможете. Сторожевикам в каждую тройку передашь от меня кое-какие указания...

— А этот нам зачем? — удивилась девушка.

— При каждом детинце в городе есть псарни. Пусть собак натаскивают на живого волка.

Лют хмыкнул. Вот так «помощь» от него затребовали.

Меж тем, смотритель Крепости продолжил:

— Провезёте его до Старграда. Сорока от тройки прилетела. Пропал их сторожевик. И с ним двое дружинников. Уехали и не вернулись. Я туда Ильгара отряжу. Больше некого. Но его ещё подготовить надо, ведь раньше срока парень отправится. Тяжело ему будет попервости. А нечисть там волю почуяла, разгулялась. Вот и погоняешь её, чтоб ему, как приедет, не разрываться. В Цитадель же возвратитесь к зеленнику. Мне надо знать, как обстоят дела в тройках. Надо передать кое-что ратоборцам. И надо, чтобы к лету собаки

были должным образом натасканы на волколачий запах. Чтобы не боялись. Серый времени зря не теряет и нам готовыми надо быть. Как снег сойдет, начнём облавы устраивать. Псы пригодятся. Главное, чтобы запаха не боялись. А то шкуры, шкурами, а живой зверь — есть живой зверь.

Оборотень про себя вздохнул. Незавидная участь. Но, зато хоть на это время ошейник снимут, значит, не тронешься умом, как тронулся Белян.

— Как нам его везти? — тем временем уточнила Лесана.

Чудно, но, несмотря на ровный, спокойный голос, Лют уловил исходящую от неё... тревогу? Нет, не то... Страх? Тоже нет... Гнев? Гнев улетучился. Не осталось его. Тогда что же? Боль? Да, боль.

Волколак озадачился, втягивая носом воздух. И сердце у обережницы колотилось гулко-гулко, тяжелыми толчками...

А Глава и не подозревал, что с девушкой что-то не так. Спокойно продолжал о своём:

— Как везти? Это разговор отдельный. Ты, душа моя, сходи к Нурлисе, потом к Койре. Что тебе у них взять — я скажу. Поездка вам предстоит хлопотная. До зеленника многое сделать придётся. Тамир, ратоборца в походе вашем слушаться, как родных отца, мать и наставника вместе взятых. Лют, от того, как ты к делу подойдешь, будет зависеть, получишь свободу или нет. Об этом помни. А ещё помни: за малейший просчёт, если только покажется ратоборцу, что ты порученное делать не желаешь или делаешь плохо — разрешаю тебя убить.

— Понял, — ответил Лют, а сам подумал, что не успеет живым доехать и до ближайшей деревни. Лесане-то вечно казалось, будто он затевает зло и пакости. Пожалуй, едва версту от Цитадели отъедут, она разрешением Главы воспользуется. Не эдак рычишь, не эдак хромаешь... Такой только попадись под горячую руку. М-да.

— Разговор наш, — тем временем подал голос посадник, — непростой. Поэтому все трое внимательно слушайте. И, коли вопросы есть, задавайте сразу. Когда уедете, спрашивать будет не у кого.

...В покоях Главы провели чуть не два оборота. Спорили, обсуждали, горячились. Между Лютом и Клесхом беседа об этом уже была, а вот Лесана и Тамир о планах Цитадели узнали только что. И не то что растерялись... удивились порядком. И всё это время Лют слышал, как колотится сердце обережницы. Чего она так встревожилась?

Самому же волколаку казалось диковинным другое — Клесх даже словом не обмолвился ни о дочери, ни о ночном происшествии. Но видно ведь, что между собой насельники Цитадели случившееся с Беляном уже обсудили. Тогда почему Глава про Клёну молчит?

Наконец, когда все вопросы были заданы, все ответы получены, Клесх сказал:

— Так и порешим. Отправляйтесь завтра поутру. Лесана, веди его обратно, пусть помоется, поест, выспится. А потом ко мне поднимешься. Ещё раз скажу, что и как. Ты их поведешь, с тебя и спрос, случись чего. Тамир, ты, куда она ходит, останься.

— Пошли, — обережница дёрнула Люта за плечо и подтолкнула к двери.

Когда они оказались в холодном коридоре и спустились по крутому входу, оборотень вдруг остановился и повернулся к девушке:

— Ты провела меня, — широко улыбнулся он. — Глава ничего не знает. Вы не рассказали ему, что Клёна приходила на тот двор раньше.

Обережница рассеянно обронила:

— Ещё не поздно всё исправить. Хочешь?

— Нет-нет-нет, — попятился волколак. — Мне и так хорошо. Ну... почти хорошо. Хотя, как подумаю, что скоро будете собаками травить — не так уж на сердце радостно.

Лесана вновь подтолкнула его вперед:

— Нерадостно ему. А мне прям радостно с тобой ехать. Ты ведь наврал Клёне, верно? — безо всякого перехода спросила девушка. — Не был ты в той деревне.

Волколак развел руками:

— Тебе *хочется*, чтобы это был не я?

— Мне всё равно, — спокойно ответила она. — Я поймала тебя со стаей, которая пришла убивать. Я понимаю, *что* ты такое. Но слишком много совпадений. Так ты солгал или сказал правду?

Он пожал плечами:

— Какая разница? Я и сейчас могу солгать. И ты никогда об этом не узнаешь. Думай так, как больше нравится.

Обережница вздохнула:

— Как вспомню, что мне с тобой три месяца вожжаться...

Пленник остановился и обернулся:

— А я вот рад. Уж лучше ты и собаки, чем подземелья эти вонючие. Хотя... если бы я мог выбирать, я бы выбрал Клёну и лес.

Его спутница произнесла:

— Зря она промолчала, не сказала отцу. Глядишь, он вложил бы тебе хоть немного ума.

— Не вложил — вбил бы. Кулаками. А зачем мне быть умным, но беззубым и с отбитыми потрохами? Я лучше дураком помру.

И он захромал дальше. Но сам всё думал — что с ней такое? Говорит спокойно вроде, даже усмешка в голосе слышна, но сердце «бух-бух» и этот запах... Хотя, будь Лют человеком, он бы и на миг не догадался, что у неё смутно на душе. А ведь, когда надысь злилась, казалось, собой владеть не умеет вовсе. Ан нет. Умеет. Хорошо умеет. Кем же был ей тот пропавший сторожевик?

Но как ни глодало душу любопытство, оборотень почёл за лучшее отмолчаться. Всё ж таки Лесане скоро спускать на него собак.

Донатоса грызло смутное беспокойство. Понять, отчего ему так маетно колдун не мог. Вроде, всё как обычно, а чего-то будто не хватает. Только поздно ночью, вернувшись в свой покойчик, крефф осознал: за прошедший день он ни разу не видел Светлу. Никто не подкарауливал обережника с требованием одеться теплее; не приходил в мертвецкую, громыхая горшками и ложками, с призывом немедленно начать трапезничать; никто не пугался под ногами...

Целый день тишины и покоя! То, о чём мечталось. Донатос горько усмехнулся. Вот и дождался. Но сердце щемит. И тоска накатывает.

Накануне он ходил в лекарскую. Дуре вроде стало лучше. Она сидела на лавке, свесив ноги в шерстяных носках, и маленькими глотками пила медовый сбитень, которым её поил, придерживая за трясущиеся плечи, ученик Ихтора.

— Родненький... — слабо проговорила девка, увидев колдуна. — И не спал совсем. Круги, вон, под глазами...

Он подошел, пощупал холодный в мелкой испарине пота лоб и сказал:

— Нынче будешь тут сидеть. И, не дай тебе Хранители, нос из лекарской высунуть. Поняла?

Глупая тускло улыбнулась и кивнула.

Выуч уложил её обратно на лавку, укрыл меховым одеялом. Скаженная задремала. А Донатос ушёл по делам и быстро забыл о своей докуке. Весь день не вспоминал, будто. Но душу при этом свербило смутное беспокойство.

И вот теперь крефф думал, может, сходить к болезной? Хотя, спит ведь. И выуч, который её караулит — тоже. Чего баламутить их? Обережник, не раздеваясь, рухнул на лавку, завернулся в одеяло и попытался заснуть. Увы. Дрёма не шла.

Он уже и воды поднимался попить, и дров в очаг подкинул, и весь сенник смял, вертясь, а сна ни в одном глазу. Отлежав бока, колдун всё-таки поднялся, набросил на плечи тулуп и вышел в тёмный коридор.

...Светла металась на лавке, пыхая жаром, как печка.

— Иди, поспи, — кивнул Донатос Любору, едва сидящему от усталости. — Иди, иди. Я с ней побуду.

Парень благодарно кивнул:

— Тут в миске вода с уксусом и тряпица — протирать её, вот — питьё, если попросит, а ведро под лавкой...

Выуч ушел. Сделалось тихо... Лишь потрескивала лучинка, да девка металась на сеннике, то сбрасывая с себя одеяло, то бормоча, то порываясь встать.

Обережник смотрел в меловое лицо, скулы на котором теперь выступали особенно резко. Глаза ввалились и вокруг них залегли фиолетовые тени, в уголках рта — скорбные складки.

— Свет ты мой... — тихо прошептала вдруг девка. — Пришёл?

Крефф кивнул:

— Пришёл.

Дурочка улыбнулась, и в разноцветных глазах отразились разом грусть и вина:

— Замаяла я тебя, — сказала она. — Но всё. Скоро уж. Ты ступай. Отдыхай.

Донатос напрягся:

— Чего «скоро»? — спросил он голосом, в котором послышалась гроза.

— Закончится всё скоро... — прошептала блаженная и коснулась бескровной ладонью его плеча. — Много ты зла сделал. И мне, и другим. Но и добра немало.

Он глядел на неё, не понимая. А девушка продолжила:

— Боли в тебе много. Обиды ты прощать не научен, оттого и маешься. Я же вижу. Зло ты копишь, и избавиться от него не умеешь. Разъедает оно тебя. Потому и мира в душе нет, потому и в сердце пусто. Тёмный ты. Как мглой ночной окутанный. Я вижу. Помнишь, как озлился на меня первый раз? Когда приехала только. Не помнишь? Весь ты чёрный был. От страха. От гнева. От беспомощности. По всей крепости волнами твоя Сила расходилась. Тебя душила, меня душила. Жалко тебя стало... так жалко... Беды б ты наделал, кабы не я... А на мне сердце сорвёшь и легче вроде. Злоба из души уходит...

Ее голос становился всё слабее, всё тише, пока не перешел, наконец, в невнятное бормотание.

Обережник слушал бессмысленный лепет, и будто стужа прихватывала его за сердце. Не было ни во взгляде, ни в речах скаженной безумия. Лишь робкая нежность, лишь умиротворение. Светла, словно хотела сказать всё то, о чём до сей поры молчала. Словно понимала — другой возможности поговорить между ними уже не случится.

Девушка затихла, вытянулась на лавке, прикрыв глаза, и задышала прерывисто, неровно. Донатос достал из миски с уксусом тряпицу, отжал, взялся протирать полыхающее тело. А в душе горькой волной поднималось понимание: а ведь правда. В каждом слове её — правда. Оттого и послушники полюбили беззлобную дуру, что видели, как наставник, вымещаясь на ней, делается мягче с ними. Нет, злостью его это не умерило, но лютости и жестокости поубавило. Примечали диковинную перемену и прочие. Да и он сам... вроде злила девка сумасшедшая до душевного выворота, гнев на неё душил! Но сходил этот гнев очистительной волной, уносил из сердца злобу.

Пока он сидел и размышлял, по телу блаженной прошла крупная дрожь. Светла вдруг широко-широко распахнула глаза, вздохнула судорожно и хрипло, вцепилась в руку обережника белыми холодеющими пальцами, а потом вдруг ослабла на своём сеннике. И грудь больше не вздымалась.

Колдун некоторое время смотрел остановившимся взглядом на вытянувшееся тело. Затем бросил тряпицу в миску с водой. Привычным движением пощупал живчик на шее девушки. Тихо. Пощупал запястье, словно надеясь ещё на какое-то чудо. Поднес ладонь к приоткрытым губам.

Лучинка по-прежнему потрескивала в светце, за окном подвывал ветер и неслись по небу черные тучи. А Светла умерла.

Что-то произошло со временем. Оно словно перестало быть. Остались лишь тишина, темнота и боль. Сиплое дыхание раздирало грудь, казалось, каждый вдох и выдох длится целую вечность. Приходили и уходили оборотни, слышался во мраке шелест мягких шагов. А больше ничего.

Сколько дней миновало с тех пор, как его бросили сюда — в это царство холода и тьмы? Наверное, много.

Руки узнику давно не связывали. Зачем? Изгрызенный, обескровленный он уже не мог сопротивляться. Только лежал, скорчившись на полу, и сипло дышал. А ещё ждал. Ждал, когда всё закончится, ведь должно закончиться рано или поздно. Так и случилось.

Она вернулась.

Вошла, неся с собой запахи леса — острые, пряные, свежие. Опустилась рядом на каменный пол. Привычно дёрнула за уже порядком отросшие волосы:

— Не сдох? — и сама себе довольно ответила: — Живой... А хочешь, выведу на свободу? Хочешь, скотинка? Что? Уже и не вырываешься?

Он молчал.

— В лесу сейчас весна. Ты ещё помнишь, что такое весна?

И ущипнула за плечо, рассылая леденящий холод по телу.

Он помнил. Запах земли и мокрых деревьев. Тёплый ветер. И небо... голубое-голубое с облаками белее снеговых шапок. Он неправильно жил. Не ценил всё это. Не замечал даже. Весна... Тут темно, а там — солнце, и в кронах играет ветер. Хотя нет, врет ведь. Рано ещё для весны, да и пахнет от волчицы снегом и стужей. Издевается. Он не так уж здесь и давно, если подумать.

Подумать... подумать... мысли еле ворочались. О чём подумать?

— Тепло и вот-вот проклюнутся листья, — произнёс женский голос.

«Тепло...»

Легкая рука легла на затылок. Надавила.

Хранители, как же больно!

— Хочешь, выведу? Хотя бы подышишь перед смертью не этой своей вонью.

«Отстань».

— Отойди от него.

Этот равнодушный приказ принудил волчицу оставить пленника в покое. Откуда-то сверху прозвучало насмешливое:

— Жив? Это хорошо. Ну, как? Может, всё-таки хочешь поговорить, Охотник?

«Нет».

— Подумай... Хорошо подумай. Иначе ещё долго проваляешься тут между жизнью и смертью.

«Потерплю».

— Как хочешь.

Оборотень опустился на корточки рядом с полонянином и приподнял тому заплывшее веко.

— Посмотри на меня.

Узник с трудом разлепил другой глаз.

«Ну, смотрю».

Темнота и мерцают звериные зрачки. Эка невидаль.

Серый внимательно глядел человеку в глаза, словно надеясь прочесть в них страх или колебания. Но вместо этого видел лишь равнодушие. А левый и вовсе оказался затянутым кровавой пеленой. Видать, незрячий. Но Охотник этого ещё не понял.

Волколак кивнул на стоящую рядом женщину. Та замерла, напрягшись, как перед прыжком. Злится.

— Гляди. Она не хочет, чтобы ты помер.

«Знаю».

— Злая баба, как пиявка, пока крови не насосётся — не отстанет, — ухмыльнулся оборотень. — Что ж, раз ты не хочешь говорить...

Он поднялся.

— Еда — она и есть еда. — Вожак щелкнул пальцами и повернулся к волчице: — Зови их.

Фебр бессильно уткнулся лбом в пол.

Он сложил ей руки на груди и потянулся к узкой полоске холстины — подвязать. Перекинул ткань через тонкие запястья, взялся было затягивать узел, но в этот миг Светла судорожно вздохнула и распахнула глаза.

Донатос отпрянул и встряхнул рукой, на пальцах которой тот же миг вспыхнули голубые искры. Не может девка переродиться за столь короткий срок, но...

— Свет ты мой ясный... — прошептали бледные губы.

Разноцветные глаза заглянули в душу, и не было в них даже отголоска тёмной страшной жизни. Лишь привычные уже тоска и любовь.

Блаженная зашлась трудным кашлем, скорчилась, потом опять сипло вздохнула, вцепилась обережнику в руку, зашептала:

— Ты уходи, уходи... Не надо глядеть...

Колдун стиснул тонкие плечи:

— Да что с тобой такое?! — прорычал он.

А скаженная сипло пробормотала:

— Умираю я. Зачем глядеть?

Её колотило в ознобе, Донатос ещё укутывал девушку в одеяло, давал питьё, а потом она отяжелела в его руках и по телу вновь прошла волной агония — встряхнула, выгнула, заставила трепыхаться, будто раненую птицу.

И снова Светла ослабла, а прерывистое дыхание оборвалось.

Он прижался ухом к её груди — сердце не бьется. Не трепещет даже тихо. Поднес к губам нож. Железо не запотело от дыхания. Осталось таким же гладким и блестящим.

Донатос смотрел на переливающиеся в очаге угли. Вот и всё.

Потом он опустил её на лавку. Разобрал слипшиеся от пота волосы, вынул из них обрывки веревок и тряпиц, расчесал костяным гребнем. Пепельные пряди, оказывается, были мягкие, как пух, а когда лишились привычных украшений — легли красивыми крупными волнами.

Теперь Светла уже не выглядела ни безумной, ни скаженной. Красивая молодая девка. Только мёртвая.

Обережник обмыл её, сняв с маленьких ног нелепые и теперь уже ненужные вязаные носки. Переменил простынь на сеннике. Уложил покойницу. Взял с одной из полок чистую рубаху. В лекарской их держали для болящих — бесхитростные, просторные, грубо сшитые, чтобы легко вздеть, буде понадобится. Не для красоты. Для чистоты.

В этой рубахе из небеленого холста, слишком просторной и длинной, Светла смотрелась нелепой и маленькой. Нужно позвать выучей. Пусть отнесут в покойницу. Девку надо отпустить с миром, а утром отправить послушников колотить мёрзлую землю кирками и заступами — копать могилу.

Обо всем этом думалось как-то отстранённо.

Донатос сидел на краю лавки и глядел на покойницу. Бездумно. Что она там говорила? «Тёмный. Словно мглой окутанный»? Или как-то похоже. Да ещё про то, что он не умеет прощать зло и подолгу носит его в себе.

Вспомнился отец. Вспомнился Клесх. Лесана опять же. Она думала — он забыл. Нет. Помнил. Зря она его разозлила. Он сожалел потом, не понимал, отчего так вызверился, не

мог объяснить даже самому себе. Да и не пытался. Знал только, что с появлением Светлы весь гнев, который пробуждался у него в душе, утихал быстро, выплескиваясь на дурочку, которую и наказать-то толком не позволяло сердце. Вроде поорёшь, пинка отведешь и всё как рукой.

Колдун посмотрел на коченеющую девку. Сейчас, лишившись привычной суетливости, скованная холодным равнодушием смерти, она казалась такой... пригожей. Лицо разгладилось, сделалось спокойным и умиротворенным, пепельные кудри рассыпались по подушке. Разве скажешь, что блаженная, что слова внятного произнести не умела, лопотала бессмыслицу да без остановки тревожно перебирала пальцами, то волосы, то ворот рубахи, то привески на поясе?

Смерть её не изуродовала, как это бывает с другими. Смерть сделала её красивой. Донатос коснулся высокого лба, убирая с него лёгкую прядь. И в этот самый миг карие глаза опять распахнулись, ледяная рука перехватила его запястье, девушка захрипела, царапая горло ногтями, забила и... снова сделала свистящий рваный вдох. Закашлялась, обвисла на руках у колдуна.

— Прости... — едва слышно шептала она. — Уходи. Уходи, родной...

Он потерял её ещё трижды. Трижды тело встряхивала, выкручивала агония, трижды Светла падала обратно на тюфяк — недвижимая, холодная, мёртвая.

Колдун надеялся, что вот сейчас этот раз уж точно последний. Теперь всё. И не хотел в это верить. Он слушал её сердце. Оно молчало. Пытался уловить дыхание, склоняясь к губам. Дыхания не было. Она опять была мертва.

Никогда прежде Донатос не видел такого. Он хотел начертать на руках и ногах девушки отпускающие резы, окропить её кровью... но не посмел. Надеялся, что, может быть, всё поворотится вспять. И она откроет глаза и ей станет лучше.

Он держал её на руках, как ребенка, прижимая к себе, когда она билась и хрипела, когда выгибалась и металась, когда тяжелела, мертвела и холодела. Он не мог ей помочь. Лишь крепко стискивал и в душе молился неведомо кому, чтобы она не затихла, чтобы дышала, смотрела на него, звала...

И она звала. И смотрела. И умирала снова. И он умирал вместе с ней.

В лекарской было пусто. Никто не приходил и не уходил. Ночь сменилась серым рассветом. Донатос прижимал Светлу к себе и смотрел в пустоту.

Скрипнула дверь. В покойчик зашла Ихторова кошка. Поглядела янтарными глазами на человека. Приблизилась. Села напротив и уставилась долгим взглядом на прижавшуюся щекой к его груди Светлу. Мякнула пронзительно и резко, а потом молнией вылетела прочь. Только когти по камню проскребли.

Колдун сидел, стискивая в объятиях дурочку, которая вновь выгнулась, становясь на лопатки, и взялась рвать на груди ворот и без того уже изодранной рубахи.

Хлопнула дверь, влетел наспех одетый Ихтор, с отпечатком подушки на щеке.

— Что? Плохо?

Колдун кивнул.

Целитель виновато сказал:

— Я все свитки перебрал, какие только были. Я не знаю, что с ней.

Он подошел, положил руку на горячий лоб Светлы.

— Ихтор... может... — Донатос посмотрел на обережника: — Может, вспомнишь хоть чего? Попытаешься...

Лекарь устало кивнул:

— Клади. Попробую сызнава Даром очистить. Вдруг, да поможет...

Крефф поднялся и осторожно опустил девушку на смятый сенник.

— Ты-то чего здесь крутишься?! — Ихтор в сердцах отпихнул ногой, мечущуюся у него под ногами и непрерывно орущую Рыжку. — Как взъярилась!

Кошка обиженно мякнула, отскочила, а лекарь склонился над хрипящей Светлой.

— Не надо! — гневно крикнули от окна. — Что ж вы бестолковые какие! Ей ведь Каженик жилу перекрыл! Только хуже сделаете! Дайте девке умереть, коли помочь не умеете!

Мужчины вздрогнули и изумленно оглянулись на голос, а руки обоих, согласно вбитой за годы науке, тут же метнулись к висящим на поясах ножнам. Потому что у окна стояла девушка. С яркими янтарными глазами, россыпью веснушек на лице и косой цвета палой листвы. Девушка, которой в Цитадели никогда не было и... не могло быть.

Ихтор увидел, как она проследила взглядом за движением его руки и как, заметив сжавшиеся на рукояти ножа пальцы, топнула ногой. В глазах промелькнули злые слезы. И тут же рыжая кошка стрелой вылетела в приоткрытое окно.

Всё казалось не таким как прежде. Мир разделился на «раньше» и «теперь». «Раньше» — жило надеждой, верой в проблеск счастья. «Теперь» — принесло горькое осознание, что надежды не оправдаются.

Лесана спускалась в душное царство Нурлисы и даже ступеньки под ногами казались ей не такими, как прежде. Вся Цитадель вдруг сделалась незнакомой, словно девушка очутилась тут впервые.

Камень был холоден, тьма непроницаема, а звук шагов неслышен. Тишина... Какой страшной она иногда бывает!

Неужто правда, что человек способен молчать, когда от боли мутится рассудок? Что можно говорить, ходить, пить, есть, невзирая на высасывающую сердце муку? Раньше Лесана об этом не знала. А и сказали бы — не поверила.

— Лесанка, ты что ль?

— Я, бабушка, — бережливица улыбнулась.

Улыбка далась легко, хотя внутри всё сжималось от боли.

Нурлиса что-то говорила скрипучим голосом, сварливо бухтела, вытаскивая из сундуков добро, которым Клесх распорядился наделить выученицу.

Девушка молчала. Она слушала и не слышала причитания старухи. Мысли теснились в голове. Сердце трепыхалось. Раньше Лесана не понимала людей, которые в горе будто каменели, не умея выплеснуть боль. Она-то к таким не относилась. Она уж если горевала, всегда отпускала страдание слезами. Плакала, захлебывалась. До опустошения в груди, до звона в голове, до тряских судорог.

Но жизнь всякого меняет. Перекраивает на новый лад. И её перекроила. Научила прятать скорбь глубоко-глубоко в сердце, чтобы болела там, никому незаметная, болела изо дня в день, пока не обвыкнется рассудок, не примет душа. А потом страдание становилось частью естества и уже не так мучило.

Лесана научилась терпеть. Без слез. Без жалоб. Равнодушно. Терпеть и ждать, когда горе утихнет.

— ...лось-то тот сохатый?

Бережливица очнулась от медленно перекатывающихся в голове мыслей и ответила:

— Он у себя заперт. Сейчас как раз пойду, платье отнесу да отведу помыться.

Нурлиса протянула девушке стопу одежды и взгляделась в застывшее лицо.

— Чего это с тобой, деточка? — осторожно спросила бабка. — Случилось чего?

Лесана покачала головой.

Ничего у неё не случилось. Жива. Здорова. Случилось с другим. А она... всего лишь вспомнила то, что следовало навсегда забыть. И ведь казалось, ко всему привыкаешь. К чувству глубокой вины, к старой обиде, к горячей ненависти, к стыдному страху. Вот только к утрате надежды невозможно привыкнуть. Разум всё цепляется, всё ищет, за что ухватиться, как не захлебнуться отчаянием... а хвататься бессмысленно. Надежды не осталось.

— Спасибо, бабушка, — девушка улыбнулась и забрала из рук Нурлисы высокую стопку одежды. — Этого нам вовек не сносить.

Старуха посмотрела на неё воспаленными слезящимися глазами:

— Что это ты, а? Чего ещё удумала? — карга грозно двинулась вперед. — Ты мне

зенками-то не хлопай! Я тебя, как облупленную знаю! Ишь, вытаращилась! А глаза-то оловянные, я...

Девушка не стала слушать, поцеловала сварливую бабу в морщинистую щеку и вышла, придерживая подбородком стопу одежи, чтобы та не развалилась.

Нурлиса осеклась, только остановившимся взглядом смотрела на закрывшуюся за обережницей дверь.

Горе учит. Горе и беда.

Вот и Лесана научилась претерпевать любую боль. Научилась говорить спокойно и ровно, несмотря на страдание. Научилась слушать других. Что-то говорить и делать самой. И чувствовать, как на место боли заступает звонкая, ничем не заполняемая пустота, в которой бесследно исчезают тревоги и волнения, опасения и страхи. Всё. Наверное, это называют смирением — кроткое принятие безоговорочной жестокости.

Девушка миновала короткий коридор, подошла к знакомой уже двери. Лют в кои веки раз не дрых. Она сунула ему в руки чистое платье и повела в мыльни. Оборотень хромал впереди и был на диво молчалив. Лишь бросил на спутницу короткий пронзительный взгляд, но не обронил ни слова. Диво. А то ведь не заткнешь...

Пока он мылся в крошечной темноте, Лесана сидела в раздевальне и разглядывала свои руки. Просто не знала — куда ещё смотреть. Руки были загрубелые, с застарелыми мозолями, исчерченные тонкими нитями заживших порезов. Гвозди можно забивать и не поранишься...

У Фебра ладони куда жестче и крупнее, а костяшки пальцев — все в старых шрамах. Были.

Глупо теперь убиваться. Рано или поздно, кто-то из них двоих получил бы эту весть. Однако, пока ты знаешь, что тот, другой, пускай и где-то далеко, но все-таки жив — остается надежда. Увидеться. Перемолвиться хоть парой слов. Почувствовать себя теми, прежними — ещё способными любить, ещё не выжженными дочерна.

Может, он и забыл её давно. Может, уже впустил кого-то в сердце. Но Лесане была важна не его память и не его верность. Ей был важен он сам. Тот юноша, который снимал губами мед с её пальцев. Который помнил её в женской рубаше и разнополке, с тяжёлой косой и лентой в волосах... Пока он жил, казалось, что всё ещё можно повернуть вспять, изменить хоть на оборот! Короткой встречей, объятиями после долгой разлуки, разговором. «Как ты?» «А ты?» «Да что со мной станется!»

Эх и дура она... Всё надеялась — счастье впереди, а оно уже завершилось. И нового не случится. Не бывает его у обережников.

Взять хоть Клесха, который одним махом потерял жену, дочь, сына... В сравнении с его горем, её — не беда, так — победушка. Вот только известие о Фебре стало последней каплей в череде непрерывных скорбей...

— Лесана...

Девушка удивлённо вскинула глаза. Надо же, не слышала, как подошёл.

Лют стоял напротив уже одетый.

— Готов? Идём. — Она взяла со скамьи порядком уменьшившуюся стопу одежи и привычно пропустила спутника вперед.

Волколак смерил обережницу внимательным долгим взглядом.

— Что?

Он покачал головой и пошёл, припадая на увечную ногу, к выходу.

— Я завтра до рассвета приду, будь готов к той поре, — сказала она, совсем забыв, что надо принести ему еды.

— Буду.

Дверь закрылась.

Лесана шла в свой покой, перебирая в уме всё то, что следовало приготовить в дорогу. Не забыть бы чего. Не привыкла она так собираться... совсем не привыкла.

Скарб пришлось сложить в короб, что-то обернуть в холстины, что-то завязать в узлы. Надо же, сколько барахла... Зачем им столько? Девушка разделась и вытянулась на лавке. Может, забыла чего? Забыла — купит. Денег что ли нет?

Она уткнулась лицом в сенник. В Цитадели царила тишина. Впервые Лесане пришло в голову, что тишина тоже бывает разной. Есть тишина спящего леса, есть тишина знойного полдня, есть тишина предрассветного утра. А есть тишина Цитадели, которой не сыскать глуше.

С этой мыслью обережница провалилась в забытьё. Но на зыбком рубеже яви и сна она всё-таки успела взмолиться: «Хотя бы приснись мне нынче! Как отпущу, не простившись?»

Он не услышал. И не приснился.

Из черной пустоты сна Лесану вырвал резкий стук в дверь.

Девушка проснулась мгновенно. Драма слетела вместе со сброшенным одеялом. Обережница босиком прошлепала к двери, отодвинула засов и замерла, увидев на пороге Донатоса.

Несколько мгновений оба молчали. Она, стоя босиком на студёном полу в одной исподней рубаше, он, глядя на неё неживыми, лишенными мысли глазами.

— Лесана... — крефф с трудом вытаскивал из себя слова. — Ты ведь... можешь жилу отворить?

Его голос звучал глухо и казался таким же мертвым, как и глаза.

— Пошел вон. — Сказала девушка.

Колдун покачал головой:

— Твоя помощь нужна, — и тут же поспешно пояснил: — Не мне.

— Кому надо, сам придет, — ответила она и толкнула дверь, чтобы захлопнуть перед самым его носом, но Донатос успел выставить вперед ногу.

— Подожди. Хоть выслушай.

Обережница вздохнула:

— Шёл бы ты...

— Там Светла мается. Умереть не может.

Лесана глядела на незваного гостя, и понять не могла — чего ему надо?

— Не может? — удивилась она. — Мне её убить что ли?

А сама подумала, что для скаженной это ещё не самая худшая участь.

Колдун покачал головой:

— *Жила* у неё перекрыта, оттого и умереть не может девка. Нутро выплёвывает, задыхается, смерть зовет.

Говорил он глухо, устремив пронзительный взгляд выцветших глаз в переносицу собеседнице.

Та слушала молча.

На миг во взгляде креффа мелькнуло запоздалое понимание, и мужчина стал медленно опускаться на каменный пол...

— Сдурел?! — зло прошипела девушка, цепко ухватив его за локоть. — Камлания твои мне тут даром не нужны. Сам — гнида последняя — и других на мерку свою поганую меряешь? Думаешь, за паскудство твоё на девке безвинной вемещушь? Жди.

И захлопнула дверь у него — готового опуститься на колени — перед носом.

Вышла Лесана совсем скоро. Наспех одетая и подпоясанная.

— Веди, чего замер? — сухо сказал она.

Наузник пошёл впереди. В его движениях не было суетливости и угодливости. Он не собирался унижаться, просто по дурости в какой-то миг решил, будто именно этого выученица Клесха и ждёт. Увидела в глазах отчаяние и захотела гордыню потешить. Ошибся. Но повторять ошибку более не собирался.

...Светла металась на своём ложе — потная, измученная, с искусанными губами и облепившими бледное лицо волосами.

— Родненькая... — прошептала девушка, увидев склонившуюся над ней обережницу. —

Какая ж ты мертвая...

Лесана хмыкнула:

— Сама не лучше. А ну, нишкни...

И положила теплую ладонь на тяжко вздымающуюся грудь.

Краем глаза бережница видела, как мрачной серой тенью замер в дверях Донатос, почувствовала его тяжелый пронзительный взгляд.

Дурочка забилась, затрепыхалась и закричала так истошно, будто ей взялись тянуть из живого тела сердце. Крефф не дрогнул. Не шагнул к Осенённой, не попытался удержать, перехватить руки. Застыл, словно каменный.

— Тихо, тихо... — ласково говорила Лесана, а сама вглядывалась, всматривалась, пыталась увидеть перекрытую жилу. Впусте.

Сильные ладони скользили по груди скаженной, вспыхивая голубыми искрами.

— Дай поглядеть на тебя... Тихо, тихо...

Блаженная заплакала, жалобно, словно ребенок — личико сморщилось и слезы горохом покатались по щекам:

— Больно! — тонкие пальцы вцепились в запястье бережницы. — БОЛЬНО!!!

Лесана видела, как напрягся Донатос. Подумала ещё, мол, только сунься, сам позвал.

Но он не сунулся. Даже слова не обронил. Так и стоял молча, недвижимо. Будто пригвождённый.

И в миг наивысшего сосредоточения Лесана увидела! Слабый едва тлеющий огонек. Успела прикоснуться к нему, отпустить собственный Дар и рвануть на себя, отворяя жилу.

Светла выгнулась на лавке, стоя на одних лишь пятках и затылке, закричала, срывая голос. Тонкое тело задрожало, забилось и начало оплывать. В зыбком сиянии лучин было видно, как сквозь человеческие черты проступает облик зверя. Блаженная скатилась на пол, выгнулась, встряхнулась, словно собака...

Донатос почувствовал, как по спине ползут капли холодного пота.

Не осталось дурочки. Дрожа и корчась, глядела с полу девка, лицо которой стремительно менялось, вытягивалось, зарастало шерстью... только мерцали голодом разноцветные глаза.

Бережница вскочила одновременно с тем, как огромная белая волчица взвилась с каменных плит.

Лесана ударила, не раздумывая.

Ихтор вынесся во двор следом за кошкой. Ночью прошёл снегопад и теперь землю покрывали ровные не истоптанные ещё сугробы. Рыжкины следы вели напрямиком в северное крыло Цитадели.

Целитель, как был — в одной рубаше — устремился по следам беглянки.

— Стой!

Он замер посреди двора, беспомощно озираясь.

А самому подумалось: может, поблазнилось? Может, не въяве было? Примерещилось?

Но вот же следы кошачьи...

Крефф пошел вперед — туда, куда тянулись смазанные и сиреневые в предрассветном сумраке лунки, оставленные маленькими лапками.

Северное крыло крепости ранее звалось Ученическим. Но то было давно. Ещё тогда, когда Осенённых здесь жило много. Гораздо больше, чем ныне. В те времена тут селили выучей и гам стоял, как в сорочатнике. Шутка ли — десятки молодых парней и девок! А теперь послушники размещались на втором ярусе главного *жила*. Здесь же царила тишина. Тишина и холод.

В темном коридоре гуляли злые сквозняки, где-то за одной из дверей поскрипывал ставень...

— Огняна... — Ихтор озирался, хотя и понимал тщету своих поисков.

В полумраке не то, что кошку, собственную руку не увидишь. Да и чего вообще он потащился сюда? Ну, ведь ясно же — не выйдет девка. Видела, как он за нож схватился. Испугалась. Вспомнила, где и с кем очутилась.

Идя по переходу, лекарь подмечал и начинающие осыпаться своды, и заколоченные окна, и паутину по углам. А уж пахло тут... мышами, прелью, сырым камнем.

— Огняна... — эхо отскакивало от стен и катилось вперед по коридору. — Выйди! Не обижу...

В ответ тишина. Только гуляет сквозняк, продирая до костей, да трещат от мороза ставни. Вдруг в одном из углов зашуршало. Крефф обернулся на звук и выругался с досады — из темноты на него глядела, поблескивая чёрными глазами, здоровенная крыса.

Обережник топнул, спугивая тварь, и двинулся дальше.

Зачем идет? Раздетый, окоченел уже. Надо вернуться, накинуть полушубок и тогда уж возвращаться... Но только, куда он туда-сюда ходит, Рыжка вовсе затеряется. Да и рассветет к тому времени. Нет, точно не выйдет.

— Огняна...

От холода перехватывало дыхание. Надо возвращаться.

— Огняна!

Впусте. Ни рыжая кошка, ни рыжая девушка на зов не вышли.

Крефф развернулся уходить.

Надо разбудить Главу, рассказать ему о случившемся, опять же про дурочку Донатосову лекарь как-то совсем забыл — что там с ней? Он ходит тут, как дурак, а девке там помощь нужна.

— И, правда, — пробормотал целитель и направился к выходу.

Он и сам не понял, откуда, из какого угла вынырнула навстречу ему кошка. Вот её не

было, а через мгновение стоит напротив, мерцая янтарными глазами. Ихтор замер, боясь спугнуть. В неярком свете наступающего утра было видно, что рыжая от одного резкого движения порскнет в сторону и снова исчезнет в каком-нибудь из закоулков — вовек не отыщешь.

— Огняна... — целитель медленно опустил на корточки и протянул руку к застывшей кошке.

Слабое мерцание зелёных искр и вот уже перед ним стоит девушка с россыпью веснушек на лице.

— Смотри-ка, не Рыжкой зовешь, а Огняной, — горько усмехнулась она.

Мужчина поднялся и ответил:

— Так ты ведь не зверь, что б кошачьей кличкой звать. Идём. Холодно тут.

Она отступила на шаг и спросила с подозрением:

— За нож-то хвататься не будешь?

— Нет.

Ходящая поглядела на собеседника долгим задумчивым взглядом и кивнула.

Когда они миновали двор, из лекарской вышел Руста. Цепким взглядом окинул незнакомую девку, не одетую, как и её спутник, в теплую одежду, и сказал:

— Слыхал? Дура-то Донатосова волчицей оказалась. Лесана только что в казематы уволокла. Та кидается, хрипит, рычит, аж заходится. А где ты этакую красу рыжую отыскал?

Ихтор ответил:

— В Ученическом крыле.

И больше не сказал ни слова. И не спросил ни о чем.

Дрова потрескивали в очаге, Огняна сидела на сундуке, подобрав под себя ноги, и пила молоко. Ихтору казалось теперь, словно она всегда тут была, ничего и никого не опасаясь.

Обережник одёрнул себя, напомнив, что девушка и правда тут, в этом покое, не первый день. Да, собственно, и на этом сундуке. А если подумать, то и не только на нем.

Целитель смотрел на Ходящую и не знал, с чего начать расспросы. Она же молчала, не собираясь облегчать ему задачу.

— Разве, — наконец, растерянно произнёс крефф, — оборотни могут перекидываться... кошками?

Девушка поставила кружку на край стола и лукаво улыбнулась:

— Ну, я же перекидываюсь. — Однако в тот же миг посерьёзна и спросила: — Вот скажи мне, обережник, бывает такое, что родятся дети со слабым Даром?

Мужчина опустил на лавку и кивнул:

— Да.

Собеседница склонила голову на бок и спросила:

— И что они умеют?

Лекарь развёл руками:

— Ничего. Толком ничего не умеют. Дар-то ведь слабый.

— А ты неужто думаешь, — снова улыбнулась девушка, — что у Ходящих не родятся такие? Слабые. Хилые. Ребёнку, когда он растёт, кровь человеческая нужна поболее, чем взрослому. Потому что без крови не сможет дитё перекинуться. В три года от рождения в нас зверь на лапы становится. Кто недоедал, болел, тот не может обратиться и умирает. Муки страшные. Обычно вожак таких детей убивает. И меня бы убил — родилась-то в голодный год и в большой рысиной стае. Но во мне Дар теплился. Слабая искорка. Живучая. Хотя в крупного зверя перекинуться я так и не смогла.

Девушка с грустной улыбкой развела руками.

— Перекинулась в кошку. Смех, конечно... Ну что кошка за зверь? Не зверь — недоразумение. Но я могла кормить стаю и мне оставили жизнь. А потом... потом случились вы. Вожака нашего убили, и многих котов с ним. Уцелела горстка: трое парней, мой отец и кошка вожака. Как жить? Отец займку поставил, сказал, надо осесть. Из Осенённых одна я осталась. Я их и кормила...

Ихтор усмехнулся:

— А где сама кормилась?

Девушка перекинула рыжую косу через плечо:

— Известно где — в соседней веси. Много ли кошке крови надо? Я ж не волк, не рысь, не медведица. Да и кто мурлыку не приласкает? Ну, а оцарапает если или цапнет, так ведь беды никакой — почешется, да заживет.

— Погоди, — перебил крефф. — Но ты ведь со мной по деревням ездила. А там черта Обережная, как же...

Огняна опять лукаво улыбнулась:

— Вы черту обережную от дикого зверя ставите, от хищника, от того, кто человека убить может. А кошка, кому угроза? Её ваша защита и не чует.

Целитель потрясённо смотрел на собеседницу.

— И много вас таких?

Девушка покачала головой:

— Я не знаю. И отец мой не знал. И вожак. Я — урод, обережник. Жалкое подобие оборотня. Даже саму себя защитить не умею: Дар чуть теплится, ни лечить, ни убить, не зверь и не человек.

В её голосе звучала горечь, словно Огняна против воли признавалась в чем-то недостойном, срамном. Ихтору на миг стало жаль её.

— Так зачем ты со мной увязалась? Почему бросила стаю?

Рыжка отвела глаза:

— Не осталось стаи. Надея сгинула. Охотник её убил. Отец с братьями ушли в лес на промысел — зверя бить, но не вернулись. Я день ждала, два, седмицу... Потом ещё одну. Понимала, что впусте, но всё одно... не верила. Когда ты в ворота постучался, я обрадовалась, думала, вдруг они? Хотя и не могли они днем вернуться...

В янтарных глазах мелькнули слёзы.

— А ты приехал... уставший... потерянный...

Говорила она через силу, будто стеснялась, да ещё при этом теребила завязку на рукаве рубахи:

— Показалось, тебе так же плохо, как мне. Показалось, не обидишь. Нужно было уходить. Волки окрест кружили. А где волки, там Охотники. Подумала: увяжусь за тобой, доберусь до города. Одной-то мне не дойти и не добежать. А тут бы приехала, затерялась там, глядишь, как-нибудь да обжилась. Кто ж знал, что ты вместо города по деревьям потащишься, а потом и вовсе меня в мешок упрячешь!

Было чудно слышать смех в её голосе, все ещё слегка дрожащем от слёз.

— А как достал из мешка-то, я поглядела... Хранители, Цитадель! Испугалась... Ничего, и тут ведь как-то живут. Да и спокойно у вас. Охотиться не надо. Только в лес выйти не могу. Сунулась раз, а Черта не пускает. Словно стена. И чуют меня не чует, и изникнуть не дает.

Ихтор, как всегда это бывало с ним в моменты задумчивости, потёр изуродованную бровь:

— Дела...

Огняна покинула свой сундук и подошла к целителю. Села рядом, положила руку на плечо:

— Ты пойми, постоянно кошкой быть — плохо. Кошки или лижутся, или спят. А жизнь уходит. Но не води меня в подвалы. Не запирай. Там зябко и сыро. Лучше, как на волка этого, ошейник взденьте. Только не надо в подземелье. Я ж не бочка с грибами солёными, чтоб меня в темноте и холоде держать.

Крефф смотрел на собеседницу, словно не понимая.

— Идём к Главе, — сказал, наконец, он.

Девушка грустно кивнула и поднялась на ноги.

Лют дремал, прислонившись спиной к неровной стене узилища. Лесана сказала, что придет чуть свет, а самой всё не было. Волколака глодала досада — что ж они там мешкают? Пришли бы скорее, освободили. Как же хотелось в лес! Надоело ему здесь. Хотят собаками травить — пускай себе. Лишь бы не в этом подземелье сидеть. Тошно-то как... Эдак и одуреть недолго.

Заскрежетал засов. Хвала Хранителям! Вспомнили про него!

Когда дверь распахнулась на пороге стояла высокая девушка. Лют так и замер, забыв о том, что мгновенье назад едва не ёрзал от нетерпения.

Девушка была стройная, как колос. В красивой лисьей шубке с суконным верхом, пёстрой шерстяной разнополке, белом платке и меховой шапочке.

Оборотень присвистнул:

— А, пожалуй, Встрешник с ними, с собаками! — протянул он. — Травите. Потерплю.

Девушка посмотрела на него серьезно и строго, после чего сказала:

— Повернись.

Узник накинул тулуп и покорно выполнил приказ, терпеливо ожидая, когда гостья крепко-накрепко завяжет ему глаза полоской мягкой замши.

— Выходи, — сильная рука ухватила под локоть.

— Иду, иду... — сварливо отозвался волколак и направился туда, куда вели.

Когда вышли во двор, в лицо ударил острый запах леса, снега, лошадей и людей. После духоты казематов мороз на вдохе пронзил голову от носа до темечка, словно ледяной клинок.

— Как же хорошо... — тихо сказал Лют.

— Глаза не болят? — спросила его спутница.

— Нет.

Она и впрямь надежно наложила повязку. Темно, как в этих их казематах. Хотя солнце яркое, он кожей чувствует.

— Лесана, — шепнул оборотень.

— Что?

Он улыбнулся во все зубы и вкрадчиво спросил:

— А где мой зять?

Девушка хмыкнула:

— Да ты, я гляжу, рад, что по воле Главы родственниками обзавёлся?

Волколак с наслаждением втянул студёный воздух и произнес:

— Ты забываешь — у меня ведь есть настоящая сестра. Родная.

Обережница хмыкнула:

— Помню. Тогда ты знаешь и где твой зять. В лесу под кустом. Серый его зовут.

Ее собеседник кротко вздохнул:

— Вот есть же злобные девки... Зачем тебя мне сестрой назначили? Совсем ты на сестру не похожа. Да и из Тамира, прям скажем, муж тебе выйдет никудышный...

— Лесана! — раздалось откуда-то справа.

Обережница повернулась на голос и, щурясь против яркого солнца, разглядела на другом конце двора того, о ком шла речь. Тамир стоял возле саней, в которые служка

заканчивал впрягать лошадь.

— Сюда идите! — колдун помахал рукой.

Одет он был в неприметный полушубок, тёплые штаны и валяные сапоги.

Девушка подхватила Люта под локоть и подтолкнула вперед. Но оборотень споткнулся, едва не упал и тут же повернулся к спутнице:

— Лесана, ты забыла? — спросил он обманчиво ласково.

— А? — рассеянно отозвалась она.

— Я не пленник. Я — твой брат. Не надо меня гнать пинками под зад, иначе вся ваша затея провалится ещё в стенах Цитадели. Ласково, родная, ласково... Ты ж меня любишь. И слаб я покамест после лекарства-то. Слаб, незряч, беззащитен. Да ещё и хромаю.

Обережница скрипнула от досады зубами, но мягко приобняла волколака за плечи и повела вперед.

— Вот приедем в Старград, я на тебя, родной, самого злобного кобеля спущу, — ласково прошептала девушка.

Оборотень ухмыльнулся:

— Так, то когда-а-а ещё будет. А пока терпи. Терпи. Люби. Заботься.

Они шли к саням, а Лесана думала о том, что уже совсем разучилась носить женские рубахи. Подол путался в ногах, мешался, было неудобно, да ещё платок этот... как душил, проклятый! И казалось, будто выглядит она нелепой и странной в одежде, от которой давно отвыкла.

— Садитесь, — Тамир подал руку спутнице. — Это вот, Смир, поедem с ним в обозе до Старграда.

Лесана поздоровалась, Лют повернулся на звук голоса старшего по обозу и кивнул:

— Спасибо, мил человек, — потом нащупал облучок саней, провел ладонью вдоль бортика и так, осторожно ступая, дошел до того места, где была деревянная приступка.

Тамир взял оборотня за запястье и втянул в сани.

— Что это с ним? — кивнул Смир на Люта. — Слепой?

— *Был* слепой, — ответила Лесана, стараясь придать своему голосу радости и гордости. — Теперь уж нет. Лекарь его смотрел, с глазами что-то делал...

Она говорила, пытаясь подбирать слова правильно, чтобы речь её оставалась учтивой, похожей на речь простой мужней женщины, пустившейся в дальний путь ради мужа и брата:

— Сказал, через четыре седмицы повязку снимем, прозреет брат мой...

Обозник закивал:

— Тут и не такое могут... Поди, взяли немало?

Лесана осторожно ткнула локтем Тамира, который вовсе забыл, что разговор должен на правах мужа вести сам. Колдун очнулся и проговорил:

— Да уж. Всё, что скоплено было, отдали. Только на обратный путь и осталось.

Смир поцокал языком, покивал, покосился на Лесану, сперва недоумевая, отчего молодая баба отправилась в дальний путь вместе с мужиками, а потом подумал, что, небось, показывали целителям не одного лишь брата.

«...Волки осмелели, — говорил надясь Клесх, — по всему лесу рыщут. И ловить Охотников им понравилось. Два обережника — добыча сладкая. Накинутся стаей, не отобьетесь. Потому странствовать будете только с обозами, неприметные, как и прочий люд. Ни к чему Серому знать, куда и зачем выдвинулись посланники Цитадели, кого с собой везут. Этак у него мысли в голове бродить начнут. А нам то без надобности. Так что,

затеряетесь среди обозников, вас и не заметят. Да, глядите, поодиночке не шастайте. Опасно. А Люта не забывайте отваром умыть. Бьерга с Ихтором над ним едва не седмицу колдовали. Это, чтобы запах звериный перешибить. Лошади при обозе беспокоиться не будут, да и волки не учуют, ну ежели только впритык не подойдут».

Лесана устраивалась в санях, среди узлов. Лют уже разлегся на соломе, положив по голову узел со сменой одежды, и блаженствовал. Ему-то хоть бы хны. Особо и прикидываться не надо. Не то, что двоим обережникам, которые пытались выдать себя за тех, кем не являлись.

Клесх сказал, мол, везти Люта надо так, чтобы люди при обозе знать не знали, что с ними едет оборотень. Да и про обережников тоже не догадывались. Едут себе муж с женой, везут хворого слепого родича. Лесана тогда удивилась ещё, мол, зачем им выдавать себя за родню? Клесх покачал головой, досадуя её недогадливости, и спросил:

— Разве немужние девки в одиночку с оравой мужиков странствуют? И потом, вам нужно рядом быть. Спать рядом, есть рядом. Косых взглядов не притягивать. Иной раз всем вместе отлучаться. А на сестру и братьев вы, как ни крути, не похожи. Да и потом... девка свободная при обозе — соблазн для молодых ребят. Понравишься кому-нибудь, будут попятам ходить.

Все верно... Лесана кивала, чувствуя себя пристыженной. Но при одной мысли, что в близкие родичи ей достались Тамир да Лют, становилось тошно. Видать, посмеяться решили Хранители. Потешиться. Но делать нечего, Глава прав. Ехать надо, как обычным странникам, не раскрываясь. Потому как не только для того в путь пустились, чтобы псов на Люта натаскивать. Собаки-то как раз дело десятое... Тут другое важно. Словом, надо терпеть. Вот только на душе после последних вестей было гадостно.

Девушка, сама того не замечая, подсчитывала удары, которые отвесила ей за последние седмицы жизнь: сгибли Эльха и Дарина, едва не пропала Клёна, Фебра больше нет... А дурочка Донатосова переродилась в волчицу, да такую злющую, такую свирепую, что обережница едва смогла её усмирить и свести в казематы. А там зверина, поди, и посейчас билась и кидалась на стены...

От всего этого казалось теперь Лесане, будто нет и не будет в жизни просвета, будто впереди ждут только новые скорби и горе...

— Не кручинься, — Лют погладил «сестру» по спине. — Оглянуться не успеешь, как уж старгардский тын замаячит.

Со стороны, казалось — любящий брат утешил сродницу, тоскующую по дому. А на деле... вот бывают же язвы! Лесана горько усмехнулась.

В покоях главы Ихтор и Огняна застали Донатоса. Он сидел на лавке в том самом углу, где по обыкновению устраивался уже много лет. Как видно, разговор у колдуна с Клесхом был не самый радостный, потому что смотритель Крепости хмурился, а наузник выглядел растерянным.

— Это кто с тобой? — спросил Клесх, кивая в сторону Ихторовой спутницы.

Тот сказал спокойно:

— Это Огняна.

Хлопнула дверь — в покой вошел Нэд. Судя по вощенной дощечке и писалу, которые посадник держал в руках, был он у Койры, где подводил подсчеты какому-то Цитадельному добру, а теперь вот явился к Главе о чем-то сообщить. То ли о недоимке, то ли об избытке, то ли о порче.

**Больше книг на сайте — [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

— Чего это вы тут столпились? — удивился Нэд. — Ко мне так часто не ходили.

Клесх обвел всех сумрачным взглядом.

— По порядку. Значит, Светла волчицей оказалась?

Донатос кивнул.

Глава обернулся к Ихтору.

— А у тебя что?

— Это... кошка моя... — с какой-то растерянностью сказал лекарь, кивая на стоящую рядом девушку. — Рыжка.

Взгляд старшего креффа потяжелел, и целитель поспешил объясниться:

— Я кошку привез, помнишь? Когда выучей ездил по весне искать, ночевал на заимке, там она в суму переметную и залезла. Я её в Крепость привез. А она...

И он с какой-то беспомощностью кивнул на Огняну, мол, ты только погляди на неё!

Клесх сложил руки на груди и спросил с обманчивым спокойствием:

— А люди-то в Цитадели остались ещё? Или...

В этот самый миг в дверь коротко постучали, и на пороге возникла взволнованная стройная девушка.

— Клесх! — девушка вошла, ведя за руку Люта, и сказал виновато. — Он как укушенный! Веди, говорит, к Главе. Пришлось Тамиру обозных уговаривать обождать, мол, зелье забыли у лекарей забрать. А я к тебе сразу.

Глава против всякого ожидания улыбнулся. Надо же. Он её сперва и не признал в этом белом платке, в шапочке, в шубке и разнополке. Пригожая получилась из Лесаны девка... Худая только.

— Глава, — Лют отодвинул обережницу в сторону и незряче повернулся к Клесху. — От Лесаны пахнет волчицей. Я думал поблазнилось, стал спрашивать, а она говорит, мол, жила при Цитадели блаженная девка, которая нынче перекинулась в зверя. Где она теперь?

За Клесха ответил Донатос:

— В казематах, где же ещё? Неистовствует, мечется, воет. Крови просит. Бросается.

Лют обернулся на голос и сказал:

— Дайте ей крови, она того стоит, — а потом снова повернулся к Клесху и отдельно произнес: — Глава, я знаю, как выманить Серого. Волчица эта — его сестра. Если сумеете,

чтобы она обратно в человека перекинулась, считайте, Серый ваш.

В покое повисла тишина. Креффы переглядывались.

— Сестра? — переспросил Нэд. — С чего ты взял?

Волколак пояснил:

— Запах. Пока она была человеком — ничего особенного. Казалось, будто где-то уже её чуял, но не мог понять — когда и где. Знакомое что-то. Ну... у людей так бывает, когда, вроде, узнаешь кого-то, а вспомнить, откуда с ним знаком, не можешь. А нынче Лесана пришла... опять этот запах, только резче, сильнее. Но она ведь помылась, переделась перед дорогой. Я нюхал, нюхал... не могу понять, а она, возьми, да и скажи, дескать, дурочка одна волчицей оборотилась, ну я и дошел...

— Глава, а ведь Фебр девку в волчьем логове подобрал, — сказал Донатос. — И аккурат после этого волки начали в стаи сбиваться, людей рвать.

Оборотень кивнул, подтверждая правоту слов колдуна:

— У Серого всю стаю вырезали. Он рассказывал. Говорил ещё — сестра была, но у Охотников сгубла.

Клесх помолчал и спросил:

— Отчего ты решил, будто за девку ваш вожак в силки пойдет?

Лют усмехнулся:

— Он её любит. Для волка семья и Стая — суть жизни. А они к тому же единоутробные. Он оттого так и переярился, что самого дорогого лишили.

— Глупо, — ответил на это Глава. — С чего он взял, что она убита? Обережники её с собой увезли, да, но ведь они знать не знали, что девка не человеческого племени. Убивать не собирались.

В ответ волколак пожал плечами:

— Он говорил, мол, сестра была скаженная — дура безобидная, которой Хранители малый срок отмеряли.

— Скаженная? — подал голос Нэд.

— Ей Каженник жилу затворил! — отозвалась стоящая рядом с Ихтором и всё это время молчавшая Огняна. — Я же вам сразу сказала. Не могла он волком перекинуться. Оттого и умирала. И умерла бы.

Девушка говорила убеждённо и напористо:

— Уж не знаю, как вам удалось её в зверя обратить. Столько дней ничего не получалось. А сама бы она не сумела. Жила-то, по которой Дар струится, у неё перекрыта была.

Клесх посмотрел на Огняну испытующе:

— А ты откуда такая умная? Откуда про Каженника, про жилу знаешь? А?

Ходящая растерялась:

— Так видно ж... вон, как её распирало. Дар закрытый выхода искал, а выхода нет. Оттого она и маялась. Что я, скаженных что ли не видела?

Смотритель Крепости обвел тяжелым взглядом всю честную братию и сказал:

— Донатос, иди вниз. Волчице надо дать крови. Успокоится, будем думать, как в человека обратить. Лесана, ты ведь дуре жилу отворяла? — Он дождался, покуда выученица кивнет, и сказал: — Без ума дело сделано. В другой раз, прежде чем лезть, куда не знаешь, хоть тех, кто умнее, спроси. А ежели бы отбиться не смогла? А ежели бы она в окно выскочила или на креффа кинулась? Ты о чем думала?

Лесана виновато потупилась:

— Я ведь не знала, что она оборотень. Её ж всю столько раз щупали...

Наставник в ответ покачал головой:

— Вот оттого, что мы тут ничего не знаем, у нас Ходящие по Цитадели расхаживают туда-сюда, как по лесу. Ладно. Забирай Люта и езжайте. Обоз вас уже заждался, ни к чему людей будоражить. Лют, добавить есть что? Если нет, Мира в пути, к зеленнику жду обратно. И, как я понял, кто такой Каженик — ты знаешь?

Оборотень кинул.

— Значит, о чем в дороге поговорить со своими спутниками, уже понял, — Глава обернулся к креффу целителей: — Ихтор и ты, рыжая, тут останьтесь. С вами разговор особый. Всё. Расходитесь.

— Мира в дому, — сказала Лесана, выводя Люта из покоя и с удивлением глядя на незнакомую ей рыжеволосую девушку. Кто ещё такая?

Когда все, кроме Нэда, который удобно устроился возле очага, удалились, Клесх посмотрел на Огняну. Та примостилась на краешке лавки, словно наказанная, смотрела янтарными глазищами и молчала. Однако было видно — не боится, скорее, печалится. Чему? Ихтор не глядел в её сторону, отсел, как отрекся.

— Так кто такой Каженник? — спросил Глава.

Девушка грустно улыбнулась:

— Злой дух из навьего царства. Является, когда захочет. Если встретит в чаше — не убежишь, не спасешься. Хоть из шкуры выпрыгни. Подойдет, коснётся — лишит ума и памяти, в сердце злобу вложит.

— Светла была спокойной... — заметил Клесх. — Никого не трогала, лопотала, всех пыталась приласкать...

Девушка пожала плечами:

— Она не могла обратиться. Это значит, её коснулись в детстве, когда в ней ещё зверь на лапы не встал. Она и рассудком помутилась оттого, что человеком осталась. Суть её вырвали.

— А теперь что же изменилось?

Девушка опять пожала плечами:

— Ей уж давно пора перекинуться. Луна, вон, в силу входит...

— Так она и прежде входила. Что-то ты, красавица, не договариваешь...

Огняна вздохнула:

— Да неужто непонятно? Женское в ней пробудилось. Зверь запертый на волю попросился. Влюбилась она. Вот и все.

Мужчины переглянулись.

— Влюбилась? — Глава не смог сдержать беззвучного хохота: — Хранители, что ж все через задницу-то у нас тут...

Нэд крякнул и спросил:

— Донатосу-то скажем?

Клесх против воли рассмеялся ещё пуще, уткнулся лицом в ладони и только плечи подрагивали.

Огняна переводила изумленный взгляд с Главы на Нэда, с Нэда на хмурого Ихтора, лицо которого было застывшим и безучастным.

— Ладно, красавица, — успокоившись, сказал повеселевший смотритель Крепости, — говори теперь, как тут очутилась?

Но вместо Огняны слово взял целитель. Рассказал, а потом спросил глухо:

— Что делать прикажешь, Глава?

Клесх развел руками:

— А что ты сделаешь? Выдели ей какой-нибудь покой из пустующих в людской, сходи к Нурлисе, одёжи попроси на смену. Да пристрой куда. Вон, у Койры шерсти — прясть, не перепрясть.

Крефф растерялся:

— А наузы?

— Наузы? — Клесх удивился. — Зачем ей наузы? Она, почитай, год здесь живет. Никого

не покалечила. Даже тебя. Только не болтай никому, что Ходящая.

Последнее относилось уже к Огняне. Та кивнула.

— А скажи-ка, красавица. Обрати-то теперь Светлу в человека как обратить?

Девушка покачала головой:

— Научить только. Да здесь некому. — И поспешно добавила: — Я не смогу. Меня она разорвет тут же. Здесь нужен не просто зверь, а сильный да ещё и Осенённый. А коли его нет, можно лишь ждать — либо она сама с естеством совладеет, либо так волчицей и останется. Но, ежели до следующей луны не перекинется, человеком уже не будет.

Глава мрачно кивнул.

— Идите.

...Когда целитель и его спутница вышли в коридор, девушка обернулась и, заглянув в обезображенное лицо, спросила:

— Ты злишься? Обиделся на меня?

Он покачал головой.

До людских покоев они дошли в молчании. Здесь Ихтор открыл первую незапертую дверь, кивнул в темноту пустого нетопленного покоя и сказал:

— Обживайся.

А после этого развернулся и ушёл. Ни разу не оглянувшись.

Донатос стоял перед решеткой, из-за которой на него смотрела, мерцая жёлтыми глазами, снежно-белая волчица.

— Светла? — колдун вглядывался в оскаленную морду, безуспешно пытаясь увидеть под обличем свирепого хищника робкую незлобивую девушку.

Зверь утробно и глухо зарычал.

Ургай и Стеня, нынче несшие стражу в каземате, переглянулись.

— Наставник, — тихо спросил Ургай, — как же ей крови-то дать? Она ведь кидается. Не подступишься.

Крефф ответил, не отводя взгляда от псицы:

— За тупоумие тебя к ней закинем. Пусть до отвала наестся. А то ведь дурака учить — только портить.

Парень досадливо покраснел, а колдун тем временем обернулся к нему и сказал:

— Ступай на поварню, попроси кого-нибудь из служек ладонь посечь и в плоское блюдо нацедить из раны. А ты, — наузник повернулся к ратоборцу: — к целителям иди. Позови, кто потолковей из третьегодоков, порез затворить. И блюдо сюда несите. Да ещё кочергу захватите по пути, чтоб двигать было ловчее. А то ведь руку по локоть отхватит вместе с посудинной и не подавится.

Парни дружно кивнули, однако у самого выхода Стеня остановился, как споткнулся:

— Крефф, не сердчай, но пусть Ургай один идет. Наставник велел из каземата не выходить, покуда смена не подоспеет.

Донатос кивнул, не глядя на парня:

— Правильно велел. Сиди.

Выуч вернулся на прежнее место, досадуя, что вбитая креффом привычка подчиняться старшему сыграла с ним нынче злую шутку и едва не заставила нарушить прямой приказ наставника.

А колдуну не было дела до переживаний парня. Он по-прежнему стоял перед решеткой и неотрывно смотрел волчице в глаза.

— Светла... — тихо позвал обережник.

Ходящая, услышав собственное имя, вдруг рванулась вперед, и крепкие зубы лязгнули, смыкаясь на железных прутьях. Обычный зверь все клыки бы обломал, а этой — хоть бы что. Ревет, рычит, ярится, аж захлебывается. Крефф, отпрянул. Не испугался, просто не ожидал. Тяжелая туша наваливалась на решётку. Зверина заходила от бессильной злобы, но вырваться не могла и оттого свирепела ещё пуще: билась широкой грудью о препону, рывкала иступленно и яростно.

«Ургая, как за смертью посылать», — подумал Донатос, и в этот миг дверь каземата отворилась и послушник с блюдом в одной руке и кочергой в другой — показался на пороге.

Светла, учуяв запах крови, взревела и заметалась. Она кидалась из стороны в сторону, будто хмельная. Налетала попеременно, то на стены, то на дверь, выла, хрипела, билась о железо, скребла когтями по камню, лязгала зубами.

Ратоборец протянул креффу блюдо и кочергу, сказав:

— Сейчас, как уйму, пихай под низ.

Донатос кивнул. Стеня подошел к решётке и простер ладони к узнице, заточённой

внутри. С пальцев выуча поплыло по воздуху зыбкое голубое сияние. Псица заскулила испуганно и жалобно, мигом растратив гнев и неистовство.

До боли знакомым показалось креффу жалобное щенячье «у-у-у» грозного хищника. Так всхлипывала Светла, когда случалось ей плакать от обиды или боли.

Колдун скрипнул зубами, глядя на то, как Ходящая пятится на полусогнутых лапах к противоположной стене темницы. Пятится, отворачивая одновременно с этим лобастую голову, чтобы защитить глаза от выжигающего их сияния.

Блюдо скользнуло под прутьями, обережник кочергой подвинул его как можно дальше и отошел. Стеня опустил руки, перестав удерживать волчицу.

Перемена в Ходящей была мгновенной и страшной. С утробным рыком Светла рванула с места к сладко пахнущей посудине. Дуря, перевернула её носом, затем раз и ещё раз. А потом бросилась вылизывать щербатый пол, измазанный в крови, само блюдо, разлетевшиеся по камню багряные капли.

Она успокоилась не скоро. Ещё какое-то время урчала и огрызалась неведомо на кого, а потом повалилась на бок и закрыла глаза. Рёбра тяжело вздымались и опускались, розовый язык вывалился из открытой пасти, а глаза, одурманенные блаженством, закрылись.

Донатос молчал и смотрел на зверину, которая ещё пару оборотов назад была безобидной дурочкой. Обережник хотел, когда она испробует крови, снова окликнуть, позвать по имени. И лишь теперь понял: некого окликать. И звать тоже некого. Да и незачем.

Колдун развернулся и направился прочь из подземелья, так и не почувствовав обращенных ему в спину сочувствующих взглядов послушников.

Тяжелые капли крови падали в белый снег, кропя его багрянцем, протапливая...

Лесана заворуженно следила за тем, как ратоборец, ведший их обоз, запирает бережный круг. Ей сделалось неуютно. Чудно это — со стороны наблюдать за работой, которую привыкла делать сама, ни на кого не полагаясь. Она-то, дурища, когда остановились разбивать стоянку, привычно потянулась к болтающемуся на поясе ножу. И то верно, науку, за годы вбитую, в один день не отринешь. Добро ещё, Тамир вовремя заметил, накрыл руку ладонью, заставил опамятоваться. А не то пошла бы мужняя баба вдоль обоза, бережную черту наводить. Небось, видоки бы в едином ладу за сердце схватились.

— Иди, похлёбку вари, — негромко сказал колдун. — Твоё место нынче у костра.

Девушка кивнула и направилась туда, где мужчины во главе со Смирком, пристраивали на треноге набитый снегом котёл и разводили огонь.

— Давайте, помогу, чем могу, — предложила бережница.

— Хвала Хранителям, Смир, в кои веки раз поедем вкусной стряпни, а не твоей тюри, — весело сказал один из парней, разводивших огонь, и кивнул Лесане: — Там, вон, в санях: крупа, лук и мясо.

Она повернулась идти, но в этот миг Лют, незряче озирающийся по сторонам, сказал:

— Пошли вместе. Помогу. — Он взял бережницу за плечо и захромал рядом.

Она сперва удивилась этакому благодущию, но потом одернула себя — брат ведь.

Мешки в санях он сыскал сам, безошибочно. Нюх-то звериный.

Когда вернулись обратно к костру, Лесана села чистить лук, а волколак устроился рядом.

Обозники, покуда ещё не стемнело, разбрелись всяк по своей нужде, кто лошадей распрягал и кормил, кто сани к ночлегу готовил, кто судачил о чём-то вполголоса со спутниками. Ратоборец — невысокий мужчина с рыжей бородой и обветренным конопатым лицом — беспечно дрых в санях. Звали его Хран и на вид ему было вёсен сорок. Лесана бережнику завидовала. Хотела бы она так же вот устроиться нынче на соломе, укрыться от мороза и ветра теплой овчиной и заснуть с осознанием того, что всё в жизни идёт своим чередом — лошади хрустят овсом, каша над костром варится, а люди негромко балагурят о том, о сём.

— Что случилось? — внезапно спросил Лют, вертя в руках луковицу.

Ему, видимо, вынужденная слепота казалась занятой. Он пытался к ней приноровиться, давая возможность носу, рукам и ушам возместить хотя бы часть того, что теперь оказалось сокрыто от глаз.

— Где? — не поняла Лесана. — Где случилось?

— Не знаю — где. Не знаю — с кем. Но ты, как будто цветок засохший.

Девушка хмыкнула:

— Это как?

Волколак пожал плечами:

— Вроде всё на месте — и лепестки, и стебель, а чуть тронь — рассыплется.

Бережница стряхнула с колен шелуху, положила очищенную луковицу на чистую холстинку, а руки спрятала в рукава шубки. Стужа стояла — пальцы костенели!

— Не рассыплюсь, не надейся, — «утетила» она оборотня.

— Это тебе так кажется, — ответил он, а потом сказал: — Мне так хочется снять повязку! Глаза чешутся. Когда стемнеет — разрешишь?

— Нет. У тебя зрачки блестят.

Лют мученически вздохнул и снова взялся вертеть в руках луковку.

...Когда каша приготовилась, Лесана попробовала её — обжигающую, исходящую духмяным паром.

— Пойду, Храна разбужу, — сказала она волколаку.

Тот рассеянно кивнул.

Девушка заметила, что оборотню нравилось сидеть возле огня. Повязка защищала глаза, но позволяла коже чувствовать тепло и Лют наслаждался.

Мало-помалу стянулись к костру, оживленно переговариваясь, остальные обозники с мисками и ложками в руках. Подошел Тамир, до сей поры о чём-то беседовавший со Смиром.

Обережница положила колдуну каши, и он кивнул в ответ. Устроился рядом. Принялся равнодушно есть, глядя в пустоту. Зато Лют уписывал харч, как не в себя. Лишь теперь Лесана сообразила, что кормила пленника чуть не сутки назад. Сделалось стыдно. А потом она рассердилась — гордый, да? Не захотел напомнить? Сам виноват.

— Вкусно у меня сестра стряпает? — громко спросил волколак, сотрапезников.

Мужчины отозвались согласным гудением, а девушке сделалось неловко от разом обратившихся в её сторону взглядов.

— Да, вкусно, — скупое похвалил Тамир «жену», отчего ей тут же захотелось провалиться сквозь землю. Казалось, даже последний дурак в обозе понял, что никакие они не супруги. Да и разве станет мужик бабу свою по плечу похлопывать, как сотоварища?

— Ай, накормила, красавица, — отозвался с другой стороны костра Смир. — Уважила. Я чуть ложку не проглотил.

Трапеза завершилась и парни, кто были помоложе, поволокли в сторону опустевший котел — отчищать да отмывать. Лесана, Тамир и Лют отправились к саням, на которых им предстояло ночевать. Полог колдун уже натянул, оставив продух, чтобы внутри не было слишком уж душно. Первой забралась Лесана, устроилась на войлоке, брошенном на солому, развернула меховое одеяло. Потом в сани юркнул Лют и уже последним Тамир.

— Ложись в серёдку, — подвинул девушку волколак.

Она было заспорила, но он ущипнул её за тыльную сторону ладони:

— В серёдку.

А сам вытянулся вдоль бортика и, повернувшись спиной, пробормотал:

— Повязку сними, уже всё лицо зудит от неё...

Обережница ослабила узел и стянула с головы оборотня полоску замши, бросив её в изголовье. Лют принялся яростно тереть глаза.

— Хорошо-то как...

Тамир уже давно устроился рядом и спал. Всё же он очень похож на Донатоса. Как сын на отца. И, словно крефф его — каменный. Даже взгляд такой же пустой.

Лесана смежила веки.

— Ты не спишь? — ткнул её в бок оборотень.

— Отстань.

— Что же случилось?

— Ничего.

— Врёшь, — усмехнулся волколак.

— Нет.

— Ты его знала? — спросил он. — Того обережника, который пропал? Кем он тебе был?

Девушка распахнула глаза и повернулась к собеседнику:

— Уж не с тобой я об этом буду говорить, — ответила она.

Оборотень смотрел пристально, словно надеялся разглядеть в её взоре то, о чём не хотел болтать язык.

— Видишь, Лесана, не обо всём приятно говорить. Верно? — негромко промолвил он.

— И что? — спросила она, не понимая, куда клонит собеседник.

— А то, — ответил волколак. — Спрашивать ты любишь, а отвечать — нет. Тогда зачем у меня над душой стоишь, вопросы свои задаёшь?

Девушка приподнялась на локте:

— Я лишь хотела знать — был ты в той деревне или нет? Дурачил ты Клёну или правду сказал?

Он качнул головой, словно досадуя её упрямству и глупости:

— Я тоже лишь хотел знать, кем тебе доводился тот обережник. И почему тогда, в подземелье, ты испугалась меня.

— А почему ты тогда бросился?

— А почему ты не хочешь отвечать на мои вопросы?

Лесана спросила, искренне не понимая:

— Зачем тебе?

Оборотень ответил вполне ожидаемое, что и было у него объяснением любой дурости:

— Скучно. Думал, поболтаем...

— Я хочу спать.

— А я нет, — он вздохнул. — Я хочу в лес.

— Слушай... — девушка устало уткнулась лбом в войлок. — Ну, дай отдохнуть, а? Что ж ты трепливый-то такой?

Лют зевнул:

— Кто умеет разговаривать с людьми — не пропадёт. А вы с Тамиром, как два сыча. И слово лишнее обронить боитесь. Оттого и неуютно обоим. Хорошо ещё, у меня глаза завязаны, а то, наверняка, как посмотришь на рожи ваши кислые, так с тоски и взвоешь.

Обережница хмыкнула:

— А ты, значит, не пропадёшь с языком таким длинным? Тебе, значит, уютно?

— Не пропаду, — он усмехнулся. — И вам не дам.

Она развеселилась:

— Ну, ну.

— Что «ну, ну»? Спи.

Волколак повернулся к ней спиной и тот же миг уснул. Лесана досадливо вздохнула — ну и трепло! Весь сон прогнал. Она ещё повозилась между своими «сродниками», устраиваясь удобнее, но Тамир недовольно рыкнул и придавил тяжёлой рукой.

С тоской обережница подумала о том, что замысел Клесха, разумеется, хорош, да только воплощать его приходится не Главе. А потом она заснула.

Ей блазились объятия. Крепкие-крепкие.

Сильные руки стискивали плечи. От мужчины пахло дымом, морозом, железом,

дублёной кожей. Девушка хотела посмотреть ему в лицо, но не могла запрокинуть голову — не хватало сил. И железная пряжка его перевязи больно давила на грудь.

«Спасибо... спасибо...» — шептала Лесана. Но он молчал. И ей было обидно, что она не видит его лица, не слышит голоса. И она плакала. Но из глаз катились почему-то не слезы, а крупные красные бусины. Те самые, о которых она так мечтала, и которых у неё никогда не было.

Парень с безобразным шрамом через всё лицо притаился за большим валуном и из своего убежища наблюдал за полощущими белье девками. Девки были хороши — налитые, стройные... Они не догадывались, что рядом есть видоки, а потому держались раскованно, отчего делались ещё краше. Подолы рубах водопряхи подоткнули за опояски, оголив ноги до самых бедер, рукава закатали, косы, чтобы не перевешивались и не падали в воду, обернули вокруг шей. И теперь плеск и смех над маленьким озерцом стояли такие, будто не пять кровососок стирали, а половина деревни на гульбище вышла.

— Эх, и зычные! — шёпотом восхитился распластавшийся по камням другой наблюдатель — тощий крепкий юноша, коего в Стае звали Жилой. — Да, Меченый?

— Тс-с-с... — поднес палец к губам таящийся за валуном Меченый. — Не ори. Не люди ж. Услышат...

— Они так галдят, что я мыслей своих не слышу, — усмехнулся третий сотоварищ — черноволосый и широкоплечий. — А ты чего молчишь, Злобый?

Четвёртый из парней лишь дернул плечом.

— Зло-о-обый? — тихо позвал его приятель, позабавленный молчанием. — Тебе там как лежится-то? Ничего не мешает?

Меченый прыснул, а Злобый огрызнулся:

— Тебе-то уже мешает, Кус?

— Дак не только мне, — ответил тот и все четверо тихо заржали.

Девушки у озерца не слышали срамных разговоров. Они весело щебетали о своём, полоскали, отжимали, бросали белье в стоящие на берегу лоханки, смеялись.

Парни смотрели.

Оборотни лишь сегодня открыли для себя эту пещеру — вышли случайно, когда отправились блуждать по запутанным каменным коридорам. Тут оказалось тепло. От крохотного озерца, приютившегося под неровными сводами, поднимались клубы пара, который оседал на стенах маслянистыми каплями. Оттого и воздух здесь был влажный, как в бане. Потому и девки выглядели так завлекательно. О чем они там болтали, четверым ребятам было плевать. Они не столько слушали, сколько смотрели — на стройные тела, облепленные исподними рубахами, на блестящие от пота шеи, на голые ноги...

Жалко, что это кровососки...

— А Веснину дочку Богша в свою Стаю надьсь увел, знаете? — спросила тем временем одна из водопрях.

— Ой! — всплеснула руками тоненькая девушка со светлыми волосами. — Смиляна, так это что ж она теперь — мужняя?

Смиляна кивнула, вытирая потный лоб.

Другая, стоящая рядом — смуглая и невысокая — мечтательно закатила глаза и промолвила досадливо:

— А мой Умил все никак с духом не соберется! Чую, так вековухой и помру.

Её подруги рассмеялись:

— Ты, Таяна, — сказала невысокая дородная девушка, яростно полощущая разнополку, — и поцеловать себя не позволяешь, поэтому не жалуйся.

Остальные девушки закивали, а самая старшая, та, которая начала беседу, отжала выполощенную холстину и сказала, с трудом восстанавливая дыхание после работы:

— Умил с весны за тобой хвостом тянется, почернел весь. Пожалела б хоть. Правильно Мира говорит, извела ты его. Гляди, будешь потом локти кусать, когда возжак другую с ним кровью повяжет.

Таяна уже открыла рот возмутиться, что подружки сговорились и толкают её забыть про девичью честь. Однако в этот самый миг из-за валуна, стоящего неподалеку, поднялся во весь рост крепкий чужой парень с обезображенным шрамом лицом и сказал громко:

— Да мало ли парней? Вон, гляди, какие ладные! — и кивнул куда-то в сторону, откуда из своих укрытий тотчас стали подниматься его сотоварищи.

Девушки опешили. Так и замерли — полуголые, по колено в воде, с широко распахнувшимися глазами.

Один из ребят — приземистый и широкоплечий — глумливо ухмыльнулся:

— Гляди, Меченый, а мы им понравились! Даже не визжат. Видать и правда у кровососов мужики ни на что не годные, раз девки их так чужим радуются.

Смиляна после этих слов вышла из оцепенения, оправила подол рубахи и спокойно молвила:

— А чего нам визжать? Мы — дома. А вот ваш возжак узнает, что за девками подглядываете, нешто похвалит?

Меченый ухмыльнулся:

— За то, что подглядывали, не похвалит. А за то, что отпустили, не потискав, укорит. Что ж это за мужик, если он мимо девки красивой пройдёт и за зад не ущипнёт?

Смиляна угадала в говорившем заводилу и строго сказала, глядя в глаза:

— А ну, пошли вон отсюда, бесстыжие. Ежели быстро уберётесь, не стану отцу жаловаться. Коли нет, на себя пеняйте.

Другой из парней, доселе молчавший, ответил сильным, царапающим слух голосом:

— Ишь, какая строптивая... Дай пощупать, ты точно не волчица?

Девушка нахмурилась:

— Пощупай, если не боишься без рук остаться.

Он не боялся. И сделал шаг вперед.

Тот же миг глаза кровососки будто заволокла молочная пелена.

Волколаки забыли, что напротив стоят не человеческие девушки, которых они привыкли невозбранно рвать в деревнях. Пятеро друг порскнули в разные стороны. Вот только были, и уже нет их! Лишь мелькнули в темноте полунагие тела.

Меченого клятая девка пихнула в плечо так, что он не удержался на ногах и едва не растянулся во весь рост, оступившись в каменном крошеве. Хорошо ещё совладал — сел на зад. И тут же яростно взвыл.

Судьба кровососок была решена. Четыре волка ринулись по следу. Опьяненные погоней, привыкшие к дикой охоте с возжаком, натасканные убивать и рвать, они дали себе волю и в этот раз.

На Смиляну навалилось что-то тяжелое и злобное. Острые зубы рванули плечо. Девушка закричала, упала, покатила по уходящему вниз зеву пещеры. Острые камни вонзались в бока, спину, затылок... Один из них она схватила, ломая ногти, и со всего маху ударила обидчика по голове.

Чудовище взвыло, рванулось, погребая жертву под тяжестью косматой туши. Перед самым лицом щелкнула окровавленная пасть. Смиляна вцепилась в неё, пытаясь хоть на пядь разминуться со смертью. Клыки вонзились, распарывая ладони... Она не почувствовала боли.

Рядом кричали подруги.

Но в тот самый миг, когда девушка уже простилась с жизнью, потому что сил удерживать рвущегося хищника не осталось, противника сорвало с неё невиданной силой. Сорвало и отшвырнуло прочь.

Огромный зверь ринул обидчика в сторону, ударил тяжелой лапой, переламывая хребет, и по каменным коридорам разнесся эхом такой раскатистый, такой страшный рык, что несчастная, зажимая израненной рукой разорванное плечо, затрепыхалась на каменном полу, сиюсь отползти в сторону.

Воцарилась тишина. Долю мгновенья было слышно только хриплое дыхание оборотней и их жертв, а потом к Смиляне подскочили, подхватили на руки.

— Доченька, доченька... Цела?

Огромные, как лопаты, ладони легли на рваные раны, и бледно-зелёное сияние потекло по коже, холодя, заживляя, даря избавление от боли.

— Серый! — голос отца звенел от гнева. — Если не можешь Стаю в узде держать...

Мужчина, стоящий напротив, миролюбиво вскинул руки:

— Зван, они виноваты. Я не спорю. Но, подумаешь, сцепились парни с девками. Дело-то молодое. До смертоубийства не дошло. Остальное — до свадьбы заживет.

— Вовремя подоспели, — отозвался Дивен, оцупывавший Таяну. — А не подоспели — дошло бы. Вместо свадеб похороны б собирали.

— Я накажу виновных. Большие такого не повторится, — спокойно сказал волколак.

Смиляна скосила глаза в ту сторону, где на камнях простёрся мёртвый зверь. Трое других обидчиков уже перекинулись в людей и стояли напротив вожака, низко склонив головы. Боятся. Сильно боятся.

— Нам что с того? Этих накажешь, другие взъярятся, — проговорил Зван.

— Не взъярятся. Слово даю.

И от того взгляда, который Серый бросил на оборотней, девушке стало не по себе. Чувствовалось: ребят ждет расправа. И хорошо, если останутся живы, а не как этот... Меченый.

— Уводи их. Чтоб глаза мои не видели, — тем временем сказал отец.

Вожак кивнул и произнес:

— За то, что они тут сотворили, я пришлю к вам одного из своих Осенённых. Он будет окормлять Стаю до следующей луны. Ты примешь это в искупление случившегося?

— Приму, — зло ответил отец. — Но пришли лучше бабу. Мужуку, боюсь, ноги повыдираем. Уходите.

Оборотень кивнул своим парням, которые жались возле стены, и те, стараясь держаться от вожака на расстоянии, побрели, ссутулив плечи.

Когда волки ушли, и отдаленное эхо их шагов смолкло, Новик, приводивший в чувство Миру, посмотрел на Звана и сказал:

— Если они — сытые — от мертвой крови так ярятся и звереют, то, что с ними от живой бывает, когда они голодные?

Смиляна всхлинула, обводя взглядом подруг. Не скоро им снова постирушки

*устраивать да в озере плескаться. Не одну седмицу теперь сидеть по избам, лечить оставленные острыми зубами раны. У красавицы Таяны, вон, все руки обглоданы до самых плеч.*

*А про себя девушка благодарила Хранителей, что хватило ума бросить отцу Зов. Иначе разнесли бы их волколаки по всему подземелью. За год бы не собрали.*

Белая волчица в темноте подземелья казалась бесприютной навью. Она ходила от стены к стене своего тесного узилища, время от времени встряхивалась, а потом запрокидывала голову и выла. Протяжно и тоскливо. Леденящая душу песнь билась о камни стен, расходилась волнами по казематам, рождая в коридорах зыбкое эхо.

Тоска!

Выучи, несшие стражу, извелись. Лишь о том и мечтали, чтобы поскорее смена пришла. Последние дни охранять темницу отправляли только особо провинившихся, чтобы знали — почем пуд лиха.

Оборотница, некогда бывшая Светлой, не давала послушникам покоя — то скулила, то рычала, то кидалась на стены каземата, то выла заунывно, с переливами... Парням от этого всего не было бы так тошно, не знай они, что в образе зверя за решетчатой дверью мается та, которую они промеж себя привыкли опекать и баловать. Теперь же к ней было не подступить...

Утром и вечером в подземелье спускался Донатос. Подходил к крохотной камерке, в которой томилась узница, тихо окликал. Та чуяла запах человека и кидалась всей тушей на решетку. Ревела, рвалась, дуря от злобы. Однако с каждым днем силы и ярости в пленнице становилось все меньше. На смену им приходила безучастность. И на голос креффа Ходящая уже не отзывалась. Что с этим делать колдун не знал.

Послушники в такие мгновенья тщились слиться с неровными стенами — видеть уставшего, осунувшегося наставника было выше всяких сил. Поэтому нынче, когда Донатос снова пришел, Зоран боялся лишней раз на него взглянуть.

— Ступай к Ольсту, — приказал с порога обережник. — Скажи, я просил отпустить Талая на пол-оборота.

Зоран бросил удивленный взгляд на выуча ратоборцев, но не обронил ни слова и поспешно вышел вон.

Крефф устало опустился на лавку рядом с послушником и спросил:

— Воет?

Тот кивнул.

— Луну чует... — сказал обережник.

Парень покосился на колдуна, который сидел, привалившись к стене и прикрыв глаза.

— Крефф...

— Чего? — Донатос даже не повернулся.

— Она нынче, будто стосковалась, плакалась с самого ранья. А потом выть взялась, да не как прежде — со злобой, а этак жалобно, будто раненая...

Мужчина в ответ промолчал. Они ещё сколько-то посидели в тишине, а потом открылась дверь и возникший на пороге Зоран известил:

— Талай, крефф Дарен велел тебе пол-оборота за дверью переждать.

Ратоборец поднялся, стараясь не глядеть на колдуна, а тот мрачно кивнул своему выучу:

— Тебя тоже касается.

Парни вышли из каземата, притворив тяжелую дверь. Талай подумал-подумал и задвинул-таки на ней засов. Мало ли. Кто знает, чего Донатос удумал? Ежели беду накликает — со всех спросят. И с ратоборца в первый черёд.

...Когда дверь за послушниками закрылась, крефф поднялся со скамьи и подошёл к темнице:

— Светла... — позвал он негромко.

Волчица простёрлась на каменном полу и даже не повернула голову на голос. Она, с каждым днём становилась всё безучастнее, всё слабее...

— Светла...

Он не знал, что ещё сказать. Как поговорить со зверем, чтобы он тебя не только услышал, но и понял? Как дозваться человека, спрятавшегося под шкурой лесного хищника?

Клесх на эти вопросы только руками разводил, он тоже не ведал, что делать. Перебрали все свитки, переворошили в памяти все знания. Ответа не нашли. Одно было ясно — луна с завтрашней ночи пойдёт на убыль, а значит, если не нынче, то потом обернуться человеком Светла уже не сможет.

Волчица словно прощалась не только с миром людей, но и с миром живых. Даже телячье копыто, брошенное ей накануне, лежало нетронутым. Псица тосковала и угасала.

— Светла... — Донатос опустил на пол. — Не дури. Что ж я за тобой хожу, как за коровой стельной? У меня других дел по самую маковку. Перекидывайся, хватит лежать.

Ответом ему была тишина.

— Ты не слышишь или блажишь? — снова спросил крефф, чувствуя себя жалким дураком.

Колдун задал этот вопрос, ибо следовало спросить хоть что-то. А что именно — он не ведал. Сколько уж сюда за последние дни ходили, сколько просили, сколько говорили, читали какие-то наговоры. Никакого толку.

Клесх надеялся, что волчица отзовётся на голос того, кого любила человеком. Наузнику уговаривать её было в тягость. Не умел он уговаривать. Ни людей, ни зверей. Но Глава оставался неумолим: девка нужна именно девкой, а не одичавшей хищницей. Донатос понимал — прав смотритель Цитадели. Прав. Но сотворить чуда обережник не мог. Да и вымотался он за эти дни сильнее прочих. А отчего, сам не ведал.

Видеть Светлу в облике зверя ему было тяжело. Нынче же усталость и опустошение достигли такой глубины, что крефф решил — ладно. Придёт последний раз, позовёт. Хоть совесть очистит: всё, что мог, сделал.

— Устал я... — сказал Донатос непонятно кому-то ли самому себе, то ли пленнице. — Седмицу не ел толком, не помню, сколько не спал... Ты или сдохни вовсе, или человеком вставай. Сил у меня нет — туда-сюда бегать, чай, не жеребец молодой. Выучи, Глава, ты тут ещё... надоели, спасу нет.

Краем глаза он уловил слабое шевеление в темноте узилища — то волчица, до сей поры лежащая безучастно, повела чутким ухом.

Обережник лихорадочно перебрал в голове то, что сказал, силясь уразуметь, на какое из его слов отозвалась Ходящая.

— Ежели так и дальше дело пойдет, к концу вьюжника загнусь. Укатали Сивку крутые горки...

Белое ухо снова дернулось.

Донатос мысленно ухмыльнулся и продолжил, подбавив жалобности. С непривычки получилось до крайности лживо:

— Я ведь не семижильный! Не могу без еды и сна. Поутру встаю — голова кружится...

Он попытался сообразить, на что ещё попенять Светле, чтобы в той проснулась совесть.

Про усталость было, про еду было... В голову не шло ничего умного, но где Светла и где ум? Мели себе любую чушь, лишь бы без остановки. Жаль, не умеет он в голос слезы подпустить, чтобы уж вовсе надрывно вышло. Хотя, много ли дура надо?

— А надясь Нурлиса рубаху, которую ты спроворила, отобрала и выкинула. Говорит негоже креффу ходить, как скомороху!

Волчица оторвала голову от пола и с угрюмым любопытством поглядела на человека, блеснув в темноте золотом глаз.

Мысли в голове обережника неслись с лихорадочной прытью.

— Отобрала, старая жаба! Как есть говорю. Отобрала и выбросила. А новую не дала. Видишь, в чем хожу? На рукаве прореха, — он торопливо дернул завязки, чтобы казалось, будто рукав и вправду разорван.

Псица тяжело поднялась на ноги и замерла посреди темницы, словно размышляя, как быть со столь печальными известиями.

Крефф же начал распалаться:

— Треух потерял, покамест за упырями по болотам гонялся... Вымок весь. Озяб.

Светла неуверенно переступила с лапы на лапу. Неужто опять ляжет? И все эти камлания впустую? Вот тогда колдуна прорвало от чистого отчаяния, и он проревел:

— Сапоги прохудились, и новых нет! Койра не дает, говорит больно вас много, мол, сапогов на всех дураков не напасешься. А стужа такая стоит, что плевков на лету замерзает. Меня же Глава нынче в Любяны отсылает! Так и пойду босиком! Вот нынче и отправлюсь! — крефф решительно поднялся с пола и сделал широкий шаг прочь. Что ещё говорить он не знал, а гадать и юродствовать надоело.

— Родненький! — пискнули сзади. — Куда ж ты! Босой да голодный! Куда?

Донатосу показалось, будто он ослышался. Но когда колдун рывком повернулся к железной двери подземелья, то увидел тонкие белые руки, тянущиеся к нему через решётку.

С плеч будто свалился тяжкий груз.

— Тьфу ты, дура... — выругался обережник. — Сюда иди!

И он вздел на шею Светле простенькие глиняные бусы. Ну, право слово, не ошейник же на ней застегивать, как на Люте?

Наговоренная низка болталась на груди девушки. Никто ни отличит наизусть от немудреного украшения. А Ходящая больше уж не перекинется. Крефф отпер дверь.

— Выходи, хватит выть, — приказал он.

Светла сделала шаг и повисла на шее своего ненаглядного, захлёбываясь в рыданиях.

— Ну... ну... — Донатос неловко похлопал её по затылку, не зная, как ещё выразить участие. — Ишь, разоралась. Одна беда с тобой.

— Свет ты мой ясный! — сквозь слезы пробормотала дурочка. — Уж исхудал-то как!

Он смотрел на её залитое слезами лицо, такое детское в дрожащем свете лучины, на изломленные в плаче брови, на кривящиеся губы и не знал, что сказать или сделать. Хранители светлые, вот она, кара его — стоит, соплями захлебывается, за плечи цепляется, — ни ума в ней, ни смысла.

Колдун вспомнил девушку, умиравшую на его руках и, видно, так и сгинувшую в страшной агонии. Девушку с ясными переливчатыми глазами, в которых были и рассудок, и мысль. Девушку, смотревшую на него с любовью, а не с собачьей преданностью. И её — этой девушки, возвращения которой он втайне так жаждал, — не было. Он думал: вдруг, обернется и... Нет. Но ведь не прогонишь, не прикажешь уйти.

Наказанье его. Дите доверчивое неразумное.

Горько усмехнувшись своим не менее горьким мыслям обережник поцеловал ревущую дуру в лоб. Та от столь непривычной ласки замерла и в последний раз судорожно всхлипнула.

— Будет тебе, будет... — глухо сказал колдун. — Идём.

Светла ласково улыбнулась и погладила его по щеке:

— Я тебе новую рубаху сошью, ты не горюй только.

Донатос вздохнул.

Ох, какие же холода завернули!

Лесана достала из заплечника горшочек с гусиным жиром и намазала лицо, а потом заставила сделать то же самое спутников. Не ради красоты, а чтобы не обморозились. Потому как от стужи, казалось, трещат деревья.

Лют плевался и бурчал, но всё-таки покорился. Тамир не возражал — по молчаливой привычке сделал, что приказано, потому как счел приказ разумным. Со стороны, небось, Лесана выглядела заботливой женой и сестрой... Она старалась, особенно после той памятной отповеди, когда волколак сказал, будто обережники похожи на двух сычей.

Справедливости ради надо молвить, что оборотень времени даром не терял и слово своё держал крепко. Лесана понять не могла, как у него получалось столь легко сходиться с людьми и столь быстро отыскивать с ними общий язык? За седмицу странствия этого трепача знал уже весь обоз, причем не только знал, но и проникся к нему приязнью. Лют не терялся в беседах и болтать любил, а чего ещё надо странникам — уставшим от монотонного пути и постоянного мелькания одних и тех же лиц вокруг себя?

Девушка наблюдала за оборотнем, и думала, как вышло так, что он — вечный зубоскал — сумел не снискать за собой славы ярмарочного скомороха? Относились к нему без насмешки и с почтением, что вовсе не вязалось у Лесаны со здравым смыслом. Обережница наблюдала за «братом», силясь постигнуть сложную, никак не дававшуюся ей науку — умение ладить с людьми, умение нравиться им и вызывать расположение.

Казалось диким то, что обозные теперь в любой беседе поперед всего обращались к Люту — безглазому калеке, а не к Тамиру. Впрочем, последний легко уступил «шурину» удовольствие чесать языком. Лесана хотела, было, спросить колдуна, отчего который день он ходит задумчивый и мрачнее тучи, но не стала. Попробуй, подступишь к нему! Молчит, значит, не трогай.

— Смир хороший мужик, — говорил Лют как-то вечером, когда все трое уже устроились на ночлег, оставив морозную тёмную ночь за надёжно натянутым пологом. — И сотоварищи его по торговому разъезду — тоже. А вот троица, что в последних санях тащится, те ещё хлыщи.

Лесана уже привыкшая к обыкновению Люта трепаться перед сном, больше не сердилась. Терпеливо слушала, тем паче, что многие его рассуждения были занятны, хотя почти всегда шли вразрез с её собственными.

— Почему хлыщи? — удивилась девушка, кутаясь от мороза в овчину. — Люди, как люди.

Она вспомнила троих угрюмых странников и не нашла ничего, что могло бы сказать о них плохое. Ну, пялились на нее. Неприятно, да. Но — мужики ведь. К тому же молодые. А она — единственная баба в обозе. Поэтому терпела.

— Угу, — хмыкнул Лют. — А ты видела, что у них никакого добра с собой? Не везут ничего, кроме трёх заплечников.

Девушка удивилась:

— И что?

— Ничего, — оборотень развел руками. — Где ты видела, чтоб люди без барахла ехали? Нешто и гостинцев никому не везут? Куда путь держат, тоже не рассказывают. Приглядишься к

ним.

Лесана нахмурилась.

— Хран бы заметил, случись что. Он не первый год обозы водит. Такого обережника ещё поискать. Чай, не юнец.

Волколак покачал головой:

— Ну да, ну да. Только Хран в голове обоза едет вместе со Смирком. Вот и выходит, что им обоим до тех троих никакого дела, мол, уплатили, сидят тихо и ладно.

— А что ещё надо-то? — не понимала его обережница. — Чего тебе не так?

— Мне всё так. Но ты от них подальше держись.

Она удивилась:

— Это ещё почему?

— Тебе сказано — лихие людишки, — отрезал собеседник. — Понимаешь?

— Когда ты не объясняешь, не понимаю.

— Да заткнетесь вы оба или нет? — зашипел на них Тамир. — Оборот уже трещите над ухом! Спать охота.

— Охота, так спи, — тут же огрызнулся Лют. — А раз не спишь, значит, плохо хочешь.

И вновь повернулся к Лесане:

— Ты — бестолковая. Три мужика. Без барахла. Едут, бирюки-бирюками. О семьях не говорят, на привалах не балагурят. Ладно, что с тобой болтать. Завтра сам покумекаю.

Девушка в ответ на это только зевнула, завернулась плотнее в овчину и скоро задремала.

Однако наутро обережница поймала себя на том, что против воли приглядывается к трём странникам, ехавшим в последних санях обоза. Мужики были молодые, держались спокойно, но с собой и, правда, везли только три тощих заплечника.

Пока варилась каша, Лесана подступила к гревшейся у костра троице с расспросами:

— Что-то вы все наособицу уютитесь, родимые. Издалече ли едете? — спросила она того из мужчин, который был старше прочих и выглядел ровесником Тамира.

— Из Цитадели, — буркнул он. — Тебе-то что? Вари свою кашу.

Тут же, словно из-под снега, вырос Лют:

— Она кашу и на тебя промежду прочим варит, — сказал он. — Язык придержи, коли голодным остаться не хочешь.

Мужик дернул уголком губ и ответил, будто через силу:

— Прости, дурака, хозяйюшка. С детства вежеству не обучен. Рос, как сорная трава. Не сердчай.

«Хозяйюшка» пожала плечами и занялась своим делом. Однако от случившегося разговора сделалось неприятно, будто наслушалась дурного. Подумаешь, не сказали, куда едут! Была нужда допытываться!

И она махнула на случившееся рукой, решив не морочить голову из-за того, что Люту прикипело невзлюбить троих нелюдимых странников. Нашла, кого слушать.

Меж тем, обозники наскоро поели, чтобы не тратить времени попусту и как можно больше ухватить от короткого зимнего дня на дорогу. Лесана забралась в сани, пристроила в ногах несколько горшков с углями — хоть как-то греться в пути.

Белый лес искрился. Красота! Деревья замерли в молчаливом оцепенении. Рыхлый снег скрипел под полозьями, разлетался сверкающей пылью. Зимнее солнце — особое. Слепящее и радостное. Летом такого не бывает. Лесана остановившимся взглядом смотрела на холодное великолепие, когда Лют ткнул её в бок и спросил:

— Убедилась?

— А? Что? — очнулась девушка. — Мужики, как мужики. Грубые просто.

Волколак усмехнулся:

— Тамир, а тебе они как? — спросил он держащего вожжи колдуна.

— Никак, — ответил тот. — Сдались они мне.

Оборотень сокрушенно вздохнул, досадуя скудоумию спутников, но больше к разговору не возвращался.

И тут Лесана запоздало начала прозревать:

— Погоди. А о чем ты вчера с ними беседовал, а? Я видела, ты со старшим их говорил! О чем? Они ещё смеялись, когда ты подошел. А потом перестали. Что ты им сказал?

Колдун отвлекся от дороги и обернулся к волколаку. Впрочем, лицо Ходящего было невозмутимым, а глаза затянуты повязкой, поэтому понять, смешал его этот вопрос или нет, было невозможно.

— Спросил, далеко ли путь держат. Сказали в Вышград. Ещё спросил, как звать их. Старшего Копылом кличут, того, у которого голос сиплый, Ранком, а заику — Малыгой.

Тамир хмыкнул такой дотошности оборотня и спросил:

— Что ты к ним пристал? Едут себе мужики и едут.

Лют ответил:

— А не нравятся они мне.

Будто это все объясняло!

— Чем не нравятся? — спросила Лесана, которая никак не могла взять в толк подобную необъяснимую настороженность.

— Всем, — ответил волколак и замолчал.

На ночлег остановились, как обычно, засветло. Пока тьма не сгустилась и не заперла всех в бережном кругу, следовало развести костер, справиться разные дела-хлопоты.

Обозный люд, хотя и привыкший ночевать под открытым небом, все одно — от обычного люда отличался мало. Ночь страшила. Пускай нынешний путь и оказался на диво спокойным, странники с заходом солнца старались, не мешкая, разбрестись по саням, отгородиться от темноты пологам и поскорее уснуть, чтобы приблизить тем самым утро.

Звери выли далеко в чаще. Ветер иногда доносил отголоски волчьих песен. Заслышав их, мужчины смолкали, встревоженно вскидывались и даже дышали в такие мгновенья через раз. А вот Лют грустнел. Лесана примечала. По счастью, к месту стоянки оборотни не выходили ни разу.

Нынче бережница вела «братца» в лес. Потому что оборотню, как обычно, пригорело «подышать». Не дышалось ему, клятому, где и всем. То лошадьми воняло, то людьми, то дымом, то стряпней... Всю душу вымотал.

По пути встретили расстроенного Смира, который возвращался к месту привала хмурый и недовольный.

— Случилось чего, Смир Евсеич? — спросила девушка, удивленная выражению глубокой досады на лице купца.

— А... — махнул он рукой. — Сам виноват. Рукавицу снимал, да вместе с жениной памяткой — с перстнем. Улетел в сугроб. Теперь уж не доискаться.

И сморгнул, ибо к глазам подступили невольные слезы.

Лесана покачала головой:

— Не горюй, вместе поищем.

Однако в душе понимала: сказанное звучит неубедительно. Перстень в рыхлых доходящих до колен сугробах не найдешь, сколько не ройся. Да и стемнеет уже скоро.

Смир в ответ на слова утешения только рукой махнул и зашагал прочь, не оборачиваясь. Да буркнул ещё:

— Поищите... Возвращайтесь уж, пока не смерклось, а то как бы самих вас искать не пришлось... переродившимися.

— Ты погоди горевать-то! — кликнул в след волколак. — Утром пошарим. Куда он денется.

Обозный глава в ответ уныло кивнул.

— Пошли, — дернул девушку Лют и потащил вперед, аккуратно по следам, что оставил расстроенный Евсеич.

— Куда? — Лесана удивилась. — Что, правда, перстень искать?

— Попробуем, пока он на морозе запах не растерял. Что нам, трудно помочь человеку хорошему?

— Тебя увидят, смеяться будут, — улыбнулась обережница. — Слепой ищет пропажу в снегу.

Он сказал:

— Поэтому пойдём быстрее.

Девушка вздохнула, но перечить не стала. Только отметила про себя, который уж раз: Лют, не гляди, что незряч, по следу идет лучше всякой собаки — ни на кусты, ни на деревья не налетает...

— Постой тут, — удержал спутницу за плечо волколак. — А то запах отбиваешь.

И он замер на полянке, где до них топтался Смир.

Принюхался, наклонился, взялся шарить голыми руками в снегу справа от себя. Лесану от этого зрелища пробрал озноб. Едва представила, каково в этакую стужу руки в сугроб запускать... бр-р-р!

— Не найду, — сокрушенно покачал головой Лют, спустя некоторое время. — Глубоко осел. Да и запах потерялся уже. Не чую. Значит, и рыться бесполезно. Идём.

Волколак засунул одну окоченевшую руку за пазуху, а другой взял спутницу за локоть, мол, веди.

Когда они воротились к месту стоянки, хмурого погрузневшего Смира утешали у костра спутники:

— Не горюй, старшой, утресь поищем, — говорил кто-то из ребят. — Авось, найдется.

Однако утром перстень, разумеется, не сыскали, хотя шарили всем обозом и вытоптали поляну едва не до земли.

Впрочем, обережнице о том лишь рассказывали, она на поиски не ходила — готовила утреннюю трапезу, хлопотала у костра. Вместе с ней остался и Лют, который бездельно слонялся туда-сюда. Что ему — слепому — делать там, где и зрячие бессильны?

— Жалко Смира, — сказала девушка, когда обоз тронулся дальше. — Перстень памяткой о жене покойной был. Такой ни за какие деньги не купишь.

Лют пожал плечами. Он был чужд подобному вздору.

Но Лесану, которая за дни странствия уже присмотрелась к оборотню, снедало предчувствие чего-то... она и сама не знала, чего именно. Только глубоко в сердце поселилось гложущее беспокойство. И хотя волколак был безмятежен, и на первый взгляд ничто не предвещало грозы, внутреннее чутье не желало униматься.

Как оказалось, не зря.

Вечером, когда общая трапеза подходила к концу, когда синие сумерки только-только опустились на ровные сугробы, а обозники ещё нежились у догорающего костра, Лют отставил опустевшую миску и поднялся на ноги. Он незряче огляделся и двинулся, прихрамывая, к той самой троице, о которой говорил накануне. Мужчины не заметили его — они сидели тесно, негромко разговаривали и над чем-то тихо посмеивались.

Оборотень ступал неспешно, а, чтобы не налететь на сидящих кругом камелька обозников, шарил рукой в пустоте. Однако Лесана который уж раз про себя отметила: нет в его движениях той осторожной неуверенности, которая свойственна настоящим слепцам.

Девушка видела, как оборотень отыскал Копыла, нащупал его плечо, удержал, наклонился и что-то сказал на ухо. Лицо мужика на миг окаменело, а потом преисполнилось удивления. Лют же произнёс нарочито громко:

— А ведь я говорил тебе, что у незрячих острый слух.

Рука волколака по-прежнему лежала на плече собеседника.

У обережницы нехорошо засосало под ложечкой. И не впусе. В тот самый миг, когда Лесана начала медленно подниматься со своего места, чтобы подойти к «брату», тот коротко размахнулся и врезал Копылу кулаком в лицо. Мужчина, не ожидавший такого поворота, опрокинулся на спину.

Девушка подхватила, не понимая, что происходит. В едином ладу с ней повскакивали со своих мест и остальные обозники. Тамир вовремя удержал спутницу, не пустив бежать поперед мужиков.

— Куда ты... — шикнул он и шагнул к месту свары.

А Лют тем временем равнодушно отошел от неприятеля и стал в сторонку, скрестив руки на груди. Будто не он только что вдарил безвинному человеку ни за что, ни про что со всей молодецкой дури.

Хран уже вклинился между разодравшимися и теперь оглядывал изувеченного. Про себя Лесана хмыкнула — оборотень знал, как бить. Глаз у мужика заплывал, но крови не пролилось. Ежели надрезать желвак, то синяка не будет, к утру и следа не останется. Но кто же решится пускать руду посреди леса, где бродят Ходящие?

— Ты чего, Лют? — удивился ратоборец, оборачиваясь к слепцу. — Белены объелся?

Обережница все же протиснулась к «брату» и встала рядом. Он нашарил рукой её плечо и легонько сжал. В этом прикосновении было что-то успокаивающее, этакий призыв не бояться и не держать сердца зазря.

— Зачем ударил? — спросил оборотня и безмерно удивленный Смир.

— Пусть сам скажет, — ответил Лют и повернулся туда, где стоял, держась за подбитый глаз, Копыл. — Скажешь, за что получил?

Тот глядел на незрячего супротивника, как на припадочного:

— Сдурел?

— Нет. Слышал всё. Смир, ты ежели перстень ищешь, у него спроси, где пропажа.

Купец обратил удивленный взгляд на угрюмую троицу. Те переглянулись. Слишком быстро. И слишком испуганно.

Хран стоял, заложив руки за пояс, и глядел на троих мужчин. Обережник не вмешивался, будто оценивал произошедшее на какой-то свой лад.

Копыл, не снискав ни в ком из попутчиков поддержки, зло отчеканил:

— Мне по роже дали и я же ещё виноватый? Совсем ошалели? Мы за дорогу серебром

платили, не торгуясь!

— А ты не бойсь, — миролюбиво отозвался Лют. — Яви, чего там у тебя в заплечнике-то. Я, ежели хочешь, тоже всё добро своё разложу, мне прятать нечего. Ну? Покажешь, что в мешке да на поясе?

Копыл снова обменялся взглядом с товарищами:

— Ничего показывать не стану, — сказал он твёрдо. — До города поедем. И там меня пушай к посаднику ведут — суд чинить. А покамест я тут по той же правде, по какой и вы все, странствую.

Лют усмехался открыто, не таясь.

— А за что по роже получил, скажешь?

Копыл глядел на него угрюмо и безмолвствовал.

— Чего молчишь? — оборотню, похоже, нравилась воцарившаяся на поляне тишина.

— У тебя слово к обидчику есть? — спросил устало Хран у избитого. — Ну?

— Нету, — выплюнул Копыл, держась за заплывший глаз. — Нету к нему слова. Посадник рассудит, кому в порубе сидеть.

— Посадник-то рассудит, — насмешливо отозвался Лют, — только, ежели вам скрывать нечего, зачем до посадника терпеть? Я ведь и второй глаз ненароком подбить могу.

Лесана не представляла, какое усилие воли потребовалось Копылу, чтобы не кинуться на наглеца. Ей и самой хотелось ему врезать. Чего ещё затеял? Взбаламутил всех! На них теперь, как на скаженных глядеть будут. Удружил...

Тамир угрюмой тенью стоял по левое плечо оборотня и молчал. Вот чего язык-то за зубами держит? Муж ведь! Хоть бы слово обронил! Девушку охватила глухая досада.

— Лют, — как можно мягче окликнула она «брата» и погладила по плечу, хотя больше всего хотелось отвесить тяжелую затрещину. — Ну что ты, что ты... вы уж простите, на него, бывает, находит.

Она старалась говорить виновато и ласково, хотя внутри всё клокотало от злости.

— А меня-то чего прощать? — удивился Лют, которому, по всему видать, не хотелось так легко заканчивать свару. — В глаз он за дело получил. Кстати, перстень Смировский у него в котомке. Да и много другого занятного в кушак вшито.

Мужчины зашумели. Обозники знали друг друга давно и не первый раз путешествовали вместе, к Люту, Тамиру и Лесане они тоже привыкли и считали почти своими. Лесана стряпала и никого не обходила ласковым словом, Лют был, несмотря на своё калечье, добродушен и незлобив, умел развлечь беседой, а к неразговорчивости Тамира все привыкли, ибо видели за ней не нелюбимость, а ту самую привычку, когда слово — серебро, а молчание — золото. Зато троих хмурых чужаков, держащихся всю дорогу опричь прочих, подспудно недолюбливали.

Хран, нахмурился. Как обережник, ведущий обоз, именно он должен был закончить безобразную распрю. Поэтому он сказал:

— Копыл, к чему нам обиды? Покажи-ка ты суму свою, коли скрывать нечего. Ежели Лют брешет, так я на него виру наложу. Куну серебряную. Чтобы языком впусе не трепал более. И тебе в ноги заставлю поклониться.

Копыл усмехнулся, глядя на супротивника, и сказал громко:

— Куна серебряная — не лишняя. А скрывать мне нечего.

— Нам тоже, — спокойно заверил Тамир.

У Лесаны ёкнуло сердце. Ишь, как уверен колдун в правоте Ходящего! Ей бы хоть

толику его твёрдости. Нет, куну не жалко. Куна у них, конечно, была, но ведь не для того серебро припасали, чтобы за дурацкие выходы виру платить! Да и просто... противно. Жалобщики, как назло, самые поганые попались.

— Ну-ну, — весело сказал Лют, приобняв «сестру» за плечи. — Что ж ты скисла-то? Не горюй.

«Убила бы стервеца!» — со злостью подумала девушка и шмыгнула носом, будто сглатывая накатившие слезы.

Пока осторожница боролась с полыхающим в груди гневом, Копыл под бдительным надзором Храна принес из саней к костру свою котомку, ослабил и распустил горловину, открывая содержимое. Добра там было небогато: рубаха, порты, оборы, моток веревки и... Смиров перстень.

Увидев, как вытянулось лицо мужчины, Лесана поняла, что перстень стал для него такой же неожиданностью, как и для всех прочих, стоящих вокруг.

— Ну, что? Что там? — спросил Лют, незряче озираясь и ожидая ответа хоть от кого-нибудь из замерших в молчании видоков.

— Перстень... — невозмутимо ответил Тамир.

— А то, — довольно ухмыльнулся оборотень. — Давай, Копыл, мою куну!

— Не знаю, откуда он тут! — яростно выкрикнул вор. — Я не брал!

Лесана, в общем-то, была склонна ему верить. И волколака от этого хотелось прибить ещё пуще. Девушка взглянула на Тамира, но взгляд того был задумчив и устремлен не на Люта, который затеял безобразную свару, а на троих мужиков, против коих он исполчился.

— Пусть снимет кушак, — сказал Тамир. — Пусть все трое снимут. И покажут, что у них там.

Хран угрюмо кивнул. Вор добро носит вшитым в пояс или полу одежи — все знают.

— Разоблачайтесь, — приказа ратоборец. — До посадника мы тянуть не будем.

Копыл пошёл белыми пятнами, а руки, когда он тянулся к опояске, дрожали так сильно, что становилось ясно — не холод тому виной.

В кушаке у мужчины нашлись кольца, перстни, монеты, непарные привески с девичьих венцов, серьги. Всё — выдавшее виды, ношеное, а на серьгах и вовсе чернела запекшаяся кровь...

— Откуда богатство? — хмуро спросил осторожник.

— Купили, — огрызнулся Копыл.

— Вот об том посаднику завтра и расскажешь. До заката уж в Старграде будем. А пока, говори, откуда едете.

Копыл недобро молчал. Его спутники тоже.

— Я таких, как вы, повидал, — спокойно сказал вой, доставая веревку. — Сперва в один город сунетесь — там по ярмаркам да подворотням народ щиплете, потом — в другой... наворованное сбываете, кутите и снова в путь. Отбегались. Старградский поруб вас заждался.

С этими словами Хран быстро и с понятием ощупал лихоимцев, избавляя их от ножей и кошелёв, затем спутал всем троим руки за спинами, после чего отвел к себе в сани, а сам устроился у камелька. Подремать ему нынешней ночью уже не удастся. Будет воров караулить.

— Ловко ты их, — похлопал тем временем Люта по плечу Смир, отводя в сторону.

— Ловко... — пробурчал со своего места осторожник. — Что ж до утра-то тебе не

терпелось, парень? Не мог при свете дня обличить? И морду бы бить не пришлось. Указал бы просто, а я проверил. Хоть бы выпались спокойно...

У Лесаны не было звериного слуха, оттого она не разобрала, о чём говорил купец с оборотнем. Только видела, что Смир очень благодарен. Он тряс Люту руку и улыбался во все зубы.

Поэтому, когда волколак забрался в сани, веяло от него самодовольством и натешенной гордыней. Тамир хмыкнул, но по своему обыкновению ничего не сказал. Повернулся на бок и уснул. Лесана подивилась его равнодушию. В ней-то всё клокотало! Тем паче, случившееся мало-помалу собиралось в единый образ.

— Ты *нашёл* тогда кольцо! — зашипела девушка и вцепилась оборотню в плечо. — Нашёл! Нарочно сказал, будто нет, чтобы наутро все отправились искать. И они тоже пошли попытать удачи! А пока ходили, ты подбросил перстень в заплечник Копылу! Я видела, ты слонялся вдоль саней!

— Ты видела, что я *слонялся* или, что подбросил? — спокойно и совершенно серьезно поинтересовался Лют. — Ты *видела*, что я нашёл перстень? *Видела* его у меня в руках?

— Нет, но...

— Тогда нечего брехать, — сказал он.

— Почему ты это сделал? Ты ведь закусился с этой троицей ещё вчера. Что вы не поделили?

— Сними повязку.

— И не подумаю! Отвечай!

— Не снимешь, не отвечу.

Скрипнув зубами, она сорвала с него полоску замши, выдрав вместе с этим ещё и несколько волос, что запутались в узле. Оборотень зашипел.

— Говори!

В темноте свернули зеленую глаза.

— Что тебе сказать?

— Зачем ты подбросил перстень?

— Я ничего не подбрасывал, — ответил Лют. — Копыл сам его нашел, просто не успел в пояс спрятать, вот и бросил в мешок. Он ведь не думал, что станут обшаривать, а выгоду упускать не привык. Перстень-то, поди, ценный?

Лесана вспомнила тяжелое искусно сделанное серебряное украшение.

— Ценный...

— Ну вот. Я лишь слышал, как он говорил об этом своим дружкам. Сказано ж тебе — у незрячих острый слух.

— Но он был удивлен!

Оборотень зевнул:

— Ещё бы. Он живёт обманом. Потому умеет обманывать сам.

Девушка бессильно замолчала, а потом с прежним напором спросила:

— А ударил ты его за что?

— За вчерашнее. Ну, и чтобы разозлить.

— Да что же он такого вчера сделал? — удивилась Лесана, вспоминая, как ржали накануне трое дружков и как осеклись, когда к ним подошел Лют.

— Этого тебе знать не надо, — невозмутимо ответил волколак. — За вчерашнее и всё.

Собеседница раздосадованно зашипела:

— Скажи толком!

— Я тебе всё уже сказал. Я слышал, что они говорили про найденный перстень, а допрежь того другие их разговоры слышал, которые не слышали вы.

— Над кем они вчера смеялись? — не желала сдаваться обережница. — Над тобой? Они смеялись, что ты слепой?

Лют рассердился:

— Что ты ко мне прилипла опять со своими вопросами? Стал бы я их бить, если бы смеялись надо мной.

— Тогда над кем?

— Отстань! Я ведь не знал, что можно подойти к Храну и шепнуть, мол, обшарь их. Думал, не поверит. Да и с чего бы? А он, видишь, и сам к ним присматривался. Мне же всего-то хотелось помочь Смиру, который неплохой мужик.

— Не понимаю, почему ты вдруг воспылил справедливостью? — удивилась Лесана. — Ведь ты ни слова не говорил о них плохого до вчерашнего дня. Что там случилось между вами?

— Как же ты мне надоела, — искренне сказал Лют. — Ничего не случилось. От их добра пахло засохшей кровью. Противный запах. Да и сами они... воняли. Я просто ждал удобного случая. Давай спать.

— Скажи честно — ты не подкидывал этот перстень?

Пленник вздохнул:

— Ты уймешься или нет? Какая разница, что я скажу, если ты всё равно не веришь? Подумай вот о чём: как давно ты их знаешь? А меня?

Девушка промолчала, не ведая, как добиться от него искренности. В том и беда, что она знала Люта. И давно поняла — услышать от него правду, всё равно, что дожидаться от ворона соловьиных песен.

— Лесана, — тем временем тихо позвал оборотень. — Сними ошейник. Я перекинусь.

— Чего? — удивилась обережница.

— Холодно очень, — ответил волколак. — А моё одеяло заберёшь себе.

Искушение оказалось слишком велико.

Лесана расстегнула ошейник, позволила Люту блаженно потереть шею, дождалась, покуда он вытянется на соломе и по телу пробегут зелёные искры.

В саях стало еще теснее, но два одеяла и тёплый звериный бок сделали своё дело — девушка уплыла в забытье. А проснулась лишь на миг, да и то оттого лишь, что косматое чудовище рядом заворочалось, и её пальцы, выскользнувшие из густого меха, взялся покусывать крепкий морозец.

Клятая стужа! Эдак все себе отморозишь до звона! Копыл поёрзал в санях и пихнул ногой, подремывающего Ранка. Тот вскинулся, перехватывая взгляд вожака. Копыл скосил глаза себе на правый бок, где под тулупом на штанах пестрела заплатка. Захоронка. Куда ж Копыл и без захоронки? Какой путь без припасу?

Ну, слава Хранителям, понял, дурень, чего старшой хочет. Заелозил, изогнулся, подставляя шею. Копыл напрягся, сисясь связанными за спиной руками нащупать Ранкин ворот. Потом плюнул. Пихнул его и сам наклонился к сообщнику. Ему сподручнее, с его стороны места поболее, да и оба глаза у Ранка одинаково видят. Копылин же левый совсем заплыл.

Ранко, охрёмок криворукий, еле-еле зацепился окоченевшими пальцами за ворот старшего, потянул ниточку, и монетка с заточенным краем выпала ему на ладонь. И то дело! Ножи-то отобрали. Да ещё общупали притом так, как девок в стогу не тискают.

Но Копыл не дурак. Был бы дураком, давно б на виселице болтался или под кнутами издох. У Копыла ум вёрткий и смекалка востра. Да и какой же вор монетку заточенную в одеже не прячет?

Ранко монетку спрятал меж пальцев и застыл, чтобы обережник у костра не заподозрил неладного. И то верно — шебуршатся, как мыши.

Пора стояла предутренняя. Самая волчая пора, прямо скажем. До рассвета осталось чуть, оттого и сон сладок, оттого и дрема необорима. Копыл снова пихнул Ранка в бок, мол, не зевай, и опять стрельнул глазами на захоронку.

Подельник извернулся, так чтобы сесть боком к Копылину бедру, нащупал заплатку и принялся осторожно отпарывать. Вот и ладанка заветная — берестяной кармашек, воском обмазанный. А в нём...

Серебряную куну Копыл отдал знахарке за травку, которую всюду таскал с собой. Но травка та была проверенная. Шкуру вору не раз спасала.

Ладанка перекочевала в ладонь вожака.

— Родимый!.. — негромко окликнул Копыл ратоборца.

Тот сразу обернулся. Не спит. Из железа он, что ли, откованный?

— Замерзли, спасу нет, дозвожь у камелька погреться?

— Грейтесь, — отозвался вой.

Копыл полез через настоорожившихся подельников, а они уже потянулись следом. Подошли к костру, взялись крутиться вокруг огня то так, то эдак. А паче чаяния слушать лес — тихо ли? Тихо... Хранители помощи!

В очередной раз оборачиваясь кругом себя, Копыл бросил берестяной кармашек на рдеющие угли. Сотоварищи втянули головы в плечи, взялись притопывать ногами, приплясывать, будто спасаясь от стужи, разгоняя кровь. Кармашек вспыхнул и погас.

Копыл уткнулся носом в овчинный ворот тулупа, стараясь не дышать. Ранко и Малыга тоже спрятали морды в мех. Перетерпеть двадцать счетов. А там будет у них шестая часть оборота и... давай, Хранители, ноги! Волков не слышать, до рассвета времени — чуть, а по следу не пустятся — больно надо! По всему выходило, что лучше уж счастья попытать, чем назавтра болтаться на веревке или орать под кнутом. Авось, удастся выпутаться, как оно не раз бывало...

Тамира снедало смутное беспокойство, которому он не мог отыскать причины. Глухое волнение рождалось в душе и отзывалось эхом в каждой жилке, в каждом ударе сердца... То ли это было недоброе предчувствие, то ли необъяснимая тоска.

Которую уже ночь ему снилась Айлиша. Он думал — позабыл и облик её, и голос, но нет... помнил. Всё помнил. А ведь она не являлась ему несколько лет. Теперь же приходила всякую ночь. И не живой приходила. Мёртвой. Верно. Он ведь колдун. Его время — ночь, его дело — смерть.

Стоило закрыть глаза, как она возникала перед ним — тоненькая, страшно скособоленная, с неровно наложенными стежками на холодном бледном лбу. Тянула вывернутую руку, другой пытаясь поправить сломанную, едва держащуюся челюсть, а потом пронзительно кричала:

— Тамир!!!

И он распахивал глаза, содрогнувшись всем телом.

Вокруг неизменно были темнота и духота. С одной стороны прижималась сонная Лесана, с другой бок подпирали бортик саней.

К чему эти сны? Упокоил же. Всё честь по чести. И тут понял: година ведь у Айлиши была. Забыл...

Прежде он всегда в этот день, где бы ни находился, рассыпал горсть пшеницы для птиц. А в этот раз запомнил. Скоро и зима на исходе... Впрочем, глупость всё это. Столько лет прошло. Он уже и не любил ее. Не тосковал. И нежность в душе давно истлела, не оставив даже призрачной тени теплоты.

Тогда, зачем она ему снится? Которую уж ночь покоя нет. Надо будет покормить в Старграде птиц.

— ТАМИР!

Он сел рывком, сбрасывая овчинное одеяло.

Рядом глухо рычал зверь. Колдуну казалось, он целую вечность соображал, где находится. На деле же прошел миг. Сани, укрытые пологом, спящая Лесана и волк, мерцающий в темноте глазами. Обережник нащупал в густом мехе железную пряжку ошейника, растегнул. Россыпь зеленых искр пронеслась вдоль хребта Ходящего и Лют, приняв обличье человека, схватил Тамира за руку.

Ноздри оборотня трепетали.

— Кровью пахнет и... — Он принялся: — Сон-травой!

— Ляг! — в голосе Лесаны не было даже отголоска сна. — Не высывайся.

Пленник зажал нос и уткнулся лицом в войлок, лишь сказал гнусаво:

— Ты недолго там... а то... голову дури...

Обережница стремительным движением накинула на него свой пояс, что-то пробормотала и захлестнула шлею о крюк, на который крепился кожаный полог. Теперь пленнику не вырваться.

— Ты... быстрее... — прохрипел он.

Тамир вынырнул в студёную темноту, позвал негромко:

— Хран!

И в этот миг тишину зимнего леса разорвал долгий леденящий кровь вой.

— Лесана! — тихо крикнул Лют. — Выпусти!

— Нишкни! — зашипела обережница. — Пока не прибили сторяча!

И она исчезла.

Лют вжался лицом в войлок. Его трясло и подбрасывало. Запах крови был одуряющим, сладким, зовущим... И ещё этот вой... и холод ночи... и жар крови, бегущей по жилам... Нестерпимо зачесались зубы, язык пересох...

Пленник вгрызся в пахнувший Лесаной войлок и глухо застонал, стараясь, чтобы стон не перешел в ответный вой.

Судорога сводила тело, неспособное из-за науза принять облик зверя. Нутро скрутило. Оборотень страшно и безжалостно боролся с собственным естеством. Глухая боль заполнила ночь вокруг него. Волколак ничего не видел и не слышал, корчась в опустевших санях, захлебываясь от невозможности быть собой, раздирая ногтями кожу на груди.

— Хран! — Тамир сперва увидел в сугробе поникшего головой ратоборца, потом цепочку следов, уводящую в лес, а потом уже мелькающие в темноте зелёные огоньки звериных глаз.

Последние три шага до разорванной черты колдун пропахал на коленях. Он видел, что крайняя тень взмыла над сугробом, но успел рассечь воздух клинком. Взвились голубые искры, зверь отпрянул. Нож процарапал следы беглецов, замыкая разорванную черту, а в следующий миг Тамира за шкуру схватил кто-то сильный и поволок в сторону.

Тяжела оплеуха оглушила.

— Ты чего? — с трудом проговорил колдун в лицо Храну. — Сдурел?

Но тот отшвырнул его прочь и шагнул вперёд — навстречу волкам.

Подбежала Лесана, помогла подняться на ноги и сказала:

— Он решил — ты на Зов откликнулся, выйти собрался.

— Я... черту затворил... — тихо сказал Тамир, потирая ушибленную скулу. — А ну, стой!

Он удержал девушку, готовую отправиться следом за ратоборцем.

— Сам справится.

Лесана бессильно замерла, глядя на то, как меч, рассыпающий голубые искры, перерубает хребет метнувшемуся навстречу смерти матерому волку. Сил не было наблюдать со стороны на чужой бой, не имея возможности помочь, подставить плечо!

Девушка осмотрелась. Увидела в полумраке пустые сани, в которых больше не жались друг к дружке трое татей, увидела всклокоченных перепуганных обозников, повылазивших из саней на волчий вой и вопль Тамира. Люди стояли, сгрудившись в кучу, испуганно озирались и сжимали в кулаках деревянные обереги, до сей поры болтавшиеся на теле, словно без всякой нужды.

А ночь выла, рычала, хрипела, скулила... Ночь давила темнотой и блеском хищных глаз. Ночь подступала, пугала... Лесана уже хотела крикнуть ратоборцу, чтобы возвращался, но тот, словно поняв её, заступил обратно, спешно закрывая черту. Отогнал стаю. Успел. Ещё бы мгновенье и разорвали б всех к Встрешнику.

— Я... заснул что ли? — лицо обережника было растерянным, как у человека, который задремал дома на полатах, а очнулся среди ратного поля по колени в крови и с обагрённым мечом в руках. — Что приключилось-то?

Лесана потрясённо смотрела на воя. Сон-трава... Но не скажешь же ему. Откуда бабе простой — не знахарке — знать о травах?

— Эти... трое... — растерянно сказал стоящий возле пустых саней Смир, — дёру дали. Прямоком к волкам.

Хран широкими шагами подошел к костру и увидел валяющиеся в снегу срезанные веревки. Тут же в утоптанном сугробе темнели капли крови. Видать, когда пеньку точили, поранились. Ратоборец сел у камелька, с трудом соображая, что произошло. Он силился припомнить события минувшей ночи, но в голове стоял туман, и воспоминания расплзались.

— Уж не одурманили ли они тебя, господине? — робко предположила Лесана и брякнула, в надежде навести обережника на верную мысль: — Может, съел чего?

Мужчина мрачно покачал головой:

— Я их к костру пустил. Погреться. Видать, они в огонь сон-травы бросили. Помню всё... смутно так...

Девушке сделалось его жалко. Хран много лет водил торговые поезда, но с лихоимцами столкнулся, должно быть, впервые. А уж с такими отчаянными подавно. Кто ж подумать мог, что рванут в предрассветном мраке прочь, в надежде избежать виселицы?

— Тамир, идём спать, — повернулась Лесана к «мужу», но тот куда-то исчез.

Может, к саням ушёл? Там же Лют привязанный!

И она кинулась со всех ног туда, где оставила оборотня.

...Колдуна в санях не оказалось. Лишь корчился, сбив под собой одеяла и войлоки, пленник. Зарывался лицом в мятую солому, стонал.

— Тихо, тихо, тихо... — Лесана обхватила его за плечи и прижала к себе.

Волколак вцепился в неё, как дитё в мамку. Уткнулся лицом в шею, а по телу проходили волны крупной дрожи. Девушка осторожно отодвинула его, пошарила на поясе, отыскивая нож, надрезала торопливо палец. Оборотень припал губами к кровоточащей ранке и окаменел. Перестал дрожать. Застыл, будто заживо замёрз.

Обережница отняла руку от его лица.

— Всё?

Пленник кивнул и вытянулся поверх смятых одеял. Сказал только хрипло:

— Шлейку до рассвета не отвязывай.

— Не буду.

Лесана вновь выбралась из саней и огляделась. Тамира не было. Его отсутствия среди общей суматохи никто не заметил. Девушка испугалась. Куда он подался? Волки же! Встревоженно озираясь, она пошла вдоль круга, надеясь разглядеть колдуна в бледном сумраке. Обережник отыскался довольно скоро. Стоял в трёх шагах за чертой. И незряче смотрел в лес. Лишь губы беззвучно шевелились.

— Тамир? — тихо позвала девушка. — Тамир, ты что?

Волков окрест больше не было. Только туши двух зарубленных Храном зверей валялись чуть поодаль.

— Тамир?

Когда он обернулся, Лесана перепугалась и сделала шаг назад. На неё безо всякого узнавания глядели чужие, незнакомые очи.

— Тамир? — зачем-то снова спросила девушка.

Он моргнул и ответил:

— Что-то мерещится мне... морок всякий. Тех я тишком упокоил, — наузник кивнул куда-то в сторону, где за голыми кустами в багровом месиве снега лежали изодранные тела троих беглецов. — Далеко не ушли.

Девушка смотрела на него испуганно и настороженно.

— Чего? — удивился он. — Чего глядишь так?

Она покачала головой и пошла к костру.

Занимался рассвет.

Вряд ли нынче кто-то попросит горячего. Люди испуганы внезапным и страшным завершением последней ночи странствования, а близость мёртвых волков не добавит им желания поесть. Значит, в путь тронутся натошак, чтобы быстрее оказаться под защитой Старградских стен.

Белая равнина тянулась пологими холмами вдаль, насколько хватало глаз.

Клесх и Озбра отвязали лыжи и воткнули их в снег. Вдалеке за спинами бережников ошетилилась макушками елей в низкое серое небо кромка леса.

— Думаешь, придут? — спросил Озбра, вытаптывая небольшой пяточок в сугробе, чтобы устроить кострище.

— Скоро узнаем, — ответил Клесх, оглядываясь.

За тощими ветками голого прутья луга просматривались на много перестрелов. Но покамест никого живого там было не видеть. Лишь подрагивали на ветру метелки засохшей прошлогодней травы.

Вороний ручей — узкий и стремительный — извивался в снегу черной лентой, убежал к Серой речке, которая, тянулась в версте к северу. И над всем этим висели низкие желтоватые облака.

— Хуже нет — ждать и догонять, — сказал Озбра.

Его спутник молчаливо согласился.

Однако ждать пришлось недолго. Оборота полтора всего. За это время успели развести костер и поставить на огонь похлёбку.

Двое мужчин, шедших на лыжах по занесенному снегом лугу, ещё издали показались Главе Цитадели смутно кого-то напоминающими... Будто уже видел их прежде. Была ему известна и эта скупость движений, и угрюмая собранность, и хладнокровное спокойствие.

Однако когда путники приблизились и стало возможным рассмотреть лица, ратоборец вполне ожидаемо увидел хмурых незнакомых ему мужиков. А потом разглядел в их глазах усталость. Глухую усталость, которую многие путают с равнодушием.

— Мира в пути, — по привычке сказал Клесх, когда чужины приблизились.

Те эхом отозвались:

— Мира...

Несколько мгновений все четверо рассматривали друг друга — с подозрением, недоверием, любопытством. Одни ожидали увидеть жестоких убийц, другие — злобную нечисть. Но и первые, и вторые видели просто людей. Обыкновенных людей, уставших жить под гнетом опасности и страха, измотанных и обуреваемых сомнениями. Людей, похожих между собой до оторопи, а нынче, прозревших и заметивших, наконец, диковинное, необъяснимое им самим сходство.

Ибо стояли друг напротив друга Осенённые, сиречь — защитники. Каждый из которых отстаивал своё. Только одним выпала доля быть охотниками, а другим — дичью.

Повернись их судьбы иначе, могли бы стоять плечом к плечу, могли бы все четверо быть бережниками, могли бы все четверо быть Ходящими. Мог бы Клесх оказаться вожаком стаи. А тот, кто стоит сейчас напротив — неуловимо похожий на него сединой в волосах, уставшими глазами и тяжелыми думами в этих глазах отражающимися — он мог бы быть креффом.

— Меня зовут Клесхом. А его — Озброй. Мы — ратоборцы Цитадели. — Спокойно сказал бережник.

— Я — Зван, — ответил старший из двоих прибывших — широкоплечий мужчина с седой, будто покрытой инеем, бородой. — Это — Дивен.

Его спутник угрюмо кивнул.

Молча отвязали от ног лыжи. Также воткнули их в сугроб.

— Садитесь, — Клесх кивнул на войлоки.

— Что за помощь нужна Цитадели от тех, кого она убивает? — сразу же спросил Зван, едва устроился на шерстяной подложке. — И зачем нам помогать Охотникам?

Озбра помешивал в котелке булькающую похлебку и помалкивал. С Клесхом он пошел, потому что после исчезновения старградского воя стало понятно — Осенённым лучше не ездить поодиночке. А Главе и подавно.

Нэд порывался отправиться вместе, да ещё и Дарена прихватить в сопутчики, но Клесх в ответ лишь рассмеялся, предложив в таком разе снарядить целый отряд с целителями, буде кто захворает и колдунами, буде кто помрет. Посадник побурчал для порядка, но без задора. Самому смешно стало.

— Серый убивает людей, — тем временем сказал Клесх. — И я знаю, что стаю свою он прячет у вас — в Лебязьих Переходах.

Лица Дивена и Звана не дрогнули.

— Я знаю также, что до той поры, пока не появился у волков этот вожак, столько беды они ни нам, ни вам не приносили.

Зван покачал головой:

— Больше всего беды нам приносит не Серый, а Цитадель. Теперь же вы и вовсе взялись пускать под нож всех без разбору. И диких, и... остальных. По лету Охотник проходил мимо Пещер и убил пятерых ребяташек. Они шли поглядеть старую бобровую плотину...

Озбра краем глаза увидел, как окаменели на этих словах плечи второго Ходящего.

— Мимо Пещер? — удивился Клесх. — Напомни мне, скудоумному, в какой город он *мимо* Пещер мог проходить?

Ходящие переглянулись, а обережник продолжил:

— Через ту чащобу и дорог-то нет. Ни один сторожевик в такую даль не потащится. Зачем? Чего там делать, если на десять верст окрест не живут люди? И так забот полон рот. Была нужда по бурелому скитаться без всякой надобности.

Дивен бросил быстрый взгляд на вожака и снова угрюмо повернулся к Охотнику.

— Веры тебе, сам понимаешь, нет.

Клесх хмыкнул:

— Нужна мне ваша вера. Говорю, как есть.

— Детей из лука сняли! — яростно вскинулся Дивен. — Стрелы ваши мы знаем.

Обережник развел руками:

— Нешто наши стрелы одни мы пускать можем? — однако, увидев, как ожесточилось лицо собеседника, добавил, разъясняя: — По лету пропал суйлешский сторожевик. Его нашли замученным и привязанным к дереву на распутице. Сам понимаешь — ни стрел, ни оружия при нём не было. Глаз, к слову говоря, тоже.

Зван и Дивен помолчали, будто вступили промеж собой в молчаливый спор. Однако лица были застывшие. Клесх не торопил, безмолвствовал, давая мужчинам собраться с мыслями.

— Я думаю, Зван, — сказал, наконец, обережник, безошибочно угадывая в седобородом кровососе вожака, — о многом ты и сам давно догадываешься. Ты с Серым бок о бок живешь. И не поверю, что соседству этому рад. Поди, хлопот с ним?

Ходящий усмехнулся с горечью:

— Как и с вами. Только вот, что меня останавливает, Охотник. Ныне я тебе помогу, а потом Цитадель за мою стаю примется?

— Да. Ежели, как Серый, пойдете деревни рвать, — твердо ответил ратоборец.

— Вот и я о том, — усмехнулся Зван. — Зачем тебе ждать да гадать, если можно всех, одним махом... Серого и нас с ним. В чем разность-то?

— Разность? — Клесх удивился, однако ответил. — Серый — зверь. Одуревший от крови и Силы. В нём людское почти угасло. А в вас оно живо, Зван. И в тебе, и в Славене, и в спутнике твоём. Верно? И жизнь свою человеческую вы помните, и тех, кого навсегда покинули, перестав людьми быть, тоже. Помните, каково это — бояться нечисти. Вас бояться. Смерти, посмертия страшного. Вот я и подумал, родня, которая вас схоронила давно: сестры, братья, дети их, разве заслужили стать едой для безумной стаи?

— Уж не тебе, Охотник, про родню-то заикаться, — отозвался тот же миг Дивен. — Про детей. Ишь, явился совесть мыкать.

Обережник хмыкнул:

— Совесть? Плевать мне на вашу совесть. Как и на вас. Мне людей сбережь надо. Ясно? Если вдуматься, то и вам тоже. Серый-то скоро вас вовсе без пропитания оставит. Уже сейчас народ в лёгких сумерках по домам хоронится. Торговые поезда редки стали, как самоцветные камни. Люди боятся. А для вас их осторожность значит одно — голод. Да ещё оборотни яриться начнут. Их и без того развелось... волков обычных в лесу меньше.

Ходящие слушали эту отповедь враждебно, но со вниманием, и в глазах их по-прежнему отражались глухое упрямство и уверенность, что любая помощь Цитадели станет первым шагом к гибели стаи.

— Ну, добро, поможем вам с Серым, — сказал, наконец, Зван. — А потом что? Ду переводите и за нас приметесь?

Клесх ответил:

— Хотели бы, уже бы принялись. Где искать вас — знаем.

— А чего ж тогда? — с вызовом спросил Дивен. — Что не ищете?

В ответ на этот его вопрос обережник сказал, словно бы это все объясняло:

— Я видел Славена. Видел его жену. Ну и ещё сторожевик старградский не жаловался допрежь, что зажирают окрестные веси. Выходит, в Переходах вы давно, а деревни окрестные от ужаса не стонут. Тихо тут было всегда. Потише, чем в окрестностях той же Славути. Но вот, изник из чащи Серый, и...

Он не договорил. Не было нужды.

Зван задумчиво смотрел в пустоту, а потом спросил:

— Какая же помощь тебе нужна?

Клесх ответил:

— Донесите до Серого весть, что из Росстани через Цитадель и Щьрку, мимо Серой речки в конце четвертой седмицы зеленника пойдёт в сторону Больших Осетищ обоз и будет на пути обоза старая гать, перед которой путники всегда становятся на постой. С одной стороны там болота, с другой — лес... А в обозе повезут добро для ярморочного торга и народу много. Поведут же его трое ратоборцев. Словом, богатый будет поезд. Одним вам с обережниками не сладить. Но Серый может повести свою стаю, а потом поделить добычу: вам — товар, ему — Охотников.

Дивен и Зван переглянулись.

— Коли так, нам придётся идти с ним. Иначе не поверит. Но, ежели пойдём, попадём в

ту же засидку, — произнёс Дивен. — И вы накроете нас всех.

— А вы не суйтесь ближе, чем на два перестрела, — честно ответил Глава Цитадели. — В горячке, разбирать не будем, кто свои, а кто чужие. Держитесь позади, да глядите, чтобы ни одна тварь не сбежала. Ударите в спину. Отомстите. И можете отступить в чащу.

Зван и Дивен опять переглянулись и замолчали. И снова казалось, будто они безмолвно беседуют о чём-то своем.

Клесх знал, о чём они думали. Каждую мысль.

Помогать ли Цитадели? Помогать. Падет Крепость, некому будет защищать людей. А значит, Ходящих ждут голод, одичание и смерть.

Можно ли верить Цитадели? Можно. Если Охотники и готовят мудрёную засидку на Осенённых Переходах, так то впусте. Дураку ясно, что не поведет Зван всех. Да и сам может не идти, отправить других, а с остальными прятать Стаю. Лес большой, где-нибудь да схоронятся.

Нужно ли отказать? Нет. Мир дважды не предлагают. Откажешь ныне — рано или поздно Охотники возьмут след. Соберутся единым войском и придут. А значит, опять сниматься с места, искать новое убежище, только, неся потери и зная, что окрест шныряют оборотни, пугают людей...

Стоит ли отдать Серого, как скотину, на убой? Кому от этого будет польза? И тут же становилось ясно — всем. Всем будет облегчение. И людям, и Ходящим.

Одним словом, сам здравый смысл призывал не отталкивать руку, протянутую Цитаделью. Но... поверить вековому врагу? Не получится. Впрочем, до зеленника ещё жить и жить, а, значит, есть не один день, чтобы продумать пути отступления.

Поэтому вожак, наконец, очнулся от стремительно пролетающих в голове мыслей, вспомнил, как хоронили убитых детей, зло усмехнулся и ответил:

— По рукам. Хотите Стаю Серого — будет вам Стая Серого.

Морда у Люта была вся в снегу. И сам он весь тоже был в снегу. Но главным образом — морда. Он с наслаждением зарывался ею в рыхлый сугроб, потом встряхивался, мотал лобастой головой, фыркал, чихал, падал, катался на спине.

Одним словом, всем своим видом выражал неопиcуемый восторг оттого, что с него, наконец-то, сняли ошейник и даже позволили перекинуться. Перво-наперво он сделал несколько кругов по двору. Носился так, будто собирался выпрыгнуть из шкуры. Если б не увечная лапа, небось, и вправду порвал бы все жилы. Но калечье не давало взять разгон.

Потом оборотень упал. Потом катался на спине. Потом тряс ушами и замирал, блаженно жмуря глаза.

Лесана сидела на нижней ступеньке крыльца и смеялась.

Он и вправду был смешной. Только здоровый, словно телок. Такая туша!

Старградский целитель стоял у двери, кутался в наброшенный на плечи тулуп и удивлялся:

— Какой-то он припадочный...

Девушка покачала головой:

— Нет. Просто стосковался в человечесьем теле. Больше седмицы тащились. Извёлся весь. Да ещё кровью надыхался. Думала, не доедет.

Когда их обоз пришёл в Старград, Лют и впрямь выглядел, словно умирающий — он был бледен, плохо стоял на ногах, а глаза ввалились. Обережница тут же вспомнила, как неистовствовал Белян, и испугалась. Поэтому, когда трое странников в закатных сумерках ступили на двор, где стояла изба сторожевиков, девушка закрыла ворота и сразу же сдёрнула с пленника науз.

— Перекидывайся.

Она ещё и договорить не успела, а человек уже осыпался зелёными искрами и обернулся зверем.

И вот теперь он носился по двору, как оголтелый, катался в снегу, распахивал мордой рыхлые сугробы.

Орд глядел на это неистовство, удивленно вскинув брови. А потом ему надоело, и он ушёл в избу, сказал только:

— Этак он до утра носиться будет, загоняй в дом. Спать уж пора. Да и баня стынет.

Лесана кивнула, не отводя взгляда от оборотня.

Когда Орд ушел, девушка поднялась со ступеньки, на которой сидела и спросила резвящегося зверя:

— Ну что? Довольно тебе?

Он чихнул и снова брыкнулся в сугроб.

— Я замёрзла. В баню хочу. И есть. Давай, ты завтра побегаешь ещё?

И она пошла к нему с ошейником.

Волк отбежал на несколько шагов.

— Лют... — взмолилась обережница. — Я же тебя одного тут не оставлю. Не дури.

Он отрывисто дышал, вывалив розовый язык. Из пасти валил белый пар.

— Иди сюда...

Волк отошел ещё на несколько шагов в сторону.

— Да тыфу на тебя! — обиделась Лесана. — Что я по всему двору за тобой бегать буду? Не хочешь, сиди тут. Голодный.

И она направилась ко výchоду.

Сзади что-то мягко ткнулось в бедро. Девушка повернулась. Волколак стоял рядом, поблескивая в темноте глазами.

— Чего бодаешься? Перекидывайся.

— Вот есть же злобный девки! — Лют встал на ноги и потянулся. — Ну, идём. И правда есть охота.

Оборотень направился вперед, а Лесана озадаченно спросила его в спину:

— А отчего эти дни ты перекидываешься, и одежда на тебе остаётся? А тогда — с Белянном — нагой был?

Волколак обернулся и тут же расплылся в довольной улыбке:

— Тебе тогда больше понравилось?

Обережница толкнула его легонько, принуждая идти вперед:

— Нужен ты мне. Просто любопытно...

Он объяснил:

— Тот раз всё внезапно случилось и на ярости. Когда так... это больно. И одежда рвётся. И тело потом болит, ломает всего. И спать хочется... И... много чего хочется, в общем. И всё разом.

Лесана смотрела на него удивленно:

— Так это ты меня тогда схватил, потому...

Он мгновенно окрысился:

— Схватил и схватил. Ты теперь до смерти припоминать будешь?

— Нет, — спокойно сказала собеседница. — Но теперь я поняла, в чём было дело.

— Поняла она, — ворчливо отозвался пленник и зашагал вверх по ступенькам. — Чего замерла-то? Боишься, что ли в дом идти? Сперва звала, а теперь медлишь.

Девушка вздрогнула, но промолчала. Откуда ему знать. И понимать откуда? Вон, набегался, как взнузданный конь, теперь пузо набьет и дрыхнуть повалится. А у неё ком в горле и дыхание в груди застывает при мысли о том, что в избу надо идти. В эту избу.

Как ни борись с собой, горе не сразу отступит. Особенно, ежели что-то, нет-нет, о нём напомним.

— Стой. Дай глаза завяжу, там, поди, лучина горит. И ошейник тоже вздеть надо.

Волколак стерпел всё смиренно.

...С порога обоих вошедших обняло ласковое избяное тепло. Оборотень повёл носом. Пахло едой. Пахло людьми. Пахло деревом, железом и травами.

— Входи, — Лесана легонько подтолкнула его в спину и сказала сторожевикам: — Мира в дому.

— Мира, — отозвались мужчины.

Девушка огляделась бегло и жадно. Она боялась и в то же время хотела увидеть хоть что-то, оставленное Фебром. Малое какое-то напоминание. Конечно, увидела.

Осиротевшая истертая перевязь висела на гвозде, аккуратно над стоящим под ней сундуком... Одиноко жалась к стене голая лавка, с которой, как было принято, сняли и сожгли принадлежавший погибшему сенник.

— Я... в баню пойду. — Хрипло сказала обережница. — Тамир уж, поди, намылся.

С этими словами она вытянула смену одежды из своего заплечника и выскользнула

обратно в морозную ночь, надеясь на то, что никто не заметил слезной дрожи в её голосе.

Тамир и, правда, уже одевался.

— А блохастый-то где? — спросил он, увидев Лесану в одиночестве. — Никак в избе остался?

— После меня пойдёт. Он в снегу навалялся, — ответила девушка, а потом спросила: — Тамир, что с тобой? Ты, словно неживой ходишь. Случилось чего?

Он пожал плечами:

— Ничего. Слышала, Орд говорил — вокруг города стая уже которую седмицу кружит?

Она кивнула.

— Слышала. Завтра подумаю, что делать.

— Да, — Тамир вдел руки в рукава полушубка. — Как думаешь, у сторожевиков горсть пшеницы сыщется?

Лесана пожала плечами.

— Ну, ежели нет, на торг утром дойду... — сказал колдун и ушёл.

К сундуку Лесана решилась подобраться, только когда все уснули. Даже Лют и тот дрых на старом тюфяке у печи, с наслаждением вытянувшись в полный рост и раскидав в сторону руки. Как стрелой сражённый.

Девушка встала тихонько, чтобы никого не потревожить, мягко подняла тяжелую крышку ларя, прислонила к стене. Нащупала лежащие внутри рубахи, достала одну и прижалась лицом. На несколько мгновений обережница замерла, не дыша, а потом так же неслышно убрала одежду обратно. Мельком подумала ещё, что Ильгару одежда Фебра, пожалуй, будет велика.

А после этого Лесана вернулась на свою лавку, завернулась в меховое одеяло и заснула. Разбудили её утром ни свет, ни заря. Само собой, Лют.

— Эй, хватит спать! — тряс он девушку за плечо. — Тамир на торжище только что ушёл. Ну!

Обережница дернулась, стряхивая его руку, и пробубнила в сенник:

— Ну и пусть, я-то тут причём? Расцеловать его что ли на дорогу надо было?

— Вставай! — снова затормошил её волколак. — Я тоже хочу!

— Чего? — Осенённая с трудом разлепила глаза и села. — Чего ты хочешь?

— На торг. Но можешь и расцеловать.

От этой чудной вести Лесана совсем проснулась и даже подначку пропустила мимо ушей:

— На торг? — удивилась она. — Чем торговать собрался? Шерсти что ли начесал с хвоста?

— Больно умная ты, — огрызнулся оборотень. — Я ни разу в городе не был. Любопытно ж. Отведи, что тебе — жалко?

— Не жалко, — она зевнула, но начала одеваться — всё равно уже не даст поспать, назола клятая. — Только зачем тебе? Всё равно же глаза завязаны.

— Зато нос и уши — нет, — ответил он. — Чего мне целый день тут сидеть в четырех стенах? Эти ваши двое уже, вон, расползлись, кто куда. Один ушёл к бабе, которая третьи сутки разродиться не может, другой какого-то покойника отчитывать. А я третий оборот твоё сопенье слушаю. Надоело уже.

Зная «великое» терпение Люта, Лесана даже на миг не усомнилась, что он сам едва проснулся.

В печи отыскался горшок с пареной репой, томленое молоко и третья часть каравая. Жевали на ходу, одеваясь. На репу оборотень брезгливо фыркнул. А молока с хлебом поел.

На улице ярко светило солнце. День был погожий и не такой морозный, как прежние. Лют шёл, держась за локоть спутницы. Судя по всему, запахи и впрямь говорили ему о многом. Он то и дело принимался, прислушивался, постоянно тыкал девушку в бок, требуя рассказывать, где они идут.

Торжища достигли быстро. Тут, как всегда, оказалось многолюдно, тесно и шумно. Волколак отчаянно крутил головой и все допытывался:

— Чем пахнет?

Лесана пожимала плечами. Запахов было великое множество: пахло конским навозом, куриным пометом, разрубленными свиными тушами, солёными грибами, шерстью, овцами,

железом, пряниками, калачами, деревом, кожами, калёными орешками...

— Вкусно! Чем? — допытывался Лют.

— Мясом? — предположила девушка, ибо не знала, чем ещё можно взбудоражить волка.

— Нет... — он мотал головой. — Не мясом.

Вскоре Лесана поняла, что его так увлекло. Ей стало смешно. Дурманящие оборотня запахи шли от лотка с пирогами и калачами. Обережница купила лакомство.

— На, — сунула в руку спутнику. — Ешь.

Он сперва обнюхал румяные маслянистые бока, потом, сочтя подношение съедобным, откусил сразу треть. Задумчиво пожевал. Проглотил.

— Вкусно... Вы вкусно едите, — сказал он искренне. — А тебе что — не нравится?

И кивнул незряче в сторону её руки с надкусанным калачом.

— Нравится.

— А что ж не ешь?

— Просто я медленно...

— Значит, не нравится, — заключил Лют, выхватил у неё надкусанный калач и невозмутимо принялся уминать.

Девушка подавила улыбку. Пусть ест. Он и вправду такого прежде не пробовал.

— А там что? — кивнул волколак в сторону тянущегося по правую руку торгового ряда.

— Там шорные лавки. Сбруя, ошейники...

— Нет, — пленник тут же круто развернул спутницу и потянул прочь, — ошейник у нас уже есть. А там?

— Еда. Соленые грибы, чеснок, мука, репа...

Он фыркнул, выражая презрение.

— Ты же сам сказал, что мы вкусно едим, — напомнила обережница.

— Вкусно. Но иногда всякую гадость.

— Да уж, с вами нам не сравниться, — не удержалась Лесана.

— Верно, — усмехнулся собеседник. — Калачей у нас не пекут. Волчицы вовсе стряпать не умеют. А вот у тебя получается.

— Почему не умеют? — удивилась девушка.

— А зачем волку похлебка? — вопросом на вопрос ответил оборотень. — Зверь кормится мясом — живым или падалью. Вот и выходит, что человечье тело всегда сыто без этих ваших каш и щей. Расскажи, как тебе дали те калачи? Просто так?

Она улыбнулась:

— За деньги.

— Деньги? Что это? Откуда они берутся? — он продолжал крутить головой, словно бы не интересовался ответом.

— Это такие кругляшки серебра или меди. Они остались с тех времен, когда... — Она хотела сказать «когда вас ещё не было», но осеклась и закончила иначе: — со старых времен, в общем. А если нет денег, можно обменять одно на другое. В деревнях редко у кого водится серебро. Только медь, да и той не много. Чаще выменивают добро на пушнину или что-то нужное. Например, можно выменять глиняный горшок на шерстяную нить. Или корову на лошадь. А можно везти товар в город на торг...

Лют хмыкнул, видимо, считая данную суету глупой, а потом спросил:

— А Цитадель? Что меняет Цитадель? Чем торгует?

Лесана развела руками:

— Нами. Кроме нас ей торговать нечем. Поэтому деньги у бережников есть всегда.

Эти слова волколак пропустил мимо ушей. Судя по всему, его мало интересовали сложные торговые отношения людей и Крепости, в суть которых он не собирался вникать.

— А тут что? — уже утратив интерес к деньгам, спросил оборотень, кивнув куда-то в сторону.

Лесана отмахнулась:

— Тут коробейники. Безделушки всякие-зеркальца, кольца, ленты... Лют, постой здесь, я сейчас вернусь.

И она отошла в сторону, будто бы присматриваясь к разложенным на лотке тканям, а на деле — слушая разговор двух купцов. Клесх просил примечать, какие настроения бродят в людях. Клянут ли Цитадель, хвалят ли, что за сплетни разносят, о чём толкуют.

Купцы судачили о волчьих стаях, сетовали на то, как плохо городу без ратоборца — за стены-де не высунешься, гадали, когда пришлют нового, ругали посадника, который уже требовал собирать десятину для Крепости, будто не понимал, клятый, что без ратоборца торг не ладится и дохода почти нет.

Люди судили да рядили, поминали нового Главу, который крут нравом, мыли кости соседям и сродникам, досадовали на Ходящих... Но в целом Старград жил спокойной жизнью, не бурлил недовольством. Что ж, это хорошо.

— Вот ты где, — бережницу поймали за локоть. — Ну? Обратно идем?

Волколак был готов сказать что-то ещё, но в этот самый миг проходивший мимо мужик с дрыгающимся мешком на плече, толкнул Люта, и того отбросило на Лесану. Девушка едва удержалась на ногах, а её спутник, не особенно задумываясь над тем, что произошло, повернулся, шагнул вперед и со всего маху всадил обидчику кулаком в плечо.

Мужик, не ожидавший такого оборота и даже не заметивший в толчее, что кого-то задел, рухнул на колени, выронил мешок, который с визгом и хрюканьем покатился в сторону.

— Ты что?! — Лесана повисла на оборотне.

— Ничего, — удивился Лют. — Он меня толкнул.

— Это торг! — рассердилась бережница. — Тут все толкаются!

— Да? — искренне удивился Ходящий. — Я не знал, извини. Он толкнул очень сильно.

— А ты?!

— Как меня, так и я, — пробурчал волколак, хотя в голосе слышалась растерянность.

Пока они переругивались старградцы с хохотом и криками пытались помочь беде пострадавшего — ловили брыкающийся мешок. Тот в руки не давался. Катался по утопанному снегу, дрыгался и истошно визжал.

Девушка тем временем наклонилась к незадачливому прохожему:

— Прости моего брата, почтенный, — Лесана помогла мужику подняться и взялась отряхивать его. — Он слепой. Не понял, что стряслось. Решил — ты меня ударить хочешь.

— Тьфу, ж ты, пропасть! — ругался мужик. — Припадочный он у тебя какой-то! Меня самого толкнули!

И тут же заорал в сторону:

— Куда?! Ты куда поёр его?!

Люди смеялись, незадачливый прохиндей, пытавшийся в суматохе прибрать к рукам чужое добро, тут же юркнул в толпу, лотошники сыпали советами и подначками, поросёнок визжал, где-то испуганно мычала корова.

— Братец твой дурковатый так мне вдарил, что рука отнялась! — бушевал хозяин свинёнка. — Совсем очумели!

— Да будет тебе орать-то, — тут же выступил из-за спины спутницы Лют. — Я ж не орал, когда ты меня — калеку — на сестру швырнул.

— Ты у нас безглазый, да? — набычился мужик. — А будешь ещё и немой, когда язык вырву.

Лесана развела руки, пытаясь уговорить спорщиков и даже открыла рот, чтобы что-то сказать, но в этот самый миг Лют решил не дожидаться, когда его станут лишать языка, и сунул в лицо противнику кулаком. По счастью, мужик успел отпрянуть, а девушка опять повиснуть на волколаке. Он всё пытался её стряхнуть, но обережница стиснула ходящие ходуном плечи и зашипела спутнику на ухо:

— Прямо здесь упокою, зверина бестолковая!

В это время хозяину поросёнка принесли оглушительно визжащий мешок. Свинёнок бился и вопил. Мужик кое-как перенял свою ношу и плюнул под ноги:

— Вот семейка! Что братец, что сестрица — одного колодезя водица, да ещё...

— А ну, хватит, — сказала Лесана. Да так сказала, что мужик осёкся на полуслове. — Разорался. Вот, держи.

Она вложила в широкую ладонь медную монетку.

— За понесённое. И вопить нечего. Чай не баба. Идём.

Последнее было обращено уже Люту.

Девушка толкала его в спину, выводя с торжища едва не бегом, а когда выбрались с людной площади в переулочек, рывком развернула к себе:

— Ты чего творишь, а? Я тебя на цепь посажу, как собаку, если будешь на людей кидаться. Понял?

Видимо, она сказала это с особенным чувством, потому что оборотень попятился и остановился, лишь когда упёрся спиной в высокий забор.

— Понял.

— Это что такое было? — сгребла его за грудки обережница. — Отвечай, скотина припадочная!

— Я... он толкнул! Сильно! Откуда я знаю, чего он пихается?

Собеседница недобро усмехнулась:

— Ишь, как запел... То любое смятение по запаху чуешь, а то понять не смог, что толкнули не со зла. Говори, пока прямо тут не прибила!

Лют потряс головой, будто нашкодивший пес.

— Не знаю. Разозлился.

— Почему? Что тебе такого сделали?

Волколак переступил с ноги на ногу и ответил тихо:

— Ты думаешь — треть оборота в теле волка за полторы седмицы — это довольно для того, чтобы не переяриться?

Девушка застонала зло, устало и досадливо одновременно:

— Как же ты мне надоел... Вот ведь наказание!

— Лесана, — он стиснул её в плечи и взмолился. — Отпусти меня! Ночью нынче. Отпусти.

— Зачем ночью? Прямо нынче и отпущу. К Хранителям.

— Да нет же! — оборотень её встряхнул. — Помнишь, Орд вчера говорил, мол, тут стая

кружит. Раз кружит и жрёт случайных путников, значит, дикие. Раз дикие, значит, толкового вожака у них нет. Отпусти! Я перекинусь, ты ошейник застегнешь. Я через пару ночей их к тебе выведу. Куда скажешь. Ты ведь знаешь, я вернусь, если ошейник не снимешь. Я не смогу в человека перекинуться. Сам вернусь. Отпусти! У меня рассудок мутится и в груди печет. Да ещё злость эта...

Он говорил, захлебываясь словами.

— Успокойся.

Обережница положила ладонь на вспотевший лоб оборотня.

— Успокойся. Я поняла. Отпущу. До вечера дотерпишь?

Ходящий кивнул.

— Идём обратно.

Девушка взяла его под руку, будто тяжелобольного, и повела прочь. Они шли молча весь остаток пути. И лишь у самых ворот сторожевого подворья Лют совладал с собой и заметил насмешливо:

— Эх ты ко мне жмешься! Уйду — скучать будешь?

— Ступай уж... — вздохнула Лесана и добавила: — Трепло.

Пшеница, щедро рассыпанная по двору, не помогла. Этой ночью Айлиша снова пришла.

Тамир устало спросил её:

— Что тебе надо?

Она молчала, только смотрела мутными белесоватыми глазами.

— Чего ты хочешь? — снова спросил колдун.

Девушка ответила мёртвым, лишённым всякого чувства, пересушенным голосом:

— Умереть.

— Ты *уже* мертва, — сказал он. — Прекрати ко мне приходить.

Покойница усмехнулась. Губы растянулись, открывая почерневшие дёсны.

— Я не могу умереть, — промолвила она.

— Я тебя упокоил, — напомнил обережник. — Упокоил и закопал. Уходи.

— Нет!

И лицо её в этот миг сделалось таким злобным, что Тамир отшатнулся. Он никогда прежде не видел, как Айлиша злится, ведь она всегда была улыбчивой и тихой. А эта — мёртвая — вдруг расвирепела, ощерилась по-волчьи, в мутных глазах полыхнула ярость, а неровный шов, стягивавший кожу на лбу, лопнул. Мертвая плоть повисла лоскутом и взялась извиваться, елозить, будто хотела, но не могла прильнуть обратно.

— Мне больно... я хочу тишины... и темноты. Но зовут... страдают...

Упыриха протянула потемневшие от тления руки к жениху:

— Устала я. Пусти погреться.

Она сказала это тем чистым ласковым голосом, который Тамир уже и позабыл, как звучал.

— Пусти погреться... — снова припросила Айлиша.

И он не смог отказать этой мёртвой, тронутой гниением девушке с переломанным обезображенным телом. Всё одно — случившееся лишь сон.

— Грейся, — колдун перехватил тонкие пальцы, заранее зная, что ощутит: плоть под его руками будет холодной, скользкой и сразу же начнет сползать с костей. — Грейся...

Ее руки оказались ледяными, но живыми.

Тамир смотрел, как синюшная кожа наполняется красками жизни — белеет, розовеет, как бегут вверх по жилам целительные токи его Дара.

Они стояли, переплетя пальцы. Она улыбалась. На щеках цвёл румянец. И мягкие волосы блестели, рассыпавшись мелкими кудряшками. Колдун глядел на ту, которую уже давно забыл. Она была жива. А ему стало холодно. Лютая стужа поднималась к сердцу. И по пальцам поползли гнилостные пятна. Он отметил это вскользь, даже без досады. Но она увидела и испугалась. Глаза распахнулись в ужасе.

— Нельзя! Долго — нельзя!

Она попыталась вырваться, но он не дал.

— Запомни: долго нельзя! — взмолилась навья.

Он покачал головой, стискивая её пальцы ещё крепче. Пускай. Всё равно.

— ТАМИР!

И колдун проснулся, рывком садясь на лавке.

Хран грелся у остывающего кострища. Угли едва рдели. Подбросить бы веток, но нельзя — глаза привыкнут к свету, потом ослепнешь.

— А ежели обманет? — спросил бережник девушку, устроившуюся рядом на поваленном дереве.

Та пожала плечами:

— Не должен. Но, если бы я ему верила, тебя бы звать не стала.

— Ну, а не придёт коли?

— Придёт, — убежденно ответила Лесана. — Науз с него никто не снимет. Значит, перекинуться он не сможет, то есть рано или поздно одичает. А они этого пуще смерти лютой боятся.

Ратоборец недоверчиво покачал головой:

— А ежели Осенённых приведет?

Собеседница развела руками:

— Как он их приведет? Он же в волчьей шкуре говорить не может.

Оборотень обещал вывести дикую оголодавшую стаю к маленькому хутору, раскинувшемуся в нескольких верстах от Старграда, аккуратно на засидку бережников. Вот они и затаились тут нынче. Хорошо ещё не шибко морозная ночь выдалась. А то околели бы, покуда дождались.

Словно в ответ на мысли Лесаны в чаще раздался протяжный волчий вой. Потом, после несколько мгновений тишины, повторный, но уже короткий, отрывистый...

Лют.

Вздели тетивы, приготовили стрелы. Снег нынче не сыпал, ветра тоже не было. Ещё и луна висела. Повезло.

— Ну, я пошла.

Лесана подхватила оружие и направилась прочь — к развесистому дереву.

Могучий ясьень когда-то расщепило ударом молнии, и теперь в изломе толстого ствола удалось с удобством устроиться для стрельбы.

Тамир сидел на противоположном краю поляны на трухлявом пеньке, застеленном войлоком, и скучал.

— Наконец-то, — проворчал колдун, когда Лесана прошла мимо. — Я уж думал, он ждёт, покуда мы заживо замёрзнем.

Он тоже на всякий случай изготовился для стрельбы, хотя нынче должен был просто приманивать зверей. Сидит себе человек посреди полянки: заплутал, озяб, напуган... А что он бережным кругом обнесён — так то не видно.

Лесана очертила место своей засидки и приготовилась.

Снова короткий вой. Значит близко. Девушка достала из тула стрелу.

Волки вынеслись на поляну и замерли, любуясь на добычу.

Добыча печально сидела на пне. Вот встала во весь рост. Даже бежать не может. Ноги отнялись.

Вожак отделился от стаи и угробно зарычал.

— Боюсь, — сказал в ответ Тамир.

Звук человеческого голоса словно подстегнул оголодавших зверей. Они ринулись вперёд

— к тому, кто пах так сладко и вожделенно. Лишь вожак распластался в сугробе и стал быстро-быстро отползать обратно в чашу. Ловок!

А в следующий миг жалящие стрелы обрушились на ничего не подозревающих волков. Стая распалась на беспорядочно мечущиеся визжащие тени. Кто-то крутился волчком, со стрелой, засевшей в спине, кто-то катался по земле, иные падали замертво. Но те, кого ещё не настигла гибель, рвались к добыче. Ошалевшие от голода и запаха человека, они утратили страх и чувство опасности, рычали, кидались, не в силах переступить осторожную черту.

Тамир хладнокровно пускал стрелы в оскаленные морды. Убить он не мог. Но чуть ослабить и упростить задачу ратоборцам ему было вполне по силам.

Хрип, рык, визг, лязганье зубов и свист стрел неслись над поляной.

Из своего укрытия Лесана хорошо видела, как мечутся волки. Вот один из ошалевших от ужаса и злобы зверей кинулся на Тамира, прыгнул в сторону, когда пущенная стрела пронеслась мимо морды, бросился прочь — налетел на Храпа. Ратоборец потянулся за новой стрелой, волк, почуввав близость смерти, развернулся в прыжке, поднял облако снежной пыли и, рвя сухожилия, понесся в противоположную сторону, напрямик на Лесану.

Она знала — Ходящий налетит на осторожную черту и к ней не прорвётся, но тело сработало поперёд мыслей. Девушка спрыгнула в снег и шагнула вперёд, обрушивая на зверя меч. Острая сталь перерубила хребет, оборотень зарылся в сугроб, и черная кровь толчками забила из раны.

...Когда всё закончилось, Лесана насчитала десять крупных хищников, утыканных стрелами или посеченных, добитых мечами. Несколько, пытавшиеся сбежать, истекали кровью в стороне, погибшие от зубов собственного вожака. Лют возвышался над тушей загрызенного переярка очень довольный собой. Встретившись глазами с Лесаной, оборотень встряхнулся и, прихрамывая, устремился вперёд. Подошел, боднул лбом в бедро, подставил шею. Левый бок у него был разодран и чёрен от запекшейся крови.

— Их вожак был не так слаб, как ты надеялся? — спросила девушка.

Волколак глухо рыкнул, давая понять, что, покуда она не снимет науз, ответить ей нет никакой возможности. Осторожница покачала головой:

— Перекинешься в деревне.

Оборотень обиделся и отошел.

— Уходим, — повернулась Лесана к своим спутникам.

Храп как раз затоптал угли костра. А Тамир по своему обыкновению стоял столбом, смотрел куда-то в чашу и шевелил губами.

— Чего ты там увидел? — удивилась девушка, вглядываясь в темноту.

— Подойди, — сказал он.

Лесана, недоумевая, приблизилась.

Колдун по-прежнему глядел в пустоту.

— Подойди.

Осторожницу пробрал мороз.

— Тамир? С кем ты...

Но в этот миг он стянул с правой руки рукавицу, и собеседница увидела мерцающие серые линии, ползущие по бледной коже от запястья к кончикам пальцев.

— Запомни: долго — нельзя, — сказал наузник темноте.

В нескольких шагах позади предостерегающе и глухо зарычал Лют.

— Тамир, ты меня слышишь? — спросила Лесана.

— Слышу, — ответил мужчина и обернулся.

Что-то в нём неуловимо изменилось. А что, обережница не могла понять.

— А я тебя помню, — вдруг сказал колдун. — Тебя зовут Лесана.

Девушка отпрянула.

— Что?

Но в этот миг Тамир моргнул и посмотрел на собеседницу с недоумением:

— Чего стоим? Идти надо. Холодно.

Он поднял со снега заплечник и направился прочь.

Лесана проводила его испуганным взглядом, а потом поспешила следом. Хран догнал её

и тихо спросил:

— Что это с ним? Как увидел кого.

— Не знаю, — ответила она и только тут заметила, что Лют шагает рядом, поднырнув ей под руку.

Обережница запустила пальцы в густой теплый мех. Оборотень не вырывался. Но девушке казалось, будто бугры мышц под толстой шкурой напряжены, словно перед схваткой и по ним, нет-нет, пробегает лёгкая дрожь.

Только достигнув деревни, Лесана, наконец, поняла, *что* с ним такое.

Люту было страшно.

*Все хорошее происходило в мире давным-давно.*

*Он это твердо уяснил ещё в детстве.*

*«Давным-давно, когда люди жили не так, как нынче...»*

*Он жалел, что не застал то далекое «давным-давно». Тогда было лучше, чем теперь. Восход солнца приносил с собой новый день, а закат — приглашение ко сну. Тогда никто не боялся. И все были свободными.*

*Давным-давно...*

*— Знаешь, — говорил он сестре. — Если бы мы жили давным-давно, то я бы вообще не сидел на месте! Ходил бы и днем, и ночью!*

*Она улыбалась:*

*— Глупый Хвостик, а когда бы ты спал?*

*— Я бы вообще не спал! Это же свобода! Хочешь — туда иди, хочешь — в другую сторону. Можно сидеть на берегу озера и смотреть, как солнце выныривает из воды или, наоборот, заныривает на ночь. Поди, всё озеро кипит, как котёл!*

*Она смеялась, представляя себе этакое диво, а потом отвечала:*

*— А, поди, ежели кипит, так это уже не озеро.*

*Мальчик удивлялся:*

*— А что же?*

*— Уха!*

*И они хохотали вдвоем. Уха! Вот ведь умора!*

*Но как же тогда солнце — раскалённый уголек — опускается в воду и не делает её горячей? Загадка!*

*Это теперь он знал — как. Солнце закатывалось за кромку горизонта, уходя в навье царство. А там, в мире Ушедших, отдавало мёртвым душам своё тепло, оттого и всходило утром, растрапив вечерний жар. Но потом снова отогревалось рядом с живыми и пекло до вечера. Оттого-то зимой, когда ночи такие длинные, солнце делается холодным — не успевает согреться. Но к весне день становится дольше, и солнце начинает потихоньку набираться жара.*

*Вот уже оно опять пригрело землю. Вьюжник нынче, хотя и оправдал своё название, однако голоднику сдался без боя. Весна...*

*Весной кровь в жилах бежит резвее, сердце бьётся чаще и жалко тратить время на сон. Вот и сбылась давняя мечта — ходить всюду и днем, и ночью. Когда захочешь. И куда захочешь. Никого не боясь.*

*Но свободным себя он не чувствовал. Почему?*

*Глупый Хвостик...*

*Иногда грезилось в коротких снах что-то забытое из детства...*

*Он не успевал понять — что именно. Тёплые руки, гладившие его по затылку, мягкие губы, касавшиеся кончика носа, сладкий родной запах... Однако видения не приносили покоя. Он просыпался в глухой тоске, а сердце полыхало болью, будто в него забивали гвозди.*

*И хотелось бежать куда-то, спешить, лететь, сломя голову, прочь. И раздирала изнутри неуголимая жажда. Тоска подступала к горлу. Стискивала его ледяной ладонью. Хвостик задыхался. В такие дни стая снималась с места, и он вел её сквозь лес, пытаясь*

утолить свою тоску, свою жажду и смятение, которое заставляло мелко дрожать все жилы в теле. Однако ничто не могло успокоить, утешить так, как когда-то в далеком детстве.

... — Вот же ты непоседа! — давно-давно смеялась над ним мать.

Но он нёсся прочь. И только вслед неслось:

— Хво-о-остик! Пожди чуть-чуть!!!

Он ждал. Сестру всегда ждал. Она носила в себе солнце. Ну, или иное что-то. Он не умел найти верных слов. Сказать. От неё шло тепло. Белый радостный свет. Рядом с ней затихала душа, переставала рваться на части от жажды, страхов, волнений, обид, от того невысказанного, что терзало его всякий день, сколько он себя помнил.

Тёмные порывы раздирали на части маленькое тело. Иной раз прихлынет глухая злоба, будто кипятка в голову налили бурлящего...

— Хво-о-остик... Серый Хвостик... — Светла не боялась его в такие мгновения. Все боялись, а она нет.

И когда он мчался по лесу, рвясь из собственного тела, спасая то ли стаю от себя, то ли себя от стаи, сестра всегда пускалась следом, хохоча. И легко его догоняла. Хватала за загривок, валила в траву. Она любила бегать. Любила лес, деревья, старые выворотни, распялившие кривые корни, папоротники, в зарослях которых он часто таился, чтобы впрыгнуть, напугать её до визга. Любила заросли малины с мелкими сладкими ягодами, брусничники, ползущие по мягкому мху...

Она всё любила. Ибо была человеком больше, чем волком. А он любил её, потому что она дарила тепло, которому было по силам затопить его клокочущую беспричинную злобу. Успокаивалось изнывшее сердце. Будто отдавало все раздирающие его желания и страхи.

— Хво-о-остик!

Он катал её на себе. Она была легкой. Ложилась, обхватывала за шею, закидывала обе ноги на широкую спину. Доверчивая. И он бежал, куда хватало сил. Нёсся так, будто за ними гнались Охотники. А когда силы заканчивались, падал на густой мох, прижимался мордой.

Давным-давно... Это было давным-давно. Тогда, когда глухая пустота и маета ещё уходили из души и становилось спокойно.

— Хвостик... — шептала девочка, трепля его за уши.

Он закрывал глаза. Сердце глухо тукало о рёбра.

Вожак говорил Светле: «Дури в твоём Хвостике с избытком. Злобный он. От такого добра не жди».

Та качала головой, лопотала: «У него просто сердце чуткое».

Она знала.

Над недалёкой смеялись.

А он ярился. Что с неё им? Полоумной мнят. Все. И не видят, не понимают — не блаженная она, рассудком-то — яснее прочих. Но никто того не разумел. Смеялись, мол, дурковатая бегаёт со зверем, который человеком почитай не умеет быть.

Матери в стае наговаривали, дескать, намаешься, в сыне твоём людского мало, в пору войдет, завалит девку. Ему плевать — сестра, не сестра. Он разницы не чувствует. Народят тебе волчат, наплачешься.

Дураки.

Он загрыз ту волчицу, которая это болтала. Зачем такой погани жить?

Потом он узнал, что вожак за содеянное хотел его убить. Хвостик носил в памяти случайно услышанные слова: «Злобы в твоём щенке на десятерых! Что заступаешься за него? Двоих Осенённых родила, так ведь оба безумные! Девка — ладно, но младшой, не родись мёртвым, сам бы пуповину перегрыз».

Мать увела их с сестрой из стаи в ту же ночь. Подалась скитаться. Потом прибились к каким-то...

Хвостик злился ещё пуще.

Он был прав! Он был прав, но им пришлось уйти из-за его правоты. «Почему так?» — спрашивал он у матери. Та молчала, не зная, что ответить, а потом сказала, мол, силком вас в жизнь выдернули, оттого и маетесь.

Потому ли, нет ли, но только и новый вожак волчонка не принял. Говорил матери: «Парень на беду живет. Тащит его во все стороны разом. Поглядеть, так он больше не в себе, чем девчонка».

Хвостик решил, что вожак болтает слишком много. Поэтому, когда вошел в силу, загрыз его. Было не жалко. А мать тогда уже убили Охотники.

Давным-давно...

Всё хорошее и всё плохое было давным-давно. А нынче... Нынче жизнь слилась в ярость и одиночество, которые терзали его изнутри. И не сыскать утolenия.

Он знал от старших, что родился неживым. Говорили, Светла пуповиной удушилась, но не до смерти. А брата вовсе тащили из материнского чрева за ноги и вытянули всего синего. Думали — хоронить. Но одна из Осенённых стай отвоевала дитё у смерти.

И Хвостик рос. А когда первый раз перекинулся, поблазнилось, будто вселились в него все волки рода. И рвали, рвали изнутри когтями, грызли зубами, выплёскивались злобой в маленьком теле. Вожак думал, что делать. Как унять звереныша? Не ждали, что задохлик оборотиться сумеет. Ан, нет. Обратился.

А Светла не смогла.

Вожаку б тут её жизни и лишить, но мать вступилась, вымолила — девочка не болела, не требовала крови и не была обузой для стаи. А потом оказалось, что она может ходить днём. Осенённая. Оставили.

Но никто так и не узнал того, отчего Светла не сумела стать волчицей. Думали — блаженная, без ума, без волчьей стати. Жаль, что ни скажи ей — всё впусте, ничему не внимет. Только с братом лопочет о чём-то.

— Серый Хвостик, Серый Хвостик... — дразнила его сестрица.

Он не обижался. Никогда.

... — Светел, помнишь Охотника? — шептала девочка.

Когда ей было тоскливо, она часто вспоминала Охотника. Светел не любил. Хотя тоже помнил. Хорошо помнил.

Охотник был самым ранним его воспоминанием. Мальчик впервые тогда увидел диковинного чужина. От незнакомца не пахло жизнью. Сердце его не билось. Только мертвенный холод расползлся во все стороны. Волчонок подумал, то упырь. Но упыри неповоротливы и плоть их зловонна.

Мужчина подошел к двоим малышам, игравшим на лесной полянке.

— Ишь, ты! — устало удивился он. — Двое одинаковых с лица.

Хвостик вскинулся, когда страшный чужак приблизился, и замер, не в силах двинуться с места.словно врос в мягкую лесную землю.

— Дяденька! — пискнула Светла, когда на темечко ей легла тяжёлая ладонь. — Ай! Светел рванулся, но неведомый чужин исчез.

— Хвостик, Хвостик... — лопотала сестра, глядя в пустоту.

Светла! — он дергал её за руку и плакал от пережитого ужаса. — Светла! Она не слышала. Ничего не слышала.

— Хвостик...

Брат запрокинул голову и завыл.

Именно тогда от испуга, одиночества и беспомощности он первый раз и перекинулся. Без вожака. Сам. И жался к девочке мокрым носом, скулил, нырял под безвольные холодные ладошки, а после свирепел, дрожал от злобы, вызванной испугом и усугублённой страхом.

— Хвостик...

... — Серый!

Он вскинулся, вырываясь из липкой паутины полузабытья.

— Чего тебе?

— Там... Мара опять не отходит от этого...

Тот, кого давным-давно звали Светелом, поднялся на ноги.

— Что ей всё нейметя?

Нынче она снова явилась. Улеглась рядом. Близко-близко. Она его не боялась. Чего там бояться?

— Сдыхаешь? — спросила темнота.

«Да».

— Больно? — темнота будто сожалела.

«Больно».

Тонкий палец надавил на сломанное ребро. Не сильно, но перед глазами полыхнуло. И тут же ледяная стужа, сковала тело.

— А теперь?

Горло оцарапал стон.

«И теперь».

— Значит, не сдыхаешь, раз голос подал...

«Буду молчать».

— Не молчи, — ласково попросила она.

«Сил нет даже оттолкнуть» — сквозь слабость и тошноту думал Фебр.

Волчица его поняла.

Дернула за волосы.

Голова взорвалась алой, ослепительной болью.

Пленник судорожно вздохнул.

— Ори... — женщина зло тянула грязные отросшие пряди. — Ну! Ори! Не так-то уж ты и крепок. Что, больно, выблевок?

И холод, холод от её рук стекал ото лба к затылку, перекатывался вдоль спины...

— Мара.

Мучительница оттолкнула жертву.

— Что тебе всё неймется?

Серый.

Вожак наклонился к пленнику, пощупал живчик:

— Скоро отойдет.

— Отдай его мне! — в её голосе звучала страстная мольба. — Я отрежу ему голову и подброшу к городской стене. А язык прибью к подбородку!

Волколак усмехнулся.

— Нет.

— Ну, отдай... от него уже никакого толку! Я хочу мести! Отда-а-ай...

Оборотень тихо рассмеялся.

— Мне нравится, когда ты просишь...

Фебр плавал между беспомощностью и явью. Ему было все равно, что они решат. Он равнодушно слушал, как шуршит в темноте одежда, как жарко и прерывисто дышит женщина, как бессвязно шепчет и вскрикивает.

Кровь шумела в ушах, голова кружилась, тело то мерзло, то тлело от боли — сильнее, слабее, сильнее, слабее...

А потом синильная темнота спустилась в рассудок и наполнила его до краёв.

Когда Тамир очнулся, то с удивлением понял, что стоит столбом посреди конюшни с удилами в руках и смотрит перед собой.

Лошади тревожно ржали в стойлах, гарцевали, дергали крутыми боками, трясли гривами и косились недоверчиво на человека, который уже полоборота как зашел, да так и замер без дела, только глядел в пустоту.

Колдун недоверчиво осмотрелся. Вправо, влево, на удила. Зачем сюда пришёл? Ехать куда-то собрался? А куда?

Так и не вспомнив, мужчина повесил удила обратно на вбитый в стену гвоздь и вышел во двор. Огляделся.

Голодник вошёл в самую силу — небо висело низкое серое, порывы ветра приносили запахи талой воды, мокрого дерева и печного дыма. Тесовые крыши изб, заборы, ворота, городской тын — всё почернело от влаги. Сугробы просели, деревянные мостовые покрылись коркой льда и лужами. Самое гадостное время — вроде и не холодно уже, но ноги постоянно сырые, скользко, озноб пробирает до костей и за шиворот капает.

Славуть казалась похожей на мокрую взъерошенную ворону. Да и жители её выглядели ничуть не лучше.

Тамир стоял посреди двора перед сторожевой избой, и мелкие дождевые капли скатывались с кожаной накидки. Чего он собирался делать? Частенько с ним в последние седмицы приключалось беспамятство. Бывало, моргнет утром за завтраком, а потом приходит в себя под вечер оттого, что Лесана тормошит за плечо, о чём-то спрашивает, а он никак не может понять — о чём именно. Голос слышит, а суть слов ускользает.

Врать самому себе, удивляться происходящему было глупо. Но и исправить что-либо уже поздно. Да и следовало ли исправлять? Беспамятство приносило... облегчение. Хотя с каждым разом всё труднее было возвращаться в ум. Или не труднее? Может, просто не хотелось? Снова становиться Тамиром, помнить свою жизнь, — пустую и монотонную — терзаться от снов.

Серая вязь на его теле побледнела и выцвела. Лесана глядела настороженно, подступалась с расспросами, но он не хотел объяснять. Боялся — не поймет. Он всё расскажет. Позже. Когда им останется совсем немного до возвращения в Цитадель. Так будет правильнее и проще. Если бы ещё не Лют! Тот звериным чутьём угадывал опасность и, хотя держался поодаль, вынуждал беспричинно досадовать.

— Тамир, я думала, ты уехал, — удивилась вышедшая из дома Лесана.

Знать бы ещё, куда он собирался ехать.

— Я пешком решил, — ответил колдун.

Девушка спустился с крыльца, остановилась напротив.

— Что с тобой такое? Говори, — потребовала она. — Я же вижу — что-то не так. Уже несколько седмиц прошло, как ты, будто спишь на ходу. Иной раз непонятное что-то говоришь или спрашиваешь.

Обережница взяла его за плечи и легонько встряхнула. Тамир впервые видел её словно бы чужими глазами, и потому ему вдруг стало заметным то, что ускользало от взора прежде. Ей бы косу до колен, чуть подкормить, чтоб тела добавилось — вышла бы красавица. Глазищи эти синие. Когда надевает женскую рубаху и покрывало на голову — отрада для

взора. И чего он взялся ненавидеть её безо всякой причины? Сам устал от этого. А теперь всё поблекло, отодвинулось, отдалилось. Он уже смутно помнил причину их раздора.

Потому в необъяснимом самому себе порыве колдун провел кончиками ледяных пальцев по девичьей скуле и негромко сказал:

— Жаль, что жизнь нельзя наново прожить. Перекроить иначе.

Обережница хлопала ресницами, глядя на него изумленно и растерянно.

— Знаешь, наши ошибки, иной раз, не по нам больше бьют, а по другому кому. Думала ты о том когда-нибудь? Нет? Вот раз совершил глупость, а другому судьбу из-за этого исковеркал. А, может, не одному вовсе. Добро, если к радости поворотится. Но чаще-то — к горю. Не понимаешь меня?

— Понимаю, — ответила она, внимательно вглядываясь ему в лицо. — Что говоришь — понимаю. Что творится с тобой — нет.

Тамир моргнул, и во взгляде его отразилась растерянность. На миг он задумался, словно решая для себя что-то, а потом спросил неуверенно, будто до последнего сомневаясь, говорить ей или нет:

— Скажи, тебе никогда не казалось прежде, будто у тебя четыре глаза?

Лесанино лицо вытянулось от изумления, и она ответила растерянно:

— Нет, не казалось.

Колдун усмехнулся:

— Будто глядишь на что-то, как привык. И видишь это таким. Привычным. А потом, будто чужими очами смотришь. Не узнаёшь. Не понимаешь.

Девушка стиснула его за локти:

— Ты видел навь? Тогда, в лесу, когда волки вышли на обоз Смира? И потом, когда Лют выводил на нас дикую стаю? Видел? У тебя по жилам, словно серебро бежало. Оно и нынче иной раз вспыхивает.

Обережник улыбнулся:

— Видел. Ты не болтай только. Вы — девки — народ уж больно говорливый.

Собеседница нахмурилась:

— Кого ты видел?

Тамир помолчал и ответил:

— Я поговорить с ним хотел. Спросить, чего он хочет... — Его голос на миг осип, а потом колдун закончил как-то сухо и холодно: — Но он исчез.

— Кто? Кто «он»? — допытывалась Лесана.

— Я не успел разглядеть, — высвободился из её рук собеседник. — Пусти, идти надо. Позвали ж старика с миром упокоить, а я тут с тобой время теряю.

Он внезапно вспомнил, куда и зачем собирался. На подворье к славутскому шорнику, у которого ночью помер отец.

Девушка отступила, пропуская колдуна. Но он чувствовал спиной её задумчивый взгляд.

По воде и льду Тамир шоркал до нужного двора едва не оборот. Его ждали. Покойника уже прибрали и заперли в клетки до прихода обережника. Сухой тощий дед с восковым лицом, ввалившимися щеками и окладистой седой бородой, лежал на широкой лавке. Глаза у него были накрыты медными монетами, подбородок и руки подвязаны тряпицей. В другое время колдун после обряда забрал бы деньги с глаз усопшего в уплату. Нынче Глава постановил по требам ездить бесплатно.

Тамир отложил монеты в сторону, освободил подбородок мертвеца, достал нож и на

миг замер. Сил у него было в достатке. А знания Донатос вбивал накрепко. Что задуманное получится, колдун не сомневался. Другое дело — по зубам ли орешек окажется?

Нож надрезал желтую морщинистую кожу — одна реза на затылке, одна на подбородке. Несколько капель крови упали на мёртвую плоть.

— Ардхаэр.

Вещая руда впиталась врезы, и по ним пробежало переливчатое голубое сияние. Тамир положил ладонь на лоб покойнику, прикрыл глаза, сосредотачиваясь и приказал:

— Говори. Я слушаю.

— Что тебе сказать?

Колдун вспомнил, как в далёкую пору ученичества тяжело давалась им — послушникам — наука заставлять говорить покойников. Причем не столько потому, что Дар это тянуло изрядно, сколько из чистого отвращения. К безобразию и нечистоте смерти привыкаешь быстрее, чем к уродству лживого воскрешения.

Покойник говорил сухим, лишенным чувства голосом. Сиплым, свистящим. И лицо его оставалось застывшим. Только бескровные губы шевелились, шлепая одна об другую, да ворочался во рту сухой язык. Тело же оставалось мертво.

— Чего тебе надо? Я хочу знать, чего ты хочешь, — сказал обережник.

И тот, чья тёмная сила волей колдуна держалась в неживом теле, ответил честно:

— Умереть.

— Я могу тебя упокоить, — предложил Тамир, ощущая, какое облегчение испытывает от одной лишь надежды, что это возможно.

— Нет, — ответил навий. — Сперва я должен сыскать друга.

Страшная тоска навалилась на колдуна. Глупо было верить, что всё окажется так просто...

— Как зовут твоего друга? — обережник надеялся услышать имя, хоть какой-то рассказ. — Кто он?

— Не знаю, — ответил мертвец. — Я просто... ищу.

— Это ведь из-за тебя? Сны, усталость, забвение. — Спросил наузник.

— Прости, — сказал мертвец голосом, в котором не было ни сожаления, ни грусти. — Не надо было тебе тогда меня звать...

— Я знаю, — вздохнул Тамир. — Это было глупо.

— Верно.

Он убрал руку со лба покойника, непослушными пальцами вновь подвязал подбородок. Окропил тело кровью, произнёс слова наговора. А в груди разрастался леденящий холод, распускаясь, словно морозный цветок...

Колдун не помнил, как дошёл до подворья сторожевиков. У восхода он упал на ступеньки, потому что силы оставили. Дурак. Какой же беспробудный дурак! Как он мог не понять? Ещё в ту пору, в Невежи, когда Лесана выхаживала его после встречи с Ивором... Как он не догадался тогда, что обезумевшая навь вовсе не исчезла, испугавшись, а завладела его телом? Что все эти сны, представления, забвение — есть лишь первые попытки неуспокоенной души подавить волю живого человека, подчинить себе его Дар.

С глухим отчаяньем обережник вспоминал разговор с Волынцом. Тот раз он вышвырнул заблудший дух из своего тела, потому что были силы. А в Невежи Тамир едва таскал ноги, исчерпался чуть не досуха. Что ему вздумалось тогда удерживать навь? Дурак! Какой же дурак... А теперь не исправить. Ивор окреп и набрался сил — его сил. И креффы ещё

думали, гадали, как привязать бестелесного к живому! Донатос предлагал взять послушника, который послабее...

Тамир не выдержал и рассмеялся, уткнувшись лбом в мокрые деревянные ступени. Он смеялся и смеялся, пока не распахнулась дверь, и на пороге не вырос Чет.

— Ты чего, друже? — удивился ратоборец.

Из-за широкой спины воя выскользнула Лесана и бегом спустилась к колдуну.

— Тамир? Да что с тобой? — она встряхнула его.

И колдун, глядя девушке в глаза, ответил честно:

— Дурак я.

— Не смей подыхать!

Удар кулаком в середину груди. Холод, расходящийся волнами по телу.

— Не смей подыхать, сучий ты потрох!

Удар.

Холод!

— Ты столько жил, скотина, не смей подыхать сейчас!

Мороз. Стужа. Зима.

Она, конечно, врала, что в лесу весна. Весны нет, и никогда не будет. Иначе, почему его всего сковало льдом? Мертвая стынь бежала по жилам, растекалась, вонзалась в каждую сломанную кость, в каждую едва затянувшуюся рану, в разбитую голову, в обглоданные руки, в глаза, в немеющие губы, которые покрывались инеем.

Удар.

— Скотина!

«Отстань...»

Как же холодно!

Он ничего не видел. Только стремительно костенел. Смерть?

...Его куда-то тащили. Голова болталась туда-сюда, ноги волочились. Кто-то рядом дышал тяжело и сипло. Вполголоса ругались. Пленник не разбирал слов и не чувствовал боли. Происходящее он осознавал урывками, между провалами из яви в беспамятство. Плеск воды. Шорох камней под сапогами. Его передают с рук на руки, снова тащат, хрипло бранясь. Куда? Зачем?

Какие-то разговоры, спешка...

— Уводи их сторону бобровой плотины.

— А ты?

— Меня не найдут, что я — леса не знаю?

— А он?

— А он мертвый. Поводи их кругами. Потом на Верхополье ступай и в обход, как договаривались.

Кто это говорит? Всё равно...

И снова темнота.

...Пахло землёй, дождём, прелой листвой. Какие острые, пряные запахи! Такие резкие. Слишком резкие! Пленника замутило, скрутило, встряхнуло, вывернуло наизнанку. Фебр судорожно кашлял, давясь желчью и кровью. Попытался открыть глаза — не вышло, плотная повязка стискивала голову.

Чьи-то руки удержали за плечи.

Она?

— Ну? Живой?

Она.

— Пей.

К губам приложили плоску с водой. Обережник жадно припал. Вода была прохладная, вкусная, он давился, понимая, что напиться вдоволь не позволят. Так оно и вышло.

— Хватит. Ишь.

Его толкнули, опрокидывая на спину.

— Эх, уродище страшное, дай, хоть погляжу на тебя. Живого места нет...

Он приготовился к тому, что сейчас снова будут тыкать пальцами, щипать, дёргать за волосы. Но вместо этого с измученного тела начали снимать вонючие лохмотья, безжалостно отрывая их там, где тряпье присохло к ранам. Обережник кусал потрескавшиеся губы.

— Да ори уж, упырище патлатое! — сказали пленнику, но сразу после этого легонько шлёпнули ладонью по груди.

Руки, ноги, сломанные кости снова схватило льдом. Фебр оцепенел. Рядом будто встряхнулась, огромная собака. И за миг до того, как снова провалиться в беспамятство, пленник почувствовал горячий мокрый язык, скользящий по плечам, груди, лицу...

Теперь он жил между провалами черноты и разноцветными вихрями, осознавая себя, но мало что понимая. Холод стал постоянным спутником. И впервые за долгое время хотелось есть. Как же хотелось! Чтобы согреться хоть на миг.

Хранители, чуточку тепла! Пусть ненадолго!

Он зарывался лицом во что-то теплое, лежащее рядом, пытался продлить скупое наслаждение — как жесткий мех скользит по холодной почти бесчувственной коже... Но подступала темнота. И разноцветные вихри. И стужа. Язык примерзал к зубам.

Потом где-то текла вода. И так пахла... речной травой, мокрым песком, тиной, плавающей в омуте рыбой...

Его куда-то тащили волоком. Тело звенело от холода. Казалось, ударься посильнее, так и разлетишься на тысячи ледяных осколков. А ещё запахи, запахи, запахи... Дурманящие, лишаящие рассудка. Он пытался оглядеться, понять, что это — но всё вокруг несло пёстрым хороводом.

Очнулся пленник на берегу речушки. Мир раскачивался, а взор застила мутная пелена. Нагая женщина выходила из воды. Длинные волосы облепили стройное тело. Женщина подошла к пленнику, склонилась, обхватила за плечи, подняла, вынуждая встать на подгибающиеся ноги.

— Идём. Тебя надо отмыть.

Нет! Он замёрз, а в воде будет ещё холоднее. Нет.

— Идём, — мучительница силком поволокла свою жертву вперед и глухое сиплое рычание её не испугало.

Студеный поток обжёт кожу, озноб пробрал до костей. От запаха воды кружилась голова. Скорее бы всё закончилось...

Когда женщина вывела его обратно на берег и уложила — это было счастьем. Пока она вздевала на пленника чужую, непривычно пахнущую одежду, он лежал, равнодушно закрыв глаза. Может, теперь станет теплее? Не стало.

— Скажи, как тебя зовут. Ты помнишь? — спросила женщина.

Он смотрел, пытаясь разглядеть её за пеленой, которая заволокла глаза. Видел плохо. Кто она?

— Как тебя зовут?

Мужчина смежил веки.

— Как тебя зовут?! — сильные руки встряхнули его, а шлепок ладонью по груди заставил вскинуться.

Обережник захрипел. Неистовый пожар боли ворвался в тело — после ледяной воды кожа пылала, будто ошпаренная, шрамы ныли, раны дёргало, отзывались сломанные кости.

— Как тебя зовут?!

Пощечина. Вторая. Голова мотается туда-сюда.

— Как? Тебя? Зовут? Вспоминай!

Он вспомнил! Но не себя. Её.

Мара.

— Как? — сильные руки встряхнули пленника, словно пыльную рухлядь. — Ты хоть что-то о себе помнишь? Ну!

В голосе слышался страх.

— Да говори же, страхолюдина косматая! Как твоё имя?

— Фебр.

— Кто ты? Говори!

Он смотрел с ненавистью. Он хотел убить. Но волчица успела перехватить взгляд, метнувшийся к ножу, который висел у неё на поясе.

Женщина спрашивала глупости, поэтому пленник ответил:

— Обережник.

— Где ты жил? Город.

— Чтоб тебя... Встрешник... по болотам... драл... — мужчина едва выталкивал из себя слова, потому что они застревали в горле, как рыбы кости. Голос был хриплым, чужим.

Странно, но в зелёных глазах Ходящей промелькнуло облегчение, она благодарно прижала тяжелую голову обережника к груди и сказала тихо:

— А я уж думала, ты вообще говорить не умеешь.

Тёплая ладонь погладила гудящий от боли затылок.

— Помни. Помни, кто ты, — и тут же волчица перехватила запястье пленника: — Терпи. Мне надо есть.

Нож, на который Фебр с такой надеждой смотрел, рассёк его и без того истерзанную ладонь. Волколачка припала к разрезанной плоти, прикрыв глаза от наслаждения. Впрочем, она быстро отпрянула, затворила рану, облизала губы и...

Шлепок ладонью в середину груди.

Холод.

На пленника опять навалились запахи, звуки... А боль ушла.

Солнечный луч, проскользнувший сквозь плотную завесу ветвей, коснулся тяжелых век. Лес шумел... Было холодно. Рядом спала огромная волчица. Человек с трудом разжал ледяные пальцы, которыми цеплялся за густой жёсткий мех, чтобы теснее прижиматься к горячему звериному боку.

Видел он по-прежнему плохо, будто сквозь завесу тумана. А в висках грохотало так, словно внутри головы бил молот.

Мужчина тяжело откатился от волчицы и прижался лбом к пахучей земле, глубоко и жадно вдыхая её запах. Такой острый, такой сладкий...

— Как же я тебя проглядела? — рядом уже сидела женщина.

Он впервые смог её рассмотреть.

Зелёные глазщи, по-лисьи приподнятые к вискам, тонкие брови вразлёт и тяжёлая светло-русовая коса, такая длинная, что сейчас лежала на земле, свиваясь кольцами, будто змея. Поднимется хозяйка на ноги — будет до самых пят украшение.

— А ну, лежать, — не по-женски сильные руки стиснули плечи. — Лежать, я сказала. Ишь, завозился.

Он попытался было, высвободиться, но волколачка рыкнула утробно и глухо, по-звериному, а потом отвела в сторону руку и на кончиках длинных пальцев вспыхнула зелёная искра. Мягкое прикосновение ко лбу и стужа пролилась в тело. Пленник оцепенел.

— Хлопот мне с тобой... — покачала головой Ходящая и закрыла ему глаза. Как покойнику, рукой.

Он лежал неподвижный, застывший, вдыхал запахи леса, не понимая, что происходит. Прислушивался.

Она куда-то ушла. Потом вернулась, развела огонь. Он слышал, как звучат её шаги, как льется вода в котелок, как трещат охваченные пламенем ветки, как булькает на огне похлёбка, как тихо напеваает, помешивая варево, стряпуха.

Потом она подошла и осторожно подняла его, устраивая так, чтобы голова покоилась у неё на плече.

Легонько подула на лоб.

— Открывай глаза...

Тяжелые веки медленно поднялись, будто только и ждали разрешения.

Губ коснулась ложка.

— Ешь, сейчас согреешься.

Он попытался что-то сказать, но женщина не позволила:

— Молчи.

Язык сразу же онемел.

— Я разрешила только есть.

Снова деревянная ложка у рта и что-то пахучее, приправленное травами... Он медленно, с усилием глотал, не чувствуя вкуса еды. Волчица кормила терпеливо, осторожно, дуя на исходящую паром похлёбку. Он почти согрелся. По телу побежали горячие токи, глухо отозвалось навстречу им искалеченное тело... Но теплая ладонь погладила потный лоб и стремительный холод снова побежал по жилам, вытесняя тепло.

— Довольно.

Разноцветные пятна понеслись перед глазами.

...В другой раз он очнулся вечером. Было темно. Пахло старым домом. Какая-то заброшенная изба — дверь, обвисшая на петлях, тёмные провалы окон, за стенами шумит лес.

— Сейчас, сейчас...

Женщина снова склонилась над ним, усадила, устроила на плече безвольную голову:

— Ешь.

Он подчинился. Медленно глотал, опять не понимая, чем кормят. Думал, после этого позволят поспать, но нет.

— Как тебя зовут? Помнишь?

Покачивание головой.

— Вспоминай...

Тяжелые веки опустились. Вспоминать не хотелось.

Женщина начала злиться, прислонила его спиной к неровной бревенчатой стене, чтобы не заваливался, и сказала:

— Вспоминай, косматая образина!

Он хотел спать.

Пощёчина. Одна. Вторая. Третья.

— Открой глаза!

Пришлось подчиниться. Боли не было. Но оплеухи мешали спать.

— Ты — мертвяк. Ты хоть это понимаешь? Упырь. И жив только благодаря моему Дару. Говори, если не хочешь завтра бродить по лесу вонючей падалью и искать живую плоть! Говори, не зли меня... — она склонилась над ним и дёрнула за волосы. — Вспоминай, страхолюдина. Не для того я волоку тебя через весь лес, смердящий ты кусок мяса, чтобы уговаривать! Не можешь охотиться, не можешь толком идти. Тянешь из меня силы! Тупая скотина, которую надо дотащить туда, куда задумано. Поэтому отвечай, пока я не бросила тебя тут подыхать!

Её гнев, а самое главное — угроза стать нежитью — подействовала, хотя больше человек ничего не понял. Слова доносились до него, будто из-под толщи воды, смысл их доходил не сразу. Пленник словно разучился думать. Осталось лишь упрямство — молчать и не подчиняться. А почему, зачем, он уже не помнил. Знал, что были когда-то темнота и страдание. Но больше ничего. Однако сейчас покорился. Не хотел становиться упырём.

— Меня... зовут...

Как? Как его зовут?

— Ах ты, вонючее страшилище! — выругалась женщина. — Столько всё не дох, а теперь решил сподобиться?

Ледяная ладонь легла на макушку.

— Вспоминай!

Холод схлынул с тела, как волна.

Боль!

— Как тебя зовут?

— Фебр... — прохрипел он. — А ты... Мара... чтоб тебя лешие...

Ее пальцы переливались зелёным огнём.

— ...по болотам драли, да, — закончила за него волколачка.

Страдание отступило. Ходящая снова опустила обережника на пол и улеглась рядом —

огромная хищница. Жаль, он не мог зарыться пальцами в густой мех — руки не слушались. Она была теплая. И грела его, вытянувшись вдоль спины.

Следующим утром она снова чем-то накормила пленника. Он не чувствовал вкуса. Он дурел от запахов. Никогда не знал, что их так много: травы, хвои, листвы, коры, гнилой воды, земли, смолы, прели... Хотелось упасть на землю и дышать, дышать, дышать. Хотелось идти... нет, бежать, захлёбываясь горячностью охоты. Хотелось есть. Поймать зверя, разорвать зубами живую тёплую плоть и грызть, чтобы сочно хрустели на зубах кости...

Он застонал. Зубы чесались изнутри. Рот наполнялся слюной. Этот запах...

Тяжелая пощечина вернула туда, где он находился — на лесную полянку.

— А ну хватит... — женщина вновь держала обержника за запястья. — Эк тебя распирает. Вставай.

Она дёрнула его, рывком поднимая на ноги. Он поднялся, шатаясь из стороны в сторону, из горла вырвалось глухое рычание, непохожее на человеческое.

Ходящая улыбнулась, прильнула, обняла дрожащие от напряжения плечи.

— Мы снова пойдём. Держись крепко, косматая ты образина.

Огромная волчица шагнула под его руку. Пленник непослушными холодными пальцами вцепился ей в загривок. Перед глазами снова неслись разноцветные пятна. Запахи леса дурманили. Кружили голову. Запах травы, земли, прячущегося в чаще зайца, мха и папоротника... Человек вдыхал этот воздух, осязал его языком, нёбом, губами. Бежать. Быстрее, быстрее, быстрее!

Холодно. Всё равно было холодно...

А потом темнота.

В Славути бережникам пришлось задержаться. Установившаяся распутица не выпустила странников из города — дороги раскисли, а с неба падал тяжёлый мокрый снег, который сменялся то дождем, то моросью.

Лесана ходила глядеть на строящийся детинец. Работы тут не останавливались даже зимой и продолжались, несмотря на причуды весенней погоды. Крепкие молодые ребята из недавно собранной дружины поглядывали на чужинку с недоумением, но помалкивали. Старшой велел вопросов не задавать, мол, живет у сторожевиков молодлица с мужем и братом, так ничего в том диковинного, родня-де у всех есть, даже у Осенённых. Вот, приехали гостинцев передать да повидаться.

За столько седмиц странствий Лесана уже привыкла ходить в женских рубахах, прятать волосы под покрывалом, потому больше не казалась сама себе нескладной и угловатой. Однако всякий раз, когда удавалось вновь облачиться в одежду ратоборца, девушка испытывала облегчение. По счастью, ей доводилось вздевать чёрное платье воя не так уж редко — Лют не любил сидеть на месте.

По приезде в новый город оборотень перво-наперво удовлетворил неумное любопытство: походил по славутским улочкам, помучил бережницу расспросами, а потом ожидаемо опять запросился в лес. Но и в этот раз Лесана отпустила его, снедаемая сомнениями. Однако через пару дней волколак вывел дикую стаю на засидку сторожевиков и снова не пытался сбежать.

После удачной охоты у Люта приключился припадок безделья и болтовни. Что ни день, он наседавал на спутницу с какими-нибудь расспросами, от которых той становилось одновременно и смешно, и тошно.

— Что ты там карябаешь? — спросил как-то оборотень, когда девушка при свете лучины царапала на бересте короткое послание в Цитадель.

— Пишу грамотку для Главы, — ответила Лесана, предчувствуя расспросы.

Не прогадала.

— Как пишешь? — тут же свесился с печи Лют.

Обережница вздохнула, понимая, что скупым объяснением от оборотня не отделаешься.

— Пишу, где мы, сколько стай изловили, что нового в городе.

— Дай-ка, — он спрыгнул на пол, подхромал к столу и выхватил у собеседницы бересту. Провел по гладкой поверхности пальцами, пытаясь, видимо, понять, что за чудо такое творит Осенённая. Нахмурился:

— Что это?

— Слова, — сказала Лесана, отбирая у него грамотку.

— Там только царапины, — снисходительно заметил Лют, давая понять: не такой уж он и простак, чтобы столь безыскусно можно было его обдурить.

— Это резы. Из них складываются слова. Глава разберет их и поймет, что я хотела сказать.

Оборотень озадачился и сел рядом на лавку.

— Не понимаю, — признался он.

Лесана задумалась. Как объяснить тому, кто не ведаёт о смысле грамоты, что это такое?

— Ну, вот, положим, я нарисую палочкой на земле круг, а от него по четыре черты в

разные стороны. На что будет похоже?

Волколак несколько мгновений размышлял, потом неуверенно спросил:

— На паука?

— Да, — кивнула обережница. — Вот и тут так же. Ну, почти так. Из рез складываются слова, слова складываются в...

— Понял я, понял, — оборвал её Лют, которому, как всегда, не хватило терпения дослушать. — И, дескать, по этим царапинам можно разобрать, что ты сказать хочешь?

— Можно, — кивнула Лесана, надеясь, что он, наконец, отстанет.

— погоди, — оборотень загорелся любопытством и явно не собирался заканчивать разговор. — Что ж, этак каждый научиться может? И я?

Он осторожно водил чуткими пальцами по исчерченной острым писалом мягкой березовой коре, словно надеялся прочесть мудрёные письмена.

— И ты, — сказала обережница, снова отбирая у собеседника послание. — Только зачем тебе?

— Любопытно, — ответил оборотень. — Да и полезно.

Девушка пожала плечами и слегка уязвила его:

— Не так-то это просто. Не всякий легко сладит.

Оборотень хмыкнул:

— Ну, уж если ты смогла, я точно не оплошаю.

От насмешки в его голосе, а тем паче от красноречивого «уж если ты», Лесане сделалось обидно и она замолчала.

Волколак не догадался, что задел её, спросил, как ни в чем не бывало:

— Научишь?

— Нет, — буркнула девушка. — Ещё я только впотымах не учила Ходящего грамоту разуместь.

Лют усмехнулся, но отстал.

Больше они к этому разговору не возвращались. Справедливости ради надо сказать, это не особенно огорчило Лесану. За долгие дни вынужденного странствия она привыкла к Люту, но по-прежнему не доверяла ему, а оттого, когда он находился рядом, чувствовала себя неловко и всегда держалась настороже. Да ещё Тамир...

Если и раньше он был неразговорчив и хмур, то сейчас вовсе заделался молчуном. Волколак колдуна сторонился и старался даже за столом садиться поодаль. Девушка заметила это и однажды спросила обережника:

— Что у вас с Лютом приключилось?

Тамир посмотрел на неё удивлённо:

— Ничего. А что у нас могло приключиться?

Она развела руками:

— Не знаю, просто он тебя чурается...

На это Тамир ответил с усмешкой:

— Он зверь. Он чует.

Собеседница не поняла:

— Что чует?

— Опасность.

Лесана посмотрела внимательно в тёмные глаза колдуна и сказала:

— Или ты мне всё объяснишь, или завтра же мы возвращаемся обратно в Крепость.

Тамир моргнул и ответил растерянно:

— Не могу сказать. Я бы рад, но он не даёт.

Обережница вспылила:

— Да что же такое-то! Кто «он»?

— Так Каженник, — донёсся хриплый голос Люта из-за спины наузника. — Верно?

Колдун удивленно оглянулся, а оборотень продолжил, незаметно пятясь:

— Ты попался, Охотник. Он никого не отпускает. Не знаю, как с людьми, а, будь ты Ходящим, уже бы лишился ума и переярился. У нас таких сразу убивают. Если успевают.

Лесана переводила растерянный взгляд с обережника на волколака и обратно.

— Каженник — это тот, про которого ты нам говорил? — спросила девушка, припоминая рассказ о злом неприкаянном духе, который блуждает по лесу и которого Ходящие боятся так же, как люди боятся Встрешника.

— Он самый, — кивнул Лют, а обережница заметила, что он старается обойти Тамира по крутой дуге. — Бродит по чаще. Если встречает оборотня или кровососа, касается и лишает рассудка. Осенённым, говорят, жилу затворяет. А простых делает безумными, вселяет в душу злобу и голод.

— Нет у таких, как ты, души, волк, — сказал в ответ на это Тамир.

Он уже отвернулся от оборотня и теперь неотрывно глядел Лесане в глаза.

Тёмная страшная воля лилась из его зрачков, отнимала у собеседницы силы.

— Вы несёте смерть и страдание, — колдун говорил с оборотнем, а сам не отрывал взора от девушки.

У той отнялись ноги. Несчастливая попыталась было поднять руку, чтобы оттолкнуть мужчину, но не смогла шевельнуться. Разорвать же взгляды было выше её сил. В груди разливался холод... А затем всё прекратилось, потому что Лют одним прыжком преодолел разделяющее его и Тамира расстояние и обрушил кулак обережнику в основание шеи.

Тот рухнул, как подкошенный. А волколак шагнул к Лесане, незряче вытянув руки. Девушка шумно вздохнула, словно вынырнула на поверхность с большой глубины. Мир снова обрёл краски, силы вернулись.

— Я думал, у тебя сердце грудины проломит, — признался оборотень и в тот же миг скорчился на полу, рядом с Тамиром, цепляясь побелевшими пальцами за ошейник. Наговоренный науз отозвался за учиненную человеку обиду. Лют хрипел, и глаза у него закатывались от боли.

Обережница во время просунула ладонь в зазор между кожаным ремнем и шеей волколака. Что-то сказала и хватка колдовства ослабла. Оборотень сел, хватая ртом воздух, а его спасительница уже склонилась над колдуном.

Тот был ледяной и едва дышал.

— Ехать с ним дальше опасно. Надо возвращаться, — сказал Лют.

— Не можем мы вернуться, — ответила девушка, щупая шею наузника, чтобы отыскать слабо бьющийся живчик. — Глава поручение дал. Выполнить надо. А одного не отпустишь.

Оборотень хмыкнул:

— Он не в себе. Ты понимаешь? Безумный. Это больше не человек. Это... тело одержимое злобной нежитью.

Лесана взяла бледную ладонь колдуна и посмотрела на змеящиеся под кожей серебристые линии. Рука была холодной. Девушка подумала о том, какое счастье, что сторожевиков сейчас нет в избе, и никто не видит происходящего.

Лют стоял рядом на коленях:

— Он опасен.

— Ты тоже, — ответила Лесана.

— Это другое... Я — живой. Меня можно убить. А его...

— Убить можно любого, — спокойно сказала обережница. — Нужно лишь знать — как.

— Вот именно. А ты не знаешь.

Она пропустила это замечание мимо ушей:

— Тамир... — девушка позвала, не надеясь, что дождетсся ответа, однако колдун с трудом открыл глаза и посмотрел на неё.

— Что нам теперь делать? — спросила она. — Как быть?

Вместо ответа он потянулся к висящим на поясе ножнам. Лесана перехватила руку, но мужчина высвободился и сказал хрипло:

— Не мешай, пока могу...

Обережница с удивлением смотрела, как он рванул ворот рубахи и, не дрогнув, вычертил на груди кривую резу. Такие резы колдуны наносили на ворота и брёвна тына, защищая поселения.

— Всё...

Тамир обессилено откинулся на пол. Кривые линии на рассечённой коже исходили кровью и мерцали угасающим голубым огнём. Лют, скорчился на скамье, уткнувшись лицом в брошенный там полушубок, и трясся. Лесана выругалась, схватила волколака за шиворот и выволокла из избы на воздух:

— Дыши глубже, ну!

Он принялся яростно втягивать воздух, чтобы хоть как-то успокоиться.

— Вот же морока мне с вами! — девушка устало привалилась к двери. — Один, чуть что, трясётся и разум теряет, второй — мертвец ходячий. Как вы мне оба надоели!

Однажды он открыл глаза и увидел над собой что-то огромное, серое.

Здоровенный зверь возвышался над человеком, переступив через бесчувственное тело. Мягкое брюхо нависло совсем близко — только руку протяни.

Где-то рядом, в темноте крались хищники. Они шли на запах, они хотели есть. Мерцали в полумраке огоньки голодных глаз. Но вот лязгнули острые зубы, и грозный рык разнёсся над чащей — раскатистый, утробный. Серые тени шарахнулись, испуганно отступили за деревья.

Человек лежал и равнодушно смотрел в ночь. Лес. Темнота. Звери, крадущиеся по кустам. И огромный волк, стоящий над своей добычей, переступающий с лапы на лапу, глядящий злобно и жадно — моё! Шерсть вдоль хребта стояла дыбом, переливалась зелёными искрами.

Волк был велик и страшен. Его боялись. Но голод сильнее страха. И хищники не собирались отступать. Враг может быть силён, может быть свиреп, но когда-то и он устанет. И вот тогда-а-а...

— Эй! — волчица обернулась женщиной, упала на колени и встряхнула безжизненно лежащего обережника. Холод уступил место боли. — Поднимайся! Их слишком много, надо идти... Давай!

Она лихорадочно оглядывалась и коротко взмахивала рукой, когда кто-то из оголодавшей стаи подступал ближе прочих.

Зелёное сияние таяло в воздухе.

Мара вздёрнула человека с земли, забросила его руку себе на плечо и крепко ухватила за пояс. Мужчина повис на ней. Ноги его не держали.

— Давай! — прохрипела волчица. — Это — дикие. Скоро рассвет, они отстанут... Только иди, Хранителей ради, иди, упырина лохматая...

— Куда?.. — он споткнулся, потому что правая нога подкосилась и полыхнула свирепой болью. Сломана.

Женщина не слушала. Она лихорадочно озиралась, рассыпала в стороны бледные искры Дара и волочила на себе спутника, тяжело и со свистом дыша.

— Больше, не могу... — обережник оступился, вскрикнул и упал бы ничком, но сильные руки волколачки удержали его, поэтому пленник лишь осел на землю.

Всё вокруг кружилось и ходило ходуном.

— А ну вставай! — его снова потянули вверх, вынуждая подняться. — Вставай, скотина, ленивая!

Чёрные тени подступали всё ближе.

— Не могу, — он повис у неё на руках, раскачиваясь из стороны в сторону, будто дерево под порывами ветра.

Глухое рычание. Волчица встала между человеком и крадущимися хищниками. Скорее бы рассвет, Хранители! От пленника пахнет кровью и сладкой плотью. Звери чувствуют, что жертва слаба. Их много и одна Осенённая не сдержит безумную голодную стаю. Путников будут гнать и гнать, принуждая идти, чтобы выбились из сил...

Краем глаза Мара следила за обережником. Он стоял на коленях, поднеся к лицу изувеченные ладони. Нашел время раны рассматривать! Тем паче, один глаз всё равно

незряч. Да и что сможет разглядеть в такой темноте человек? Волчица яростно лязгнула челюстями. Хищник, подошедший слишком близко, отпрянул на полшага и медленно двинулся вправо, обходя противницу, готовясь для прыжка. Он уже подобрался, но в этот миг слабое сияние озарило чащу.

Звери взвизгнули, испуганно шарахнулись в стороны. Мара оглянулась и зашипела от боли.

Фебр смотрел в пустоту, поднеся к лицу подрагивающие ладони, с которых от кончиков пальцев к локтям бежали бледные-бледные голубые искры.

Ходящая на миг ослепла, даже прикрылась рукой, но тут же вскочила и вздёрнула человека на ноги, обеими руками держа за пояс. Только бы не упал. А ещё пуще — не ударил бы, не вышиб дух.

— Дохлятина такая, — ругалась волчица. — Да переставляй же ты ноги!

Он не мог идти, висел на ней, чуть живой, надсадно дышащий, не понимающий ничего...

Стая боязливо кралась следом. Звери поняли, что добыча может сопротивляться и теперь снова выжидали. Но так ничего и не дождались. Небо над лесом начало бледнеть...

Мара опрокинулась на землю, не чуя ни рук, ни ног. Обережник рухнул, как подрубленное дерево. Она приложила голову к его груди: сердце едва билось.

— Нет-нет-нет-нет-нет... — шептала Ходящая, шаря руками по бесчувственному, изуродованному ранами телу. — Рано, рано, рано!!!

И снова ударила кулаком туда, куда била все эти дни.

От середины груди по телу человека стремительными потоками хлынуло зелёное сияние.

Он ничего не успел понять. Лишь то, что впереди очередной чёрный провал и холод, похожий на смерть.

— Как тебя зовут? — спросила женщина, когда он снова пришёл в себя. — Ты помнишь?

Сегодня, несмотря на яркое ласковое солнце, он особенно сильно мерз и не хотел говорить.

— Вспоминай...

Мужчина безо всякого интереса смотрел на свои изъязвлённые безобразными ранами руки.

— Это важно. Иначе — смерть.

Он честно пытался сделать, как она просит. Он не хотел умирать. По-звериному мотал тяжелой головой. Он пытался. Он не помнил.

Пощечина. Одна, вторая. Он уже привык к ним. Вспышки зелёного света перед глазами. А потом огненный жар по всему телу и полыхающая боль, о которой он забыл. Внезапная, страшная.

— Вспоминай! — рычала ему в лицо волчица. — Вспоминай, как тебя зовут, кто ты!!!

Звериные глаза полыхали гневом.

— Фебр, — ответил он. — Обережник.

Боль отступила в тот же миг.

— Фебр... — женщина обняла его голову, которая только что едва не взорвалась от страдания. — Чш-ш-ш...

С облегчением он закрыл глаза. Он помнит.

— Теперь идём.

Он послушно поднялся.

Женщина свела вместе ладони. Между пальцев полыхнула зелёная искра. Ручеек сияния, бледного в свете дня, стёк на раскисшую лесную землю. Мужчина равнодушно смотрел на то, как бегут во все стороны мерцающие волны Дара, как лунки следов разглаживаются, а зелёные отсветы уносятся прочь — в чащу.

Огромная волчица ткнулась носом в ладонь спутнику. Тот словно очнулся, крепко вцепился в холку. Зверь потрусил в чащу. Человек деревянной походкой шел рядом.

В лунном свете матёрых, окруженный неистово лающими щенками, казался невозмутимым и оттого еще более грозным и страшным. Волкодавы и боялись, и злились одновременно. Толкались, жались друг к дружке задами, но тут же наступали и звонко брехали.

Зверь лениво огрызался, щелкал страшными зубами. Щенки отпрыгивали, но затем, вопреки страху, опять кидались: рычали, хрипели, припадали на лапы. Волк терпел. Он терпел звонкий лай, от которого закладывало уши, терпел, когда один из цуциков, осмелев, попытался сцапать зубами пушистый хвост, терпел, когда двое других напрыгивали на него с разных сторон. Терпел, беззлобно рычал и косился на девушку в чёрном, стоящую возле старой берёзы. Девушка была неразличима в полумраке, лишь лицо её в лунном свете казалось белым, словно ледяным. Волк ждал, когда она отзовёт собак и глядел уже едва ли не с мольбой. Щенки ему надоели.

Наконец, девушка отстранилась от дерева, к которому прижималась плечом, и собралась уже кликнуть псят, но в этот миг один из осмелевших волкодавов цапнул-таки матёрого за хвост.

Лют, не ожидавший такой отваги, дёрнулся и, не столько от истинной злобы, сколько от неожиданности и досады, обернулся к щенку и рявкнул. Низкий рык, отрывистый и гулкий, разнёсся по лесу. А в следующий миг лязгнули тяжёлые челюсти и щенок, застыл, парализованный ужасом. Задние лапы у него расползлись, и из-под них растеклась в лунном свете позорная лужица. Малыш заскулил, да так и остался дрожать, не в силах даже порскнуть с места, убежать от опасности.

Остальные щенки с визгом рассыпались в стороны и жались теперь в тени кустов.

Когда Лесана подбежала к маленькому волкодаву, стало понятно — красивый крепкий щенок в славного пса уже не вырастет. Страх перекорёжил его — пёс трясся, дрожал и не мог встать на ноги.

— Зачем ты так? — обернулась бережница к Люту. — Зачем? Тебе же их учить, а не портить дали.

Ходящий злобно огрызнулся, отчего щенок испуганно заплакал на руках у своей заступницы.

— Ах, ты! — и девушка хлестнула волка раскрытой ладонью по носу.

Зверь предостерегающе зарычал, показывая клыки.

— Скотина глупая! — выругалась Лесана и отвернулась от него, направляясь вместе с щенком в ту сторону, где только что стояла. Коротко свистнула, подзывая собак. Те, обрадованные, сбежались, лезли под руки, вымаливая прощение за бесславную схватку. Носы тыкались, хвосты мотались из стороны в сторону, языки лизали человеку пальцы.

«Мы не виноваты, — словно говорили щенки. — Он, вон, какой огромный. И страшный. А мы маленькие. Но ты же видела, мы были очень храбрые. Ведь правда, да? Мы старались и совсем-совсем не боялись. Хотя у него зубы. Большие такие. Острые. Но мы же смелые, да?»

— Да, да, — отвечала им девушка. — Молодцы, молодцы.

Тут — в трети версты от строящегося детинца — она учила щенков брать след и догонять волка.

Бережница гладила псят, ласкала, как умела, утешала. Ей было жаль их. Против

обычного хищника это будут славные бойцы, но против оборотня... один его запах подавлял их отвагу и волю, заставлял трепетать и обмирать. А уж после случившегося вряд ли Будя когда-то возьмёт след Ходящего и поведёт по нему ратоборца... Лесану разбирала досада. Щенки ведь! Зачем Лют так их напугал?

Когда она вернулась к месту стычки, волк лежал в тени кустов бузины, закрыв глаза.

— Вставай, — приказала девушка. — Чего разлегся?

Он сделал вид, что не слышит. Даже ухом не повел.

— Эй... — она потянула зверя за ошейник.

Голова безвольно дернулась, как у дохлого, и оборотень не удостоил Осенённую даже взглядом.

— Лют? — позвала она. — Перекидывайся. Ты что?

И снова потянула, на этот раз за холку. Волк мотнул башкой, высвобождаясь, поднялся на ноги, отошёл ещё на несколько шагов, после чего снова улегся.

— Лют?

Обережница растерялась. Ей были известны способы, которые мешали Ходящему перекинуться обратно в человека. Но способов, которые вынудили бы волка принять людское обличье, она не знала. В итоге, сердито пристегнула его на шлею и даже хлестнула по заду, вынуждая подняться и идти обратно.

Щенки осмелели. Все, кроме Буди. Тот все равно жался к ноге человека и мелко-мелко дрожал. Порченный. Остальные же псята резво трусили следом, хотя и держались от оборотня на почтительном отдалении.

По возвращении на подворье сторожевиков, девушка загнала собак в куты, решая про себя, что завтра же надобно куда-то деть негодного к собачьей работе Будю.

Когда она возвратилась на двор, Лют, по-прежнему безучастный, лежал на земле возле крыльца.

— Перекидывайся, — велела обережница. — Или оставлю здесь до утра.

Он сделал вид, что не слышит. Не подставил шею. Не повернулся. Добро!

Лесана пожала плечами. Навредить волколак никому не сможет, в человека перекинуться — тоже, так что пусть лежит, если хочет. Сам придёт.

Но он не пришел. Утром, когда она спохватилась, что его нет и спустилась вниз, Лют лежал за дровяником, едва не зарывшись носом в землю, чтобы хоть как-то спрятать глаза от солнца, которое нынче было особенно ярким — весенним.

Из-под крепко зажмуренных век катились слезы.

— Вот же ты... — с досадой проговорила девушка, завязывая ему глаза. — Перекидывайся.

Она потянулась к пряжке ошейника, но оборотень глухо рыкнул и обережница отступила. Ишь, какой обидчивый. Пришлось уйти, оставив его неподвижно лежать.

Вечером, когда Лесана окончательно поняла, что не дождется от пленника смирения, то, скрепя сердце, пошла на уговоры. Он уже сутки не ел и не пил. Только лежал поленом, не поднимая головы.

— Хватит, — решительно сказала Осенённая, снимая науз. — Перекидывайся.

Он не пошевелился.

Что делать? Опять вздеть ошейник и оставить лежать? Завтра им ехать. Как повезешь в обозе волка? По всему выходило — придётся увещевать.

— Лют, пожалуйста, — с трудом проговорила девушка. — Нам отправляться завтра

поутру. Ну, прости меня, не знаю за что! Перекинься, я не хочу делать тебе больно. Но, если ты не послушаешься — придётся.

Он не повернул головы.

— Я тебе дам немного времени собраться с мыслями, — осторожница поднялась на ноги. — Ты полежишь и подумаешь, что ходить человеком гораздо лучше, чем получить вожжами поперёк хребта. Я пока посижу на крыльце. А ты поразмыслишь. Ты неглупый, поймёшь, что к чему.

С этими словами она отправилась прочь, но не успела сделать и двух шагов, как сзади её сгребли под локти, подхватили, оторвали от земли.

Она ударила его. Со всей силы. А он с такой же злобой швырнул её прочь, аккуратно в ворох соломы, заготовленной для замены подстилки в хлеву. Ворох оказался жидким, Лесана, хотя и извернулась с кошачьей ловкостью, всё равно ушиблась.

А в следующую секунду Лют навис над ней, дёрнул вверх, ставя на ноги, и зашипел в лицо:

— Никогда, слышишь? *Никогда* не смей бить по носу! Это больно и... и... унижительно! Никогда!

На какой-то миг она испугалась. Причём не того, что он нападет. Вот ещё! Чего-то другого испугалась. Сама не поняла, чего именно. Не то непривычной ярости в его глазах, отсвечивающих в темноте зеленью, не то гнева, исказившего лицо, не то того, как его колотило и трясло, словно в лихорадке.

— Никогда!

Лесана стряхнула его руки:

— Чего орёшь? Я не глухая.

Получилось грубо.

Лют замолчал. Потом усмехнулся. Поднял с земли, прихваченной лёгким ночным морозцем, ошейник, протянул собеседнице. Безропотно шагнул вперёд. Осторожница застегнула науз, отмечая про себя, что ударила оборотня слишком сильно — он теперь даже ступал тяжело и заметно перекашивался на левый бок.

— Иди, помойся. Завтра в дорогу. От тебя псиной несёт. Отвар в бане, натрёшься, чтобы не разило.

Волколак ушёл, не проронив ни слова.

На другое утро, когда Лесана снова облачилась в бабий наряд, её «брат» был по-прежнему угрюм и неразговорчив. Впрочем, девушку это не тронуло. Тамир беспокоил её куда сильнее, чем уязвлённая Лютова гордость.

Донатос бы всё случившееся обозначил кратко: «У дурака и беды дурацкие». И был бы прав. Тамир вдруг понял, что скучает по наставнику.

По отцу не скучал. Обережник помнил его смутно — высокий крепко сбитый мужчина с копной чёрных с проседью волос и натруженными огромными руками. И нос у него был с горбинкой, похожий на орлиный клюв. Нос ему перебили ещё в раннем детстве, когда нечаянно ударили палкой во время игры в бабки. Отец говорил — кровища хлестала так, что он захлёбывался и рыдал, боясь умереть.

Смешно.

И тут же поселилось в душе неясное беспокойство. Понимание, что ли. Не был его отец ни высоким, ни темноволосым. И горбинки на носу у него не водилось.

Растерянно Тамир пытался вспомнить если не лицо, то хоть имя своего родителя, чтобы унять гнетущую тревогу. Как его звали? Чем занимался? Память отзывалась медленно и неохотно... кое-как всплыло из глубин только собственное отчество — Стр *о*кович. От этого стало чуточку легче.

Повозка катилась и катилась по лесу. Деревья мелькали. Пахло весной. Айлиша любила весну...

— Лесана? — негромко позвал мужчина.

Обережница повернулась.

— Что? — она смотрела на него обеспокоенно.

— Кто такая Айлиша? — спросил Тамир, стыдясь и понимая, что не помнит чего-то очень важного.

Подруга одарила его взглядом, в котором отразилась бесконечная тоска:

— Училась вместе с нами. На лекарку, — шёпотом ответила девушка. — Ты любил её. Хотел жениться. Но она умерла.

Колдун задумался, незаметно для себя поглаживая то место на груди, где под рубахой скрывалась начертанная на теле реза.

— Расскажи, — попросил обережник, хотя и видел, что рассказывать ей не хочется.

Лесана по-прежнему шёпотом заговорила:

— Ей учеба тяжело давалась. Она всё никак не могла к обычаям Цитадели привыкнуть, смириться. А потом... умерла.

— Хворала? — спросил наузник.

В глазах собеседницы задрожали слёзы. Она сморгнула их и сказала, отчего-то с трудом:

— Хворала.

Тамир кивнул. Ему было неловко. Грусти он не испытывал. Ни горя. Ни скорби. Он ведь не помнил эту девушку, а оттого не мог и сожалеть о своей утрате.

— Я забываю, Лесана, — признался он честно: — То, что давно было — забываю. А ежели, чего помню, так оно чужое всё — не моё. Ты подновляй резу, коли я запомню.

Прошое и впрямь подернулось пеленой и дымкой, но настоящее он помнил отчётливо. Лишь иногда какими-то урывками. Это неправильно. Не по-людски. Взять хоть стариков — они помнят молодость и юность, но забывают напрочь минувший день. У него же всё иначе.

Каждое утро, умываясь, обережник читал на воду наговор, усмиряющий навь. Знал —

долго это продолжаться не может. Но знал так же, что до зеленника *а* продержится. А что дальше... креффам решать.

Ивор больше не пытался вырваться, подчинить его себе, но присутствие чужака колдун чувствовал каждый миг. Иногда ему вовсе казалось, будто он гость в собственном теле. Иногда, что истинный хозяин. Воспоминания сплетались. Боль и тоска куда-то ушли. Им на смену заступило беспокойство.

— Мне всё кажется, я что-то позабыл. Кого-то мне будто бы надо отыскать. Но не помню кого...

Лесана обняла его за плечи, задыхаясь от боли. Той самой боли, которая никак не связана с телесным здоровьем, но от которой в груди вскипает неодолимая мука. И трудно сделать вдох, трудно говорить. Только горечь слёз комком становится в горле и не протолкнуть её ни питьем, ни яством, лишь рыданиями.

Но обережники не плачут. Не умеют.

Она видела, как меняется Тамир. То были страшные перемены. Тем страшные, что заметными они становились лишь тому, кто хорошо его знал. Не убавилось в движениях и голосе решительности, не угасал в нём Дар, колдун был молод и крепок. Но иногда в его глазах мелькала детская растерянность, словно оказался внезапно один в чужих людях и не понимал теперь — как очутился среди них, что должен делать?

В такие моменты Лесане хотелось вцепиться ему в плечи, уткнуться лбом в твёрдую грудь и разрыдаться по-бабски, в голос.

Нет.

Обережники не плачут.

Не умеют.

...Лют с ней почти не разговаривал. Был угрюм и молчалив. Но все эти долгие дни странствия слушался беспрекословно, а оттого, как и Тамир, был не похож на себя самого. От них обоих девушке делалось так тошно, что хоть в петлю лезь.

Поэтому, когда остановились на ночлег, Лесана вызвалась сходить к ручью за водой. С ней не стали спорить. Мало ли зачем девке к воде надо? Пусть идёт. Уж одно-то ведро донесёт, не переломится. Она отправилась. Только потому, что хотелось хоть оборот побыть в тишине. Совсем одной.

Ручей оказался узким, а вода в нём ржаво-рыжей с коричневыми рыхлыми сгустками ила по берегам и узловатыми корнями сосен, темнеющими на дне.

Лесана смотрела, как, журча, переливаются водяные дорожки, как прошлогодняя высохшая трава, похожая на лыко, колышется в потоке и как меняется узор песка на дне. А потом её толкнули в спину, между лопаток и она полетела кубарем, запутавшись в подоле.

Вскочила мгновенно. Выучка-то никуда не делась даже в бабском наряде.

Напротив стоял мужчина и смотрел исподлобья. Стоял, не предпринимая попыток напасть или броситься, хотя готов был отразить удар.

— Скажешь Люту — Мара ушла из Стаи, наделав беды. Ищут её по всему лесу.

Обронил и исчез. Только серая шкура мелькнула среди деревьев.

А Лесана замерла, словно к земле пригвождённая.

Клёна переминалась с ноги на ногу на крыльце Цитадели, и холодный ветер пасмурного таяльника рвал полы её накидки.

Серое утро пахло водой и отчаянием. Предстоящий дождь угадывался в волглom воздухе и нависших над Крепостью белёсых тучах. Во дворе же было черным-черно от ратоборцев. Парни оживлённо переговаривались, перекрикивались и сдерживали лошадей, которые нетерпеливо гарцевали, предчувствуя дорогу.

Ждали Главу.

Он пришёл от конюшен, ведя в поводу коня.

— Ну? Все собрались? — спросил.

Ему ответили согласным нестройным хором.

Клесх поставил ногу в стремя и рывком забросил себя в седло.

Клёна многожды видела, как он уезжает. Не один раз провожала. И всегда без сожаления. Но нынче сердце полыхало от дурного предчувствия: сжималось, колтыхалось где-то в животе, а воздух с трудом проливался в грудь, и все казалось — не раздышишься.

Она сбежала с крыльца и бросилась к отчиму. Вцепилась в стремя и застыла, не зная, что сказать и понимая, что ни остановить его, ни заплакать нельзя. Дочь Главы. Как тут плакать?

— Ты... возвращайся... — сказала неловко.

Он наклонился и поцеловал её в лоб:

— Вернись. Не горюй. А то последние дни, как тень ходишь.

Клёна кивнула, не имея ни сил, ни смелости сказать ему, что которую уже ночь ей снился волк, терзающий человека. И что на человеке том была чёрная одежда ратоборца. Девушка просыпалась от собственного крика, с лицом, залитым слезами.

— Возвращайся, — повторила она.

— Куда ж я денусь.

И Глава обернулся к терпеливо ожидающим его выучам.

Дюжина воев, да ещё по двое от послушников целителей и колдунов. Из креффов Бьерга да Руста.

— Поехали, — просто сказал Клесх и направил коня к воротам.

Клёна стиснула на груди ворот накидки, глядя в спины уезжающим.

Все ли вернутся?

Они не оборачивались.

А когда ворота закрылись, во дворе стало как-то слишком тихо и пусто. Будто крепость оцепенела в ожидании тех, кто её только что покинул.

— Клёна! — позвали со стороны Башни целителей. — Идём, поможешь мне!

Ихтор махнул рукой и девушка заторопилась.

— Что ты там к крыльцу приросла? — спросил крефф, когда она подошла. — Заняться больше нечем? А подружки где?

Он сунул ей в руки ступку и горсть сушёного паслёна, мол, толки.

— Цвета с оказией к тётке в Суйлеш уехала, — начала объяснять Клёна, разминая пестом ягоды. — А Нелюба прясть засела.

— Вон оно что, — протянул лекарь, смешивая в горшке какие-то настои. — Последние

дни не видать твоей Нелюбы. А коли встретишь — глаза прячет. Чего стряслось-то?

Девушка горько усмехнулась. Ей нравилось говорить с Ихтором. С ним было легко, словно знакомы давным-давно или приходились друг дружке родней. Другое дело Клесх. С ним всё иначе. Каждое сказанное слово, будто губы обжигает. И отчего так, падчерица не понимала.

— Беда у ней сердечная, — ответила Клёна. — Ильгара Глава отослал. А тот уехал, не простившись даже. Вот она и ревёт. Который день уж.

Целитель покачал головой и бросил задумчивый взгляд на подоконник, на котором прежде спала, беспечно развалившись, рыжая кошка.

— Ильгару не до прощаний было, — объяснил крефф. — За оборот собрался и отправился. Ему по-хорошему ещё полгода учиться оставалось, а тут старградский вой сгинул. Вот и сорвали парня с места...

Уютная лекарская волчком завертелась вокруг Клёны: горящий очаг, каменные стены, широкие стропила с подвязанными к ним пучками трав, полки с горшками... Прихлынула к вискам удушливая боль, сжала, будто в тисках, а перед глазами поплыли белые пятна — всё больше, больше, больше, пока не ослепили.

— Клёна... Клёна... — звали издалека. Голос был зыбким, плыл в воздухе, расходился эхом...

— Клёна!

Она сидела на полу, прижимаясь к Ихтору, и судорожно дышала. Рядом валялась ступка с рассыпавшимся паслёном. Пест закатился неведомо куда.

Руки дрожали, тело обсыпал ледяной пот.

— Ты что? — тёплые сильные пальцы ощупывали ей голову, и под кожу сыпались щекотные колючие искры.

— Не знала... что... старградский сторожевик погиб... — с трудом ответила девушка, облизывая пересохшие губы.

— Погиб, — Ихтор погладил её по одеревеневшей спине и сказал покаянно: — Забыл я, что вы знакомы...

Клёна усмехнулась. Были. *Были* знакомы.

Хотелось разрыдаться. Так же горько и безутешно, как рыдала уже который день Нелюба. Но, то Нелюба. А дочери Главы не пристало.

Поэтому она отстранилась, всеми силами пытаясь совладать с накатившей слабостью.

— А куда Глава нынче отправился? — спросила девушка, доставая закатившийся под лавку пест.

— Ходящих гонять, — ответил Ихтор, делая вид, что не замечает, каким дрожащим и слабым сделался её голос. — Клесх этой весной запретил креффам искать выучей. Наказал оставаться в Крепости. Опасно, говорит, ездить по одному и даже по двое. Вместо этого собрал ребят из старших послушников и повёл лес прочёсывать, чтобы на нечисть остратки нагнать.

Клёна отрешённо кивнула и вдруг спросила:

— А кошка твоя где?

Лекарь пожал плечами:

— Не знаю.

Он и правда не знал. Да и не хотел знать.

На душе было пусто.

Лесана мучилась четверо суток, гадая, сказать Люту о встрече в лесу или промолчать? Суровая выучка мешала попуститься слабостью — пожалеть Ходящего, а вот всё человеческое внутри восставало — как же? Сестра ведь.

Да ещё и Лют, как назло, последние дни вёл себя покладисто и смирно, не давая повода для попреков. Он даже как будто перестал обижаться. Во всяком случае, не чурался более беседами и не держался так нарочито холодно. Обережница извелась. В ней сошлись в непримиримой битве человек и Осенённый, каждый из которых твердил своё и требовал поступить по совести. Только совесть у обоих была разная.

Наконец, Лесана не выдержала. До Тихих Брод оставался день пути, и нынешняя ночь была последняя, которую путникам предстояло провести в лесу. Да ещё день выдался на редкость погожий, радостный — солнце ликовало, лес пах весной. Одурающе. Сладко. Снег уже совсем сошёл, и земля была черна. Скоро начнет пробиваться трава и проклюнутся листья. Скоро...

В общем, хотелось обережнице наслаждаться прозрачным небом, запахами пробуждающегося леса, пением птиц, а не терзаться сомненьями...

Девушка покосилась на оборотня. Он распростерся в телеге, закрыв лицо согнутой в локте рукой и, то ли спал, то ли блаженствовал — не разобрать. Лесана наблюдала за ним, пытаясь понять — вот, будь Лют человеком, нравился бы он ей? Испытывала бы она к нему хоть какую-то приязнь? Что-то, кроме глухого раздражения и постоянной досады? Ответа она не знала.

Вроде Ходящий в меру хорош собой: ладно скроен, улыбчив, за словом в карман не лезет... Нет, прямо скажем, не красавец. Да ещё патлы эти, вечно спутанные, едва не до пояса болтаются! Но девки-то поглядывают.

Нынче в обозе ехал сереброкузнец с дочерью-невестой. Та была чудо как хороша собой. Впрочем, разве бывают некрасивые шестнадцатилетние девушки?

Верно. Не бывает. И Белава не была.

Потому-то обережница до сих пор гадала, чем мог приглянуться девке незрячий да к тому же хромой мужик? Были при обозе молодые справные парни, с лица пригожие. Ан нет, поглядывала Белава именно на Люта. Сперва, видать, ей сделалось его жалко, а следом за жалостью проснулось в сердце, которое волновала и будоражила весна, что-то иное. Лесана не раз замечала, как, разнося за вечерей похлёбку, девушка, словно невзначай задевала сидящего мужчину то рукавом, то подолом рубахи. А он однажды — обережница видела — принес дурёхе первоцвет. Крохотный жёлтый цветочек на широкой жёсткой ладони.

Глупая зарделась.

Лют не ухаживал, не заигрывал. Как-то само собой протянул этот цветок. У Лесаны сердце ёкнуло.

Уже ввечеру, когда укладывались спать, она сказала оборотню:

— Ты к дочке Стогневовой не подходи. Не надо.

— Не буду, — сказал волколак.

Он теперь не спорил со спутницей, и это было столь непривычно, что Лесана почувствовала какой-то подвох и, на всякий случай, решила пояснить:

— Она не знает, *кто* ты. Зачем смущаешь девочку? Ты ведь ей нравишься.

— Нравлюсь, — кивнул он. — Что в этом плохого?

— То, что она думает, будто тоже тебе нравится.

Он пожал плечами, а собеседница закончила:

— Но я-то знаю: для тебя она всего лишь вкусно пахнет.

— *Очень* вкусно, — сказал с нажимом оборотень и добавил: — Это важно.

Обережница на это только повторила:

— Не смущай ее.

— Не буду.

Вот на этом их разговор и завершился. Лют к Белаве больше не подходил и первоцветов не носил. Лесане от этого, вопреки всякому здравому смыслу, стало грустно. Будь Лют человеком, судьба обоих могла бы сложиться иначе.

— На лучше, — протянула Лесана волколаку свой гребешок. — А то ходишь, как леший.

Волосы у него были русого цвета, длинные и жёсткие, как проволока — такие чесать, не перечесать... Но Лют лишь разбирал их после бани пятерней да стягивал кожаным ремешком. И на предложение обережницы взять гребешок, вполне ожидаемо пожал плечами, мол, ну его. Она отстала.

И теперь, сидя рядом в телеге, девушка, словно в сито просеивала воспоминания последних дней, надеясь, что отыщет в памяти хоть одно, за которое сможет зацепиться, чтобы принять решение — говорить или нет ему про сестру?

Но воспоминания, как назло, были и ни хорошими, и ни плохими.

— Лют, — окликнула, наконец, Лесана оборотня, не в силах более выносить внутренней маеты.

Телега катилась и катилась по лесной дороге, подпрыгивая на ухабах.

— Давеча меня в лесу окликнули, — сказала обережница.

Волколак отнял руку от лица и повернулся к собеседнице.

— Кто?

— Мужик молодой. Роста одного со мной, темноволосый, не шибко дюжий...

— Ухо одно рваное? — быстро спросил Лют.

Девушка задумалась, припоминая, что, вроде как, и правда одно ухо незнакомца оттопыривалось из-за безобразного белого шрама.

— Да, — сказала она. — Просил передать, что сестра твоя натворила бед и ушла из Стаи.

Лют рывком сел.

— И ты молчала? — спросил он с такой горечью, что Лесане стало стыдно, будто она и вправду должна была сразу всё ему рассказать, как сердечному другу.

— Я... — пробормотала она. — Просто...

— Просто, когда надо делать — ты думаешь. А когда думать — делаешь, — оборвал её волколак и лёг обратно на примявшуюся солому. — Слава Хранителям, у Мары не так. Если ушла, значит, причина была.

Лесана замолчала, уязвленная его словами. Когда-то и Клесх ей говорил, мол, делаешь не думая, думаешь, не делая... Но то наставник. И совсем другое дело... этот...

Обережнице даже захотелось увидеть когда-нибудь его диковинную Мару, которая, судя по словам брата, была прямо-таки венцом творения.

— Тебе повезло с сестрой, — сказала девушка.

Оборотень усмехнулся и потёр глаза сквозь надоевшую уже повязку.

— Да, повезло. Он — умная, сильная и не робкого десятка. Словом, не чета иным другим.

А его собеседница подумала, что уж о ней-то никто и никогда подобного не скажет. Её лишь без устали все укоряли: то родители, то креффы, то Тамир. Один Фебр видел в ней не девку — парня, не выученицу, не обережницу, а любимую. Единственную. Она читала это в его глазах.

Все прочие замечали только то, чем Лесана и сама не гордилась, чего стыдилась без памяти.

— Из-за чего Мара могла уйти? И какой беды наделать? — спросила девушка, заставляя себя проглотить горечь досады и поскорее о ней забыть.

— Почём я знаю? — удивился Лют. — Мне известно столько, сколько и тебе. Да и то... с опозданием. Между нами говоря, Серый — тот ещё вожак. От такого сбежать не зазорно. Другое дело, что из пустой обиды от подобных ему не уходят. Жизнь дорогая. Видимо, что-то случилось. Знать бы, что.

— Ты так спокоен. А говорил, будто для волка семья и стая — самое важное.

Оборотень на миг посерьезнел и ответил:

— Терзаться попусту — что за хвост себя ловить. Из сил выбьешься, а всё впустую. Мара Осенённая. И Дар, как говорят, в ней не горит — полыхает. Раз ушла, значит, знала: будут силы дойти, куда собралась. Глупости она не совершит. Глупости делают те, в ком кровь быстро закипает. А Мара умеет себя в узде держать. Терпеть. Выжидать.

Голос Люта перекрывало мерное поскрипывание тележных колес.

Лесана задумчиво поглядела на Тамира. Тот правил лошадьё и смотрел на дорогу. А лицо у него было... светлым. Спокойным. Таким, каким давно уже обережница его не видела. Много-много лет не видела.

Колдун наслаждался слишком ранней в этом году весной, солнцем, теплом, запахами просыпающегося леса. И будто не помнил ничего из того, что творилось с ним и вокруг него все эти годы.

На миг стало завидно. А потом, конечно же, сразу стыдно.

— Тамир, — позвала девушка.

Однако он, вместо того, чтобы повернуться, вдруг натянул поводья и, вскочив с облучка, закричал:

— Кресень! С боков заходят!

Лесана оглохла от этого внезапного яростного ора, а Кресень, ехавший в голове обоза, поставил коня на дыбы, одновременно с этим выхватывая из-за спины меч.

Сказалась многолетняя выучка — не рассуждать, но делать.

Вороной заржал зло и отрывисто, когда три огромных рыси выпрыгнули на дорогу перед ратоборцем.

Оборотни не ожидали, что их заметят так рано, поэтому не успели окружить всадника. Это его и спасло. Рыси кинулись одновременно, мешая друг другу. Одна сразу же отлетела прочь с пробитой копытом головой, другая попыталась выбить человека из седла, но вороной, приученный не бояться зверя и биться вместе с вершником, прынул в сторону. Острые когти хищника пропоролы ногу наезднику и разодрали крутой бок жеребца. А в следующую секунду Кресень уже слетел наземь и обрушил на оборотня меч.

Лесана выругалась так, как не приличествует не то, что женщине, но и пьяному мужику.

Полетела прочь рогожа со свертка, в котором таилось оружие. Пока пальцы рвали узлы

и завязки, девушка вглядывалась в частокол деревьев, высматривая нападавших.

— Кресень! Справа! — кричала она, не отводя взгляда от стелящихся за могучими стволами хищников.

— К девке рвутся — точно тебе говорю! — хлопнул себя по колену Лют.

По голосу судя, он был возбужден и сожалел, что не может наблюдать схватку.

Тот же миг, словно в подтверждение его слов, завизжала пронзительно и тонко ехавшая в головной телеге Белава. Два кота запрыгнули на подводу, а ратоборец, который отбивался от шипящего, наскაკивающего на него зверя, не смог им воспрепятствовать.

Обережница перемахнула через бортик возка. На неё из сосняка стрелой вылетел таящийся до этого мгновения хищник. Лесана шарахнулась в сторону, одновременно разворачиваясь и опуская клинок. Кошка взвизгнула и покаталась окровавленным клубком под телегу.

Краем глаза девушка увидела, как оборотни сорвали с обоза Белаву.

— Кресень! Девка! — кричала Лесана. — Девку унесли!

Увы, Кресеню, который оказался пещ, было не до девки. Здоровенный пятнистый кот наседавал на ратоборца, щерясь и ударяя лапой, с которой осыпались на землю мерцающие зелёные искры. Силён!

Лесана снова грязно выругалась и понеслась в чащу — туда, куда рыси уволокли Белаву. Обережница ломилась через густой ельник, свободной рукой защищая глаза от упругих ветвей. Те хлестали по лицу и плечам, цеплялись за одежду, мешали бежать, не давали смотреть.

А в голове билось: «Уйдут, уйдут, уйдут!»

Девушка слышала удаляющиеся крики за спиной, хрип и ржание лошадей, напуганных запахами крови и зверя.

— Стой! — рявкнули сзади и схватили за плечо. — Снимай!

И Лют сунулся под руки:

— Снимай, говорю!

Перебрёхиваться времени не было, поэтому Лесана сдернула с него ошейник, и оборотень перекинулся, тут же взвывая от резанувшего глаза света.

Обережница отмахнула от подола длинный лоскут, спешно обмотала им здоровую башку волколака, снова вздела науз. Оборотень кинулся в чащу — только успевай! Хоть со следа теперь не собьются.

Сердце глухо колотилось о ребра. Ковёр прошлогодней травы и листьев пружинил под ногами. И от виска к виску стучали обрывки бессвязных мыслей: «Девочка. Красавица. Глаза, как голубика!»

Ничего более связного на ум Лесане не приходило.

На Белаву преследователи вылетели внезапно для самих себя — она валялась без чувств на дне старого лога, где ещё лежали узкие грязно-белые полосы снега. Девушка была в земле и прелой листве, коса растрёпана, а рубаха залита кровью...

Две рыси скалились, глядя на обережницу снизу вверх. Дневной свет не причинял им вреда.

Осенённые.

Лесана перехватила меч и с сожалением подумала, как бы сейчас пригодился оставленный в повозке лук. Ну да что уж теперь. И она неторопливо начала спускаться. Спешить нельзя — оскользнется нога, поедет по гнилым прошлогодним листьям. А коли

упадешь, на ноги уже не встанешь. Не дадут.

Хищники глядели на приближающегося человека и медленно пятились. Оставлять добычу им не хотелось, но преследовательница смущала. Одета, вроде, как простая баба, а по повадке, по отсутствию страха, по оружию в руках — Охотница.

Один из котов предостерегающе зашипел и пригнулся к земле, делая ещё один осторожный шаг назад. Второй последовал его примеру — отступил. В звериных глазах горела глухая ненависть, смешанная со страхом. А ещё через миг оба хищника развернулись и бесшумно ускользнули в чащу.

Только теперь Лесана перевела дух и повернулась к Люту, который тихо рычал поодаль: — Хоть шаг в сторону сделаешь — упокою, — сказала она. — Терпи. Ты сытый.

Обережница спустилась к Белаве, разорвала рубаху и осмотрела оставленные когтистой лапой раны. Шрамы останутся. Ну да ничего. Главное — жива.

Пальцы Осенённой охватило голубое сияние, и она провела ими по растерзанной плоти, щедро отдавая Дар. А когда убрала руку — кровавые борозды на нежном теле затянулись тонкой розоватой кожей.

Лесана благоразумно срезала окровавленную ткань, отшвырнула её подальше, а на девушку набросила свою свитку. Укутала поплотнее и лишь после этого сняла ошейник с Люта:

— Перекидывайся.

С земли он поднялся уже человеком. Ругающимся сквозь зубы, шипящим от боли и заливающимся слезами. Пришлось снова завязывать ему глаза, на этот раз новым обрывком рубахи, которая теперь едва прикрывала Лесане колени.

— Поднимай, — приказала обережница.

Но Лют вместо этого снял с себя плащ и набросил ей на плечи.

— Вот дура же, Хранители прости! — сказал он с чувством. — Вот какая же. Встрешник тебя разбери, дура! А если бы у них тут засидка была? А если бы завели далеко? А если бы я с ними заодно оказался?

Он встряхнул её:

— Вот есть же бедовые девки!

Лесана высвободилась.

— Поднимай.

Он послушался, подхватил Белаву на руки и снова с сожалением вздохнул:

— Вкусно пахнет.

Лесана куталась в плащ, думая о том, как сейчас они вернутся к обозу и как на неё будут смотреть сопутчики, не знавшие, что с ними рядом едет Осенённая.

Сделалось тоскливо.

— Веди, — ворчливо сказал Лют. — Я ж не вижу ничего.

— Зато нюхаешь за десятерых, — усмехнулась обережница, но всё-таки взяла его за плечо и подтолкнула вперёд.

Когда достигли обоза, люди там уже понемногу успокоились. Все, кроме Стогнева. Тот мял на груди рубаху и словно никак не мог сделать вдох. Знать, сердце заходится.

Кресень с разодранной ногой, которую мало-мальски спас новый крепкий сапог, сидел на краю телеги и поливал рану отваром из фляги. Верно. Кошачьи когти ядовитые — не промоешь травами, уже к вечеру мясо вспухнет, загноится, а там и до горячки недолго.

Тамир уже очертил обережный круг вокруг всего поезда, упокоил двоих ещё дышащих

рысей и теперь рылся в мешке с настойками, силясь найти хоть что-то для Стогнева.

— О, Белавя жива? — удивился колдун и тут же добавил, обращаясь к Лесане: — Отцу её помоги, еле дышит.

Лют уложил девку в повозку, а сам устало опустился на землю. Пахло кровью — звериной и человеческой, потом, железом, землёй, весной...

Стогнев сделал вздох похожий на всхлип и, наконец, разрыдался от облегчения и отхлынувшей боли. Дочь его всё никак не могли привести в чувства — девушка так и лежала без памяти. Небось, не скоро теперь очнется.

Обережница устало опустилась на телегу рядом с Кресенем и спросила:

— Помочь?

Он ответил:

— Шить надо.

Девушка поглядела и кивнула. Надо.

Она слегка уняла вою кровь, после чего Тамир сноровисто стянул края раны оленьей жилкой, продетой в иглу. До города хватит. А там целитель есть.

Долгое время люди не могли опомниться. Сидели в повозках, боялись даже на землю ступить, не то что выйти за пределы очерченного круга. Чего уж говорить о том, чтобы идти в чащу за водой и дровами для ночлега!

Лесана устроила сторожевика на телеге, а сама, взяв в помощники Тамира и Люта, отправилась в лес. Но при этом понимала, что даже по двое-трое ходить опасно.

Теперь по-всякому было опасно.

Боль, как всегда, оглушила.

Вокруг было темно. Шумел лес. От голой земли тянуло сыростью и холодом.

Ночь.

— Фебр, ты слышишь меня? Фебр...

Он сидел, привалившись спиной к трухлявому стволу поваленного дерева.

— Ты слышишь, Фебр?

— Да.

Надо же, назвала по имени. Не скотиной, не мертвечиной, не упырем.

Мара придерживала его голову, заглядывая в глаза.

— Нас нагнали, — сказала волчица. — Я устала. А ты едва дышишь. Лучше не даваться

им живыми.

Он смотрел на неё сквозь вихрь головокружения.

— Мы не дойдём, — сказала она. — Понимаешь?

— Куда?

Волчица бросила быстрый взгляд ему за спину.

— Никуда, — в ладонь обережника легла гладкая рукоять ножа. — Никуда уже не дойдём. Я вела тебя в Цитадель, бестолковая скотина. Серый забрал своих охотиться. Осенённых в стае не осталось, только самые слабые. Я тебя вытащила, даже дала несколько дней отлежаться — лечила. А потом повела, путая следы. Но Серый не зря вожак. Его Даг сильнее моего. Нас настигли. Я чую, близко уже.

Женщина поднялась. Фебр увидел, как вспыхнуло зелёное сияние на тонких пальцах. С трудом преодолевая дурноту, он попытался встать. Но руки только скользили по трухлявому стволу, дерево крошилось под ладонями, а ноги болели так, словно с них содрали всю кожу — от бёдер до кончиков пальцев.

— Мара, отошла бы ты от него, — донеслось откуда-то справа.

Из тёмной чащи выступил человек, в глазах которого дрожали, переливаясь, болотные огоньки.

— Иди, куда шел, Хват, — огрызнулась волчица. — И я тебя не трону. Скажи, что не настиг. А мы уйдём.

— Ты устала. Ты гнала его через чащу две седмицы. Он умирает, Мара. Уже мёртв. От него никакого толка. Вернись в стаю.

Она быстро огляделась, боясь увидеть среди деревьев тени преследователей.

— Серый здесь?

Мужчина усмехнулся:

— Ещё чего. Мара, идём со мной. Ты ведь женщина. На вас, бывает, находит. Может, и тут... я не хочу тебя убивать.

— Ты один... — в её голосе слышалась насмешка. — Я уйду. Если двинешься хоть...

Он недвусмысленно покачал головой.

— Мара, они рядом, ты...

Хват не успел договорить, а она не заметила, что произошло. Только что напротив стоял готовый обратиться волколак, и вот он уже лежит с рукоятью ножа, торчащей из груди, а голубое сияние блекнет вокруг раны.

Фебр, вложивший в бросок все имевшиеся силы, завалился на бок.

— Нет! — женщина подхватила его, не давая опрокинуться. — Нет! Скотина безалаберная!

Прислонила обратно к поваленному дереву, провела мерцающими ладонями по поникшей голове и плечам, рассылая по телу стужу и равнодушное оцепенение, а потом метнулась к убитому. Уперлась ногой в грудь, выдернула из тела клинок, вытерла об рубаху, и через мгновение уже привычно забросила руку обережника себе на плечо, обхватила за пояс, поволокла в чашу.

По лицу и ногам хлестали ветви, руки дрожали от напряжения, в боку кололо, сиплое дыхание раздирало грудь. Мара то и дело озиралась, а Фебр шагал деревянной походкой, словно спящий. И всё одно — они еле тащились.

— Бежим!!! — женщина тянула человека, надрываясь, понимая, что уже не уйти, но, не желая сдаваться. — Какой же ты тяжеленный... вроде... одни кости... образина этакая...

Где-то за спиной серые хищники мчались сквозь заросли по свежему следу.

Мара закричала от отчаяния и ярости. Стряхнула с плеча руку Охотника, уронила его на землю и уселась верхом на безвольное тело. Сильные ладони обхватили голову. Отрешенный взгляд пленника заволокло бледное сияние.

...Его вышвырнуло обратно в чёрный лес. Снова боль. Жажда. Усталость. Цветные пятна перед глазами.

— Ты слышишь меня? Вряд ли отобьемся, — снова ему в ладонь легла рукоять ножа. — Но хоть попытаемся.

Зелёное сияние вокруг мерцало, плыло и в его переливчатом мареве дрожали чёрные стволы безлистных деревьев, спутанные ветви кустов, темнела голая земля, с клочками прошлогодней травы, похожей на сухое мочало. Фебр видел, как из полумрака выныривают текущие тени, стелятся по земле, крадутся, окружают беглецов.

Лицо у Мары было потное, изможденное, облепленное выбившимися из косы волосами. Глаза и щеки ввалились. Она сама была едва жива, но решимости и злости это у неё не убавляло.

**Больше книг на сайте — [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

Обережник с трудом встал на колени. Черный лес, Ходящая, озаренная зыбким колдовским светом, волки среди деревьев, мельтешение теней — всё кружилось.

— Руку... дай...

Мара поняла. Подхватила его под локоть и рывком поставила себе за спину. Фебр скрипнул зубами и с трудом подавил тошноту. Наступить на правую ногу он не мог — та отзывалась ослепительной болью, от которой мутился рассудок. Обережник не видел, что краем глаза волчица обеспокоенно наблюдает за ним, не видел, как нерешительно замерли среди деревьев серые тени. Он глядел только на нож, который сжимал в руке. С пальцев на клинок медленно, неохотно струилось едва мерцающее голубое сияние.

— Не швыряйся... Даром... зазря... — хрипло сказал ратоборец.

Женщина в ответ на это только фыркнула и прислонилась спиной к его спине, давая опору.

Протяжно и громко завывало откуда-то справа. Мара подобралась, одновременно с этим, перехватывая руку Фебра так, чтобы сцепиться с ним локтями, не дать упасть. На кончиках пальцев переливались зелёные искры.

— Рано... — сказал мужчина. — Жди...

Черные тени взвились из зарослей одновременно.

— Бей, — приказал он.

Мара закричала, чувствуя, как человек за её спиной покачнулся, упал и покатился по земле, сцепившись с хрипящим от ярости зверем. Её саму швырнуло вперед, на нападавших, но те прыгнули в стороны — Дар понесся от неё волнами. Визг, хрип, рычание. Всё смешалось. На неё кидались, она отбивалась, Сила хлестала потоком. Мелькали быстрые тени, неслись, стелились, припадали к земле, перетекали с места на место, ускользая.

Их слишком много! Трое, не то четверо лежат грудами развороченной плоти, и осталось ещё столько же, а может, больше... Но в тот миг, когда она поняла, что не справится, серые хищники отступили за деревья. Теперь будут кружить, длить миг нападения, изводить ожиданием, страхом и тянуть, тянуть тем самым из неё силы.

Не выдюжит.

Ноги ослабли, Мара поскользнулась на мокрой от крови земле, рухнула на колени, едва не растянулась, но кто-то удержал, подперев плечо.

— Перекидывайся! Ну!

Образина косматая! Едва живой, а ещё приказывает. Она открыла было рот, чтобы огрызнуться, но широкая ладонь легла на затылок и впечатала волколачку лицом в разодранное острыми зубами плечо.

Пряная кровь хлынула в горло, возвращая силы... Нет, нет, нет!

Мара вырвалась.

— Перекидывайся... — его голос звучал слабо и глухо.

— Дурак! — она вывернулась, вытерла губы. — Не смей подыхать! Не смей, я сказала!

Ты...

Закончить она не успела, оборотни рванулись к добыче. И волчица, взрыв землю когтистыми лапами, бросилась наперерез.

Кровь помогла. Но силы всё равно были неравны. Волна чужого Дара сбила Мару с ног поволокла по земле, обжигая. А потом вспышка яркого света ослепила, сделав мир вокруг чёрно-белым, с резко очерченными тенями.

Волчица запрокинула голову и завывала. Она поняла — пришёл черед петь последнюю песню.

...Яростная схватка металась среди деревьев, озаряя лес ослепительным светом.

— Туда, туда побежал!

— Стеня, Годай — в ту сторону!

— Эй, ты меня слышишь?

— Слышу... — бледные, едва мерцающие голубые искры скатывались с пальцев, угасая.

Он слышал, но не понимал, к нему ли обращаются.

— Руки опусти.

Не видно, кто говорит — глаза заволокла пелена. Однако голос показался знакомым.

Сердце едва трепыхалось — тихо — тихо. Тело стремительно холодело. Но то был другой холод. Не холод Дара Ходящей. Звуки леса и голоса отдалялись.

— Волчицу не троньте... — расслышал он надтреснутый сиплый голос. Наверное, свой.

— Не тронем. Как зовут тебя?

Как его зовут?

Это важно.

Она говорила: забудешь — смерть.

— Фебр.

Его подхватили за плечи. Удивлённые возгласы донеслись, как через глухую стену. Что-то ещё говорили, спрашивали. Он уже не понимал.

Потом на лоб легли осторожные мягкие руки и в тело, впервые за много-много дней полилось тепло. Оно дарило покой, уносило боль.

Как хорошо! Люди.

Как хорошо...

До Тихих Брод их провожали. Вели, словно дикое зверьё. В ночь после нападения Лесане и Кресеню выспаться не удалось. Они караулили обоз с двух сторон. Тамир тоже не спал. Ходил вдоль наведённой черты и подновлял её, то тут, то там, царапая ножом на прихваченной морозцем земле защитные резы.

— Рядом кружат, — тихо сказал Лют, сидящий возле Лесаны.

Костёр уже прогорел, поэтому оборотень был без повязки и глаза его слабо мерцали во тьме.

— Откуда ты знаешь? — спросила девушка.

Он ответил коротко:

— Чую.

Собеседница обернулась и прищурилась:

— Ах, чуешь? Почему же днём не почувал? Почему Тамир их первым заметил?

Волколак развёл руками:

— Так, ветер дул в другую сторону. Их и лошади не чуяли. А я ещё и лежал рядом с твоим заплечником. Оттуда такая вонь этим вашим сеном...

Лесану не очень убедили его слова. Она-то твердо знала — не удайся им отбиться, Лют горевать бы не стал. Да чего уж там, очень он рассчитывал, что обережники дрогнут.

— Скажи мне лучше другое, — вместо огульных обвинений, она решила расспросить оборотня о том, что давно её волновало, — почему одни Ходящие могут разорвать обережную черту, а другие нет?

Волколак потёр лоб:

— Черта черте рознь. Я вот никакую не смогу разорвать... Во мне Дара нет. Мара... не знаю... Наверное, какую-то и сумеет. Серый, думаю, справится без труда. Он ведь столько людей за последние месяцы сожрал, не счесть. Но ту черту, которую наносят ваши колдуны вокруг поселений, разорвать не по силам даже ему. А если ты о кругах, которые вокруг обозов ведут... Может, у Охотника Дар слабый, а у Ходящего он шибче горит. Может, крови пролито недостаточно... не знаю.

И тут же Лют напрягся, вскинулся.

— Эх, и ярятся они... — едва слышно сказал он Лесане. — Думаю, Кресень убил вожака... Стая теперь зла и голодна.

Обережница хмыкнула и достала из поклажи припрятанный лук в налучи и тул со стрелами. Обнаглевших зверей следовало припугнуть, чтобы совсем не осмелели.

Несколько стрел, пущенных в заросли, заставили рысей отступить глубже в чащу. При этом лучница слышала, как зло и досадливо взвизгнула одна из хищниц. Видимо пущенная наугад стрела всё-таки нашла жертву. Не убила, но прыги поубавила. Ходящие так и не осмелились напасть.

И всё-таки обоз звери провожали до самого города. Отстали только тогда, когда замаячил впереди деревянный тын Брод.

Потому-то, лишь когда закрылись за странниками ворота, люди выдохнули с облегчением. Лесана, Тамир и Лют, как всегда, ехали в последней телеге, а у ворот привычно спешили. Оборотня надо было провести в город, разорвав и снова затворив черту.

Когда все трое, наконец, очутились за высокими стенами, к Лесане нерешительно подступил Стогнев. Поклонился в пояс, коснувшись шапкой деревянных плашек, коими была мощена дорога, и сказал:

— Исполать тебе, обережница.

Она улыбнулась:

— Не за что. Ты уж только не болтай.

— Не стану. И другим накажу, — кинул мужчина.

«Хотя, что уж теперь. Шила в мешке не утаишь», — подумала девушка.

Сереброкузнец, не ведая о её мыслях, в нерешительности помедлил, а потом как-то неловко вложил Лесане в руку широкое кольцо. Обережница поглядела на собеседника с изумлением:

— За что? — она и впрямь не понимала.

— Не за *что*. За *кого*. За дочь, — ответил мужчина и вдруг крепко обнял спасительницу Белавы. — Спасибо.

Он отошел, а Осенённая всё ещё хлопала глазами. И только Лют рядом ухмыльнулся:

— Людишек спасать — дело, как я погляжу, прибыльное. То-то ты так за девкой помчалась.

— Да тьфу на тебя, — обиделась Лесана.

— Ага, тоже не любишь, когда о тебе гадости думают? — поддел её Лют и отправился вперед.

Таяльник принёс с собой на сизых крыльях запахи долгожданного лета. Давно уже осели и истаяли сугробы, ветер высушил землю, а между камней, коими был выложен двор Цитадели, робко пробивалась молодая травка. Солнце грело совсем уже ласково, и Торень — конюх скинул старый засаленный тулуп, сменив его на войлочную куфайку, однако при этом недовольно бурчал в бороду, что не к добру такая ранняя весна — к кровавой жатве.

Впрочем, Тореня никто не слушал, кроме лошадей, но им, за зиму уставшим от сена, хотелось сочной свежей травы и не было дела до людских страхов. Только тётка Мартела шикала иногда на угрюмого конюха, мол, будет уже языком молоть, накличешь.

По чести сказать, свои угрюмость и безрадостность Торень искупал жалостливостью. А за лошадьми ходил так, как никто другой не умел. Всякий конь, почитавшийся дурноезжим, в руках Тореня становился послушным и смирным. Иногда хватало косматому мужику лишь подойти к ржущему, топчущему жеребцу, чтобы тот присмирел, перестал кусаться и доверчиво положил голову на плечо человеку.

Торень в такие мгновения гладил коня и что-то шептал в подрагивающее чуткое ухо. А что — никто не знал. Да и не спрашивали.

Лишь говорили про конюшего, дескать, в деле своём он искусник, хотя и норову самого поганого. Да смеялись ещё, мол, если удавиться намерился, но никак не решишься — сходи на конюшню, пожалуйся Тореню на жизнь. Он тебе мигом в таком поганом свете всё выставит, что тут же на стропилах и утешисься.

А всё потому, что ни в чем старый конюх не видел радости. Ежели кобыла счастливо жеребилась, он бубнил о том, что жеребёнок совсем хилый, приberi его Хранители. Такому-де, жить — только горе мыкать. Ежели жеребёнок оказывался крепким, Торень едва не со слезами бормотал, дескать, у такой ладной скотинки вовсе не будет никакой жизни — отдадут обережнику, а тот загоняет до смерти, пока не останутся от крепкого конька одни свищи да кости.

Одним словом, Торень никогда не был довольным. И коли сидел на скамье у конюшни, то неизменно в редкостном унынии.

Руська Тореня любил. Тот угощал его мягким ржаным хлебом, посыпанным крупной серой солью, жалел, а иногда потчевал калеными орешками или зачерствевшими медовыми пряниками, коими разживался у проезжих купцов. Главное было — не слушать, что конюх бубнит.

Так было и в этот раз, когда мальчонок прибежал к стойлам.

— Ой, Хранители, небо-то нынче какое... — возвел очи горе Торень.

— Какое? — Руська поглядел в сияющую голубизну.

— Не к добру, — мрачно предрёк мужик. — Не к добру такая весна. Ты меня попомнишь.

Паренёк только плечами пожал.

— А солнце? — тут же замогильным голосом спросил конюх. — Спокон веку не было такого солнца в таяльнике. Печёт, аж на маковку давит. Где это видано?

Руська улыбнулся — собеседник протянул ему горсть мелких камушков и ссыпал голыши в подставленный кожаный карман, что болтался у мальчика на поясе.

— А ворон сколько? Где б ты когда видел столько ворон? — не желал так просто

униматься конюх.

Русай беспечно шмыгнул носом. Воронья в Цитадели всегда было видимо-невидимо.

— Ох-хо-хо... — изрек мужчина и добавил с ещё большим значением: — Ох-хо-хо-о...

— Я пойду, дядька, дело у меня! — паренек решил ускользнуть, пока Торень не добрался в своих мрачных предсказаниях до конца света.

— Уж не вывались, а то костей не соберём, — напутствовал его в след конюх, испуская очередной тяжкий вздох.

«И почему народ такой в Цитадели чудной? — думал про себя Руська. — Вроде люди, как люди, а каждый с придурью. Бабка Нурлиса — до смерти заест, какая сварливая. Койра за полушку удавится. Торень, вон, всем хороший мужик, но ведь треть оборота послушаешь и, против воли, помереть хочется».

Однако за полный карман мелких камешков Русай был ему благодарен. Как понимал Торень лошадей, так понимал он и чуткую детскую душу, видел, что иной раз хочется Руське побыть не младшим выучем, а обычным мальчонком — поваляться, зарывшись в сено, потрепать по мордам лошадей, посвистеть в свистульку, которую вырезал для него кто-то из плотников. А уж сколько раз выгораживал Торень паренька, когда доводилось тому прозевать начало занятий... не перечесть.

Да, хороший был Торень мужик. С пониманием. Знал, что Руська в Крепости оказался самым меньшим, а оттого всяк доводился ему наставником. Вот и выходило, что никому не мог мальчонок перечить, всех — только слушаться. Сказал старший из ребят бежать в мертвецкую к Донатосу, так будь добр поспешать. Велели идти к Ольсту, тоже не рассиживайся. А коли и на поварню сошлют за непослушание — не извернешься, не возмутишься. Все тут при деле, все, как на ладони.

Один лишь Руська среди этого строгого сурового уклада торчал, словно дурной сучок из гладкого бревна. Хотелось ему и к колдунам, и к ратоборцам, и к целителям, аж сердце трепетало. А только, глядь, другой день ни туда, ни сюда не тянет.

Вот и сбегал он на конюшни к Тореню. Может, Глава о том и дознался. По всему видать, дознался, ибо стали мальчонку давать послабления и обучали без прежней лютости. А может, Торень сам сходил к Клесху и истерзал ему сердце причитаниями. Руське сделалось смешно, и он захихикал.

Ноги, тем временем, сами собой несли паренька в Северную башню. Оттуда был виден лес. Далеко-далеко. И серебристая кромка реки. И вороны на стене. Ух, сколько их там было! Жирные, наглые... Загляденье!

Жаль не выбраться даже на оборот из Крепости! В лесу-то как хорошо нынче... Но нельзя. Глава строго-настрога запретил выходить за ворота. Уж как Руська старших выучей уговаривал его с собой взять, когда отправлялись они с обходом вокруг Цитадели. Уж как упрашивал, как умолял... Едва не плакал!

Но взрослые послушники оставались глухи к его просьбам.

— Подрастёшь, тогда и отправимся, — трепля парнишку по вихрастой макушке, отвечали облачённые в чёрные верхницы парни.

Они уходили, а он оставался. Оставался ждать, не понимая толком, отчего так сжимается сердце, когда захлопываются за ратоборцами ворота.

Руська шмыгнул носом и потянул из-за пазухи рогатку, которую смастерил ему один из старших Дареновых ребят — Ильгар. Смастерил аккурат перед тем, как отправили его из крепости на выселки.

— Держи, — вручил он мальчишке неожиданное сокровище. — А то, что ж за вой без оружия?

Паренёк потянулся дрожащей рукой...

Рогатка была крепкая, хватистая, с прочной лосиной жилкой и кожаным кармашком для камня. У-у-ух!

— Спаси-и-ибо... — он даже замер, не решаясь радоваться.

Ильгар рассмеялся.

Молодой ратоборец давно уже покинул Цитадель. А оружие у Руськи осталось. Управлялся он с ним проворно.

Вот и сейчас, чувствуя, как карман оттягивают камни, мальчонок изготовился к охоте. Пускай, не Ходящие, но ведь досаждают не меньше!

Утро было в разгаре. Жирные вороны величаво прохаживались по кромке стены и переругивались ржавыми голосами. Этот грай уже порядком надоел людям, но что поделаешь? Уж и трещотки ставили и пугало — всё одно летят, окаянные, каркают.

Руська прицелился. «Ну, я вам!»

Однако камень со свистом промчался мимо жирной напыщенной птицы. Вся стая, недовольно крича, снялась с места. Да напоследок, проклятые, ещё наградили обидчика несколькими плюхами, измаравшими верхницу. И смех, и досада!

— Чтоб вас Встрешник ощипал! — в сердцах погрозил Русай воронам, и тут же взялся целиться сызнова. Однако в этот миг мальчик увидел, что на дороге, ведущей к крепости, появились люди.

Солнце уже поднялось над горизонтом и светило радостно и ярко, когда над Цитаделью разнесся пронзительный и тревожный крик Русая:

— На-а-аши! Наши е-е-еду-у-ут!!!

Клёна бросила в миску недочищенную репу и бросилась прочь с поварни. Забыла, что руки грязны, а передник заляпан, забыла набросить свиту и отложить нож, которым работала. Все забыла. Кинулась во двор.

Ратоборцы вернулись? Так ведь давеча только уехали! Должны были через седмицу в обратный путь пускаться! Значит, случилось что-то.

Сердце заледенело в груди.

Выучи тянули тяжелые воротины, но те, как показалось Клёне, расходились в стороны мучительно медленно... Девушка на неверных ногах сошла с крыльца и вцепилась в деревянный столбик перил, чтобы не упасть. Голова на миг закружилась.

Первыми вошли во двор шестеро пеших ребят в чёрных верхних, и несли парни изуродованного мертвеца. Он — неподвижный и вытянутый — лежал на носилках, сколоченных из жердин и застеленных войлоками.

Клёна зажала рот ладонью, чтобы не дать сорваться с губ глухому стону. Никогда прежде она не видела настолько изувеченного человека. Мужчина был тощ, чёрен от побоев, а костлявое тело покрывали рваные раны, которые сочились сукровицей и нечистотами. Опухшее изуродованное лицо покойника заросло по самые глаза бородой, а грязные волосы — не то светлые, не то седые — казались выцветшей паклей.

В ужасе девушка окаменела. С крыльца донеслось тихое-тихое причитание — то лопотала Нелюба, прижимая к груди белые от муки ладони. Слезы одна за другой катились по её щекам, а подбородок подрагивал, отчего казалось, будто она вот-вот разразится рыданиями. Подле застыла бледная тётка Матрела, парни из служек... Становилось ясно — все думали об одном: человеком, *это* когда-то было человеком!

Более всего на свете Клёна боялась увидеть на носилках Клесха. А теперь от постыдного облегчения ей сделалось так гадко на душе, словно она сама была причастна к страшной гибели незнакомого мужчины.

Глава въехал во двор последним. Он был невредим и держал перед собой на лошади истощённую девушку с длинной-длинной светлой косой, которая свисала едва не до самой земли. Девушка была без сознания.

— Клёна, — окликнул отчим. — Возьми парней из молодых, отряди к Нурлисе за горячей водой, а сама холстин чистых у неё возьми. Несите всё в лекарскую.

Падчерица кивнула, развернулась, чтобы бежать исполнять поручение, но едва не столкнулась с Ихтором. Тот склонился над носилками, о чем-то переговаривался с Рустой и торопливо ощупывал покойника.

От главного входа к целителям спешно ковыляли Ильд с Рэмом.

— Несите его в лекарскую. Бегом! — приказал Ихтор старшим выучам, а Клёна удивилась — зачем в лекарскую и почему бегом?

Однако времени на расспросы не было, да и не сунешься к креффам из праздного любопытства — заняты. Но уже у двери в ученическое крыло, Клёна услышала:

— И Койру зовите! Едва дышит парень!

Дышит?

Она мчалась по широким коридорам и с ужасом повторяла про себя: «Дышит, дышит, дышит...» Повторяла, но не понимала, как *то*, что лежало на носилках могло быть *живым*? От ужаса подташнивало и во рту пересохло — ум не вмещал страшное осознание: человек, кому уже по всему полагалось умереть — *дышал!*

«Живой...»

— Ты, ты и вы двое! — с порога распорядилась девушка, тыча пальцем в четверых самых крепких ребят, которые сидели над свитками. — В мыльни, к Нурлисе. Возьмете по два ведра кипятку и бегом в лекарскую к креффу Ихтору.

В читальной зале и без того было тихо, а после звонкого приказа, разлетевшегося эхом, стало и вовсе, как в могиле. Парни недоуменно переглядывались, не понимая — с чего вдруг ими эдак ловко взялась верховодить девка с поварни.

— Быстро! — прикрикнула на них Клёна.

Они подскочили, но не столько потому, что признали в ней дочь Главы, сколько потому, что говорила она очень решительно, а по испуганным глазницам было видно — не насмеяется, не за ради веселой проделки взбаламутилась.

Ребята умчались, куда сказано, а Клёна побежала к Нурлисе.

— Бабушка! — в душной каморке было темно и тихо. — Бабушка, холстин надо чистых на простыни! И ткани на повязки! Только дай, которая потоньше — сношенной. Бабушка!

Нурлиса выкатилась из-за печи с чадящим светцом в руке. Она уж было обрадовалась, даже открыла беззубый рот — обляять заполошную девку, но услышала про повязки и внезапно присмирела. По морщинистому лицу пробежала тень глухой тревоги.

— Сейчас, девонька, сейчас, — подхватила карга и потрусилась к одному из ларей. — Ты ж моя хорошая... обожди... вот ведь, не видно ни бельмеса, опять лучин кровопийца этот забыл принести!

А тёмные узловатые руки уже откинули тяжёлую крышку сундука и перебирали холстины.

— Вот эту возьми, и эту, а вот рогожка ещё — вдруг, да спонадобится. На повязки у меня нарезано уже. Держи, эти помяхше.

Бабка складывала на руки девушке стопки ткани и всё бормотала:

— Вот ить беда-то какая... Тьфу, лихоимцы окаянные... Беги, беги, деточка!

Клёна выскочила, а у неё за спиной Нурлиса уже гроыхала ключами, бранилась дрожащим голосом и, по всему судя, собиралась ковылять наверх — узнавать, что стряслось.

Когда девушка, запыхавшаяся и вспотевшая, ворвалась в Башню целителей, там оказалось полно народу. Из-за двери лекарской доносился гул голосов, а у порога стоял один из Рустовых третьегодок.

— Я холстины принесла, — сказала ему Клёна и протянула стопку ткани.

— Давай, — выуч перенял у неё ношу и тот же миг исчез за дверью, а когда вернулся, Клёна спросила шепотом:

— Кого они принесли? Знаешь?

Парень в ответ рассеянно кивнул. Он изо всех сил прислушивался к происходившему в лекарской и разговаривать не хотел. Отмахнулся:

— Воя старградского. Нынче ночью в лесу у волков отбили, — и добавил, не глядя на собеседницу: — Ты иди, не стой. Больше не надо ничего.

Но она вместо того, чтобы уйти, осела на перевернутое кверху дном деревянное ведро,

которое стояло у стены.

Клёна твердо помнила, что приняла решение больше не плакать. Никогда. Хватит. Поэтому она лишь спросила мёртвым надтреснутым голосом:

— А Глава где? Там?

Парень дёрнул плечом:

— Что ему там делать? Ушёл уже. Ступай, ступай.

Она поднялась и пошла прочь.

Клесх закрылся в своём покое, а в коридоре выставил служку, чтобы кликнуть, буде чего понадобится.

Некоторое время Глава молча рассматривал Ходящую. Он устроил её на широкой лавке, стоящей возле очага. Укрыл меховым одеялом, потому что девушка явно мёрзла, даже пальцы у неё скрючились, словно от лютой стужи.

— Принеси с поварни сбитня горячего, — сказал обережник томящемуся за дверью парню. — И из еды что-нибудь.

Служка покосился на девушку, лежащую без чувств. Лицо у неё было серым, осунувшимся. Всего богатства — длинная коса, что свалилась с лавки на пол и свернулась там кольцами, словно змея, а во всём остальном — доходяга. Впрочем, паренёк не рассуждал. Обрадованный он дернул с места, ибо уже притомился слоняться туда-сюда от окна к окну и изнемогать от безделья.

Когда юноша вернулся с корзиной в одной руке и обернутой в войлок кринкой в другой, Глава кивнул ему:

— Ступай, больше не понадобится.

Едва дверь за прислужником закрылась, Клесх опустился на край лавки и сказал:

— Будет уже камлаться. Вижу, что в себе.

У Ходящей были глазищи невиданной красоты — приподнятые к вискам. Лисьи.

После слов Главы длинные ресницы волколачки дрогнули и она, наконец, посмотрела на человека. Взгляд хитрый. Оценивающий. Но все одно выглядела девка изможденной и загнанной. Да ещё Бьерга надясь не придумала ничего лучше, как захлестнуть пленнице на шее пеньковую веревку, навязав мудрёных узлов. Из-за этого спасительница Фебра имела такой жалкий вид, словно пыталась удавиться, да кто-то в последний миг перерезал ужище — спас.

— Как понял? — спросила девка обережника.

— Дышишь по-другому, чего уж тут понимать, — ответил он и поднялся налить в маленький ковшик-уточку сбитня. — Рассказывай. Как зовут, откуда пришла, почему против своих вместе с обережником вышла, отчего он плох совсем? Всё говори.

Ходящая с трудом села и привалилась к стене. Когда она перенимала у мужчины ковшик с питьем, руки у неё дрожали, а пальцы так и оставались скрюченными. Пленница медленно, обжигаясь, пила. Глава молчал, лишь пристально наблюдал, как на бледное лицо от доброго питья возвращается румянец.

— Зовут Мара, — ответила она, наконец и тут же спросила: — А тебя Клесхом?

Он кивнул, догадываясь, что, прикидываясь ослабшей, она внимательно слушала в надежде узнать как можно больше о тех, в чьи руки попала.

— Ты — вожак. Верно? У вас это называется Главой, да? Мне рассказывал Зван. Что глядишь? Мы живем в Переходах, рядом. Отчего бы Звану не рассказать мне про Цитадель?

Клесх в ответ пожал плечами и сказал:

— Как я заметил, Зван не больно-то жалуется оборотней.

Девушка усмехнулась:

— Оборотень оборотню рознь. Когда мы поселились рядом, брат сказал мне, мол, в кровососах людское начало сильнее, оттого они нас и чураются — боятся, не доверяют. Но

нам с ними делить нечего. Кровососам лишь бы осесть где. Корни пустить. Зато волк живет охотой и погоней. С той лишь разницей, что одному нравится выследивать оленя, а другому — человека. И то, и то — охота. А зверь разный.

Обережник промолчал, не стал уточнять, кого она называет зверем — оленя, человека или волка.

— Я всё надеялась ускользнуть, ходить опричь, не ввязываться. Но брат говорил, что не идти под Серого нельзя — задавит. Он сильный, свирепый и своё возьмет. Лучше в стаю к нему добровольно перетечь, покорно. Так примут быстрее. А там уже оглядимся. Таких, как мы, ведь немало.

Девушка накинула на плечи одеяло и брезгливо поморщилась. Истёртый мех пах давно мёртвым зверем.

Глава сел на скамью и задумчиво посмотрел на пленницу:

— Каких — «таких»?

— Таких, какие пошли под Серого от безысходности, — ответила она. — Я злилась. Брат успокаивал, мол, на всякую силу иная найдется, но не обязательно в ней мощи больше должно быть. Могучий ураган дерево в один мах валит. А маленький бобр долгонько зубами точит. Да только исход один — дерево падает.

Клесх хмыкнул:

— Не дурак у тебя брат.

Мара кивнула:

— Не дурак. А ты нальешь мне ещё этого — сладкого?

Она протянула ему деревянный ковшичек.

Мужчина наполнил его сбитнем. Волчица с наслаждением грела ладони об пузатую уточку и дула на горячее духмяное питьё. Тяжелую косу Мара перекинула на грудь, но даже так пушистый кончик свисал с лавки и всего несколько вершков не доставал до пола.

— Так к чему это всё? — спросил Глава.

Девушка ответила:

— К тому, что мы сами попросились в Стаю к Серому и делали всё, что он приказывал. Но, лес мне свидетель, мы не хотели себе такого вожака. Он ведь... хуже дикого. И волки его — ближняя стая — хоть и Осенённые все, но злющие. А Сила так и плещет. Страшно с ними. Впрочем, Серый не дает яриться и грызть друг друга. Неповиновение — смерть.

Она безрадостно усмехнулась, погладила косу.

— Но всё одно, ближняя стая, как скаженные. Оттого мы Звана и держались. У негс хоть все в ясном уме и без лютой жажды. Да и сам он не дурак, рад был нам. Принял. Ему ведь тоже не нужна под боком дикая стая. Но и Серому он отказать не смог. А оттого искал среди волков сотоварищей. Мы были осторожны.

Клесх налил себе сбитня. Достал из корзины лепёшку, протянул собеседнице. Та покачала головой. Хотела сначала закончить разговор.

— Первый раз Серый обережника приволок по лету. Его долго мучили. Дня четыре. Он всё молчал. Ничего не сказал, хотя и спрашивали. Потом уже от боли бормотал всякое... бессмыслицу. Впрочем, Серому важно было поглумиться. Силу свою показать. Стае. Людям. Вам. От пережора вожаки тогда еле оправались. Он, чтобы беды не допустить, уводил их тот раз далеко. Охотились, возвращались в ум. А потом по зиме в засидку попал ещё один вой. Нескольких наших убил, нескольких покалечил. Серый был и зол, и доволен. Грызть пленника до беспамьтства не давал. Скорее, просто понравилось мучить. И хотел вызнать,

сколько Охотников у Цитадели. Я увязалась за ним — ходить, глядеть, пробовать. Он водил. Я сильная. И красивая. А он любит волчиц. К тому же Лют тогда пропал — пошел со стаей на Невежь и сгинул. Серый думал, я хочу мести за брата... Но это не так. Я знаю, Лют жив! У вас он!

При упоминании имени оборотня, с которым уехала Лесана, Клесх усмехнулся.

— Ты, значит, решила выменять обережника на брата?

Ходящая не стала запирается:

— Да. Решила. Но даже, и погибни Лют, я бы всё равно Охотника увела.

Собеседник смотрел пронзительно и насмешливо:

— Пожалела никак?

Мара дернула плечом, едва не расплескав из ковшичка остатки сбитня.

— Что ж ты думаешь, мы и на жалость неспособны?

Клесх покачал головой и ответил, словно кнутом вытянул:

— Ты эти сказки про жалость — другому кому плети. Не будь твой брат в плену, парень бы умер, как тот, первый.

Волчица поджала губы.

— Мне его выводить Дивен помогал — из Звановой стаи Осенённый. Он следы путал. И ему до моего брата никакого дела нет. А допрежь того я, что ни день, в пещеру спускалась, где Охотника твоего держали. Ходила, будто поиздеваться. А на деле лечила, чтобы не помер. Только плохо мой Дар помогал. Но всё равно, прознай о том Серый — меня бы по кускам разнесли. Думай, что хочешь. Только я парня к тебе живым привела. И сама не сбежала.

Она в гневном порыве поднялась с лавки и теперь стояла напротив Главы, глядела на него, сидящего, сверху вниз, и гвоздила словами. Клесх слушал со спокойным равнодушием. А когда Ходящая замолчала, сказал:

— Не сбежала ты, потому что бежать некуда. А парня спасла, так как Серый тебе хуже лишая надоел. Уловку вашу разгадать нетрудно. Брат твой хочет Цитадель с Серым сравнить. Нашими руками доуку вашу убрать. Заодно и Охотников проредить. За обережника — исполать тебе. Только Люта в Цитадели нет.

Он вспомнил ещё, как оборотень говорил: для волка семья и Стая — самое главное в жизни. Потому, в общем-то, не было дивом, что Мара, повинаясь сердцу и голосу разума, хотела спасти брата. Клесх бы и сам на многое пошёл, чтобы защитить тех, кого любил. Но он бы с той же легкостью пожертвовал жизнью и ради чужих людей, тогда как по разумению Мары и Люта жалости, сострадания, помощи заслуживали только близкие или полезные стае.

Обережнику была чужда подобная рачительность. Мало того, она только лишний раз напоминала: Ходящие — не люди. И никогда людьми не станут. Хотя иногда и кажется, будто нет разницы, будто человеческое в них сильн *о*. Сильно. Вот только человечность другая.

Словно прочитав его мысли Мара сказала:

— Охотники спасают людей. Они — ваша стая. Волки спасают волков. Это правильно. Каждый хочет жить.

А потом она вспомнила его слова о том, что Люта нет в Цитадели и испугалась, подалась вперед:

— Ты сказал, брата нет в крепости? — лисьи глаза смотрели с нескрываемым страхом.

— Нет. — Клесха не порадовал и не позабавил её испуг. — Ежели хочешь — жди. К зеленнику воротится. Но не думай, что, когда Серого в котел заманишь и крышку захлопнешь — сама будешь со стороны глядеть, как он варится. Ни ты, ни брат твой чужими руками жар загребать не будете.

Девушка покачала головой и сказала:

— Думаешь, испугал? Не испугал. Нам и без Серого несладко жилось. А с ним — вообще никакой жизни не стало. Умирать мы, как и вы, не боимся, но, как и вам, нам жизнь милее гибели. Не хотела я тебе говорить, но скажу... Не со зла, а чтобы понял ты — к Серому у тебя своя треба.

Волчица замолчала, а потом заговорила глухо, словно через силу:

— Серый как-то привел в стаю мальчишку. Тот был невысокий. Юркий такой. Вёсен десяти. Сероглазый и волосы, как сырая зола, между передними зубами щербинка, а возле носа слева — оспинка маленькая. Он пах так же, как ты.

Лицо человека не изменилось ни на миг. Охотник по-прежнему выглядел спокойным и молчал. Волчица вздохнула:

— Будет уже камлаться. Вижу, что больно. Дышишь по-другому.

Она вернулась на свою лавку и продолжила:

— Он назвал мальчика Ярцом. И водил его к Звану в Стаю. Дождался, пока волчонок подружится с тамошними ребятами, потом надоумил их уйти ночью из Переходов. А сам отправил в засидку Жилия — из ближней Стаи. Тот не рождённый. Помнящий. Из лука стрелять умеет. Вот ему и отдали оружие, у ратоборца отнятое. Он ребяташек вашими стрелами всех и положил. Один Ярец до Пещер добежал. Там на руках у Серого и умер. Рана глубокая была — пока через чашу нёсся, кровью изошел.

Волчица смолкла.

Клесх неотрывно смотрел на собеседницу. Глаза у него потемнели.

— Что глядишь? — с горечью спросила она. — Я не хуже твоего знаю, что такое родительское горе, что такое семья. И сын, и муж у меня сгинули. Оба разом. У Люта две дочери. Две! Жена родами умерла, и девочек некому было выкормить. Не было молока. Крови — хоть залейся. А кормящей волчицы ни одной на всю округу.

Мара поджала губы и уставилась в пол, пытаясь совладать с нахлынувшей горечью.

— Не за что нам вас любить, а вам — нас. Только не переиначишь уже. И не смотри на меня так. Больно.

Обережник молчал. Его собеседница поднялась с лавки и подошла к столу. Достала из корзины лепешку, понюхала, прикрыв от наслаждения глаза, отломил кусочек.

— Что сказали те люди в коричневых одеждах?

Клесх ответил, по-прежнему глядя мёртвыми глазами в пустоту:

— Они сказали, что не понимают, как ты довела парня и почему он ещё жив.

Мара вернулась обратно на лавку, брезгливо отбросила меховое одеяло. Она согрелась и больше не хотела дышать мертвечиной. Устроившись поудобнее на сеннике, девушка начала объяснять:

— Из Охотника вытянули с кровью почти весь Дар. То, что осталось, едва тлело и готово было погаснуть. Пришлось вливать в него Силу. Он делался, как мёртвый, ничего не чувствовал и был послушен моей воле.

Глава словно забыл про своё горе и посмотрел на волчицу с острым любопытством.

— Твою Силу? — перед глазами тут же стали колдуны, которые именно так поднимали

мертвецов.

— Да. Но это ведь... не так, как у вас. Он мёрз и одновременно с этим осязал мир, будто моими глазами — голод, запахи, жажда. Я боялась, что убью его. Баялась, он станет упырем и забудет то, кем был. Мой Дар наполнял его, заставлял идти. А вот тело умирало. Я пыталась лечить по ночам. Сил едва-едва хватало. Раны рубцевались, но мы шли изо дня в день, и они открывались снова. Да ещё нога у него одна сломана...

Клесх слушал внимательно, а потом спросил:

— Почему ты ушла одна? Почему не взяла никого в помощь? Хоть бы из Звановых.

Волчица покачала головой:

— Нельзя. У Серого всюду по лесу глаза. Зван сказал — слишком опасно. В Переходах мне Дивен помогал следы путать, провел пещерами, дорогами подземными, коих волки Серого не знают. А из своих я в сопутчики никого не стала звать. Кому верю — не Осенённые. Иные... побоялась, выдадут. Поэтому пережидала. У Серого три дюжины волков с Даром. В ближней стае — дюжины полторы. Так вот, когда они от крови чумеют и начинают рыться, он уводит их в чащу. Я лишь дождалась, когда отправятся. Потом того, который Фебра караулил, оглушила и была такова. А пока они хватились, пока Серого отыскали, пока он погоню отрядил — мы далеко уже были. Он-то решил — я ослушалась, увела парня, чтобы из мести поизгаляться. Оттого и не отправил вдогон ближнюю стаю. Иначе — не дошли бы.

Глава потёр изуродованную щеку:

— Говоришь, три дюжины Осенённых?

Мара кивнула.

Её собеседник усмехнулся, а потом сказал:

— Отдыхай. Будешь смирно себя вести — запирать не стану.

Девушка прищурилась и во взгляде отразилась издёвка:

— И не боишься в своём покое меня укладывать, Глава?

Клесх смерил её таким тяжёлым взглядом, что Ходящая невольно съёжилась, подтягивая к подбородку одеяло.

— А должен?

Волчица побледнела и помотала головой. Такая Сила угадывалась в этом мужчине, что оборотница не решилась более дерзить. Только тонкая рука испуганно дернулась к болтающемуся на шее назу, который, как на миг показалось, сделался тесным, сдавил горло.

— Гляди, Мара, — сказал Глава негромко. — Не испытывай меня.

Девушка вжалась в стену, хотя её собеседник не двинулся с места.

Он не пугал её. Но серые глаза, смотревшие на волчицу, были глазами убийцы. И испытывать такого уж точно не стоило.

Есть оборот перед рассветом, когда ночь наливается густой чернотой и сердце всякого, кто не спит, вдруг стискивает тоска. Нет ей объяснения. Она приходит, как напоминание о скоротечности жизни, о неизбежном одиночестве перед смертью, о незащищенности перед волей Хранителей. Трус боится этих мгновений, но тот, чье сердце свободно от страха, черпает в них силу...

Он любил этот миг. И иногда хотел длить его и длить. Лес стихал. Даже запахи делались глуше, а деревья шумели тягуче, протяжно... Хорошо было лежать в зарослях папоротника, вбирать в себя одиночество ночи, её прохладу и покой... Никуда не спешить, ни на что не отзываться. Просто лежать. Казалось, будто сильное звериное тело прорастает в мягкую лесную землю, становится её частью. А мир вокруг замирал, словно захлебываясь мраком. Мерещилось — не наступит утро, не взойдет солнце и навек теперь воцарится над миром темнота — прохладная и гулкая.

Охватывало блаженное оцепенение. Ничего не хотелось — ни бежать, ни охотиться... Да вот только нынче Серый не мог наслаждаться. Изнутри его подтачивала злоба. Глухой нарастающий гнев.

Мара ушла. Увела пленника. Последнего было не жаль — он всё равно умирал. Но то, что кто-то из стаи решил перепрыгнуть через голову вожака...

Наглая девка сгнула, а вместе с ней сгнули и ушедшие по следу. Напоролись на Охотников.

Впрочем, их гибель не расстраивала. Скорее уж вызывала досаду.

Того волка, который караулил пленника, Серый убил. Подобные промахи прощать нельзя. Вожак дает стае защиту, прокорм и спокойное бытё. За это он вправе требовать беспрекословного подчинения, а с ослушавшихся взимать виру жизнью.

Тем прибылым, которые напали на кровососок в подземелье, он так и объяснил. И не пощадил ни одного. Всякую глупость надо пресекать так, чтобы она не повторялась.

Серый знал — его боятся. Это не приносило ни радости, ни огорчения. Боятся и пусть. Но иногда его охватывало беспричинное беспокойство. Не то тоска. Он не понимал. Вспоминал переливчатые глаза, кудлатую голову. «Серый Хвостик, Серый Хвостик...»

Как она была нужна ему в такие мгновения! Любовь к сестре путалась с досадой, пренебрежением и острой потребностью быть рядом. Столько противоречий! Он любил её. Наверное, единственную на всём свете. Любил до щемящего страха. И не мог долг быть рядом.

Покуда оставались детьми, она вроде как не менялась. Если накатывала на брата глухая беспричинная злоба — повисала на шее и ворковала. Его отпускало. Но годы шли, он делался старше, умнее и злее. А она оставалась прежней. Разум ребенка в теле женщины.

Из-за этого на него волнами накатывала ярость. Хотелось убить её, разорвать, разнести по всему лесу! Не знать! Не видеть! Не вспоминать! Он рывал. Однажды едва не раздробил ей тяжёлыми челюстями руку, когда полезла ласкаться. Ненавидел. Как же он её ненавидел! За то, что сделалась вот такой — безумной, беззлойной. Ни совета дать, ни слова мудрого молвить. Словно всё в ней разом перегорело и рассудок, и мысль, и страх. А короткие просветления, которые временами случались, вызывали у Светела лишь ещё большую досаду.

*Но сестра всё равно его не боялась. Правда плакала часто. Его злили её слезы, ведь обычно именно он был их причиной.*

*— Хвостик, Хвостик, — бормотала как-то скаженная. — Ты ведь раньше таким не был. Злым, сердитым. Всё ругаешь меня...*

*Он вздёрнул тогда её с земли, встряхнул так, что зубы щёлкнули, и заорал в лицо:*

*— Ты тоже такой не была! Не была! — и отшвырнул, когда заплакала.*

*Ушёл. До утра лежал возле старого болота, вращая в мох. Любил её. Но злила бесконечно. И бросить не мог. Потому что рядом с ней обжигающий Дар горел ровнее и тише, Сила становилась послушной, а рассудок, если и вскипал, то от досады на сестру, не на весь свет.*

*Рядом с ней он мог думать. Мысли не путались.*

*Ему нужна была Светла. Сегодня. Теперь. Она была осью, вокруг которой худо-бедно он выстраивал своё бытие. Но её не стало. Ось рухнула. Некому погасить злобу, некому выпить ярость.*

*Он брал волчиц. Они были покорны и благодарны, что в зверином, что в людском обличье. Но утоление плоти не приносило успокоения души, лишь раздувало гнев. И он сдерживал его. А Дар горел так горячо, что выжигал изнутри.*

*Ему нужна была Светла. Он никогда её больше не ударит. Хранители видят, никогда не причинит ей боли.*

*На беду они тогда встретили того чужака. Думали, испортил он только сестру. А тот испоганил ещё и брата.*

*Серый лежал на мягкой земле, смотрел в темноту и размышлял. Мара не смогла бы уйти незамеченной. Кто-то ей помог. Надо выяснить — кто.*

Когда Клёна поднялась на четвертый ярус Цитадели, за стенами уже смеркло. Она постучала в дверь и, не дожидаясь позволения, вошла в покой Главы.

Там было полутемно — лучина догорала, а угли в очаге уже подернулись пеплом. На лавке возле стены спала чужинка, которую привезли нынче утром. Клесх же стоял у окна. И отчего-то — Клёна не могла объяснить, отчего — она поняла, что ему больно.

Падчерица подошла к отчиму и нерешительно обняла окаменевшие плечи.

— Ты обедал? — спросила она, запрокинув голову. — Хоть что-то ел?

— Да.

Он смотрел на неё удивленно, словно не узнавал, и вдруг сказал:

— Ты сейчас очень похожа на мать...

Девушка лишь грустно улыбнулась.

— Скажи, что там с Фебром? Я не хожу в Башню целителей, не хочу мешать.

Клесх отошел от окна и сел на лавку. Клёна опустилась рядом.

— Пока жив, но очень плох, — сказал обережник. — Не грусти, девочка, ратоборцы часто гибнут. Слез не хватит — оплакивать каждого.

Она кивнула и сказала вдруг:

— Я не хочу остаток жизни работать на поварне.

Отчим посмотрел без удивления, выжидающе, потому что понимал — это внезапное решение вызвано не ленью.

— Разреши мне обучаться письму и счету. Не всё же мне изо дня в день кружиться среди горшков. Я хочу тебе помогать, — и она кивнула на берестяные грамотки, лежащие в плоском деревянном блюде.

Клесх озадачился и медленно кивнул. Помощник ему и впрямь был нужен, а Клёна не была ни глупой, ни болтливой, а сейчас ещё и неуловимо переменилась...

Какое-то время падчерица сидела, прижавшись к нему теплым плечом, потом спросила, кивнув на спящую:

— Кто она?

Глава посмотрел на волчицу и ответил:

— Сестра Люта. Помнишь оборотня, который тебя спас?

Клёна медленно кивнула. Она помнила Люта. И его улыбочивое лицо, и спокойную рассудительность и внезапную жестокость, которая не столько напугала, сколько отвратила девушку.

— За братом пришла? — спросила падчерица.

Отчим покачал головой:

— Не только. Она привела Фебра.

Впервые Клёна посмотрела на Ходящую с любопытством.

— Она не боится дневного света?

Клесх поцеловал девушку в лоб:

— Иди. Много вопросов. Долго на них отвечать. Завтра после утренней трапезы ступай Ольсту, скажи — я приказал учить тебя грамоте и счёту.

Девушка кивнула и поднялась, но, прежде чем уходить, наклонилась и поцеловала отчима в изуродованную щеку:

— Спасибо.

Он на миг удержал её за затылок, прижимая к себе:

— Изменилась...

Клёна замерла от этой скупой неумелой ласки, и обняла мужчину за плечи. Стоять, согнувшись, было неудобно, но она не находила в себе сил высвободиться и уйти, как прежде.

— Повзрослела. Я — дочь Главы. Не все же плакать, — сказала она и почувствовала, как Клесх улыбнулся.

Никогда прежде падчерица не называла себя его дочерью.

Ветер тоненько подвывал в дымоходе. Клёна сидела, уставившись на трепещущий огонёк лучины. Она размышляла, перекатывая в ладонях серебряную куну.

Ночь лилась в покой через закрытые ставни.

Как-то там Фебр? Весь день в Башню целителей нескончаемой чередой шли люди: креффы, выучи из старших, выучи из младших, то носили воду, то тащили обратно вёдра с грязными повязками. Клёна подступилась к одному, мол, давай постираю, помогу. На неё устало шикнули, мол, без того помощников много. Ступай, не лезь.

Она понимала — им там только глупой девки не хватало под руками. Но безделье было невыносимым. Что бы она ни делала, всё казалось — пустопорожне время тратит. Он там. А она, то лук чистит, то горшки оттирает! И лишь косится в окно на крыльцо Башни.

Целители выходили оттуда обессиленными: и послушники, и наставники. Видно становилось: из последних сил бились за Фебра, пытались вырвать у смерти.

Нельзя им мешать...

Она слышала, как Ерсей — старший Ихторов выуч — сказал одному из ребят в трапезной:

— Ежели ночь переживет — чудом будет. Раны почернели. Как бы не обернулся. Хранители ему помоги. Донатос в лекарской ночует нынче, чтоб упредить, случись неладное. Крефф сказал, мол, доживет до утра, может, в жилу пойдёт. А нет, так с восходом придётся упокоить.

Клёна собирала со стола миски. Она держалась спокойно, удивляясь сама себе. Даже руки не дрожали, только сделались холодны, да в ушах на миг зашумело. Но потом немочь отступила. И лишь к вечеру вернулась головной болью — неумолимой, тягучей, тошной. Обычно Клёна ходила к Ихтору, чтобы помог, унял муку Даром. Но нынче и помыслить с том казалось кощунством. Есть у лекарей дела поважнее её головы. Дай, Хранители, не впусете труды будут.

Клёна лишь единожды молилась Хранителям — духам пращуров — тогда, когда пережидала ночь на старой сосне. Её жаркая путаная мольба была услышана, хотя девушка не принесла прародителям ни единого дара. Потом, уже в Старграде, она сожгла на маленьком костерке прядь волос, а ещё, чтобы порадовались светлые души, бросила горсть пшеницы и вылила на угли чарку хмельного меда. Иного угощения и благодарности у неё — лишившейся всего, кроме жизни — не было.

Нынче же она собиралась впервые осознанно воззвать к небесным покровителям, испросить благословения и помощи. Не для себя. Для человека, который в лекарской Цитадели сгорал в жару и едва дышал.

Однако снова у Клёны не нашлось ничего, что можно было принести в жертву. Хранители — изначальники рода, чьих имен уже не помнили потомки — светлые души, вознесшиеся много-много веков назад, не заслуживали пустых просьб. То не суетное поминание в беседе или скорби, то просьба о помощи. Истинная молитва. Которую в далёкие светлые выси донесет дым огня.

Чем чище просьба, чем ценнее жертва, тем больше надежда, что мольба будет услышана. Обычно резали телёнка и кропили кровью костер и стены дома, а на жертвенное мясо приглашали всех соседей.

У Клёны не было ни телёнка, ни даже курицы. Ничего не было ценного, кроме серебряной куны. Но серебро не горит, какой толк его жечь? А всё остальное, что было вокруг — ей не принадлежало.

Она бесцельно ходила по покойчику. Думала отрезать и сжечь косу, но что ценного в волосах? Прядь сжигают для того лишь, чтобы пращурь распознали среди молящихся своё чадо. А чем отблагодарить их? Как объяснить, что молишь не о безделице, но о самом важном, о чём просят лишь однажды и больше не беспокоят светлый покой до смертного часа?

В этот миг Клёна поняла, что до онемения в пальцах стискивает края старой шали, которую накинута на плечи, пытаюсь согреться от тоски и беспомощности.

Материна памятка.

Мама не была Хранительницей. Умерла она недавно и силы благодатной, какую обретают давно вознесшиеся души, ещё не обрела. Но те далекие пра-пра-пра... они должны знать — нет у Клёны ничего более ценного. Нечем ей больше пожертвовать.

Девушка взяла со стола нож и отрывистыми движениями принялась кромсать шаль на лоскуты, иногда попадая по пальцам, но не чувствуя боли. Шерсть горит хорошо.

Огонь в очаге занялся быстро и радостно, и Клёне хотелось видеть в этом доброе предзнаменование. Она взяла в горсть обрывки расплзшегося полотнища, прижала их к лицу, в последний раз вдыхая запах...

— Хранители пресветлые, — прошептала девушка, бросая в весёлое пламя первый лоскут. — О защите и помощи прошу вас. Не мне. Мне ничего не надо. Если можно, то пусть от меня уйдет, но другому прибудет. Пусть я останусь больна и слаба, но он войдёт в силу. Дайте ему мужества и терпения. Воли дайте. Счастья дайте. Без меня, с любой другой. Только оставьте живым...

Шерсть сгорала с шипением, нити сворачивались и чернели, дым уносил молитву в тёмное весеннее небо. Клёна шептала и шептала. Лихорадочно и бесслёзно. Причитаньями горю не поможешь. Это она уже успела понять.

— Хранители пресветлые, в тёмной ночи среди боли и страдания ниспошлите на него свой свет и покой, принесите исцеление, вдохните силы всё вынести и ни о чем не жалеть...

Она шептала, а обрывки старой шали горели и корчились в пламени. Клёна сидела у очага до утра. Ворошила угли, бросала огню тонкие прядки волос. Очнулась только с восходом солнца.

Страшно было идти к старой башне, которая мрачной глыбой возносилась в низкое пасмурное небо. Страшно было спрашивать... Вдруг, всё впусте: надежды, жертвы, мольбы? Вдруг, никто её не слушал или даже не услышал? Что такое старая ношенная шаль?

И всё-таки чудо случилось. Фебр пережил эту ночь.

*В избе у Звана было жарко и душно. Серый не любил духоты. И жару терпеть не мог. Как они тут живут? словно в бане. Только веников не хватает.*

*Вожак кровососов глядел на гостя доброжелательно и по всему видно — был искренен, вот только оборотень ему не верил. Впрочем, он вообще никому не верил.*

*— Чем я тебе помогу? — спрашивал сокрушенно Зван. — Дорог в Пещерах множество. Даже я знаю далеко не все. А она тут несколько седмиц провела — все ходы-выходы обрыскать могла. Вот и утекла, как вода из решета.*

*Серый покачал головой:*

*— Без сторонней помощи она бы не утекла. Не смогла бы в одиночку так следы запутать.*

*— Уж не думаешь ли ты, что кто-то из моей стаи ей помогал? — усмехнулся собеседник и напомнил: — Ты её доброй волей прислал. Мы не просили.*

*Оборотень кивнул. Верно. Он приказал Маре окормлять Стаю Звана, сам отправил её к кровососам. И всё равно не верил, будто шальная девка в одиночку смогла протащить полумертвого Охотника через Переходы, выволочь его на поверхность, да ещё и увести так далеко, что след смогли взять не сразу.*

*Мара была сильна и своенравна. А уж дури в ней хватало на десятерых. Да ещё эта, доходящая прямо-таки до наваждения, любовь к брату... Ради Люта девка и впрямь могла натворить любых дел. А уж умишком своим бабским — коротким — она вряд ли понимала всю глупость и пустоту задуманной мести. Бестолочь! Не зря брат её говаривал, что-де, не родилась ещё та девка, у которой разума в достатке.*

*Серый недолюбливал Люта. Тот казался ему слишком скользким, ещё и язык длинный... Однако он никогда не шел против вожака и делал всё на благо стаи. Да, сестра у него была с придурью. Так ведь кто не без греха? Иной раз Серый жалел, что Дар из этих двоих достался именно девке. От брата толку было бы побольше. В своё время именно Лют повадился ходить к кровососам, увещевать и рассуждать о том, что близость волков — к пользе, а не к беде. Серый сам его отряжал.*

*Лют умел говорить ровно и складно. Да ещё обладал предивным умением заставить себя слушать. Вот бы кто смог развязать язык пленному Охотнику. Но, увы, не имея Дара, будучи обыкновенным волком, брат Мары дурел от запаха крови и переставал соображать. Это было обидно. Но ничего не поделаешь.*

*По чести сказать, Серый даже жалел, что Лют пропал. Ушёл тогда с Выжгой и, как в воду канул. Мара после этого сделалась сама на себя непохожей. В ней боролись одновременно тоска, злоба и отчаяние. Поэтому Серый не препятствовал её острому интересу к пленённому Охотнику. Надеялся, может, удастся волчице что вызнать у полонянина? Не удалось. Только лишь ошалела от ненависти и выкрала чуть живого.*

*— Без сторонней помощи она бы не утекла, — повторил задумчиво оборотень.*

*Зван развел руками:*

*— Почему? У неё острый нюх, да и баба она, как я успел заметить, своенравная. Кто знает, чего ей в голову взбрело?*

*Серый промолчал. Говорить Звану о том, что Мара ушла не одна, а с едва живым Охотником, которого вожак волков прятал здесь же — в одной из пещер — значило*

потерять в кровососе пусть и худого, но единомышленника и обрести врага. Разве позволит вожак после таких откровений оставаться волкам и дальше в Переходах? Нет.

— Вернётся. Куда она денется, — успокоил тем временем Зван собеседника. — Как ей без Стаи?

Тот в ответ мрачно кивнул.

— Я о другом с тобой поговорить хотел, — оживился вдруг вождь кровососов. — Едва не позабыл из-за этой девки беспутной. Тут ведь вот какое дело... Один из ребят моих, когда на охоту ходил, на обоз наткнулся. Ну и затаился в кустах послушать, значит, о чём люди промеж собой треплются. Говорит, болтали, будто в конце четвертой седмицы зеленника из Цитадели через Щьрку, мимо Серой речки, пойдут купцы в сторону Больших Осетиц. Повезут добро для ярморочного торга. Народу много поедет. А с ними — трое ратоборцев.

Зван посмотрел со значением.

— Ты сам знаешь, Цитадель затаилась. Хранители ведают, почему они такими осторожными сделались, но нынче охотиться всё сложнее. А тут — обоз. Ткани, снедь, шерсть, утварь...

Оборотень задумался.

— Трое ратоборцев?

Зван кивнул и пояснил:

— Против троих мы не выдюжим. Но ежели объединиться?

Волколак на мгновение замер, словно прикидывая в уме все выгоды и убытки, которые сулило это предложение.

— Что за места там, знаешь? Ежели нападать, так наверняка — чтоб и добычу не упустить и со смертью разминуться.

И снова Зван кивнул, взялся с жаром объяснять:

— Вот тут, — он положил на стол застиранный рушник, изогнув его, чтобы изобразить дорогу, — на полпути до Осетиц есть старая гать. Перед ней, — возле рушника утвердилась кособокая глиняная миска, — всегда становятся на отдых. С одной стороны в этом месте — топь, с другой — лес...

— Надо сходить, поглядеть. Там уже и думать, — сказал Серый, а потом всё-таки спросил ещё раз: — Зван, ты уверен, что никто из твоей стаи не помогал моей волчице?

Кровосос нахмурился:

— Ты уж прости меня, Серый, за прямоту, но после того, чего твои прибылые у Горячего Ключа учинили, не сыщешь тут охотников волкам помогать. Поверь.

Вожак оборотней хмыкнул. Однако по колючему взгляду было не понять — поверил или нет.

— Я подумаю о том, что ты сказал.

— Ежели пойдёшь места тамошние глядеть, с собой позови, — ответил Зван. — Я бы тоже наведалься. Дело-то, если выгорит, окажется прибыльным.

Волколак кивнул и ушел.

Из Тихих Брод бережники собирались выехать через пару дней. Лют извёлся в ожидании дороги. О том, чтобы дать оборотню перекинуться и отпустить его на вольные хлеба здесь — не могло быть и речи.

— Тут рысиное царство, — втолковывала ему Лесана. — Понимаешь?

В ответ на эти более чем разумные слова волколак только мученически вздохнул.

Нрав у него от скуки и ожидания резко испортился, сделался куда более ядовитым и желчным. Впрочем, Лесана уже привыкла к таким резким переменам, и теперь они её не смущали, не повергали в уныние и досаду. Знала — угомонится. Куда больше беспокоил бережницу Тамир. Иногда он будто становился прежним, но другой раз глядел задумчиво, и Лесане хотелось спрятаться — таким тяжёлым и чужим делался его взгляд.

— Ты ведь подновляешь резу? — спросила однажды девушка. — Я вижу, каждый день подновляешь. Тогда почему... так...

Она не могла подобрать слов.

Колдун ответил:

— Ивор силен и очень стар. Я перед ним — щенок. Он пытается власть над телом взять.

Девушка покачала головой:

— Ты говорил, он бережником был. И помнит всё. Почему же тогда?

— *Был*, — с нажимом сказал Тамир. — Именно, что был. А теперь он — навь. Душа обезумевшая. Поэтому ты его с другими Осенёнными не равняй. И не жди разума. Я вот ошибся тот раз, теперь расплачиваюсь. Но ты-то поумнее будь.

Обережница задумалась. Некоторое время молчала, а потом спросила:

— Чего он хочет? Ты знаешь?

— Известно чего, — удивился собеседник. — Смерти. Отпущения. Только я ему этого всего дать не могу. Моё дело — силу его запереть.

Лесана потеряла виски и глухо спросила:

— А выдюжишь? У тебя, вон, затмения какие. То одно не помнишь, то другое. Я иной раз не понимаю, с кем путь держу — с тобой или чужаком каким.

Колдун грустно улыбнулся:

— Я и сам не понимаю, я — это я или чужой кто. Пока реза его держит, ничего он не сделает. Иной раз если и отодвинет меня, так ненадолго, ибо Силы своей лишён. Потому таиться будет. А выдержу или нет... выдержу. Умереть не умру. И свободы ему не дам.

Девушка помолчала и сказала:

— Ты ничего о том не знаешь. Вот, положим, вытащит из тебя Донатос эту навь. Упокоит. И что? Ты в разум войдешь? В силу?

Тамир улыбнулся, будто потешаясь сам над собой:

— Не знаю.

Он сомневался. Причем не в том, что войдет в разум. А в том, что вообще после упокоения Ивора останется жив. Но Лесану пугать этим не хотел. В конце концов, она прекрасно могла обойтись без такого тоскливого знания, а Тамир был одинаково готов к любому исходу.

Хлопнула дверь. В избу вошел один из сторожевиков — ратоборец по имени Щёр. Был он приземист, широкоплеч и космат, а нарву резкого, громогласного.

— Лесана! — зычно позвал мужчина и зачерпнул из ведра, стоящего слева от входа, ковш воды. — Там с торжища мужик с козой пришёл. Просит довести его до Шумеры. Это весь малая в пяти верстах. Сюда-то он с оказией добрался, а обратно — боязно, после рысей. Ты...

Ратоборец на миг прервался, жадно припал к ковшику, сделал несколько больших долгих глотков, шумно выдохнул, отер бороду и закончил:

— ...доведи его. Всё одно — без дела маешься. А мне нынче обоз до Гари провожать. Да своего, что ли возьми, выгуляй, — вой кивнул на Люта, который на печи самозабвенно предавался унынию и скуке. — Небошь, уже все бока отлежал или спекся, как колобок.

В ответ на это оборотень сквозь зевок и сладкую негу изрек:

— Лучше пот на морде, чем иней на... — он запнулся и закончил, по всей видимости, совсем не так, как собирался: — на хвосте.

Щёр басисто расхохотался, поняв то, что не было сказано, и бросил ковш обратно в ведро.

— Вот и езжайте, — бодро заключил он. — Тамир, а тебя Неждан просил наузов наплести впрок, у него уже рук не хватает, сам не знает, за что хвататься.

Колдун кивнул.

Лесана ушла за занавеску переодеваться. Лют, наконец-то, покинул тёплую печь. Настроение у него заметно улучшилось.

— Коза... коза... — бормотал оборотень. — Всё лучше, чем без дела сидеть.

Когда девушка в черной одежде ратоборца появилась из избы, волколак уже изнывал на крыльце.

День выдался погожий и тёплый, с лёгким, щекочущим ветерком.

Скрипнули ворота, на двор зашёл сухонький мужичок в сермяге, домотканых штанах и стоптанных сапогах. На верёвке он тянул упирающуюся серо-белую козу.

— Да иди ж! — сердился хозяин, дергая животину. — Всю душу вымотала. Есть же скотина упрямая.

Лесана улыбнулась.

Телегу уже запрягли. Лют наощупь спустился вниз и забрался в повозку, где устроился, развалившись на соломе. Обережница кинула служке, чтобы тот помог поднять в возок упирающуюся козу.

Однако рогатая чуюла запах зверя, идущий от человека, и жалобно блажила. Лют забавлялся. Мужик взопрел, служка суетился. Одним словом, та ещё потеха. Девушке было и смешно, и досадно. Поэтому она подошла к блеющей скотине, положила ладонь между широких изогнутых рогов и погладила.

Бледные-бледные искорки Дара мелькнули и погасли. Коза успокоилась, позволила поднять себя в телегу, где улеглась, поджав ноги.

— Уф, — выдохнул хозяин с облегчением. — Ну, поехали?

Обережница кивнула и тронула поводья. Телега медленно покатила вперёд. Всю дорогу мужик, назвавшийся Кривцом, с недоумением косился то на козу, то на беспечно дрыхнувшего Люта.

— А этот чего с нами едет? — осторожно спросил Кривец, кивая на оборотня.

Лесана отмахнулась:

— Это брат мой. Домой везу из Цитадели. Глаза ему там лекари правили. От скуки извелся, потому и взяла с собой.

Лют тем временем сел и поинтересовался у сопутчика:

— Ты расскажи лучше, на кой ляд с козой попёрся за тридевять земель?

Мужик горестно вздохнул:

— Сношенька у меня... — он вытер повлажневшие глаза. — Хворает. Вот сын-то и отрядил в город — козу купить.

Лесана едва не всем нутром почуяла, что скажет на это Лют. И даже повернулась пресечь, ибо знала его поганый язык.

Но оборотень сдержался, удивился только:

— Коза-то ему зачем?

— Дык, не ему, — ответил мужчина. — Дитю. В конце голодника родила. Раньше сроку. Сама измучалась, чуть не померла. А дитё вовсе синюшное. Ну и молока у ней нет. Вот и везу...

Он уныло кивнул на подремывающую козу:

— Козьим молоком-то и не таких выхаживали... Но какая ж скотина досталась упрямая! Девушка удивилась тому, каким застывшим сделалось вдруг лицо Люта.

Оборотень сидел, глядя куда-то в пустоту, и молчал весь остаток пути. К Шумере подъехали уже в сумерках.

Мужик чин по чину зазывал переночевать, но Лесана отнекалась. Не хотелось оставаться в веси. А почему, сама себе объяснить не могла. Точнее могла — сейчас пойдут встречать, поклоны бить, спрашивать, разговоры разговаривать. Тьфу. В лесу хоть тихо и не донимает никто.

Кривец ушел, таща за рога упирающуюся козу. Девушка же повернула обратно и всего в полуверсте от деревни остановилась на ночлег. Обнесла телегу с лошадьёю бережной чертой. Сделала надежно. Дара не пожалела. Так оно спокойнее.

— Костер не буду разводять, — сказала спутница оборотню. — Давай повязку-то сниму.

Волколак повернулся.

— Лесана, он правду сказал? — негромко спросил Лют.

— О чём? — не поняла она.

— Вы выхаживаете детей козьим молоком?

Обережница кивнула:

— Мама, когда Русая родила, намаялась без молока. Так и пришлось просить у соседей козу. Несколько седмиц перебивались, а там уж отец с ярмарки привез нам Нарядку. Тоже бодливая и упрямая попалась... Но молоко хорошее давала — жирное и много. Считаю, Руська только этому молоку благодаря и выжил.

— Вон оно что... — ей показалось, будто в голосе собеседника мешались разом и горечь, и тоска. — Хорошо, когда так.

Лесана посмотрела на него озадаченно:

— А ты не знал?

Оборотень усмехнулся:

— У нас нет коз.

Девушка по-прежнему не понимала:

— Как же вы выхаживаете детей, если мать умерла или не может кормить?

Лют посмотрел ей в глаза и ответил:

— Никак. Таких детей убивают.

— Кто? — вопрос вырвался сам собою, а вовсе не потому, что Лесану и впрямь интересовал способ умерщвления несчастных младенцев. Скорее, обережница просто не смогла безмолвно вынести потрясение, которое произвели на неё слова собеседника.

— Отец, — жёстко ответил Лют. — Кто же ещё?

От этой злой прямооты Лесану продрал мороз. И зачем она только стала расспрашивать? Правда ведь, откуда у них взяться козам? А ежели и возьмутся, то от страха околеют. Да и как кочевать стае с козой?

Внезапно девушке стало жаль своего спутника. Так жаль, что сердце в груди защемило. В страшном раздоре живут и люди, и Ходящие. И всем от этого раздора одинаково плохо. И, ежели присмотреться, увидишь — горькая доля выпала каждому. И у каждого своя боль.

Боль!

Лесана подпрыгнула, потому что оборотень, которому не понравилась её унылая задумчивость, больно ущипнул спутницу за плечо.

— Жалеешь? — усмехнулся он. — Это зря. Жалость — право сильных. А ты не сильнее меня.

Обережница внимательно посмотрела на волколака. Тёмные силы и тёмная правда жили в душе у Люта. И если даже казался он иной раз человеком, то потом дорого приходилось платить за самообман.

— Нужен ты мне, — огрызнулась девушка, которой, несмотря на обидный щипок, всё равно было его жаль.

Никогда прежде она не видела у обыкновенно беспечного оборотня такого мёртвого лица, как нынче.

— Лучше вот что скажи, — вытянулся на соломе её собеседник, впадая в привычную беззаботность. — Кто тебя испортил?

— Что? — Лесане показалось, будто сердце у неё застыло, а потом обвалилось, словно в пропасть рухнуло.

Лют ухмыльнулся:

— Ты вкусно пахнешь, я же говорил. Но невинные девушки... у них другой запах. Вот я и спрашиваю, кто тебя испортил?

От унижения и обиды у Лесаны заложило уши, кровь прихлынула к лицу, а ладони, наоборот, стали ледяными. И только в груди билось тяжко, надрывно: бум-бум-бум! Весенняя ночь понеслась хороводом вокруг телеги, мир зашатался. Язык словно прилип к небу. В висках грохотало, грохотало, грохотало...

— Лесана, — голос Люта донёлся словно издалека.

Руки у него были обжигающе горячими, и когда он встряхнул её за плечи, показалось, что на коже под одеждой останутся красные пятна ожогов.

Девушка высвободилась.

— Ложись спать, — сказала спокойно и ровно. — Поздно уже.

Но те же самые горячие ладони развернули её лицо. Звериные глаза мерцали в темноте:

— Скажи, ты отомстила?

Она не сразу поняла, что он у неё спрашивает.

— Ты отомстила за себя? — Лют смотрел требовательно и зло.

Слепая паника отступила, вернув запахи ночи, шум деревьев, лёгкое дуновение ветра.

Лесана с трудом сглотнула. Во рту было сухо.

Отрепённо и устало обережница вспомнила бледного, осунувшегося Донатоса, готового

опуститься на колени. Вспомнила его глаза, полные мольбы. Вспомнила его покорную готовность унизиться и ответила:

— Да.

Оборотень будто успокоился:

— Это хорошо. Мечь утешает и побеждает страх.

Лесана безо всякого выражения сказала:

— Мечь убивает. Наказание — учит.

Она повторила слова наставника, надеясь, что Лют её поймёт и отстанет, но волколак фыркнул, давая понять, что не считает подобные измышления верными и даже достойными внимания:

— Большинство ничему уже не научить. Так что не стоит тратить на них и без того короткий, отмеренный нам срок. Лучший способ усмирить всякую погань — убить её.

Девушка повернулась к собеседнику:

— Значит, мне следовало убить тебя ещё тогда? В той деревне?

Оборотень ухмыльнулся:

— Это избавило бы тебя от множества хлопот. А от этой беседы — уж точно. Но, помимо мести и злобы, есть ещё выгода. Ты оставила мне жизнь из здравого смысла. Да и, опять же, за что тебе мне мстить?

Он посмотрел на Лесану с лёгким прищуром:

— Знаешь, об одном жалею...

Девушка глядела на него, пытаясь понять, зачем он завёл этот разговор? Для чего? Сделал ей больно в отместку за то, что пожалела? Или давно хотел ужалить, дать понять — нет у неё от него никаких тайн, всё, как на ладони. И если удаётся ей иногда оказаться сильнее и умнее, так то потому лишь, что он позволяет. А захочет — найдёт, на что надавить.

Она молчала.

— Не хочешь выведать, о чём? — развеселился Лют. — Даже не спросишь?

Обережница отвернулась от него, легла на бок и укрылась меховым одеялом. Не хотелось ей больше с ним говорить. И знать его не хотелось. И видеть. И слышать.

— Злишься... — сказал удовлетворённо волколак. — Злись. Злость лучше жалости. И всё-таки обидно, что я не знаю, как ты пахла прежде...

Лесана стиснула зубы, призывая на выручку всё своё терпение, всю силу воли, чтобы не развернуться и не удавить волколака тем самым наузом, который болтался у него на шее.

Нынче Клёна отвоевала себе право приходить в лекарскую. Как бы ни сновали выучи, как бы ни были заняты креффы, но только и им требовались сон и отдых. Девушка набирала на поварне корзину еды и относила в Башню целителей. Там же собирала грязные простыни и повязки — всё дурно пахнущее, на вид отвратительное.

Но она не брезговала и не морщилась. Стирала, полоскала, кипятила, сушила. Всё молча, с выражением сурового сосредоточения на лице. Решила ведь не плакать, а теперь выходило, что и улыбаться разучилась. С подругами не виделась. После утренней трапезы спешила на занятия к Ольсту, где прилежно училась грамоте, чертила палочкой на вощенной доске, складывая резы в слова. После урока помогала на поварне, затем несла лекарям обеденную трапезу, забирала горшки из-под утренней снеди и новую стирку.

Фебра она видела мельком несколько раз. В самую лекарскую девушку не пускали, да она и не смела проситься. Хорошо, хоть так позволяли приходить.

Ихтор осунулся за эти дни. Словно высох. Клёна догадывалась, целительство дается ему тяжело — израненный обережник был настолько плох, что саму жизнь в нём удерживали силой. А на поправку он никак не шёл. Так и повис между бытием и небытием.

Через несколько дней после того, как Клёна сожгла материну шаль, в мыльню, где девушка ожесточенно стирала кровавые повязки, заглянула Ходящая, которую привезли в Цитадель вместе с Фебром.

— Вот ты где, а я ищу, — волчица зашла в душную, туманную от пара, залу.

— Ищешь? — Клёна вытерла со лба испарину. — Зачем?

— Узнать хотела, как тот Охотник.

Клёна отложила в сторону отжатую холстину и сказала:

— Плохо. И не там, и не здесь.

Ходящая кивнула задумчиво, а потом попросила:

— А проводишь меня к тому, кто его лечит?

Собеседница окинула её внимательным цепким взглядом и сказала:

— Это ты у Главы спрашивай. Я тут не распоряжаюсь.

С этими словами она подняла с осклизлой лавки кадку с мокрыми тряпками и вышла в раздевальню.

Волчица проводила девушку задумчивым взглядом.

...Снова они встретились к вечеру. Клёна принесла целителям трапезу и первой, кого увидела, войдя в Башню, была Ходящая. Та стояла рядом с Клесхом и что-то говорила внимательно слушавшему её Ихтору.

Мужчины оглянулись, когда услышали, что входная дверь хлопнула. Клёна вопросительно поглядела на отчима — можно входить или нет? Он кивнул, и падчерица пристроила корзинку на край стола, взялась накрывать.

— Отними ему ногу, — услышала девушка слова Ходящей. — Она гниёт. Оставишь — парень не выживет.

Ихтор качал головой:

— Отнимем, всё одно умрет. Не перетерпит. Пойми ты это. И травами дурманить нельзя — сердце едва бьется.

— Да он у меня на сломанных ногах две седмицы по лесу шёл! — в сердцах воскликнула

его собеседница. — И дошёл! Дай хоть попробовать.

Целитель перевел взгляд на Главу. Тот сказал спокойно:

— Парень умирает. Если ногу оставить — не жилец уж точно. Если отнять, может, выдюжит, — и закончил: — Хоть попытаемся. Мара, когда?

Клесх повернулся к Ходящей.

Та задумалась.

— На рассвете лучше всего. Выспаться надо. Вечеру за такое только дураки берутся. Да и целитель ваш, аж шатается, — она кивнула на Ихтора. — Того гляди, помрёт раньше чем тот, кого лечит.

Клёна выставила из корзинки снедь, молча забрала ведро с окровавленными повязками и вышла, будто всё происходящее её никак не касалось.

И только на крыльце привалилась спиной к щербатой каменной стене Башни, сиюсь объять рассудком страшную мысль: *завтра утром*. Всё решится завтра утром.

Зря она сожгла свою шаль так рано...

Вечер стал пронзительно-синим, когда в дверь Клёниного покойчика поскреблись. Девушка отложила дощечку вместе с писалом, которым царапала резы, и сказала:

— Заходи.

Она думала это кто-то из подружек: Нелюба с опухшим от слез лицом или виноватая тем, что не имеет никаких скорбей, Цвета. Но на пороге стояла Ходящая. И светлая косища свисала ниже колен.

— Тебя ведь Клёной зовут? — спросила волчица, входя в каморку. — Я видела, как ты прислушиваешься. Слышала, как колотилось твоё сердце. Ты любишь этого Охотника.

Клёна не стала кивать. Мара не спрашивала. Она утверждала.

Диковинная гостья закрыла дверь и сказала негромко:

— У него не видит левый глаз. Ухо одно почти оглохло. Правая рука вряд ли когда-то сможет держать оружие. А поутру ему отнимут ногу. Если он выживет — это будет хуже смерти.

— Жизнь не может быть хуже смерти, — ответила ей Клёна. — Он ратоборец. И знает цену жизни.

Мара усмехнулась:

— Иная жизнь хуже смерти. Ты об этом не думала?

Девушка нахмурилась:

— Зачем ты мне это говоришь?

Ходящая опустила рядом с ней на скамью и спросила вкрадчиво:

— Ты бы хотела, чтобы он остался цел и невредим? Молод, хорош собой, здоров? Чтобы его раны исцелились?

Эти вопросы не требовали ответа, поэтому Клёна снова промолчала. Она ждала, что последует дальше.

— Здешние Осенённые почему-то думают, что наилучшее для Фебра — остаться человеком. Пусть незрячим, полуглухим, увечным, но *человеком*. Если твой жених начнёт обращаться, его упокоят. Но посмотри на меня. Разве я — чудовище? Я хожу, говорю. Я такая же, как ты.

Взгляд Клёны застыл, как вода в полынье, стал холодным, тёмным.

— Зачем ты пришла? — спросила девушка.

— Затем, что твой рассудок не затуманен ненавистью. В нём живет любовь. Ты способна принять верное решение, — ответила Ходящая.

— Он станет волком?

— Да. Ну и что? — с вызовом спросила Мара. — Станет. Он Осенённый — он будет помнить всё: и тебя, и Цитадель, и свою жизнь. Его раны исцелятся. Он будет здоров, как прежде, даже сделается ещё сильнее. Он не будет бояться дневного света. Вы сможете быть вместе, понимаешь? Зачем все здесь хотят оставить его коротать остаток века немощным калеккой? По-твоему после всего пережитого, он заслуживает то, что вы ему уготовили?

Клёна рывком поднялась со скамьи.

— Уходи.

Мара покачала головой.

— Подумай, девочка. Хорошо подумай.

— Уходи.

Волчица тоже встала и пристально посмотрела на собеседницу:

— Объясни мне, почему ты отказываешься?

Девушка глядела на неё угрюмо и враждебно:

— Он человек. Будет жить человеком. И человеком же умрет. Но кровь людскую пить не станет.

Ходящая выругалась сквозь зубы и зашипела:

— Далась вам эта кровь! Что на ней — свет клином сошелся? Её и надо-то три глотка в луну! Так нет, развели причитания! Я тебе говорю — живой он будет, здоровый. Неужто во всем свете нет никого, кто дал бы ему три глотка в луну?

Она вперила в девушку пронзительный взгляд.

Клёна упрямо повторила:

— Уходи.

Мара досадливо топнула ногой и направилась прочь. Однако у самой двери замерла и сказала:

— Думай, дурёха. Хорошенько думай. В полночь приду. Может всё-таки возьмут в тебе верх не злоба и ненависть, кои вас всех пленили, но разум. И любовь.

Хлопнула дверь. Клёна медленно опустилась обратно на лавку.

Что делать?

К отцу бежать, жаловаться? К Ихтору?

Соглашаться?

Всем сердцем девушка хотела, чтобы Фебр был здоров. Если бы предложила волчица ей самой обратном стать, чтобы он исцелился — ни мгновенья бы не раздумывала. Если бы ей надо было ногу отнять, чтобы у него новая выросла, тоже согласилась бы безо всякого страха. Отдала бы и очи свои, и острый слух, и крепость тела...

Но ничего этого сделать было нельзя. И требовалось от неё принять решение за того, за кого не имела она права решать. За обережника. За ратоборца, которому мановением Клёниной руки грозило стать нечистью, с коей сам он бился.

Девушка забегала по покою.

В голове медленно распускались пунцовые цветы боли. Кровь грохотала в висках, усугубляя мучение.

Что делать? Как быть?

И до полночи ещё так долго.

Клёна в одной исподней рубахе сжалась на лавке, обхватив руками колени. В очаге потрескивал огонь. За окном повисла тьма. Было тихо. Так тихо, словно никого в целом свете не осталось, словно за толстыми каменными стенами царила лишь непроглядная чернота.

Мысли девушки будто оцепенели. Ей следовало принять решение, но сил и смелости это сделать не было. Да и можно ли решать за другого человека? Кто ей дал такое право? И сумеет ли она потом жить, зная, что распорядилась по своему хотению чужой судьбой, к которой и прикосаться-то нельзя?

Девушка запустила руки в волосы и уткнулась лбом в колени. Сколько она сидела так, слушая потрескивание дров в очаге, Хранители ведают. Но когда в дверь постучали, Клёна мгновенно вскинулась.

Мара стояла на пороге и смотрела вопросительно. Она *знала*, какое решение будет принято. Знала. И пришла лишь за тем, чтобы услышать его, а взамен попросить о какой-то ответной услуге.

— Ну что? — тихо спросила волчица. — Отважилась?

Хозяйка покойчика кивнула.

— Да.

— Умница. Одевайся, идём.

Клёна зябко обхватила плечи и спросила, переступая босыми ногами на студенном полу:

— Куда?

— В лекарскую, куда же ещё? — удивилась Ходящая. — Да не топчись ты на месте, времени мало!

Волчица прислушивалась к чему-то, что не улавливал слух собеседницы, и выглядела до крайности обеспокоенной.

— Зачем в лекарскую? — спросила Клёна.

У Мары лопнуло терпение, и она зашипела:

— Что ты, словно варёная! Собирайся!

— Я никуда не пойду, — ответила девушка и даже сделала несколько шагов назад.

Вытянутые, приподнятые к вискам глаза волчицы наполнились изумлением.

— Ты не хочешь, чтобы он остался жив и здоров? — насмешливо спросила Ходящая.

Клёна не стала врать и ответила хрипло:

— Хочу. Больше всего на свете. Но если попытаешься его обратить — всё расскажу обережникам.

Мара фыркнула и смерила собеседницу снисходительным притворно-ласковым взглядом. Так иная мать смотрит при гостях на любимое распалившееся чадо. Вроде бы просит душа розгами паршивца выдрать, а при людях не сорвёшься. Так и оборотница. Смотрела на Клёну, словно ждала, что вот-вот та перестанет ломаться, отринет доводы разума и послушается голоса сердца.

— Ты хоть подумай, дурёха, — терпеливо, но с проскальзывающим в голосе гневом, заговорила волколачка, — на что обрекаешь мужика? Ещё по осени он на двух ногах ходил, двумя глазами глядел, двумя ушами слышал, двумя руками меч держал. А новую весну встретит немощным калекой...

— Уходи, — Клёна указала докучливой гостье на дверь. — Он родился человеком, значит, человеком и умрёт. Это не ты и не я так решили, а жизнь распорядилась. Ты — волчица, он — людского племени. И Ходящим не станет. Умрёт ли, выживет ли, но будет так, как Хранители ему урядили. Не ты и не я. Хранители. Поняла?

Ходящая на удивление смягчилась. Звериный огонек в глазах погас и даже черты лица сделались милее.

— Ну, хватит, — сказала она. — Раскричалась. Не умрёт. А коли умрёт, так уж всяко не завтра. Как ты решила, так пускай и случится. Тебе с этим жить.

И не проронив больше ни слова, Мара вышла. Хлопнула дверь, и Клёна осталась одна. Трясаясь, словно в лихорадке, она упала на лавку, накрылась с головой одеялом и ещё долго-долго лежала без сна, думая о том, что ей и вправду придётся жить со своим решением. Она пыталась осмыслить, какие чувства будет в ней это осознание и, наконец, поняла — горечь, страх, беспомощность... Много чего ещё. Но не сожаление.

...Мара вышла в пустой коридор и постояла в полумраке, раздраженно притопывая. А ведь казалось, что получится! Девчонка сопливая совсем — в той самой поре, когда за любовь ничего не жалко — ни чести, ни совести, ни здоровья, ни сил. Потому что первая она, любовь эта, а оттого кажется единственной на всю оставшуюся жизнь. И не верится в этот миг глупым, что первой любви цена — полушка, потому что, хоть горит она чисто да ярко, но зато сгорает быстро и всегда дотла. Впрочем, с Клёной вышло иначе.

Волчица уже достигла восхода, когда от тёмной стены отделилась быстрая тень, и кто-то сильный схватил Ходящую за косу, стискивая волосы на затылке железным хватом.

— Ну, рассказывай, краса ненаглядная, куда девку зазывала?

Её рывком развернуло к говорившему. Мара зашипела, вцепилась обидчику в запястье. Голос Главы Цитадели она узнала, только не успела понять, как человек настиг её незамеченным? Ведь не учуяла даже! Казалось, будто кто-то идёт следом, однако, сколько ни озиралась, ничего не углядела.

— Ай! — дернулась оборотница, но высвободиться не смогла — Охотник вцепился, как клещами.

— Надо тебя, как братца, в каземате закрыть, — сказал Клесх.

— Надо — закрой!

Он потащил её прочь, нимало не беспокоясь о том, что причиняет боль. Волчица бежала, выгнувшись, цеплялась за его руки и рычала.

В тёмный покой её зашвырнули, как котёнка — пролетела от двери едва не до окна. Лишь звериная ловкость позволила устоять на ногах. Вспыхнуло выжигающее глаза голубое сияние. Волчица зашипела, закрывая ладонями лицо. Светлая коса растрепалась и почти распалась — спутанные пряди торчали теперь во все стороны.

— Рассказывай, — приказал Глава.

Ходящая стояла, вжимаясь лопатками в стену и смотрела затравленно. А Клесх едва не воочию видел, как стремительно мелькают в лисьих глазах быстрые мысли. Она обдумывала, что сказать, как себя повести... И в тот миг, когда ему показалось, будто он уже уловил не то ложь, не то лукавство, Мара вдруг улыбнулась, пригладила волосы, и спросила миролюбиво:

— Как ты так подкрался, что я не услышала и не учуяла?

Обережник молчал. Только взгляд потяжелел.

Волчица вздохнула:

— Я предложила ей кое-что.

Девушка всматривалась в лицо Главы, надеясь, что он скажет хоть что-то и у неё будет возможность вслушаться в голос, уловить в нём чувство — злость, недоумение, гнев... То, что позволит правильно повернуть беседу. Но он молчал. Ничего. Стена.

— Фебр умрёт, — наконец, сказала Мара. — Или останется калекой. И то и другое — плохо. Он молодой, сильный. Зачем рубить на корню? Я предложила его обратить. Тогда те раны, которые мы нанесли, зажили бы.

Ходящая смиренно ждала гнева собеседника. И даже была к нему готова, но вопрос Охотника заставил её растеряться:

— И что сказала на это Клёна?

Волчица хлопнула глазищами:

— Отказалась.

Всяким здравым объяснениям вопреки на лице Клесха промелькнуло удовлетворение. Мара с опозданием поняла: зря она таилась и кралась. Он знал, что пленница попытается напакостить. Наверняка, приказал за ней смотреть. Приставил кого-то. Мало ли людей в Цитадели? И у всех глаза! А её сбивают слишком похожие и резкие запахи: железа, камня, мужского пота, пыли, сырости, иссохшего дерева и дыма...

— Я не хотела ему зла, — волколачка затравленно глядела на человека.

Он ничего не ответил. Во взгляде не было ни самодовольства, ни насмешки. Мёртвая пустошь.

— Говорила — нужно выспаться? — сказал, наконец, Клесх. — Вот ложись и спи. Завтра поглядим, на что ты способна.

С этими словами он вышел. Мара слышала, как Охотник коснулся ладонью двери. Сразу после этого покой сквозь узкие щели озарила короткая вспышка голубого света.

Запер.

Ноги у пленницы подогнулись, и она с размаху села на голую лавку. Не тронул... Вся жизнь перед глазами промелькнула.

Однако же ей было досадно, что ничего не получилось, что Клёна заупрямилась. Увечья Фебра были страшны, а значит, впереди его ждало весьма плачевное житьё. Жалко. Хотела ведь и вправду спасти. А вышло, вон, как.

Лют, пожалуй, за такое до костей обгложет...

Клесх заглянул в лекарскую. Ихтора там не оказалось. Возле Фебра сидел на лавке Руста — снимал с парня повязки, собираясь промыть раны травяным настоем.

— Гниёт, — сказал целитель, увидев вошедшего. — Чего только не делали. А ты о нём справиться пришёл или...?

— И о нём тоже, — Глава задумчиво смотрел на ратоборца, лицо которого было опухшим от побоев: нос перебит, губы — кровавая корка, глаза заплыли... — Ногу его покажи.

Крефф отбросил с нагого тела покрывало.

— Смотри, коли любопытно.

Разверстая плоть, розовые края раны и осколки белой кости в месиве тёмного рыхлого мяса — такой была правая лодыжка Фебра, когда его подобрали в лесу. Нынче кость, как могли, вправили, плоть стянули, заштопали. Но рана, как говорили целители, «подалась» и «зацвела». Вспухла от гноя. И сколько ни чистили её, не заживала. А по венам потянулись вверх тёмные токи.

— Отнимать по бедро будете? Или по колено? — спросил Клесх.

Руста пожал плечами:

— Как Ихтор скажет, так и отнимем. Он говорит — по колено. Я бы до бедра отпахал. Толку от культи никакого.

Глава смерил целителя мрачным взглядом:

— У тебя на руке пять пальцев. Что лучше — один отнять или всю ладонь по запястье?

Лекарь дёрнул плечом:

— Пальцы мои целые. А его нога — нет. Ну, отнимет Ихтор гнильё по колено, а плоть дальше цвести пойдет. И что? Снова мучить? Уж лучше одним разом.

Клесх ответил:

— От парня и так мало что осталось. А тебе, волю дай — ты по подбородок всё отнимешь, чтоб его не мучать.

Лекарь развел руками:

— Ты спросил. Я ответил. Чего ещё? Ихтор хочет за культу со здравым смыслом пободаться. Ну, коли так, я перечить не стану. Ихтор надо мной старший. Не я над ним.

— За это Фебр Хранителей своих до смертного часа будет благодарить, — сказал Глава.

Руста поглядел на него исподлобья и ответил, с трудом сдерживая гнев:

— Так ещё поглядеть надо — поднимется ли он, чтобы их благодарить.

Клесх сказал спокойно, почти равнодушно:

— Поднимется. Иначе, на кой ты здесь? За Ихторовой спиной сиживать?

Крефф в ответ на это хотел, видимо, огрызнуться, но вовремя вспомнил, кто перед ним, и прикусил язык.

— Да, и вот ещё что, — сказал уже от двери Глава. — Отвар твой своё дело делает — запахи путает. Вари.

Руста кивнул, а Клесх с сожалением добавил:

— Но липкий, скотина... будто медом намазали, — он потёр шею под воротом рубахи и поморщился.

В ответ на это лекарь буркнул:

— Подумаю ещё. Но, ежели не придумаю, потерпите. Вам главное, чтобы зверь не учуял. Он и не чует. А о другом уговору не было.

— Теперь есть, — сказал Глава и добавил: — К зеленнику сделай всё по уму, а не как у тебя это обычно.

Дверь в лекарскую закрылась и Руста тихо выругался сквозь зубы.

Крефф целителей не любил нового Главу. Не любил, не понимал, не принимал. И подчинялся из одной лишь, вбитой в каждого обережника, выучки. Знал он, что и старым креффам Клесх и его решения не по сердцу. Договаривается с Ходящими, позволяет тем жить в Цитадели...

Однако ни Рэм, ни Койра, ни Ильд при посторонних никогда не обсуждали смотрителя Крепости. Всё примеривались хрычи, всё оценивали, всё взвешивали... И помалкивали.

Прямодушный и бесхитростный Дарен, в отличии от стариков, не таился. Так и говорил Клесху, мол, больно мягок ты к ночным тварям, больно возлюбил их. Но резкий нрав креффа, как и его отходчивость знали все, а потому недовольство могучего раторборца не почиталось за мятеж. Он говорил, что думал, но делал, что велели. Скрытному же Русте, напротив, переступить через своё молчаливое неудовольствие и покориться воле нового Главы было тяжелее.

Вот и теперь целитель скрипнул зубами, призывая всю волю, чтобы подавить глухое раздражение, которое поднялось в груди после короткого разговора с Клесхом.

В Цитадели нынешнее утро выдалось суматошным. Послушники лекарей на трапезу не явились и даже их креффы, словно провалились куда-то. У Клёны от этого нехорошо засосало под ложечкой.

Тётка Матрела качала головой, собирая в корзину кое-какой снеди.

— Отнеси им, — подозвала она падчерицу Главы. — Не дело мужикам голодными сидеть. Да скажи, пусть выучей хоть после урока пришлют. Покормлю ребят, со вчера ведь не евши.

Девушка кивнула, подхватила корзинку и была такова. Сердце билось часто-часто и от горького предчувствия холодело в груди.

Башня целителей оказалась полна народу, как муравейник муравьями. Никогда прежде Клёна не видела здесь разом столько послушников. Не протолкнуться! В лекарской было тесно от старших выучей. Все серьёзные, сосредоточенные, каждый при деле — кто рвал на повязки чистые холстины, кто калил на огне ножи, кто в кипящем котле вываривал железные иглы... На гостью с её корзиной даже не взглянули.

Клёна растерянно смотрела по сторонам — некуда и ткнуться ей со своей ношей. Да и какая им еда! Зря Матрела собирала и хлеб, и сыр, и мясо. Никто здесь не голоден. А если и голоден, то в работе этого не чувствует.

За спинами парней девушка разглядела, наконец, отца. Кое-как протолкнувшись вперед, Клёна тронула Клесха за локоть.

— Меня Матрела прислала, — робко сказала девушка и покосилась на лавку, на которой должен был лежать Фебр.

Лавка оказалась пуста.

От ужаса и страшной догадки свело судорогой горло.

— Не до трапезничанья нам, — ответил Глава. — Нынче другие хлопоты. Ихтор Фебру ногу отнимать собрался.

Жив!

Клёне показалось, будто что-то тяжелое упало с её плеч, перестало придавливать к земле. Даже дышать стало легче.

Отчим внимательно смотрел на девушку. От него не укрылись ни, испуг ни тревога в её взгляде. Поэтому обережник уточнил:

— Пойти хочешь?

Падчерица вскинула на него широко распахнувшиеся глаза. Как он догадался?

Клесх смотрел спокойно. Он ждал её ответа. И Клёна поняла: вот сейчас, здесь, в этот самый миг он признает её желание быть той, кем она хочет — не ребенком, нуждающимся в опеке, но взрослой женщиной, способной принимать решения, готовой помогать, готовой разделить его труд. Нынче Глава давал ей это право и не собирался более его лишать. А потому от неё, в ответ на это доверие, требовалось теперь помнить о том, что за глупые порывы будет совсем иной спрос. Поэтому на его вопрос Клёна ответила не сразу, а лишь после нескольких мгновений раздумий. Конечно, душа рвалась! Хотелось быть там, где Фебр, хотелось знать, что с ним делают, хотелось не томиться в неизвестности, но...

— Нет. Боюсь помешать, — ответила девушка.

Она и вправду могла с непривычки поплыть рассудком и упасть без памяти. До того ли

будет целителями? Поэтому, как ни надрывалось сердце, Клёна сделала над собой усилие, подчиняя любовь здравому смыслу.

Отчим коротко кивнул, повернулся к одному из старших ребят, сказал:

— Спускайтесь. Ихтору скажи, я следом приду.

Юноша кивнул, подхватил рукой в толстой войлочной рукавице котелок с кипятком и вышел. Остальные потянулись следом. В лекарской стало пусто и тихо. Клесх повернулся к падчерице и произнес:

— Ты должна понимать — он может умереть. Будь к этому готова.

Клёна опустила голову и глухо ответила:

— Буду.

Отчим не сказал больше ни слова. Когда дверь лекарской хлопнула, Клёна огляделась. Просторная зала показалась ей домом, внезапно лишившимся хозяев, брошенным и осиротевшим — лежал на скамье сенник со смятой волглой простыней, громоздились на столах горшки из-под зелий и отваров, бурными комьями валялись в ведре грязные повязки...

Девушка засучила рукава рубахи, взяла стоящую в углу корзину и принялась складывать в неё все то, что нуждалось в стирке.

Ожидание тянется быстрее, если не сидеть без дела.

В каменной зале, куда её привел Глава Цитадели, было холодно. Ярко горели светцы. На длинном столе, застеленном чистой рогожей, лежало изуродованное нагое тело — истощённое, чёрное от побоев и ран.

Послушники стояли вдоль стен и жадно смотрели на холодно мерцающие железные пилы, ножи, сцепы, разложенные поверх небелёной холстины.

Ихтор и Руста в кожаных фартуках и с закатанными выше локтей рукавами рубах были похожи на мясников.

Фебру дали выпить какой-то настойки, чтобы унять жар, от которого ратоборца сотрясал озноб. Теперь вой лежал, безучастный ко всему и медленно водил по сторонам мутными глазами, словно пытался кого-то разглядеть, отыскать хоть одно знакомое лицо. Но все люди вокруг сливались в разноцветные пятна...

Мара с любопытством посмотрела на троих стариков, устроившихся чуть в стороне и жадно наблюдающих за ней и Главой, который её привел.

— Ишь ты, сколько вас тут! — весело сказала Ходящая. — Я до стольких и считать не умею.

Клесх ничего не ответил на это её замечание, только взял за локоть и подвел к столу, на котором лежал израненный ратоборец.

— Делай, что обещала.

Мара посмотрела на Ихтора. Ей казалось сомнительным то, что человек с одним глазом может быть хоть как-то полезен в подобном деле. Руста у Ходящей вызывал куда больше доверия. Глаза у него два, да и выглядит помоложе обезображенного целителя. Однако, по всему судя, главный среди этих двоих был все же Ихтор. Поэтому волчица обратилась к нему:

— Я, когда Дар отпущу, он как одеревенеет. Будто умрет. Даже сердце станет через раз трепыхаться. Вот тогда и отсекай. Ну и что ты там ещё будешь делать — делай. Потом, как скажешь, я руку отниму, и он очнется. Но учти. Больно ему станет. Очень.

— Не станет, — сказал Руста.

А Ихтор спросил:

— Сколько времени у нас? Сколько Дар держать сможешь?

Ходящая задумалась на миг, а потом ответила:

— Оборота три. Мы шли долго. Истощила я. Другой раз смогу хоть до вечера. Нынче — нет.

Лекарь кивнул.

Мара склонилась над Фебром и заглянула в мутные от боли и сонных трав глаза.

— Эх ты, уродище патлатое... — прошептала она. — Держись уж, не помирай. Рано.

С этими словами волчица мягко провела рукой над лицом Охотника.

В светлых глазах промелькнуло короткое узнавание...

— Как тебя зовут, помнишь? — тихо-тихо прошептала Мара, склонившись к самому уху ратоборца.

Сухие потрескавшиеся губы шевельнулись:

— Фебр.

Прохладная легкая рука легла на потный лоб, скользнула от бровей к волосам, стирая

испарину.

— Страшная ты образина...

Он знал, что последует за этим. Вспышка зеленого света. Холод. И темнота.

Так и случилось.

Ходящая положила ладонь на бедро ратоборца. Тонкие пальцы бледно сияли.

— Режь, — сказала оборотница Ихтору. — Он ничего не чувствует. И крови не будет.

Режь смело.

...Мара сбилась со счету, сколько раз меняли лучины, поддерживая яркий свет. Много. Очень много. Её ладони, лежащие — одна на лбу ратоборца, другая на его бедре — отяжелели, сделались будто каменные. Дар Ходящей перетекал в тело человека, и она казалась себе руслом реки, по которому устремляется ледяной поток. Мара утратила счёт времени, только наблюдала отрешённо за работой целителей.

Изуродованное лицо Ихтора было сосредоточенным и ожесточенным, а движения скупыми и точными. На лбу и висках высыпала испарина. Кто-то из младших это заметил. Подбежал — вытер полотенцем и тут же, чтобы не мешаться, отступил обратно к стене. Двое ребят постарше следили, чтобы света было в достатке. Ещё один забирал со стола ненужные более ножи и пилы, вдевал в прокалённые иглы тонкие жилки, подавал их, по первому приказу креффа...

Волчица была уверена, что за стенами Крепости стемнело. Не могло не стемнеть. Наверняка, уже глубокая ночь. Впрочем, обо всем этом думалось отрешенно. Разум и тело будто оцепенели. Сила текла от сердца к ладоням. Мир застыл...

— Вест, — позвал Ихтор старшего послушника, который напряженно наблюдал за работой наставника. — Твой черёд.

Невысокий юноша быстро шагнул вперёд и положил ладони на культю ратоборца. С рук полилось ослепительное сияние, от которого у Мары на глаза тут же навернулись слёзы. Она зажмурилась. Но слёзы лились и лились ручьями.

Выучи сменяли один другого, подходя поочередно. Казалось, это никогда не закончится. От запахов камня, гниющей плоти, человеческого пота, дыма и сырости кружилась голова. Хотелось спать.

— Всё, — сказал кто-то. — Убирай руки.

Она узнала голос Главы и с облегчением отняла ледяные ладони от лежащего на столе человека. Тот дышал едва слышно, как в глубоком сне. Разлепив глаза, волчица увидела обессиливших послушников и Ихтора с Рустой. Лекари, оба бледные от усталости, осматривали дело своих рук. Рядом стояли старики.

— Тут вот скривил, — тыкал пальцем и близоруко шурился дед с жидкой бородёнкой и блестящей лысиной.

— Скривил, — покаянно признал Ихтор. — Но иначе не получалось.

— Ничего, заживет, — проскрипел другой старик — седой и сухонький. — Работа ладная. Никто бы лучше не смог. Разве что Майрико. Да и то я не уверен. Теперь главное — не упустить парня. Нынешнюю ночь я с ним посижу. Седмицу будем зельями опаивать, чтобы в силу вошел. А там поглядим.

Креффы покивали, а Мара на негнущихся ногах обошла стол и посмотрела на то, что обсуждали насельники Цитадели.

Ногу Фебру укоротили до колена. Культяпку обтянули срезанной с бедра кожей, зашили. Девушка видела ровные розовые следы стежков, видела шрам на бедре, откуда брали

кожу...

Как же Дар гореть должен, чтобы сотворить такое! Раны, которым полагалось отекать, гнить, исходить сукровицей, ныне затянулись тонкой блестящей кожицей, будто прошло уже несколько седмиц с того мига, как отсекли больную плоть.

Не пожалела Цитадель Дара своих целителей. Что могли — отдали вою, от которого теперь не будет никакого толку... Зачем старались? Для стаи он теперь бесполезен.

Однако волчица с любопытством оглядывала рану, обходя стол с лежащим на нём человеком, то так, то эдак. Она даже не заметила, как тихо стало в зале, как удивленно глядят на неё люди, сколько настороженного любопытства в их взорах.

— Как ты это сделал? — спросила Мара Ихтора и осторожно, кончиком указательного пальца коснулась розового рубца. — Я не верила, что получится...

В её голосе звучало неподдельное восхищение. А потом волчица посмотрела на целителя и спросила:

— Научить можешь?

Лекарь поглядел на неё со смешанным выражением недоумения и растерянности.

В лисьих глазах промелькнуло понимание и Ходящая усмехнулась:

— Да ладно уж, не отвечай. Поняла я.

С этими словами она повернулась к Главе и сказала устало:

— Ну, веди девицу в темницу, а то ноги подкашиваются.

Клесх усмехнулся:

— Идём.

Тихие Броды не зря называли тихими. Городишко был сонный и маленький. Река Радокша несла свои воды всего в двух верстах отсюда, поэтому в Бродах было в избытке рыбы. Особенно же много добывали леща, плотвы и окуня. Попадались ещё и лобастые сомы, и тонконосые осетры, и зубастая щука, и широкопёрый судак. Все это вялили, коптили, сушили...

Лют, пользуясь передышкой между странствиями, пытался вытащить Лесану на торг. Но обережница упрячилась. Обижалась.

Волколак терпел. Знал — девичья обида, что весеннее наводнение. Коли случилась — вспять не поворишь. Только переждать можно. Вот он и ждал. Вечерами порывивал лениво на щенков, которых на него спускали, и ждал.

К утру третьего дня Лесана успокоилась. Перестала говорить с пленником сухо и строго. Оттаяла. Может, приснилось чего? А может, надоело дуться.

Однако скоро все стало на свои места. Оживилась так обережница оттого, что прибыл в Броды обоз, идущий оказией до Елашира. Значит, назавтра снова в путь. Лют приуныл. Сделалось ясно — на торг не попасть и рыбкой не полакомиться. А так пахла...

Впрочем, мечта его исполнилась. Но лишь отчасти. Вечером пришёл с треб Тамир и поставил на стол корзину, пахнущую водой, тиной и илом.

— Вот, — сказал как-то неловко обережник, — упокаивал тестя рыбака. Так мне корзину рыбы всучили.

— Это которого рыбака? Барыя что ли? — отозвался, копошащийся в своём ларе сторожевик и добавил: — Значит, помер старик? А Барый-то, да, он такой. За всякую безделицу благодарит, как за серебряную куну. А что, Лесана, свари нам ушицы? Вам завтра в путь, да и мне в Поречье ехать — опять куски на ходу будем хватать. Хоть побалуемся.

Девушка подняла еловую лапу, коей была укрыта корзина, и заглянула внутрь. Судак оказался крупный, на загляденье. Лют тот же миг оживился, свесился с печки и заводил носом. Обережнице стало смешно.

— Сварю, — ответила она.

Уха получилась жирная, запашистая, приправленная травами из запасов бродского лекаря. Оборотень ел с наслаждением. Будто год его не кормили. Рыбу уписал всю, не гляди, что глаза завязаны — ни единой косточкой не поперхнулся. Хотя, что в судаке за кости? Мясо одно.

Лесане нравилось смотреть, как едят мужчины. Она любила стряпать, и любила, когда её старания вознаграждались — люди были довольны, а горшки пусты. От тёплой сытости в теле просыпалась лень. Хотелось нынче поваляться на лавке, подремать. Завтра ведь сызнава пускаться в путь, трястись в телеге, ночевать в лесу...

Сторожевики тоже разбрелись по своим лёжкам. Пожалуй, ни один человек во всём свете не умеет вот этак безыскусно всякую свободную минуту тратить на сон, как это делают обережники. Осенённым только дай, где голову преклонить — уже дрыхнут.

— Ты спишь? — Лют, присел на край Лесаниной скамьи.

— Нет. Уже не сплю, — девушка открыла глаза, понимая, что побездельничать вволю ей сегодня не удастся. — Чего тебе?

— Стемнело уже. Отпусти по двору погулять...

Она вздохнула. Вот же нейдет ему! И именно тогда, когда ей шевелиться, ну никакой охоты!

— Идем, назола, — вздохнула бережница. — Надоел ты мне...

На крыльце она сняла с оборотня ошейник, освободила глаза от повязки, а сама опустилась на ступеньки. Думала, волколак перекинется здесь же и отправится ходить по двору, обнюхивать углы, зарываться носом в землю.

Однако вышло иначе. Лют присел рядом с ней и сказал виновато:

— Я обидел тебя тогда.

Лесана дернула плечом:

— Обидел.

— Ты... не держи сердца, — негромко произнёс он. — Не хотел я. Так вышло.

Она сызнаво повела плечом, давая понять, что ей всё равно, да и дело уже прошлое.

— На, — Лют вдруг взял её за руку. — Держи вот. Муж твой бестолковый ведь не озаботится. А я знаю, женщины носят. Только у тебя нет.

Он пошарил за пазухой, и в ладонь бережницы легло что-то тяжелое.

Лесана с удивлением посмотрела на это что-то и окаменела. Сердце сжалось в груди, а потом болезненно сорвалось, будто бы упало в живот.

Потому что в весеннем полумраке девушка разглядела низку бус. Красных и крупных, как ягоды боярышника.

Она смотрела на эти бусы — длинные и яркие, такие тяжелые... её. В горле пересохло. Впервые Лесана не знала, что делать, что сказать. Она безмолвно глядела на украшение, о котором так часто грезил, которого, как сама знала, у неё никогда не будет, и которое теперь лежало на её покрытой шрамами подрагивающей ладони.

— Откуда? — спросила девушка сдавленным голосом. — Откуда у тебя это?

Бусы были согреты его телом и оттого горячие.

— Откуда взял? — Лесана подняла глаза на волколака.

— Купил, — ответил он.

— Купил? — бережница поднялась и сказала жёстко: — У тебя нет денег. Ты не мог купить. Значит, украл?

Волколак растерянно смотрел на неё снизу вверх:

— Говорят тебе, купил, — ответил он, а собеседнице показалось, что обернись Ходящий сейчас волком, шерсть у него на загривке поднимется дыбом, а чёрные губы обнажат белые клыки.

— Скажи правду, — потребовала она.

— Да чтоб тебя! — выругался Лют. — Вот есть же дуры!

Он всадил кулаком по резному столбику крыльца так, что дерево жалобно застонало. А в следующий миг серая звериная тень метнулась вниз по ступенькам.

Лесана осталась стоять, держась за перильце. И треклятые бусы, зажатые в кулаке, свисали, касались деревянного порога.

Девушка снова села, перебирая огрубелыми пальцами крупные гладкие горошины. Красивые бусы. Жаль, что ворованные. С другой стороны, как он мог украсть? На это сноровка нужна. А у него глаза завязаны и навыка никакого.

Но купить? Такое украшение стоило денег. А Лют лишь несколько седмиц назад узнал, что это такое...

— Лют, — Лесана окликнула волка, который сидел посреди двора, устремив взгляд на

луну, вынырнувшую из-за туч. — Лют!

Девушка спустилась на двор:

— Скажи, ты, правда, их купил?

Он перекинулся. Подошел.

— Думай то, что больше по душе. Купил, украл — какая разница? Это бусы. И они твои.

Хочешь — носи. Не хочешь — выбрось. Я лишь хотел попросить прощения.

Волколак подставил шею, чтобы обережница застегнула на ней науз.

— Идём в дом. Завтра вставать рано, — буркнул оборотень.

Лесана пошла следом. Ей было стыдно. И её разрывало от любопытства — как, откуда?..

Больше в этот вечер они не сказали друг другу ни слова.

Нынешний обоз оказался небольшим — всего четыре телеги. Лесана, Лют и Тамир устроились на последней. Как ни боролась бережливица с собой, но выбросить бусы у неё не поднялась рука. Поэтому украшение висело там, где и положено — на шее хозяйки, поверх льняной небогато вышитой рубахи.

Лесана вроде и корила себя за малодушие, но всё-таки нашла сил наступить на собственную совесть. Бусы были очень красивые. Именно такие, о которых она тайком грезила все первые годы жизни в Цитадели...

Дорога тянулась монотонно. Мелькали деревья, пахло весной. Жаль, солнце спряталось, и по небу неслись серые тучи. Быть дождю.

На ночлег остановились засветло. Развели костер, поставили похлебку.

Взялся накрапывать дождь.

— Лесана, — позвал Лют. — Выведи меня.

— Что ещё? — спросила бережливица. — Темнеет ведь уже.

— Выведи. Надо.

Девушка повернулась к Тамиру:

— Мы недолго.

Колдун задумчиво кивнул. Нынче с утра он выглядел так, словно производил в уме какие-то сложные подсчеты. Но резу подновил. Лесана за этим следила. Однако девушка всё равно видела — её спутник напряжен и задумчив. Она спросила его, что не так, но Тамир ответил только:

— Маетно. А отчего — не пойму.

Будто ей не маетно.

Лют тем временем уводил Лесану от бережного круга. Место привала, равно как и спутники, скрылось за деревьями, лишь огонек костра поблескивал за стеной чёрных стволов.

— Чего ты? — спросила Лесана.

— Разреши перекинуться, — сказал Лют. — В груди печёт. Боюсь не вызвериться бы.

Девушка вздохнула.

— Недолго только. Ладно?

Он кивнул.

Бережливица расстегнула ошейник и ещё раз сказала:

— Недолго.

Перекинувшись, волколак сделал пару кругов между деревьями, покатался по земле. Встряхнулся раз, другой. Ещё побегал.

В лесу становилось всё темнее.

Столь долгое отсутствие при обозе двух людей могли заметить. Тамир, конечно, выгородит, наплетет чего-нибудь, но пора бы и возвращаться.

— Лют, — позвала Лесана. — Лют, пора.

Оборотень перекинулся и направился к ней, улыбаясь. В руках — несколько веток не то бузины, не то лещины.

— Ты смотри, — сказал он, подходя к бережлинице и протягивая ей эти ветки.

— Что? — девушка подалась вперед.

— Листья проклюнулись, — ответил волколак.

Лесана снова наклонилась, чтобы разглядеть раскрывшиеся клейкие почки, но в этот самый миг тонкие ветви взвились.

Лют стегнул наотмашь: хлестко, с оттягом.

От удара и обжигающей боли потемнело в глазах. Лесана задохнулась, на миг закрыла ладонями лицо, но, даже ослепнув, не забыла вбитую за годы науку. Шагнула на звук. Польшнул Дар. Однако Лют вывернулся ужом. Зашипел, врезал обережнице ногой под колено. Сильно. Ослепшая противница полетела наземь, перекатилась, уходя от удара по ребрам, вскочила.

Сквозь застилающие взгляд слёзы Лесана успела увидеть зверя, стрелой исчезающего в чаще. Вслед ему полетел брошенный наугад нож. А девушка скорчилась, прижимая ладони к глазам.

Дар унял боль, вернул зрение. Вот только драгоценные мгновения были потеряны. На лес опустилась ночь. Волк исчез в чаще. И нож обережница потеряла.

Лесана от бессильной злости врезала ногой по толстой сосне. Дурища! Вот есть же дурища! Удар кулаком по могучему стволу тоже не принес облегчения, не заглушил досаду. Лишь костяшки пальцев ссадила до крови. Из груди рвался крик ярости, и девушка задыхалась, но душила его. Дурища.

К месту привала она вышла из крошечной темноты леса злая и с таким лицом, словно готова убить любого, кто попадется на пути. Старший обоза открыл было рот, спросить, что стряслось, но проглотил вопрос, потому что ратоборец удержал его за локоть и покачал головой.

Ни на кого не обращая внимания, бережница подошла к телеге, на которой ехала, выдернула из-под кожаного полога узел с вещами и остервенело рванула верёвку, стягивавшую горловину.

Чёрная рубаха, чёрные порты, чёрная верхница.

— Охлонись, — Тамир перехватил Лесанину руку, дёргавшую завязки. — Охлонись!

Колдун удерживал спутницу за запястье. Его ладонь была сухой и холодной. Как у старика.

— Ушёл, — глухо сказал девушка, не глядя собеседнику в глаза. — Упустила я его. Понимаешь?

— Не дурак вроде. Уймись.

Бережница казалась ему каменной от насады. Её пальцы, стискивавшие чёрную рубаху, побелели, а лицо было застывшим, ожесточённым.

— Я. Его. Упустила. Он знает столько всего... Серый с распростёртыми объятьями встретит. Вот же я дура, Хранители прости!

Лесана ткнулась лбом в бортик возка.

— Вот же дура-то...

— Не поспоришь.

Девушка задыхалась, вжимаясь в иссохшие доски. Что она натворила? Всё и всех поставила под удар.

— Из Елашира нужно будет сороку отправить в Цитадель, — глухо сказала она. — И переоденусь завтра. Надоело камлаться.

Тамир кивнул. Ему и самому надоело.

Наконец, подошёл ратоборец, ведущий обоз — совсем молодой парень. Моложе Лесаны и почти одного с нею роста. Русоволосый и темноглазый. Звали его Дёжа.

— Где этот? — вой неопределенно кивнул в сторону тёмной чащи. — Куда делся?

— Нету, — ответила Лесана. — Убёг.

Бережник покачал головой и посмотрел на девушку с жалостью. От этого взгляда ей захотелось взвыть на весь лес, как выл некогда Лют.

А чего выть? Виновата.

Тамир забрался в телегу спать. А его спутница ещё долго сидела у камелька, обдумывая, как теперь быть, и безуспешно борясь с чувством вины, выедающим её изнутри.

...Утро принесло с собой туман и сырость. Ночью прошел дождь, и дорога раскисла. Ну и весна нынче... Новый день не обещал ни солнца, ни тепла. Воздух был волглым и гулким.

Лесана, вопреки давешним чаяниям, не стала переодеваться. Устроилась в телеге,

завернувшись в кожаную накидку да так и просидела всю дорогу до самого вечера. Последующие два дня по-осеннему заходило, с неба сыпалась нудная морось, отчего на душе у обережницы становилось всё сумрачнее.

День приезда в Елашир выдался таким же мглистым и безрадостным. Лесана с утра переделалась в чёрное. Мужики обозные косились, но помалкивали. Девушка застёгивала на груди перевязь и вдруг наткнулась ледяными пальцами на что-то неровное под исподней рубахой.

Бусы. Надо ведь, совсем забыла про них.

Она вытянула яркую низку и пропустила её между пальцами. Как нелепо смотрелись красные глиняные ягоды на чёрной верхнице ратоборца! Обережница дернула. Нить лопнула, и бусины горохом посыпались в жирную грязь.

Было не жаль.

Вот о чем Лесана действительно печалилась, так это о потерянном ноже. Она ведь так и не нашла его в чаще. Зато видела следы крови, не смытые за ночь дождем. Попала. И зверь унес оружие в теле. Впрочем, рана, наверняка, была пустяковая, иначе кровавый след стелился бы далеко, а не обрывался через несколько десятков шагов.

Девушка набросила на плечи накидку и забралась в повозку, переняла у Тамира вожжи. К полудню будут в Елашире. Обережница посмотрела на своего спутника, тот был бледен и задумчив.

— Что с тобой? — спросила она.

— У меня отец в Елашире. Дом помню. Липу старую помню. Улицу забыл, — растерянно сказал колдун.

— Найдём, — утешила его Лесана.

Мужчина в ответ кивнул. Он снова не помнил ни лица, ни имени. Плохо. А, может, нет? На душе царили мир и покой. Не было той высасывающей пустоты и одиночества, к которым он привык за последние годы.

Обоз тронулся.

Тамир посмотрел на Лесану. Что-то в ней неуловимо переменялось. Он всё глядел и глядел, силился понять — что же именно? И не находил ответа. Пока она не почувствовала его взгляд и не повернулась.

— Что?

Он покачал головой.

— Ничего.

И это было правдой. Ничего. Её лицо ничего не выражало. И глаза были пусты. Он знал только двух женщин, которые смотрели также. Одна из них была мертва.

Колдун промолчал, потому как нелепым и глупым показалось ему говорить Лесане о том, что она стала очень похожа на Бьергу.

Фебра перенесли из подвалов в лекарскую. Здесь было тепло, а окна выходили на полудень, отчего почти весь день солнечные лучи лились через открытые ставни.

Клёна приходила после занятий, приносила с собой вощеную дощечку и писало. Твердила уроки, иногда вязала.

Ей нужна была шаль.

Игла сновала в ловких пальцах, нить тянулась. И время в тишине лекарской, казалось, замирало. Ихтор не гнал девушку, а выучи, которые посменно находились возле Фебра, смотрели на неё с молчаливым уважением — она не бледнела и не тряслась, когда меняли повязки, промывали ещё кое-где гноящиеся раны, наносили на них вонючую жирную мазь.

Ночами Клёна давала ребятам передышку. Приходила в самое волчье время — под утро, когда сон морит и нет сил ему, окаянному, противиться. Девушка устраивалась возле постели обережника, протирала его пересушенные губы влажной тряпицей, вливала по ложке травяной настой.

Однажды за этим делом и застиг сиделку Руста. Его выуч, нынче следивший за израненным воем, вышел по какой-то надобности, оставив Клёну одну.

— Опять сидишь? — недовольно спросил лекарь.

— Сижу, — ответила девушка и порадовалась про себя тому, что входная дверь скрипнула, а значит, послушник вернулся обратно, тем самым не дав случиться какому-то дурному разговору.

Но целитель не успокоился, взял собеседницу под локоть и вывел из лекарской.

— Послушай меня, бестолковая, — сказал крефф. — Ну, ты-то ладно — девка глупая, но отец у тебя не дурак, в ум не возьму, почему не воспрещает тебе здесь отираться, что ни день.

— Я попросила! — гневно, но, тем не менее, вполголоса возразила собеседница.

— Попросила... — передразнил лекарь. — Зачем? Парень этот не поднимется уже. И всем тут, кроме тебя, ясно — в жилу не пойдет, прежним не станет. Чтобы ходить, ему рука нужна твёрдая — на костыль опираться. А она плетью висит. Половина головы отбита. Он если и очнется, так только слюну до подбородка пускать. Вы — девки — народ жалостливый, вот и ты себе в голову вдолбила невесть чего. Так я тебе скажу: не надо...

Он не договорил — звонкое эхо пощечины разнеслось по коридору, словно щелчок кнута. А Клёна круто развернулась и скрылась за дверью лекарской.

Крефф, словно не веря тому, что случилось, коснулся щеки. Кожа пылала.

— Дура бестолковая! — выругался целитель и, плюнув под ноги, ушёл.

С той поры Клёна ходила мимо Русты, как мимо порожнего места. Даже взглядом не одаривала. А он лишь ехидно усмехался, как бы давая понять, что скоро её девичья глупость споткнется сама об себя. И уж тогда никакая гордость не удержит упрямыцу возле немощного ущербного женишка.

Потому только с появлением в лекарской Ихтора Клёне становилось спокойно. Крефф осторожно ощупывал раны ратоборца и бледное сияние лилось на них с его рук. Целитель запретил приводить парня в чувство до тех пор, пока не начнут рубцеваться следы волчьих зубов. Так и вою проще и послушникам. Одно дело присохшие повязки с живого человека сдирать, другое — с крепко спящего, опоённого отварами.

Однако без удержу тоже нельзя дурманить человека травами. Пора было понемногу возвращать Фебра в мир живых, чтобы заодно с тем выяснить — пошло лечение впрок или ратоборец и вправду, как предрекал Руста, поплыл рассудком.

Нынче Клёна протирала целебным отваром некогда ладное, а теперь похожее на скелет изъязвленное рубцами тело, и сердце сжималось от боли и жалости. В воздухе висел терпкий духмяный запах. Остро-сладкий, тягучий... Знакомый.

— Чем пахнет? — повернулась девушка к Ихтору, который помешивал булькающее варево.

— Это? — крефф кивнул на горшок. — Взвар лечебный. Силы придает, плоть заживляет.

Собеседница видела, как с пальцев обережника сыпались в бурлящий кипяток искры Дара.

— Чудно... — сказала девушка.

— Что чудно? — не понял её собеседник.

— Я сейчас, — она поднялась и вышла.

Целитель пожал плечами, продолжая помешивать содержимое горшка. Однако Клёна очень скоро вернулась, неся с собой небольшой кувшинец, в котором хозяйки обычно держат сливки или лечебные настойки. Горлышко сосуда было плотно закупорено.

— Что это? Знаешь? — спросила девушка, протягивая Ихтору немудреный сосуд.

Мужчина снял обернутую холстинкой крышку и принялся.

— Откуда у тебя это? — спросил он с удивлением.

— В мамином сундуке нашла. А у неё откуда взялся — не знаю. Что это? — Клёна смотрела серьезно — точеные брови сошлись на переносице.

Крефф повернулся к столу, капнул на плоское блюдо немного настойки. Провел над ней рукой и в воздухе, озарившемся голубым сиянием, заплясали изогнутые резы.

— Я знаю только одного целителя, который мог такое сделать, — задумчиво проговорил обережник, а потом повернулся к девушке и сказал: — Береги этот кувшинец, Клёна. Здесь у тебя, почитай, настоящая Живая вода. За такую настойку платят серебром по весу лекаря, который её приготовил. Тут Силы влило — на десятерых хватит.

Клёна с удивлением посмотрела на безыскусный сосуд, таивший в себе такое сокровище.

— Не только голову твою, десятки голов можно было б вылечить, — сказал Ихтор.

— А если дать Фебру? — встрепенулась девушка. Слова о своей голове она даже в сердце допускать не стала. Что голова? Завяжи и лежи. — Он поправится?

Крефф с сожалением покачал головой:

— Нет, девочка. Ему она будет бесполезна. Тут очень сложная привязка. На любовь. Уж не знаю, почему именно так сделано. Это Силы больше отнимает...

— Как — на любовь? — перебила его Клёна. — Что это значит?

Обережник задумался, пытаясь сообразить, какое объяснение будет наиболее простым и верным.

— Это делалось для людей любящих, но не связанных узами единокровия и благословением Хранителей. Оттого и привязка на чувство. От сердца к сердцу.

Он не мог объяснить ей лучше, но сам уже понял, что сделала Майрико. И почему она сделала это именно так. Лекарка хотела уберечь семью того, кого любила, потому Дар лила щедро, чтобы наверняка.

Клесх и Дарина не были мужем и женой, даже их дети были единокровными только по матери. Очень сложно приготовить целебное снадобье такой силы для людей, которые между собой связаны только любовью. Оттого и Дара требуется больше, оттого и колдовство сложнее, оттого и стоит работа такая баснословных денег. А самое главное — хоть и дорого зелье, но о покраже можно не беспокоиться. Ибо такая настойка для всех, кроме тех, на кого она нащёптана — бесполезная водица.

— Я поняла, — сказала Клёна и закрыла кувшинец.

Ихтору стало жаль девушку. Её глаза горели такой надеждой.

...Ночью Фебра пришёл караулить Рустин послушник-третьегодка по имени Стан. Однако парень совсем замаялся на учебе и отчаянно клевал носом. Клёне стало его жаль.

— Поспи. Я пригляжу, — сказала она и опустилась на низкую скамеечку возле ложа бесчувственного ратоборца.

Выуч что-то благодарно пробормотал, вытянулся на узкой лавке, куда обычно ставили горшки, и тут же заснул.

Девушка сидела и глядела на Фебра. Лицо у него казалось восковым. Синяки уже сошли, даже нос и левая бровь, которая была рассечена, словно разделена на две, зажили. Светлые, почти белые волосы отросли ещё больше. Клёна осторожно коснулась их рукой. Мягкие.

В этот миг обережник открыл глаза. Взгляд его был блуждающим, бессмысленным. Сухие губы разомкнулись.

Сиделка подскочила:

— Попить?

Она осторожно приподняла тяжелую голову ратоборца, приложила к губам маленький ковшик-уточку. Мужчина сделал глоток. Взгляд у него прояснился, и уголки губ дрогнули в подобии улыбки. Он узнал ее.

— Птаха... — едва слышно произнёс Фебр.

Девушка пошарила рукой под лавкой, отыскивая кувшинец.

От сердца к сердцу. Так ведь сказал Ихтор?

Если она — Клёна — любит кого-то всей душой, любит так сильно, что не хочет ничего для себя, разве не поможет это снадобье? Ну, а если не поможет, то какой от него толк?

Там было всего два глотка.

Он выпил, даже не поняв, что она ему даёт. А потом светлые глаза закатились, и обережник провалился в беспамятство.

Лесана прежде не бывала в Елашире. И город этот показался бы ей ничем непримечательным, похожим на другие, если бы не знаменитые деревянные елаширские узоры. Ворота, калитки, столбцы крылец, ставни, коньки крыш здесь украшали искусной резьбой, затейливой и тонкой.

Даже окраинные небогатые подворья и те стояли нарядными. То жар-птица крылья расправляет на дверце подложки, то солнце улыбочливое глядит с воротины, то цветы распускаются под козырьком погребницы... Глаз радуется!

Вот только отмечала эти красоты Лесана как-то вскользь, проходя.

— У тебя на воротах что? — спросила обережница спутника. — Тоже узор какой?

Тамир озадаченно посмотрел на неё. По глазам видно было — не помнит.

— А идти далеко нам? — продолжала допытываться Лесана.

Колдун пожал плечами.

Девушка вздохнула. А ведь помнил. Надясь ещё, вроде как, помнил.

Приехали они в город нынче пополудни. Оставили немудреный скарб у сторожевиков, а сами отправились к Тамирову отцу. Хотя... как, отправились, Стех — елаширский колдун — обрадовался гостям, а пока обменивались новостями, рассказал заодно, что-де Строк в добром здравии, не хворает и даже будто бы окреп, только ослеп совсем. После этих слов было бы полным паскудством не проведать старика. Одна загвоздка — Тамир родные места не узнавал.

В растерянности наузник вцепился в спутницу и зашептал: «Лесана, мне тут вроде всё родное вроде, но, куда идти — не знаю и отца не помню...»

Девушка захлопала глазами и предложила единственное, что пришло в голову:

— Ну... давай, у Еля спрошу?

Тамир кивнул и вышел из избы. Обережница видела — ему стыдно. Стыдно за свою беспомощность, за невозможность всё исправить и просто за то, что происходящее с ним ложится грузом на спутницу. Ту самую, с которой колдун ещё по осени разговаривал сквозь зубы, и которая теперь из-за него, словно в хомуте. Тянет, надрывается в одиночку. И не жалуется.

Когда Лесана вышла за ворота, обережник подждал её в тени старого тополя:

— Ну? — отлепился колдун от забора. — Узнала?

— Вниз по улице, потом направо, затем налево — в проулок, под горку и до старой хлебной лавки, — ответила девушка.

Мужчина кивнул.

Они шли по весеннему Елаширу. Распогодилось, будто вовек не было дождей и серой хмари. Солнце слепило. Пахло тополями. Тамир смотрел на высокие заборы, на ворота, на крыши домов. Он силился вспомнить. Узнать. Но сердце оставалось глухо. Это были просто дома и просто крыши. Память словно не находила, за что зацепиться. Лишь иногда что-то будто бы вскидывалось в душе, разбуженное запахами весны — нагретым солнцем деревом, подсыхающими после минувших дождей плашками мостовой...

Лесана шагала рядом. Она больше не надевала женских рубах, сняла с головы покрывало. Но даже в черном платье ратоборца была хороша. Если б ещё не взгляд этот застывший...

С каким-то равнодушным удивлением колдун понял, что все мысли эти, роящиеся сейчас в его голове, принадлежат не ему. Ивору. Это *он* не узнавал Елашир, *ему* Лесана казалась красивой, тогда как сам Тамир дурел от неправильности происходящего.

— Вроде бы этот дом, — сказала обережница и повернулась к спутнику. — Не узнаёшь?

Он покачал головой и с тоской посмотрел на старую липу, кривые черные ветви которой возносились в прозрачное весеннее небо. Дерево, как дерево. Дом, как дом.

Девушка постучала. На стук хриплым дребезжащим лаем отозвался старый пес. Тамир не помнил, как зовут собаку. А когда створка ворот поползла в сторону, колдун увидел незнакомого мальчишку — высокого, нескладного, того самого возраста, когда, вроде, уже выходят из детства, но в пору юношества заступить ещё не успевают.

— Господине, — обрадовался и удивился паренек. — Мира в пути! Заходи, то-то батюшка обрадуется!

— Мира в дому, — ответил колдун, с мучительно тоской понимая, что всё равно не узнает лица да и имени тоже не помнит.

— Мира в дому, — выручила Лесана. — Как звать тебя?

Мальчишка ответил, рассматривая гостью с плохо скрываемым любопытством:

— Ясенем.

Обережница улыбнулась:

— Ну, веди нас, Ясень, к хозяину.

Тамир вошел последним.

Пятнистый облезлый пёс стоял возле конуры и глядел на пришлецов слезящимися глазами. Сторож подворья был жалок и тощ той особенной старческой худобой, которую не избыть даже обильной кормежкой.

— Эй, — позвала Лесана собаку. — Что ж ты на нас так ругаешься?

— Звон! — тут же строго сказал Ясень и добавил, поворачаясь к госте: — Ему уж четырнадцать весен. Старый совсем. Глухой. Чудно, что услышал вас.

В этот миг, словно опровергая его слова, Звон поднял седые брыли и глухо зарычал, являя взгляду гнилые пеньки некогда крепких зубов.

— Ты что это? — удивился мальчишка. — Звонка, ты чего?

Однако верный сторож, словно не слышал ласковых уговоров. Он глядел на Тамира и глухо ворчал. А потом вдруг заскулил и отступил к конуре. Чует. Понимает, что не его хозяин стоит напротив — чужак.

Лесана подтолкнула спутника к крыльцу, иди, мол, чего застыл. Он пошёл. Миновал чисто прибранные сени, наклонился, чтобы не удариться лбом о притолоку, и ступил в избу.

Тут было чисто и жарко. Пахло кашей. У печи сидел на лавке и жадно прислушивался к происходящему во дворе слепой ветхий старец. Его выцветшие глаза были затянуты белесой пеленой, а лицо покрывали глубокие борозды морщин.

— Чего там, Яська? Пришёл кто? — спрашивал старик, незряче повернувшись к двери.

— Пришёл, батюшка, пришёл, — мальчишка юркнул между обережниками и помог Строку подняться. — Сынок твой приехал. Тамир.

Говорил он громко, видать потому, что дед, как и пес, тоже был туг на ухо.

— Тамир? — голос хозяина избы дрогнул, а подбородок, заросший жидкой бородой, жалко запрыгал. — Приехал?

Колдун шагнул вперед, хотя внутренности скрутило от тоски и безысходности.

Холодные сухие ладони отца скользнули по плечам, лицу, голове сына, а потом радость

в слепых глазах поблекла.

— Ты кого привел? — спросил старик у Ясеня. — Кого в избу пустил, спрашиваю?

Мальчишка испуганно захлопал глазами:

— Батюшка, это ж сынок твой, Тамир. Ты ведь всё ждал его, говорил, сердце, мол, по нему изболелось, кабы худа какого не случилось. Так вот он. Приехал. Живой, здоровый. Радуйся — свиделись!

Но Строк оттолкнул долгожданного гостя.

— Прочь поди. Мертвечиной воняешь.

Ясень от этих слов позеленел и в ужасе уставился на колдуна, хлопая бесцветными ресницами.

— Господине, — зашептал паренек. — Господине, не знаю, что нашло на него, ты не гневайся...

Тамиру захотелось сесть на лавку рядом с этим старым человеком, который от него отсекся и не узнал. Сесть и биться затылком о старую печь, пока в голове не смеркнется, пока не отступит мучительная явь.

Не помнит.

Не узнает.

Никого.

Как же больно. Больно как!

Обережник круто развернулся и вышел. Избяное тепло и духота забивались в горло, мешали дышать. Он замер на крыльце, жадно глотая свежий воздух погожего таяльника. Но воздух застревал в гортани, не доходил до легких, и сердце дрожало, трепыхаясь часто-часто...

Клятая собака снова рычала от конуры, снова казала пеньки гнилых зубов. Тамир опустил на ступеньки. Лесана там, в избе, наверняка, заболтает старого и малого, наплетет с три короба, утешит, успокоит. А её спутник в это самое время будет сидеть на истертых порожках скрипучего крыльца, не зная, как себя вести. Не зная, что сделать. А сделать следовало. Что?

Он поднялся рывком, снова миновал сени, толкнул тяжёлую низкую дверь и вошёл в жару и духоту полутемной горницы. В несколько шагов преодолел расстояние до скамьи, на которой сидел и цеплялся за Лесанины руки трясущийся Строк. Девка что-то говорила ему, увещевала ласково. И Тамир вломился некстати. Зря ввалился. Она показывала ему глазами на выход, мол, вон поди, не делай хуже. Хотя хуже уже, казалось, некуда.

— Отец, — колдун опустил на колени перед стариком. — Это я. Ты вспомни...

И будто холодный камень отвалили с души. Воздух в горло полился, потёк ручьем. И сразу всплыло всё в памяти. Тканки, материнскими руками вышитые. Затертые уже, потрепанные. Но узор родной. А там, за печью, ухват старый, одна рогулька у него погнулась вкось, но всё одно удобный — горшки из печи таскать, а рогулькой скривлённой сподручно снимать горячие крышки.

И пол этот — выскобленный, чистый. На этих половицах Тамир играл в детстве деревянными резными чурочками — ставил одну на другую или в рядок...

Сердце болезненно сжалось. Никогда прежде обережник не думал, что может болеть то, чего, как он считал, у колдунов вовсе нет — душа. Но ведь болела же! Тоской исходила.

— Ты вспомни, — говорил мужчина, держа сухие стариковские ладони в своих крепких смуглых исчерченных белыми полосками шрамов. — Вспомни, как я дитём накидал яиц в

опару готовую. Прямо в скорлупе. И материной тяпкой покрошил. Помнишь? Как ты сперва за ухо меня оттащить хотел, но рука не поднялась, а потом смеялся.

Строк вздрогнул от этих слов, как от пощёчины. Высвободив руки и осторожно заскользил пальцами по лицу гостя.

— Тамирушка...

Лесане показалось, она услышала, как выдохнул Ясень, который уже, небось, готовился к тому, что колдун, хорошо, если просто из дому его вышвырнет, не осенив напоследок Мертвой Волей в спину.

Строк гладил сына по короткостриженным волосам, что-то неразборчиво шептал. И медленные слезы катились по его лицу. Меньше четверти оборота прошло, как старик, наравовавшись, начал клевать носом и клониться к сеннику.

Обережник поднялся на ноги и кивнул спутнице. Та поняла всё без слов, направилась к двери. За девушкой поспешил Ясень. Тамир вышел последним.

— Прощай, Яська, — сказал колдун, потрепав паренька по плечу. — Не поминай лихом. Ещё-то вряд ли увидимся.

В ответ на это мальчишка шумно сглотнул, но не осмелился расспрашивать, пробормотал только:

— Мира в пути.

— Мира в дому, — эхом ответили Осенённые.

Когда ворота закрылись, Тамир услышал, как глухо и тоскливо завыл на цепи Звон. Он тоже с ним прощался. И тоже навсегда.

— Идём, — сказал колдун спутнице.

Она поспешила следом, а потом осторожно, но с надеждой в голосе спросила:

— Тамир? У тебя всё прошло? Ты ведь вспомнил! Значит, стало лучше?

Колдун усмехнулся и ответил:

— Не стало. Просто, Ивор дал попрощаться.

Вдогонку им ласковый весенний ветер донёс отголосок собачьего воя.

Давненько он так не бегал! Мчался во весь мах. Если бы не удачно выбранный миг... Но всё одно Лесана в долгу не осталась — брошенный твёрдой рукой нож достигнул цели. Острая сталь вспорола шкуру над лопаткой и воткнулась в кость.

Внезапная острая боль подстегнула лучше всякого кнута.

Обережница пустилась было наперёд, и Лют подумал злорадно, мол, беги, беги, не догонишь, так хоть согреешься. Но девушка уже через пару шагов остановилась, поняла, что в одиночку, да ещё и вслепую пленника ей не настигнуть. Он утёк в чащу.

С тех пор прошло несколько ночей. Рана не затягивалась, а плоть вокруг неё вспухла и сделалась горяча. Боль мешала идти. Однако Лют старался не замечать её. Острый нюх вёл его через чащу. Следовало спешить. Жаль, силы заканчивались быстро и ночи были коротки. А ещё его мучила жажда. Дурной знак.

Несколько раз он перекидывался человеком. Щупал разверстую воспаленную плоть, с сожалением понимал, что дело, пожалуй, худо. Сама по себе рана была пустяковая, неглубокая. Но нанесла её Осенённая... и это всё меняло.

Он пил из каждого ручья, из каждой лужи и бочаги, попадавшейся на пути. Однако жажда становилась только острее, а рана раскалялась и полыхала, будто под шкуру насыпали углей.

Серой речки беглец достиг совсем обессилевшим. Отыскал отмель и упал в воду. Холодный поток студил рану, отчего плоть горела, словно её прижигали каленым железом. Впереди лежала вторая половина пути, сил на которую у волка уже не осталось. Ну, Лесана, спасибо тебе...

По счастью, кое-где уже полезла первая трава — робко, несмело, будто опасаясь внезапных заморозков, она проклевывалась из чёрной земли, тянулась вверх.

Выбравшись на берег, Лют припал носом к земле и отправился на поиски.

Нужное он нашел не сразу, но нашел! Перекинувшись человеком, осторожно срывал тоненькие, ещё не вошедшие в силу нежные былинки, жадно жевал, выплевывал на ладонь, а потом, извернувшись, закладывал в рану. Стало будто бы легче. Приглушенная боль сделалась терпимой. Он добрел до густого подлеска, забрался в ельник и уснул мертвецким сном.

Проснулся оттого, что проголодался. Потрогал рану. Болит. Но будто бы тише. Снова выкупался, на этот раз не волком, а человеком. Очистил воспаленную плоть, заложил свежепережёванной травяной кашицы. Напился. Хорошо...

Оставшийся путь беглец преодолел за несколько ночей. Торопился, как мог, ибо понимал — ещё немного и трава перестанет помогать. До Переходов он мчался две седмицы и достиг их тощим, со впалыми боками, облезлой шкурой и раной, вспухшей от гноя.

Возле Черты, наведенной Осенёнными, он не столько услышал, сколько почувствовал, что скоро его встретят. Так оно и вышло.

Из-за высоких деревьев выступили двое. Кровососы.

— Стой! — приказал один — крепко сбитый широкоплечий, с грудью выпуклой, словно бочка. — Кто такой?

Лют, собрав остатки сил, перекинулся и поднялся, пошатываясь, на ноги.

— Чего орешь, Велига? Я это.

Велига присвистнул, оглядывая оборотня.

— Тю! Тебя что — собаками травили?

Волколак усмехнулся.

— Травили. Серый-то в Переходах?

Мужчина кивнул:

— Здесь. Только не жди, что он тебе порадуется. Мара бросила стаю, а про тебя говорят, будто ты на побегушках у Охотников.

— Кто говорит? — спросил Лют, хромя вперед по тропе, к пещерам.

— Много кто, — ответил страж Черты ему в спину. — Много кто...

— Ну, пускай в лицо скажут, — небрежно отмахнулся оборотень и добавил: — Если не забоятся.

Велига покачал головой. По чести говоря, забоятся Люта в нынешнем его виде мог только едва ставший на лапы щенок. Впрочем, кровосос промолчал. А про себя подумал, что жить волку осталось меньше оборота.

...Темнота и прохлада пещеры после запахов и сумерек освещённого луной леса, показались Люту тоскливыми. Звериные тени выступили из мрака, окружили. Пришлеца обнюхивали жадно, с недоверием. Он стоял, не шевелясь, позволяя волкам разглядеть себя, вобрав все запахи, которые он принес.

Наконец, один из хищников обратился человеком.

— Лют, да ты никак вспомнил, что у тебя есть стая, — насмешливо сказал молодой мужчина с копной спутанных кудрей на голове.

— Я об этом не забывал, Кудлат, — ответил волколак.

Собеседник усмехнулся:

— Вот как? А по лесу ходят слухи, будто ты ездил при обозе, и тощая девка нацепила на тебя ошейник, словно на пса.

Лют смерил оборотня тяжелым взглядом и произнес:

— Девка та была Охотницей, а ошейник наузом — дёрнешься на шаг в сторону, душить начинает. Я не такой отважный, как ты, Кудлат. Мне пожить хотелось.

Кудлат в ответ на это промолчал, только смотрел на пришлеца с насмешливым прищуром.

— Чего? — спросил Лют, когда ему прискучило стоять столбом. — Нравлюсь что ли? Никак не налюбуеться.

В ответ собеседник покачал головой:

— У Серого к тебе будет много вопросов.

— А у меня не меньше ответов. Веди.

Они двинулись вниз по круто уходящей вглубь пещеры каменистой тропе. Лют спиной чувствовал внимательные взгляды хищников, крадущихся следом. Ближняя стая Серого. От них снисхождения не жди и слабину не выказывай, не то сожрут.

Весть о возвращении Мариного брата достигла нижней пещеры прежде него самого. Волки стягивались со всех концов, кто в зверином, кто в человеческом облике. Подходили, принюхивались, тыкались мокрыми носами в руки, в живот, в ноги. Иные брезгливо чихали и сразу же отходили. Этих он запоминал.

— Ишь ты... — послышался спокойный ровный голос. — Кто припожаловал. А чего ободранный такой? Чтоб разжалобить?

— Ага, — ответил Лют. — Две седмицы сюда через чащу нёсся, чтоб ты пожалел.

И он опустил на лежащий рядом валун.

Серый стоял напротив, скрестив руки на груди. Взгляд у него был колющий, изучающий. Но чего Люту скрывать? Он весь тут. Хочется, пускай смотрит.

— Тревожные слухи дошли до Переходов, — тем временем вкрадчиво сказал вожак. — Ты с Охотниками снюхался. Путешествовал с ними аж от самой Крепости. На коротком поводке у девки Осенённой ходил, выводил её на стаи. Поди, и языком мёл так, что до корня его стесал?

Лют насмешливо смотрел на собеседника:

— Ещё бы! Я ей даже обещание дал на тебя вывести. И служить клялся верой и правдой. А перво-наперво рассказал, сколько волков у тебя. Да и сверх того, много чего. Благо — поверили. Из темницы вытащили, накормили.

— Ты расскажи лучше, как ты им попался, — прервал его вожак. — Дюже интересно послушать.

Оборотень пожал плечами, мол, чего мне скрывать?

— Так и попался. В деревеньке той, на которую нас Выжга повел, засидка ждала. Охотница, почитай, всю стаю из лука положила. Я в землю вжался, лежу, а сам думаю — попадет, не попадет? Или, может, повезет — за мертвого примет? Девка, она девка и есть. Но кроме меня ещё трех Выжгиных полудурков стрелы не взяли. Я-то притих, беду не кликаю. А эти мечутся, кидаются. Ума нет. Ну, она и скажи им, мол, коли жить хотите, оборачиваетесь. Я так подумал — живым-то всяко лучше, чем мертвым. Вот и перекинулся. А они нет. Кто знает, отчего им жить наскучило? Из-за дури, небось. Охотница их там же и зарубила. А меня связала и в Крепость потащила.

— Складно, — похвалил Серый. — Дальше что?

Лют горько усмехнулся:

— Дальше? Дальше, Серый, плен был. Посадили, как собаку на цепь, в каменный мешок. Выводили поговорить. Про тебя спрашивали. Про стаю. Я отвечал. Обещал помогать во всём в обмен на жизнь. Только вожак их решил, что толку от рассказов этих немного, а потому приказал своей Охотнице забрать меня и везти по городам — приваживать собак на запах зверя. А я жить хотел. И на свободу хотел. Поэтому выслуживался. Из шкуры вон лез, лишь бы своим посчитали. А ежели не своим, так купленным. Они и посчитали. Девку-то вокруг пальца обвести — особого ума не надо. Тут слово ласковое скажи, там пожалей, тут помоги, там заступись. Дело-то и сделано. А уж после того, как я на их засидки несколько стай вывел... Не пепели глазами-то. Я ж не дурак. Я диких выводил. Да ты знаешь, небось.

Вожак кивнул, задумчиво глядя на собеседника. А тот продолжил:

— Ну вот. Раз, другой, третий. Они и разомлели. Потом я удачный миг выждал, когда науз с меня сняли. Охотницу по глазам веткой хлестнул и утёк в чащу. Только она мне тоже на память метку оставила. Еле дошел.

И Лют повернулся, показывая разорванную, побуревшую от крови рубаху и воспалённую рану, видную сквозь прореху.

— Гниёт, — пожаловался оборотень. — Даже травы не помогают...

Серый отвел в стороны ткань, поглядел на увечье. Хмыкнул. Пару раз ткнул пальцем в разверстую плоть. Лют зашипел.

— Знато... Как ты думаешь, Лют, стоит ли на тебя Дар переводить? Лечить? Для стаи ты бесполезен. Сестрица твоя единокровная сбежала, беды наделала. С тем и сгинула. Только она хоть Осенённая была. А ты — простой волк. Толку от тебя, как от колтуна на

хвосте.

Его собеседник в ответ на это дернул здоровым плечом.

— Толк, Серый, от всех есть. Не хочешь — не лечи. Ты в своём праве, Дар-то твой. Только и я тогда промолчу о том, что узнал. Раз для стаи я бесполезен, то бесполезным и сдохну.

Вожак прищурился. Была в его взгляде насмешка, но и любопытство тоже.

— Откуда мне знать, Лют, что ты там наболтал Охотникам? Язык у тебя длинный...

Лют в ответ на эти слова осклабился:

— Откуда мне знать, Серый, что ты не обидел мою сестру? Или не убил? Мара, конечно, девка с придурью, но с чего бы ей уходить из стаи?

Глаза вожака потемнели и он предположил:

— Так, может, она за тобой подалась?

— Может, — согласился оборотень. — Только я тут, а её нет. Зачем бы я к тебе попёрся на верную смерть, если бы меня в стае ничего не держало?

— Что ты наболтал в Цитадели? — резко спросил Серый, подступая к собеседнику. — Выкладывай.

— Сказал, что свирепый ты и припадочный, что не знаю, чего у тебя на уме, что стая твоя из одних Осенённых, что силища у вас страшная, что носитесь вы по лесу и никого не щадите, что никто не связывается с тобой и не знает, что у тебя на уме.

Вожак глядел недобро, однако молчал. По чести сказать, Серый давно уже всё решил. Лют для него был бесполезен. А после ухода Мары бесполезен вдвойне. Впрочем, кое-какую выгоду можно получить и с него.

— Чего ты там хотел рассказать?

Оборотень ответил, не ломаясь:

— Я знаю, что на последней седмице зеленника из Цитадели пойдёт обоз. И обоз этот будет тебе очень интересен.

Серый в ответ на это откровение только развел руками:

— Вот ведь беда для тебя, я уже об этом обозе знаю. Больше нечего рассказать?

Оборотень улыбнулся:

— Почему же? Например, я знаю об этом обозе нечто такое, чего не знаешь ни ты, ни те, кто тебе о нём рассказывали.

После Елашира были Радонь, Тихвень, Ершим и, наконец, Семилово. Лесана уже не искала обозов, чтобы добраться до ближайшего города. Она сама вела эти обозы.

Надо сказать, за все дни последующего странствия, беды более не приключалось ни с одним из торговых поездов. Лес как будто утих и Ходящие унялись.

Весна бушевала! Тянулась из жирной черной земли молодая трава, деревья стояли окутанные бледно-зелёной дымкой, и воздух пах нарождающейся жизнью, приближающимся летом...

Увы, в душе Лесаны ничто не отзывалось на это ликование. Не было предвкушения. Не было радости. Девушка с тоской думала лишь о том, *как* вернется в Цитадель и что скажет Главе. От этих мыслей хотелось удавиться.

Да ещё болело сердце за Тамира. Тот переживал диковинное перерождение, которого обережница не понимала — все тяготы и страдания, хранимые памятью прежде, колдун забывал. Наверное, именно поэтому взгляд его стал спокойным, умиротворенным, словно обращенным вглубь души. Это, вроде бы, был прежний Тамир, но преобразившийся до неузнаваемости. Девушка не знала, как к нему подступиться. На все её вопросы он отвечал либо движением подбородка, либо сухими рублеными фразами.

Однажды вечером обережница спросила его:

— Тебе не страшно?

Тамир помолчал, а потом ответил:

— Нет. Чего мне бояться?

Собеседница пожала плечами и предположила:

— Например, что навий в теле твоём поселился.

Колдун грустно улыбнулся:

— Экая досада...

Лесана не нашлась, что ответить. Она знала, иногда человек достигает того мига, когда ему ничто не страшно, потому что терять уже нечего. Утрата жизни — ерунда в сравнении с утратой самого себя. Но её спутник, похоже, был рад раствориться в Иворе без остатка.

— Почему? — девушка тронула мужчину за локоть. — Почему тебе все равно? Ты ведь молод, здоров. Жить и жить...

Она беспомощно замолчала, потому что понимала, насколько глупо звучат её слова. Глупо и неискренне. Ну, по сути — ради чего ему жить? Чтобы отчитывать покойников? Потрошить трупы? День за днем, вернее, ночь за ночью. С ума сойти, радость.

— Мне впервые спокойно, Лесана, — ответил он. — Вот тут, — Тамир легонько постучал ладонью по груди, — тишина будто. Нет боли. Ничего нет. Так хорошо...

Обережница потрясенно замолчала.

...С этого их разговора прошло чуть больше суток, когда навстречу обозу с лесной тропинки выехал мужчина верхом на гнедой кобылке. Незнакомец так радостно замахал торговому поезду руками, что Лесана, напрягаясь уже, и на всякий случай изготовившаяся к схватке, слегка расслабилась.

— Стойте! Стойте! — незнакомец направил лошадь вперед. — Целитель есть при обозе?

Девушка, наконец, смогла разглядеть его — средних лет, в волосах и бороде — седина.

Одет добротнo, да и кобылка ухоженная, лоснящаяся, только уставшая, дышит тяжело — бока крутые так и раздуваются.

— Ты чьих будешь? — удивилась бережница. — Откуда тут взялся?

— Из Дальних Враг я. Щуром кличут. На большак на удачу вышел, надеялся обоз какой перехватить...

— Зачем тебе, Щур, обоз? — спросила девушка, незаметно оглядываясь.

Лес был спокоен — пели птицы, ветер гулял в кронах и между деревьев не мелькали звериные тени. Вроде не засидка, но кто знает?

Спиной Лесана почувствовала, как Тамир, ехавший в возке, тоже подобрался.

Впрочем, Щур не заметил настороженности бережников, он торопливо рассказывал:

— Беда у нас. Детская ржа пришла в деревню. Вчера сразу четверо ребятишек померли. Больше дюжины хворают, другие готовятся захворать. Знахарка наша отварами их пользует, барсучьим салом с медом растирает, да все без толку...

В это самое время с хвоста обоза прибежал запыхавшийся грузный мужик в летах. Бережники везли его оказией из Семилова в Славуть. Звали мужика Тропом, был он словоохотлив и добродушен, а нравом, как и телом, мягок.

— Щур, ты что ли? — с недоверием воскликнул Троп и тут же повернулся к Лесане. — То ж братанич мой!

Щур и сам оказался удивлен не меньше Тропа. Сперва только глядел изумленно, а потом торопливо спешил и крепко обнял дядьку.

— Отчего сороку не отослали сторожевикам? — сухо и враждебно спросила бережница. — Тебя спрашиваю. Как допустили такое?

Мужик оторвал от себя причитающего сродника и зло рявкнул, глядя на собеседницу снизу вверх:

— Ты меня не лай! Нашлась тоже! Отсылали мы сороку. Ни слуху, ни духу седмицу уже! Думаешь, от хорошей жизни я на большак попёрся?

С удивлением девушка поняла, что Щур не только устал и напуган, но и едва сдерживает слезы.

— Ну, ну, — смягчилась Лесана. — Уймись.

— Уняться? — мужик поспешно обтер лицо ладонью. — Из тех четверых — моих двое.

Троп охнул, всколыхнувшись всем своим дородством, и запричитал ещё пуще:

— Хранители светлые, горе-то... горе-то...

— Далеко до твоей деревни? — спросила бережница.

— Семь вёрст, — глухо ответил Щур. — Может, побольше, может, поменьше.

— Едем.

И девушка махнула рукой, поворачивая обоз с большака на проселочный путь.

— Отчего в соседней веси не попросили птицу? — снова обратилась Лесана к Щуру. — У вас же тут Юхровка под боком.

Мужчина в ответ лишь горько усмехнулся:

— Попросили. Только староста юхровский руками развел, мол, ещё пождите — боязно-де вторую птицу потерять. Потерпите, авось приедут.

— Вон оно что, — протянула Лесана. — Боязно, значит? Что не поделили вы с юхровскими?

Щур поглядел на бережницу с уважением. Сперва его смутила девка — вой, но теперь он присматривался к ней и против воли проникался почтением.

— Невесту, что же ещё? Невеста та — ныне уж баба с детьми, да и у юхровского головы скоро внуки пойдут, только злая обида у мужика стрелой в сердце засела. Памятлив он на недоброе. А уж как старостой выбрали...

Лесана кивнула. Знала она таких. Обидчивых. Приклеятся, как смола, со своей досадой, всю душу вымотают. Вспомнить хоть Мируту — дурака пьяного.

...Веси достигли через несколько оборотов.

Солнце уже клонилось к закату, когда торговый поезд, заметно растянувшийся на узкой дороге, выехал к крепкому тыну. Тамир, который ещё на большаке перебрался в последнюю телегу обоза, чтобы следить за лесом, наконец-то перевел дух. Лесана тоже заметно расслабилась. Добрались без приключений и то ладно.

Деревня встретила неожиданных гостей скорбной тишиной. Люди, высыпавшие из домов, были невеселы — своей беды с лихвой, а тут ещё приезжих несколько телег. Всех разместить, накормить — до того ли, когда в каждой избе хворают ребята. Обережница по лицам читала все эти нехитрые мысли.

— На улице заночуем, — сказала она купцам. — Нам не впервой. А людям проще. Тамир, ты...

Она огляделась, потому что колдун, только миг назад стоявший рядом, уже куда-то исчез.

— Тамир! — девушка настигла его возле одного из домов. — Ты куда?

Взгляд колдуна был угрюмый и... чужой.

— Я детей погляжу, — ответил наузник. — Вдруг, помочь ещё можно.

— Детей? — удивилась Лесана. — Тебе не живых надо смотреть. А мёртвых. Отчитать, упокоить...

— Отчитаю, — сказал он и, обойдя ее, направился к крайнему двору.

— Кто там живет? — спросила обережница растерянного Щура. — Хворые есть?

Мужчина кивнул:

— Мой это двор. И хворых там трое. Кроме тех, которые...

Он сморгнул слезы. Впрочем, собеседница и так все поняла. Следом за хозяином она отправилась в избу.

Здесь было душно от жара печи и горящих лучин, пахло дымом, травами и болезнью. На краю широкой лавки сидела женщина и с ужасом смотрела, как колдун в сером облачении ощупывает её дитя, мечущееся в жару. В тёмном углу висела зыбка со спящим младенцем. На печи сипло дышали двое других занемогших ребят.

— Лесана, — сказал Тамир, даже не поворачиваясь к спутнице, — трав мне принеси. Девясильника, чистотела, щербака, липового цвета, если есть.

Девушка посмотрела на хозяина избы и показала взглядом на дверь. Щур понял молчаливый приказ и подхватив под руки тут же заголосившую жену, выволок её из дому.

— Ивор, — негромко позвала Лесана. — Что ты собрался делать?

Колдун медленно повернулся к собеседнице. Лицо его было застывшим, а взгляд темных глаз остановившимся.

— Ивор, отвечай, — так же тихо сказала девушка.

— Я хочу помочь. Они болеют. Это плохо. — С трудом ответил навий. — Дети не должны болеть и умирать.

Голос его звучал глухо. Вроде бы и Тамир говорит. А вроде и нет.

Впрочем по части сказанного, Лесана с Ивором была согласна, поэтому она выглянула

за дверь и кивнула Щуру, ждущему в сенях хоть каких-то известий:

— Идём, провожу вас. Переночуете у родни.

Хозяйка избы разрыдалась глухо и безутешно, словно ей только что объявили о смерти всех детей разом. Запричитала, повисла на муже.

— Не плачь, — сказала обережница и тут же соврала: — **Выходим.**

Уже в густых сумерках девушка проводила безутешных родителей до соседней избы, где передала с рук на руки испуганным соседям.

Ночь напознала из лесу так торопливо, словно хотела проглотить маленькое поселение до срока. Пока Лесана дошла до телег, на которых устраивались ночевать обозники, уже сделалось темно, хоть глаз коли. Девушка нашарила в возке свой заплечник, порылась в нем, достала холщовый мешок с травами и бегом отправилась обратно к Тамиру.

— Вот, — она вошла в избу и замерла на пороге, удивленная.

Колдуна словно подменили. От былой задумчивости и скупости движений не осталось и следа. Рукава рубахи он закатал выше локтей и теперь сноровисто орудовал у печи — подбрасывал дрова, наполнял горшок водой из деревянного ведра. На спутницу даже не посмотрел, выхватил из рук сверток с травами, развернул. Лесана же глядела на мужчину широко раскрытыми глазами. Тот, кого она знала много лет, исчез, оставив от себя лишь оболочку.

Движения колдуна были точными и отрывистыми, лицо разругалось то ли от жара печи, то ли от той страсти, с которой он взялся за работу. Он брал травы, не глядя, но при этом, точно зная, каких и сколько надо, отправлял ломкие былинки в горшок, а длинные пальцы скользили по горловине, рассыпая искры Дара. Губы что-то шептали...

Обережнице сделалось жутко. Волоски на затылке зашевелились от давно позабытого животного страха и липкий пот выступил между лопаток. Мужчина, стоящий напротив, больше не выглядел человеком. Серебристые линии, что снова проступили под смуглой кожей, мерцали и вспыхивали, змеились по рукам, шее, слабо тлели сквозь одежду... Будто древний мёртвый Дар тёк по жилам человека, являя свою страшную силу.

Поглощенный приготовлением зелья, навий не замечал ничего вокруг, ни на что не отвлекался. Однако Лесана понимала, если она сделает хоть что-то, чтобы помешать ему, он, пожалуй, попытается убить, не задумываясь. Безумие слышалось в его лихорадочном шепоте, оно же сквозило в отточенных движениях, отражалось в потемневших глазах...

Девушка скользнула к лавке, на которой затихла, забывшись тяжелым сном, девочка лет восьми-девяти — тоненькая, потная, с безобразными свищами по телу. Дышала она сипло, прерывисто. Лесана потрогала выпуклый лобик Горячий. Аж полыхает.

В глубокой миске, что стояла под лавкой, оказалась вода с уксусом. Обережница уже потянулась к ней, но колдун сказал:

— Не тронь. Я сам, — он достал из печи булькающий горшок и пояснил: — Ты не знаешь, как.

Лесана смотрела на собеседника исподлобья. Ивор не мог ей навредить, это уж точно. Защитная реза и сейчас сияла под серой рубахой. А коли навий знает, как помочь, почему бы ему не позволить? Целителя им не дозваться. Силы же обережницы хватит, чтобы вылечить одного-двоих, но не на всех ребятишек деревни.

Тем временем колдун снял с кипящего горшка крышку, достал из-за пояса нож, рассек ладонь и, щедро роняя кровь в исходящее паром варево, забормотал слова заклинания. Дар сиял ослепительно и вместе с рудой тёк в снадобье.

— Ты уверен, что... — начала было обережница, но наузник прервал её.

— Уверен.

Он перелил кипяток в большую миску, долил ковш холодной воды, снова провел по краям пальцем, заставляя Силу искриться на поверхности и медленно оседать в зелье.

Лесана лишь потрясенно наблюдала происходящее.

Ивор влил девочке в пересохший рот ложку отвара, тем же самым отваром, но перелитым в миску поменьше, протер свищи и язвы, а потом пробежался пальцами по маленькому телу, рассылая Дар.

Затем настал черед двоих мальчишек постарше, которые лежали на печи. После этого колдун склонился над зыбкой, что висела в углу. Младенец спал и на вид был здоров. Но Ивор рассудил иначе. Он выпростал из пелёнок недовольно запищавшего мальчонку, обтёр, общупал с головы до крохотных ножек и напоил горькой травяной настойкой, отчего ребёнок взялся кричать ещё истошнее. Но обережника это не смутило, сноровисто он завернул малыша в сухую холстинку и сунул вопящий сверток в руки Лесане.

— На, держи. Уйми только.

Девушка едва перенять успела.

У неё на руках младенец сразу же замолчал, почмокал маленьким ротиком и уснул, словно не исходил на крик ещё несколько мгновений назад. Обережница положила мальчонку обратно в зыбку.

— Я по другим избам пойду, — сказал тем временем Ивор, беря в руки горшок с отваром.

— Спятил? — Лесана заступила ему дорогу. — Ночь уже. Только перепугаешь всех.

Колдун смотрел на неё тяжелым немигающим взглядом.

— Пропусти.

— Если и пойдешь, так только со мной. Понял?

Он с неохотой кивнул.

...В жизни Лесаны, не такой уж обычной, как у иных, не было, пожалуй, ночи страннее. Навий неведомым чутьем угадывал избы, в которых находились больные дети, девушка стучала в двери и понимала, что люди, там внутри, обмирают от ужаса. А когда обережники появлялись на пороге, несчастные не знали — радоваться им или бояться...

До утра обошли всех и с рассветом вернулись обратно в избу Щура.

Голодный младенец орал в зыбке — красный от натуги и по самые уши сырой, тогда как его старшие братья и сестра спали таким крепким сном, что докричатся их меньшей не мог, как ни старался. Жар у детей пошёл на убыль, свищи зарубцевались.

Лесана решила, что злость в ней будет тем сильнее, чем меньше она поспит. А вот Тамир — бледный и обессиленный — едва поднялось солнце, завалился спать в телегу. Укрылся с головой войлоком и был таков. Резу ему обережница подновила уже спящему. Он даже не поморщился, хотя рана, которую терзали изо дня в день, была воспаленной.

Девушка же запрягла лошадь и отправилась в Юхровку. С ней увязались и несколько купцов из обоза, в надежде хоть за короткий срок сторговаться с юхровскими по каким-никаким мелочам.

Весь расположилась в трёх верстах от Дальних Враг. Ладное поселение — большое, светлое, на берегу старого лесного озера. Красиво здесь было. Особенно нынче — весной. Густой ракитник, покрытый молодыми серебристыми листьями, окаймлял берег, а по черной воде бежала мелкая рябь, на которой покачивалось отражение высоких сосен, неба и облаков. Хорошо как... Что только людям надо?

Четверых путников, в сопровождении обережницы, приняли со всем почтением. Юхровский староста — статный седовласый мужик с красивым лицом и ухоженной окладистой бородой — низко кланялся, зазывал гостей в избу, хотя в душе не понимал, откуда вдруг взялись странники, и что им понадобится в его маленькой веси. Впрочем, Лесана не заставила деревенского голову томиться в догадках.

Девушка спешила и спросила вроде бы дружелюбно:

— Как звать-величать тебя, уважаемый?

Мужчина с достоинством ответил:

— Честом.

— Так это ты, Чест, соседней веси в сороке отказал, когда к тебе обратились? — спросила Лесана, постукивая по голенищу сапога нарочно прихваченным с собой кнутом.

Староста, видать, понял, что дело для него принимает дурной оборот, и сошёл с лица. Однако на то он в деревне и главный, чтобы достоинства не терять и в грязь лицом с размаху не падать. Нашёлся быстро.

— Ты не гневайся, госпожа, — заговорил мужик мягко, ласково. — Ведь не со зла не отдал. У меня тут сорок дворов. Своей ребятни не перечешь. А из Враг сорока улетела, пождать лишь и надо было. Мне-то как деревню без вестницы оставить? Оборотни лютуют, кровососы... Да и хворь та же могла нас стороной не обойти. Боязно.

Лесана глядела на него и думала: вот как так? Ведь такой же муж, отец. У самого, поди, семеро по лавкам. Ведь не глупый мужик, и не совсем бесовестный. Бесовестного да глупого не выбрали бы старостой. Так отчего не помог? Отчего отвернулся? Да не просто отвернулся — оттолкнул. Таких же людей, как он сам — с детьми, с бабами. Почему? Боязно, видите ли. Ну что ж...

— Ах, боязно? — протянула обережница. — Понимаю...

Лицо деревенского головы на миг просветлело, но тут же пошло багровыми пятнами. Не первый год жил Чест на свете, да и Лесана была никудышной лицедейкой, иначе как объяснить, отчего мужик попятился?

Впрочем, девушка его удержала. Бороду в горсть взяла да вниз дернула, ибо повыше насельницы Цитадели староста юхровский оказался. Головы на полторы.

— Страшно, значит? — переспросила обережница. — Ну, идём на конюшню. Я тебе

покажу, как из Осенённых в крепости страх выбивают. И страх. И дурость.

Да так и поволокла за собой до ближайшего двора.

Как Лесана секла старосту, слышала вся деревня. Кнутовище о спину сломала, зато сон, словно рукой сняло.

— И запомни, Чест, ещё раз хотя обойдешь кого помощью, самолично приеду и голову отмахну, — сказала девушка и отшвырнула в угол бесполезный уже, измочаленный кнут. — А сороку свою ты нынче отправишь. И к лапке вот, грамотку прикрепишь. И не дай тебе Хранители, не выполнить.

Обережница бросила скорчившемуся на земле мужику тоненькую полоску бересты, исчерченную резами — нынче утром написала в Броды, чтобы отправили сороку в Дальние Враги, их-де, сгинула.

— Мира в дому, — сказала уже от дверей.

Как не посекала от души, а всё одно, прохрипел юхровский голова вослед:

— Мира...

Гнида бородатая.

Время — диковинная величина. То едва ползет оно, то вскачь несется, то неспешно течёт, а то замирает и, кажется, будто застыло навсегда. Или, бывает, для тебя миг тянется и длится, а для другого кого — пролетает быстрее птицы.

Об этом думала Клёна, глядя на Фебра.

Её время нынче тянулось, словно прошлогодний мёд. А его, должно быть, мелькало короткими ослепительными вспышками между пробуждениями. Девушка помнила, каково было ей выздоравливать прошлым летом, а ведь ратоборец изранен куда сильнее. Так что дни, которые для неё едва ползли, для него проносились пёстрым хороводом, в котором ни лиц не узнать, ни слов не разобрать.

Как-то само-собой получилось, что хлопоты об израненном вое целители, не сговариваясь, доверили дочери Главы. Видать, распознали робкую девичью радость — Фебр шёл на поправку. Он уже не метался в жару, хотя по-прежнему спал больше, чем бодрствовал. Однако нынешний сон не был наведен дурманными травами, то было забытьё, дарующее исцеление и так нужный изъязвлённому телу отдых.

Помнится, когда ратоборец очнулся после целебной настойки и обморочного сна, в который рухнул едва не на сутки, Клёна как раз заканчивала вязать шаль.

— Птичка... — сиплым пересушенным голосом окликнули её.

Девушка выронила иглу и вскочила на ноги, роняя работу на пол.

Фебр улыбался. Взгляд у него ещё был мутным, а улыбка вышла слабой, да и голос был едва слышен.

— Не пригодилась куна-то?

Клёна медленно покачала головой, все ещё не веря в то, что обережник её снова узнал и что, несмотря на мрачные предсказания Русты, он не повредился умом.

— А ты... боялась, — прошептал ратоборец, облизывая пересохшие губы.

Она осторожно приподняла его голову, дала воды. Он сделал три трудных глотка и закрыл глаза. На бледном лбу высыпала испарина. Клёна отставила ковшечек и смахнула пот ладонью.

— Ты отдыхай... — больше она не знала, что ему сказать.

Мужчина уснул, а его сиделка вернулась на свою скамеечку, сменила в светце догорающую лучину и вдруг уткнулась лицом в заледеневшие ладони, смиряя дрожь. Впервые её колотил озноб не ужаса, но облегчения. Будто отвалили с души огромную каменную глыбу.

...На следующее утро он проснулся чуть свет. Как раз пришёл Руста, так что Клёна с сожалением покинула скамью, на которой провела столько бессонных ночей. Ей нужно было идти на урок. Но впервые за всё время, пуще смерти, не хотелось сидеть в ученической зале и твердить резы. Однако девушка ушла.

Что там делал Руста, о чём говорил с очнувшимся воем, она не знала. Но вечером Клёну в лекарскую не пустили. Ихтор сказал:

— Не ходи пока сюда. Не надо.

— Почему? — у девушки побледнело и вытянулось лицо. — Почему гонишь?

— Ни к чему ты здесь сейчас. Седмицы две выжди. Пусть немного в силу войдет. Да и мы поглядим, что к чему. Он теперь быстро поправляться станет. А ты покамест учёбой

займись.

— Почему? — снова упрямо спросила Клёна, а потом взмолилась. — Скажи хоть!

— Отец не велел, — сухо ответил крефф. — А уж почему — сама у него спрашивай.

Несчастливая застыла, глядя под ноги. Не станет она спрашивать. Хотя Клесх объяснит, небось. Только и без того ведь понятно — раз не велел, значит надо так. И девушка ушла. А себе воспретила даже приближаться к Башне целителей, даже смотреть в ту сторону. Но глаза сами собой обращались к высокому крыльцу, если случалось Клёне оказаться во дворе и идти мимо.

Дни стали долгими... Такими долгими! И каждый тянулся, будто хотел стать длиннее предшествующего. И не хотелось думать о том, что же там происходит — в лекарской. Не хотелось. Но думалось. Клёна знала — отец туда ходил. Несколько раз. О том говорили. И оставался подолгу. Конечно, ведь Фебр был его выучем, почитай, меньшим братом.

И снова дни. Солнечные, тёплые. Бесконечные. И ночи. Прозрачные, звёздные, ясные. Тоже долгие-долгие. Когда лежишь без сна и кажется — не наступит утро. А если забываешься, то короткой чуткой дремой, которая утомительнее яви.

Но прошли две седмицы. Поблазнилось — два года тянулись, однако всему срок выходит. Клёна снова отправилась к Башне. И замерла нерешительно: войти или нет? Вдруг, снова прогонят, сославшись на отца? Что ж, прогонят, так уйдёт.

Она несмело толкнула дверь и зашла внутрь. В лицо ударил знакомый запах — трав, воска, лечебных настоек. Запах был сладким и резким, но он изменился. В лекарской более не пахло кровью, грязными повязками и вонючими мазями, которыми покрывали раны, чтобы быстрее заживали.

Было тихо. И на счастье за столом у окна сидел не Руста, а Ихтор. Он придиричиво проверял стоящие перед ним в маленьких горшочках отвары. Видать, младшие выучи делали, а крефф теперь оценивал, у кого как получилось.

— Пришла-таки? — не удивился целитель.

— Пришла, — ответила девушка, не решаясь без позволения идти дальше.

— Ну, ступай, чего застыла? Только спит он.

Клёна кивнула и неслышно скользнула к лавке, которую не было видно из-за крутобокой печи.

Фебр и впрямь спал. Эти две седмицы сильно изменили его. Восковой бледности не осталось и следа, исчез лубок с правой руки, не было и повязок, а страшные раны затянулись тонкой глянцевице блестящей розовой кожицей. Коснуться боязно — вдруг снова раскроются? А какой он был худой! Кости одни. Ребра выпирают, плечи острые, ключицы торчат...

Скамейка, на которой девушка провела столько бессонных ночей, как прежде стояла у окна. Клёна присела. Она не слышала, как ушёл Ихтор, и не знала, сколько оборотов миновало после этого. Заглянул ненадолго Руста. Ничего не сказал, взял два мешочка сушеницы, чем-то погромел и покинул лекарскую. Снова воцарилась тишина. Солнце — горячее, будто летнее, лилось в раскрытое окно. Ветер доносил крики выучей с ратного двора, вороний грай, шум леса... И день тянулся, тянулся — восхитительно долгий. Фебр спал.

— Птаха...

Клёна вскинулась. Видимо, успокоенная его ровным дыханием она задремала и проспала довольно долго, потому что солнце уже перевалило за полдень.

Ратоборец смотрел на девушку и улыбался.

— Борода у тебя, — покачала головой Клёна, — косы плести можно.

Он улыбнулся ещё шире и приподнялся на локте. Видно было — уже довольно для того окреп.

— Мне снилось, ты меня поила какой-то настойкой, — сказал Фебр. — Горькой.

Девушка под села к нему:

— Поила.

Он снова опустил на сенник и теперь глядел на собеседницу снизу вверх:

— Спасибо, — поблагодарил ратоборец и добавил, взглядом показывая на свои укрытые покрывалом ноги: — Поняла теперь, как оно с нами бывает...

Клёне на миг стало и грустно, и смешно оттого, что он решил, будто она ухаживала за ним из сострадания и благодарности. Благодарности за то, что в своё время спас, а потом ещё и вразумил, не дав стать возлюбленной воя, чем избавил от печальной будущности быть женой изувеченного, ни на что не годного мужика.

И она спросила упрямо:

— Как?

Фебр улыбнулся, полагая, что собеседница его не поняла:

— Вот так. Как со мной случилось. Ты не ходи сюда, не надо.

Весь гнев, накопившийся в душе за последние месяцы, разом вскипел в Клёне.

— Опять гонишь? — спросила она, смиряя острую горечь обиды. На себя. На него. На жизнь. На Ходящих.

— Жалею, — пояснил обережник.

— А чего меня жалеть? — холодно удивилась девушка. — Меня жалеть нечего — очи видят, уши слышат, руки-ноги целы.

Вышло слишком резко. Но он не обиделся. Только снова улыбнулся. А в ней зашлось сердце — столько горечи было в его улыбке!

— Вот и меня нечего, — сказал, наконец.

— А я и не жалею, — отозвалась Клёна. — Жалела бы — сидела в углу да плакала.

Ей было больно. По-настоящему больно оттого, что он всё никак не хотел ей верить, всё пытался разглядеть в её поступках упрямство вбившей себе в голову блажь избалованной девки.

— Ты изменилась, птаха, — тихо произнёс Фебр.

— Повзрослела, — поправила его она и добавила твёрдо, чтобы не мог оспорить: — Завтра снова приду. Я за минувший месяц всякого тебя видела — и больного, и чуть живого, и умирающего, поэтому в жилу пошедшим меня не испугать.

Он смотрел на неё потрясенно. Эта отповедь была резкой и честной. Обережник не нашелся, что сказать.

Клёна пришла на следующий день. Не с утра, едва проснувшись, а сходяв на урок и после него затвердив то, что наказали.

— Я тебе одежду принесла, — она положила на скамью чёрную рубаху.

Рубаху дала Нурлиса, причём — хвала едкой старухе! — выбрала такую, чтобы не была сильно велика отошавшему за месяцы плена и болезни парню.

Фебр с тоской посмотрел на черное облачение ратоборца. Ему такое вздеть — курам на смех. Но он ничего не сказал. Да и что тут говорить?

Тамир наслаждался весной. Давно, уже очень давно ему не было так хорошо и спокойно. Одиночество и сомнения, без устали терзавшие его все последние годы, отступили — их вытеснил собой бушующий зеленник.

Воздух казался дурманным и пьяным, голова кружилась, и перед глазами проносились не то видения, не то воспоминания. Колдун не задумывался. Он жил между двойной явью и одновременно с этим будто бы видел два разных сна.

В одном он был человеком — сыном, мужем, отцом, дедом, обережником... В другом — скитальцем, запутавшемся во множестве дорог, безнадежно ищущим путь к дому, к людям, которых покинул. Он не помнил их имен и лиц, не помнил, зачем ему непременно надо их отыскать. Знал лишь одно — искать нужно... Впрочем, и торопиться с этим уже ни к чему.

А явь его путалась, заставляя постоянно теряться в догадках — то, что так часто напоминает о себе, было ли с ним на самом деле? Мерещилось ли? Застенчивая девушка с короткими волосами, закрученными в легкие тонкие кудряшки — она улыбалась и пела. Он помнил, как она склонялась над старыми свитками и тень от длинных ресниц падала на нежные щеки. От этих воспоминаний теплело на душе... Кто она была? И где она теперь? С кем?

Не помнил. Но был счастлив.

Иногда всплывала перед глазами другая — с тяжелой русой косой и синими лучистыми глазами, с кожей сливочно — белой и красивыми мягкими руками. Лицо было знакомым. Но всё одно — Тамир не помнил имени. Да и казалось отчего-то — не нужно помнить. Незачем. И он снова не ворошил минувшее.

По ночам, во снах к нему приходила женщина — темноглазая, с волосами, тронутыми сединой. Что-то ласково шептала, касаясь головы. Гладила сухой ладонью от бровей к волосам, а он лежал, вытянувшись на лавке, положив тяжелую голову ей на колени. Закрывал глаза. Сердце трепетало. Пахло хлебом и домом, подошедшей опарой и печным дымом...

Тамир знал: если захочет, то, наверное, вспомнит, что связывало его со всеми этими женщинами. Но он не хотел. Он просто был счастлив.

Случалось, ему являлась девочка. У неё были светлые кучерявые волосы, разбитые коленки и исцарапанные руки. Она что-то говорила, и, хотя он не мог разобрать слов, тихая радость проливалась в сердце. Он играл с ребенком. Она забиралась к нему на колени, дергала за волосы, смеялась. Он её щекотал. И просыпался счастливее, чем засыпал.

Бывали мгновения, когда на него находила неведомая блажь, хотелось вдруг вспомнить то, что было *после*. Не вся же его жизнь состояла из радости? Что стало со всеми теми людьми, которые приходили к нему во снах? Ивор мешал. Повисала перед глазами чёрная завеса, будто каменная стена, которую ничем не прошибить. За этой стеной надежно пряталась память, и ворошить её Тамиру было нельзя. Или не хотелось. Да, вероятно, не только Тамиру, но и Ивору.

Тихая благодарность за это рождалась у колдуна в душе. Он понимал, что *боится* знать. Боится поднимать из забвения что-то иное.

Лесана снова и снова пыталась вызвать его на беседу, пробовала расспрашивать. Но говорить не хотелось. Ивор молчал. И Тамир молчал вместе с ним. Он понимал —

обережница неразрывно связана со многим из того, что следовало забыть. А ему было так хорошо! Так легко. Он не жаждал вновь подставлять плечи под тот груз, который она несла, не желал смотреть на мир такими же погасшими глазами. Потом как-нибудь. Не нынче.

Они ехали из города в город. Жили то там, то здесь. Лесана отправляла грамотки Главе, беседовала со сторожевиками. Все это проходило мимо Тамира чредой однообразных событий. Каждый город казался похожим на предыдущий. Но в Радони будто всколыхнулось что-то в сердце. А в чьем — в его ли, в Иворовом ли — Тамир поначалу не понял.

Улицы Радони были узкими, а дома стояли не как в Елашире — за заборами. Избы тут выдвигались поперёд тына, выпячивая к дороге маленькие крылечки, которые сверху непременно накрывал узорный полукрышек.

Обережники шли по тесной улочке, когда Тамир вдруг почувствовал, как что-то дрогнуло в душе. Лесана в этот миг говорила с ним, но колдун уже не понимал — о чём. Он застыл, пытаясь осмыслить, что происходит и, чувствуя, как его словно расщепляет надвое, будто бревно, в которое вгоняют ударом кувалды железный клин.

Показалось — натянулась до предела и лопнула нить, соединяющая Тамира и Ивора. Тело с разумом. Разум с памятью. Память с душой. Он задохнулся от боли. Острой и внезапной. И одновременно с этим помстилось, как что-то вышвыривает его из тела или, напротив, заталкивает вглубь, делая лишь сторонним наблюдателем.

А потом глухой ужас, смешанный с тоской, затопил до краев.

Дом. Невысокий дом с крылечком. Просевшие ступени, за годы истертые ногами. Старый полукрышек. Дверь с деревянной ручкой, гладкой от множества касаний. И девушка, ждавшая за этой дверью. Он помнил её голос, её улыбку. А лицо забыл. Сколько лет миновало с той поры?

Тамир запрокинул голову — небо с белоснежными кучевыми облаками кружилось над ним всё быстрее и быстрее.

Это были не его воспоминания. Изба. Крыльцо. Дверь. Запах парного молока в сенях Девушка.

Как её звали? Он забыл.

Она ведь стала его женой, у них даже родились дети. Трое или четверо? У него были и внуки. А потом всё закончилось — там, в Вадимичах. Для него закончилось. Или нет? Вот же он. Дышит, чувствует, видит и слышит. И сердце тяжкими болезненными толчками гонит по жилам кровь.

Но рядом нет никого, с кем можно было бы разделить боль. Боль одиночества и бесконечного пути. Его дети состарились и умерли, состарились и умерли внуки и правнуки. Нет больше в Радони того дома с покосившимся крыльцом и старым полукрышком. И людей тех, которые в нём жили, нет. Они давно стали пылью и прахом. Его никто не ждал, и ему некуда было идти. Душа рвалась из оков плоти, но те держали крепко.

Ноги подкосились, колдун упал на колени. Он скорчился посреди улицы, уткнувшись лбом в утопанную жёсткую землю. Он кричал от боли, но с губ не срывалось ни звука.

Сильные руки вздёрнули его, принуждая подняться, отвесили две тяжелые пощечины.

— Тамир! — трясла его за плечи девка-парень с пронзительно синими злыми глазами. — Тамир!

— Нет больше Тамира, — прохрипел Ивор и добавил, сквозь рвущийся из груди смех: — Кончился.

Клёна сидела на широком подоконнике узкого окна Северной башни и смотрела вниз. Лашта сёк одного из провинившихся выучей. Свист хлыста отражался от каменных стен и метался меж ними, ударяясь и рассыпаясь эхом. Утро-то какое раннее и не лень ведь креффу. Поди, сильно вызверили.

Девушка видела, как крепкий парень молча вздрагивает под плетью. Жалко его. Неужто и Фебра вот так же сёк её отец? Наверняка ведь было... Лишь здесь в Цитадели Клёна осознала, как сильно менялся Клесх, приезжая в Луцаны. Другим становился. Здесь же словно каменел, в монолит обращался — ни слабинки, ни мягкости. Крепость взыскивала с бережников людское.

Тонкие пальцы теребили завязки на рукаве. Клёна собиралась с духом, чтобы пойти к Фебру. Ей теперь навещать его было больно. Думала, едва он начнёт поправляться и сердце у неё перестанет страдать и мучиться, ведь жив же... Но так нестерпимо было глядеть на него — исхудавшего, беспомощного, слабого! Так мучительно было видеть, как он учится тому, что умел прежде — сидеть, держать ложку...

Она замечала — ему неловко при ней. И — вот ведь мука какая! — гадала теперь: пойти или нет?

Ихтор удивлялся, глядя на парня, говорил:

— Уж не знаю, каким чудом ты поправляешься, видать, крепко о тебе Хранители радуют...

И правда. Рука, коей следовало повиснуть плетью, окрепла, меч ею держать всё же будет нельзя, но костыль — вполне. И глаз, которому прочили остаться незрячим, начинал видеть, и слух возвращался. Силы прибывали. Жаль, ногу новую зелье отрастить не могло.

Крепость духа закаляли в бережниках, и Фебр не стенал, не жаловался, не сожалел. Он был рад тому, что остался жив, рад тому, что выздоравливал, но при Клёне всякий раз менялся. Неуловимо для себя, но очень заметно для неё.

Она видела — её забота ему в тягость. Уйти следовало и не приходить больше. Девушка так и решила. И теперь свободные обороты пряталась тут — на последнем ярусе Северной башни. Быть среди людей оказалось слишком тяжело. Все ведь знали, как она бегала за Фебром, а теперь вдруг охладела. Небось, решили, что опамятовалась дурёха, осознала. Руста, поди, так точно и думал. Клёна с тоской размышляла о том, что надо бы переневолить себя, отступить. Не выматывать парню душу. Зачем? Насильно мила не будешь...

Со своей высоты девушка видела, как в Башню целителей прошла стройная красавица с длинной белокурой косой. Волколачка. Знать, всё-таки выпустили её, не стали взаперти держать... Интересно, зачем она к целителям подалась? Захворала что ли?

Клёна достала из холщового мешочка, который носила на опояске, полоски бересты с начертанными на них резами, взялась перебирать их, шевеля губами. Грамота давалась ей легко, да и разум занимала. Не всё же о судьбе своей дырявой печалиться.

Когда хлопнула входная дверь, Ихтор не обернулся, только подумал про себя, что рано нынче Руста распустил своих послушников твердить уроки.

— Зайти-то можно? — спросили от порога.

Целитель изумленно оглянулся.

Мара стояла, прижавшись плечом к косяку.

— Можно или прогонишь? — снова спросила она.

— Заходи, — пожал Ихтор плечами. — Никак Глава тебя выпустил?

Девка по-хозяйски прошлась по лекарской, поглядела на мешочки с травами, заглянула в горшок, укрытый войлоком и ответила, увлеченно рассматривая подвешенную к потолку сушеницу:

— Выпустил, выпустил... Фебр-то как? — она, наконец, обратила свой взор на лекаря. — Очухался?

— Очухался, — хрипло донеслось откуда-то справа.

Волчица встрепенулась и устремилась на голос:

— А, чудище патлатое! — обрадовалась она. — Не помер!

И, едва обережник раскрыл рот, чтобы ей ответить, махнула рукой:

— Помню я, помню. И про Встрешника, и про болота... Не трудись.

Она уселась на край лавки, насмешливо оглядела бледного Охотника и сказала весело:

— Ишь ты! А я ведь думала — нос тебе совсем набок своротили. Глаз-то видит?

И девушка со знанием дела оттянула мужчине нижнее веко некогда незрячего глаза. Фебр шлёпнул её по руке и волчица рассмеялась:

— Ну, я гляжу, в силу вошел, дерёшься. А то лежал — бревно бревном.

Крефф, стоявший возле печи, задумчиво смотрел на нежданную гостью. Та, почувствовав его взгляд обернулась:

— Поднимать его надо, чтобы ходил, — сказала волчица. — Зачем ты даешь ему лежать?

Ихтор ответил:

— Рано ему ходить. Он, пока сидит, весь испариной покрывается.

Девка фыркнула:

— Полежи с его, совсем ослабнешь.

— Ты зачем пришла? — спросил тем временем целитель. — Чего тебе тут надо?

Мара пожала плечами:

— Вожак ваш сказал, мол, ещё раз задурю — на цепь во дворе посадит. Я на цепь не хочу. Пообещала не дурить. Вот он и выпустил. А куда мне здесь податься? Никого не знаю. Тебя, его, да ещё того рыжего, с противной рожей... Вот и пришла.

Лекарь покачал головой и вздохнул.

— Эх, и трепливая у вас порода... Что ты, что братец — как говорить начнете, так остановиться не можете.

Девушка в ответ на эти слова рассмеялась:

— Зато с нами в старости не скучно будет.

— Если доживете, — заметил Ихтор.

Она кивнула:

— Если доживем. — И тут же вновь посмотрела на Фебра: — Давай, встать помогу?

Обережник кивнул и начал подниматься на локте.

— Рано, — сказал крефф. — Ему ещё седмицу на этой лавке лежать, не меньше...

— Дай хоть попробовать парню! — рассердилась волчица. — Вы его своими заботами, того и гляди, в яму уложите.

— Уходи, — сказал в ответ на это целитель. — Или, если остаться хочешь, не лезь и воя не баламуть.

Мара глядела на лекаря с усмешкой:

— Ты что, не видишь — он сам подняться хочет. Сколько вы его будете с ложки кормить? Хоть бы костыль сделали!

Фебр вцепился волчице в руку, и в его взгляде отразилась безмолвная мольба.

— Тьфу! — рассердилась девушка, вставая с лавки. — До чего ж вы народ противный!

Ихтор словно не услышал этих её слов, сказал лишь:

— На его исцеление вся Цитадель Дар лила. Поэтому встанет он, когда я разрешу, а не когда ему захочется.

Волчица в ответ на эти слова пожала плечами и сообщила:

— Дураки вы. Он же не приучен хворать. Что вы его жалеете? Сделали из парня калеку. Ну, подумаешь, полноги нет. Остальное-то цело!

— Всё-таки неймется тебе, — сказал в ответ на это крефф. — Только выпустили, как ты уж опять под засов просишься.

Она гордо вздёрнула подбородок:

— Не ты меня выпускал, не тебе и запирать!

Сказала и ушла. Даже дверью хлопнула.

А Фебр опять опустил на сенник и закрыл глаза.

— Эй... э-э-эй... хватит ворон считать, — негромко позвали Клёну от лестницы.

Девушка обернулась. Мара стояла на верхних ступеньках узкого всхода и глядела на неё, притоптывая в нетерпении ногой.

— Что? — Клёна покинула насиженное место.

— Со мной тут никто не говорит и всё пытаются работать заставить, — пожаловалась волчица. — То им репу чистить, то полы мыть... Надоели.

И тут же безо всякого перехода спросила:

— Сможешь попросить того косматого сколотить две палки?

Клёна сперва не поняла, о каком косматом толкует собеседница, а потом вспомнила, что при работном дворе был плотник — крепко сбитый приземистый мужик с кучерявой черной бородой и круто вьющимися волосами. Из-за мелких кудрей и борода, и голова мужика, которого звали то ли Строп, то ли Страд, казались вечно нечёсаными и лохматыми.

— Смогу, — ответила девушка и не удержалась, спросила: — А тебе зачем?

— Да он меня не слушается, — сказала Ходящая, словно бы не услышав вопрос. — Ты попроси крепкую палку — локтя в четыре длиной, а на неё сверху перекладной другую набить, тоже крепкую.

— Попрошу. Только зачем тебе? — снова спросила Клёна.

— Зачем, зачем, — отмахнулась Мара. — Полы мыть. Тряпкой обмотаю и буду возить. Все лучше, чем на карачках ползать.

...Плотник, которого, как узнала Клёна, звали всё-таки Стропом, сколотил две палки прямо при ней, да ещё и рубанком пригладил, чтобы деревяшка не была слишком занозистой.

Маре палка понравилась. Она тут же накрутила на короткую перекладину старую ветошь и ушла такая довольная, словно за добросовестное мытье полов ей пообещали свободу.

Клёна пожала плечами и отправилась на поварню.

По чести сказать, шла она туда с тяжелым сердцем. С недавнего времени на поварне, кроме страдающей уже которую седмицу Нелюбы, появилась новая работница. Красивая, статная, но молчаливая и заносчивая. Звали её Лела.

Лела была не улыбочива и сурова. Клёне рассказывали, будто эта девушка приехала в Цитадель вместе с матерью из Славути, и там-де была она боярской дочерью.

Клёне это казалось неправдой. Зачем бы боярской дочери ехать с матерью жить в Цитадель, да ещё и поденщицей? Нелюба сказала, мол, допрежь гордячка у искройщиц трудилась, но как-то раз зашел к рукодельницам Койра, принёс старую верхницу. Верхницу эту крефф сунул в руки первой попавшейся девке, коей на беду оказалась Лела. Сунул и приказал скроить для Главы обнову, эта, дескать, совсем плоха — латаная — перелатанная. А Лела возьми верхницу, да на пол и швырни. И, говорят, добавила к этому, мол, пусть хоть голым ходит! Койра от такого непочтения сперва девку высечь велел, а потом гнать от искройщиков на поварню на подённые работы — мыть котлы да топить печи, коли иной труд ей не по нраву.

Вот она и мыла. И топила. Но с лицом таким, будто не виновата была, а за правду пострадала.

И почему-то ещё получилось, что невзлюбила Лела Клёну с первого дня, а отчего, дочка Главы не знала. Ведь не ругались, не ссорились и делить им было нечего, но только мимо Клёны Лела всегда проходила, словно мимо порожнего места, а ежели случалось той просить у ней что-то, делала вид, будто не слышит, выполняла лишь тогда, когда иной кто приказывал.

Нынче Лела снова намывала горшки. И вроде бы ни слова она Клёне не говорила дурного, а тяготила. Да ещё не хватало Цветы, которую заместо боярской дочери отправили кроить и шить одежду.

До позднего вечера Клёна хлопотала на поварне, чувствуя затылком холодный надменный взгляд. И так-то на душе тягостно, а тут ещё Лела эта...

Мара пришла в лекарскую под вечер, когда Ихтор отправился со своими выучами на нижние ярусы Цитадели, а на смену ему в Башне устроился один из послушников Русты.

— Ты чего это явилась? — удивился парень.

— Вот! — девушка гордо стукнула по каменному полу деревяшкой с прибитой поверх перекладиной, которая для чего-то была обмотана старой ветошью.

— Что — «вот»? — не понял лекарь, разглядывая волчицу и её ношу.

— Не видишь что ли? — удивилась Ходящая. — Костыль. Крефф твой велел для воя раненого принести.

Юноша усмехнулся:

— Крефф мой велел тебя близко к вою раненому не подпускать.

Девка опечалилась:

— Ну и народ вы здесь... — она прислонила костыль к стене.

— Изеч, — позвал со своей лавки Фебр. — Дай сюда.

Парень всполошился:

— Не дам! Крефф не велел. Он мне голову открутит и к заднице пришьет!

— Ха! — Мара подбоченилась. — И ей там будет самое место!

— Изеч, — снова сказал Фебр, и в голосе послышалась гроза. — Дай сюда эту деревяшку. Или я сам тебе голову откручу, когда поднимусь.

— Слышал? — спросила волчица и тут же протянула костыль целителю: — На.

Парень уперся:

— Прочь поди вместе с деревяшкой своей. Крефф ему спать велел и не вставать, покуда не окрепнет...

— А ежели я скажу креффу, как ты настойку для мужика обозного надысь варил за десяток пряников? — спросил ратоборец, поднявшись на своей лавке.

Лицо парня вытянулось. Такой подлости он не ожидал.

— Дай. Сюда. — Приказал Фебр.

Послушник выругался сквозь зубы, вырвал из рук волчицы костыль и направился к лавке:

— На! Но учти — я держать тебя буду!

— Держи, жалко что ли, — сказал Фебр, всё ещё не веривший в собственное счастье.

— погоди ты, — прыснула Мара. — Хоть оденься.

Она взяла лежащую на узкой полке стопу одежды.

— Эх, чудище косматое, уж и тощий!

Чёрная рубаха повисла на ратоборце, как, должно быть, повисла бы на его костыле. Изеч, ругаясь, помог вздеть обережнику штаны.

Ходящая покачала головой, глядя на то, как Фебр замер, борясь с дурнотой, причиной которой были одновременно и слабость, и привычка лежать бревном которую седмицу подряд. Ну, а ещё он увидел как нелепо болталась кулья в свободной и слишком длинной для неё штанине.

— Ну? — спросила Мара. — Ты встанешь или так и будешь на свой обрубок любоваться?

— Встану, — огрызнулся Фебр.

— Так вставай! — усмехнулась она.

— Отстань ты от него! — зашипел Изеч. — Дай человеку с силами и духом собраться!

Мара нырнула Фебру под руку и посмотрела на лекаря:

— И сила, и дух у него есть, собирать незачем. Тяни!

Они разом выпрямились, поднимая и ставя ратоборца на единственную ногу.

Краска сошла с лица обережника, сделав его серым, словно остывший пепел.

— Дыши глубже, — посоветовала Мара. — Это потроха в тебе на место опускаются.

Столько лежал!

Фебр, не глядя, протянул руку в сторону лекаря, пошарил в воздухе и Изеч, поняв все без слов, сунул ему под мышку костыль.

— Шагай, чего замер? — спросила волчица. — Стоит, как корни пустил.

Ратоборец, крепко обхватил деревяшку, сделал первый осторожный шаг и замер, заново обвыкаясь с собственным телом. Голова кружилась, увечная нога, которая стала вполонину короче прежнего, просила отыскать опору.

Целитель замер рядом, готовый в любой миг подхватить обережника. Фебр огляделся. Он уже и забыл, каково это смотреть вокруг с высоты собственного роста, а не снизу вверх, лежа на лавке.

— Ну как? — со страхом спросил ратоборца выуч. — Может, ляжешь?

Тот в ответ покачал головой.

Он стоял, сколько хватило сил, и даже сделал ещё несколько трудных неуверенных шагов от лавки к стене. Этот путь показался мужчине самой долгой дорогой в жизни. А потом он позволил дотащить себя обратно до скамьи, заплетающимся языком велел Изечу спрятать костыль, стянул рубаху с портами и заснул, так и не успев поблагодарить волчицу.

В покое Главы Клёне было уютно. Она сидела за столом напротив отца и старательно, хотя ещё и не слишком быстро, чертила тонким писалом по бересте то, что диктовал Клесх.

— Молодец, — похвалил он. — Быстро учишься.

Девушка улыбнулась, и её строгое сосредоточенное лицо сразу преобразилось, похорошело.

— Что-то ты невеселая совсем, — заметил вскользь Клесх. — Случилось чего?

Она пожала плечами, не зная, что ему на это ответить. Что случилось? Ничего...

— Ты Фебра перестала навещать, — сказал Глава. — Почему?

Клёна опустила глаза:

— Я там в тягость...

Отчим усмехнулся:

— Это он тебе сказал?

— Нет! — тут же встрепенулась девушка. — Нет...

И добавила едва слышно:

— Но я же не дурочка. Я вижу.

Клесх откинулся на лавке:

— И что же ты видишь?

— Вижу, что не в радость я ему. Не нужна, — ответила она, с трудом выталкивая слова, потому что было стыдно и, потому что брала досада — зачем он принуждает её рассказывать о том, о чём даже думать горько?

— Не нужна и не в радость — не одно и то же, — спокойно сказал Глава. — Как ему тебе радоваться, если он себя обузой чувствует, калекой? Думаешь, просто такое в душу впустить? Он слабость выказывать не привык. А ты вокруг кошкой вьёшься. Но то ведь не дитя балованное — мужик, вой. Ты же, то ложку каши к губам поднести пытаешься, то напиток подать. Спасибо, что в пеленки не кутаешь.

Клёна сидела с глазами полными слёз.

— Он тебе пожаловался, да? — спросила она. — Об этом ты с ним говорил?

Отчим хмыкнул:

— Жаловаться обережники не умеют. А у меня других забот полон рот, чтобы ещё дела ваши сердечные обсуждать. С этим сами разбирайтесь.

Падчерица сидела с алыми, как брусника, щеками.

— Спрашивал я о Сером, о плене, о побеге, о Маре, — пояснил Глава.

Последние его слова больно ранили девушку. Фебр чуть жив был, а к нему с расспросами. И тут же она осадилась сама себя — не ради пустого любопытства ведь допытывались.

— Что же мне делать теперь? — спросила падчерица.

— Ничего, — ответил невозмутимо Клесх. — Ничего не делать. Не кудахчи вокруг него. Он не цыпленок, да и ты не насадка. Дай парню в силу войти. Зачем тебе мужик немощный?

Клёна потупилась и глухо пробормотала:

— Не пойду больше туда...

— Вот же дуры вы — девки, Хранители прости! — сказал Глава в сердцах. — Разве я велел не ходить? Ходи, сколько вздумается. Только заботами не одолевай его. Пусть сам и

ложку держит, и на ноги вставать сызнава учится. Упадёт — поднимется. Не в первый раз.

Девушка вздохнула и пересела на лавку к отчиму. Отчего-то вдруг захотелось стать снова ребёнком. И, словно ища защиты, Клёна уткнулась носом в мужское плечо и закрыла глаза. Вцепилась в Клесха обеими руками, прижалась всем телом. Он обнял. И в этих объятиях ей было уютно и спокойно.

Лесана склонилась над телегой, в которой лежал Тамир.

— Ну, как он? — спросил, подошедший Кресень.

Девушка пожала плечами. Колдун спал. Тонкие серебристые жилы бледно мерцали у него под кожей, руки были холодны, черты лица сделались резкими, как у старика, а седина в темных волосах блестела гуще, чем прежде.

— Не знаю, что с ним, — честно ответила обережница и повернулась к спутнику.

Кресень в простой рубахе с небогатой вышивкой по вороту, в выдавших виды холщовых штанах, невзрачной свите и мятой шапке казался Лесане незнакомым чужином. Ещё десяток таких же «чужинов» ехал в обозе. Из-за непривычной одёжи и шапок, скрывающих короткостриженные волосы, девушка с трудом узнавала обережников, с которыми была знакома ещё со времен учебы в крепости.

По счастью, самой девушки это лицедейство не коснулось. Ей снова рядиться в женские рубахи не пришлось и она единственная изо всех была одета ратоборцем. Остальные обережники облачились, кто в дорогие рубахи и свиты купцов, кто в льняную пестрядь простого люда. Со стороны поглядеть — обоз, как обоз. Едет народ, кто торговать, кто с оказией к родне, кто на отход или в город на мены. И ведет их всех девка-вой.

А между тем...

Чет — славутской ратоборец — разodelся в добротную свиту, даже гривну нацепил и ходил теперь важный, в шапке набекрень, иногда отвешивая подзатыльники парням-дружинникам, лучшие из коих ехали нынче вместе с Осенёнными. Обережники посмеивались в нарочно для странствия отпущенные бороды. Купец из Чета вышел видный — статный, самодовольный и заносчивый.

Лесане тоже было смешно, уж кого-кого а славутского воя она никогда прежде не подозревала в столь лихом лицедействе.

Хлад — суйлешский колдун, раздобывший, ему одному ведомо где, богато расшитую голошейку — едва держался, чтобы не хохотать от души, когда Чет начинал камлаться над кем-нибудь из, как он их называл, «холуев».

Да уж, ехали весело. Если б не Тамир. Из-за него Лесане было не до смеха. Из-за него и из-за сбежавшего Люта.

Чего уж душой кривить, не за ради травли волколака псами отправил Клесх обережников по городам и весям. Лесана объезжала сторожевые тройки, наказывая, чтобы собирались к отъезду: искали одёжу простую, но сношенную, отбирали ребят посмышленнее из посадских, да укрепляли города, которые предстояло покинуть. Благо, облавы, устроенные при помощи Люта, дали хоть недолгое затишье, вынудили нечисть залечь по норам, подарили роздых и людям, и обережникам.

Глава решил оголить сторожевые тройки, отозвать воев в крепость. Теперь некому водить обозы между городами и весями. Ратоборцы их покинули, оставив заботы о насущном на целителей и колдунов. На обозы разбивались невеликие и шли каждый своим ходом.

Лесана вела десяток, но знала, что ныне со всех городов потянутся в Цитадель телеги, будто бы с простым людом, а на деле с ряженными обережниками. И до последнего не будут знать ни волки, ни кровососы, что собирает крепость под свою руку воев. Будь хоть сто глаз у чащи, не разберут Ходящие — Охотники перед ними или простые путники.

Если бы ещё к этому всему Лесана не упустила Люта... Он, конечно, о намерениях Крепости — ни сном ни духом, но и без того рассказать мог много. Как же сглупила она!

Девушка укрыла меховым одеялом зябнувшего колдуна и вернулась во главу торгового поезда.

— Ну, поехали что ли? — недовольно сказал из своего возка Чет и добавил: — Платишь вам, платишь, так еле тащитесь.

Хлад не удержался и прыснул, за что получил немедленный подзатыльник от «купца».

Весело им. И вправду весело. Мужики и парни забавлялись, как малые дети. Лесана сперва угрюмо хохлилась, не понимая этой их беззаботности. Ну, право слово, как на Навий Велик день, когда мужики и бабы по городам и селам рядятся в потешные одежи и вместе с молодежью пугают друг дружку, стучатся по домам, требуя от хозяев откупаться угощением. Считается, чем страшнее нарядишься, чем сильнее шумишь, тем лучше отпугиваешь злобную нечисть.

Говорят, праздник сей задолго до Ходящих появился. Лесана и сама его любила. А уж как они с подружками разрисовывали лица и руки сажей, как растрёпывали волосы, вплетая в них ветки и солому, как рядились в вывернутые мехом наружу тулупы, опоясывались мочалом! Но, то ведь когда было? Сейчас уж всё выстудило в ней. И от чистого сердца обережница полагала, что так же выстужено людское в других Осенённых. А теперь смотрела, как дурачатся ратоборцы, и диву давалась. Битые ведь жизнью мужики!

Потом лишь поняла с опозданием: никто из них не знает, вернётся ли обратно живым, погибнет сам или похоронит товарища. И это предчувствие возможной близкой гибели заставляло каждого острее чують жизнь, радоваться хоть чему-то. Да и как часто удается Осенённым видеться? А ведь многие из этих мужчин прежде вместе учились и выросли. Потому-то нынче для них отрада побыть простыми людьми, пускай и ряжеными, но людьми. Примерить на себя жизнь, которая прошла мимо. Вот и камлался Чет и поддавались его придури одинаково, что молодые парни, что зрелые мужики. Потеха!

Тамир опамятовался к вечеру. Сел в возке, потёр руками бледное лицо, сказал подошедшей Лесане:

— Скажи мне, красивая, долго ехать ещё?

Она внимательно посмотрела в тёмные глаза, взгляд которых был тяжелым и чужим. Хотя, что взгляд! Сроду не назвал бы её Тамир красивой.

— Это, смотря, куда ты собрался, — осторожно ответила девушка.

Собеседник усмехнулся:

— Вестимо куда — в Цитадель.

Обережница не знала, что сказать, что спросить, поэтому ответила лишь:

— Дней через пять.

И позвала несмело:

— Тамир?

Мужчина усмехнулся:

— Что?

Девушка сказала:

— Ты не Тамир.

Он кивнул:

— Верно.

Повисла тишина, только слышно было, как Чет гоняет вокруг костра «холуев», чтобы

быстрее оборачивались стряпать похлебку, покуда не стемнело навовсе.

— Зачем ты зовёшь его? — негромко спросил Ивор. — Он ведь тебе не нужен. Его ничто не держало.

— Где не держало? — не поняла Лесана и оттого спросила враждебно и зло.

— Здесь, — развел Ивор руками. — Среди вас всех. Иначе он бы противился.

— Ты заперт резой, — жёстко напомнила собеседница. — Ты ничего не можешь.

Ивор улыбнулся. Точнее улыбнулся Тамир, но Лесана прежде не видела у него такой улыбки — кривой и язвительной.

— Не могу. Но мне и не надо.

— Тогда зачем ты к нему прицепился? — девушка нависла над колдуном.

— Я же сказал — он сам позволил. А зачем мне это — объясню в Цитадели, — ответил Ивор.

— Кому? — спросила обережница. — Главе?

Навий поморщился:

— Тому, кто поймет. Ты — не понимаешь. Видишь, как перепуталось всё? Я, он, люди. Разве это хорошо? Разве правильно? Я жду, другой ищет. Год ищет, сто лет... Солнце то взойдет, то снова сядет. А то нет его и будто тьма. Глядь, а не в мире тьма, но в душе. И сочтется оттуда холодом... Зябко. Не видно ни зги. А как искать в потемках? Надо свет. Яркий. Чтобы каждую веточку, иголку каждую в его лучах разглядеть. Дорогу найти. Встретиться. Не всё же впотьмах блуждать... Да и душа болит, болит... Болела у тебя душа когда-нибудь, девушка? Знаешь каково, когда на сердце, будто вышивку кладут — пронзают иглой и нить кровавую тянут, тянут сквозь плоть, а потом сызнава втыкают, наново тянут, и нет этой муке конца, а боли исцеления...

Он не говорил, шептал жарко и прерывисто, глядя на Лесану безумными глазами — тёмными, страшными, лишёнными мысли. Только чернота была в них. И боль. Должно быть, та самая, о которой он говорил, которая его терзала.

Обережница понимала, что беседовать с безумной навью глупо, а спрашивать у неё что-либо ещё глупее, поэтому отпрянула, втянула из-за пояса нож, не свой — свой она так и не нашла, — а Тамиров, снятый у него с пояса.

— Заголись, — приказала девушка. — Резу подправлю.

Лихорадочное безумие погасло в глазах колдуна, и он покорно поднял рубаху. Реза не затянулась за минувшие сутки и Лесана без жалости рассекла незаживающую рану, опалила сиянием Дара.

Кровь текла медленно, словно неохотно. Колдун закрыл глаза, лег ничком обратно в возок и больше не поднял головы. Когда спутница принесла ему горячей похлебки, он посмотрел на неё с мукой.

— Надо есть, если хочешь доехать до Цитадели, — сказала обережница.

Навий подчинился. Видимо понял, что занятое им тело нуждается в пище. Ел он медленно и без жадности, так как не проголодался и не чувствовал вкуса. А потом вернул миску и лег обратно, безучастный ко всему происходящему.

Клёна после разговора с отцом извелась. Знала, надо дать Фебру время окрепнуть. Понимала, что Клесх прав хотя бы потому, что старше и мудрее, а, следовательно, надо прислушаться. Но помнила она также и слова Фебра, сказанные ей (казалось, целую жизнь назад!) ещё в Старграде. Об этом их разговоре Глава не знал. А знал бы, навек, небось, отсоветовал падчерице навязываться тому, кто её оттолкнул. Фебр ведь не принял её тогда. Да и сейчас не принимал. Скорее, чувствовал вину, а теперь ещё был, словно тяжким долгом, повязан благодарностью...

Зачем беречь парню душу? В конце-то концов, хотела ведь Клёна, чтобы он жил и был счастлив, чего ж ей ещё надо? Хранители услышали мольбу, приняли в дар старую шаль и своею волей сделали так, как их просили. Клёне ли сетовать после всего?

Она и не сетовала.

Только сердце страдало. Человек, на котором для неё замкнулись и боль, и счастье, и жизнь, выздоравливал, креп. Чему ещё радоваться? Но душа рвалась. Тянулась к тому, кому была не нужна. Как ей — глупой — прикажешь не трепетать, не надеяться?

Никак.

Поэтому девушка снова пришла в лекарскую, крепко-накрепко наказав себе не кудахтать и не суетиться, как предостерегал отчим.

Клёна принесла с поварни каши и щей, как обычно придвинула к лавке ратоборца скамеечку, покрыла её чистым рушником, выложила горшки, ломоть хлеба, ложку. И спросила:

— Сам поесть сможешь?

Он кивнул, потом сказал покаянно:

— Прости меня...

Клёна удивилась — за что он просит прощения?

По счастью в этот миг в лекарской никого не было. Ихтор и Руста занимались с выучами, послушник, приставленный к болящему, куда-то вышел. Не иначе как волей Хранителей девушка нынче осталась с ратоборцем один на один.

Поэтому Клёна осторожно перехватила его едва зажившую ещё слабую и бледную ладонь — всю в рубцах безобразных шрамов. Как же хотелось девушке, чтобы хоть раз эта ладонь коснулась её с лаской!

С трудом выталкивая слова, задыхаясь от невозможности объяснить ему то, что чувствует, понимая, что никогда не добьётся ответа, Клёна всё-таки сказала то, что было у неё на душе, потому что вмещать это, молча и страдая, она больше не могла.

— Ты у меня — стрела в сердце, которая засела и навек. Понимаешь? — спросила девушка. — Вытянешь древко, но наконечник останется. До смерти ему там быть. И болеть. И не избавиться, не утешить. И если отболит, то только вместе с сердцем. Сердце замолчит, и боль прекратится. Что хочешь думай, как хочешь гляди. Я тебя любого приму. Всякого. Если позволишь. Не позволишь... и выбор твой приму. Потому что твой он.

У неё дрожали руки, а голос звучал хрипло. И говорила она запальчиво, взхлёб, будто он мог перебить или заставить замолчать.

— И не стыдно мне это говорить. Разве ж я виновата, что так оно? Ты разве виноват? Никто. Просто случилось. Не изменишь ведь уже. Как есть. Ты только знай это. Мне ничего

не надо от тебя. Не хочешь — так не гляди даже. Скажешь уйти — не приду никогда. Но ты... подумай прежде. Не гони сгоряча. Только и не жалея меня. Не надо из благодарности. Не хочу я любой ценой.

Девушка резко поднялась, ратоборец потрясенно смотрел на неё снизу вверх.

Она была бледна.

— Запомни: не надо из благодарности и жалости. Не лги. Ни мне, ни себе. Обещаешь? — Клёна снова опустилась перед ним на колени и потребовала: — Обещай!

Он кивнул, потому что не мог произнести ни слова, язык словно онемел.

Девушка улыбнулась, поцеловала его в щеку, а потом круто развернулась и вышла.

И больше после этого не приходила.

Мара являлась в лекарскую с первыми сумерками. К ней уже привыкли, как в своё время привыкли к Клёне.

Выучи лекарей, сперва относившиеся к волколачке настороженно, постепенно оттаяли. Девка была красивая, веселая, а уж до чего на язык острая... Одним словом, для ушей отдых, для глаз отрада. Да ещё время всегда подгадывала такое, чтоб креффов не было.

Нынче с ратоборцем ночевал старший из Ихторовых выучей — Любор. Любор был молчалив, но Мара его забавляла.

— Пришла я, — возвестила волчица от порога. — Дело пора делать.

Любор спросил:

— Нынче-то что?

Девушка махнула рукой.

— Узнаешь.

Фебр уже одетый ждал на своей лавке. Днём у него не получалось вставать — и Ихтор, и Руста единодушно считали, что вой недостаточно окреп. Однако ему всё-таки уже разрешили сидеть, а не лежать бревном.

— Ишь ты! — Мара поглядела на обережника. — Да тебя не признать.

Отросшие волосы ему отмахнули, да и бороды не осталось следа, только несколько свежих порезов на щеках говорили о том, что брился ратоборец, сам.

Фебр улыбнулся удивлению волчицы.

— Ну, чего сидишь? Вставай, — тут же оживилась Мара. — пойдём гулять, раз красивый такой. Эй, как тебя там? Помоги что ли.

Любор нахмурился:

— Ты никак во двор собралась его тащить? — спросил он.

— Почему это я и почему тащить? — тут же подбоченилась волчица. — Сам пойдёт. Да не сопи ты! Пусто там. Не увидит никто.

Обережник вытянул из-за лавки костыль.

— Будет вам лаяться...

Несколько мгновений он собрался с духом, а потом, попытался встать. Не вышло. Деревяшка скользнула по гладкому каменному полу и вылетела из-под неокрепшей ещё руки.

— Куда?! — Ходящая метнулась, хватая Охотника под локоть, поскользнулась сама и упала, увлекая за собой человека.

Фебру показалось, падение было медленным, он успел изготавиться к удару и последующей за ним боли, но вместо этого растянулся поверх ругающейся женщины.

Любор матерясь, на чем свет стоит, подскочил, поднял обережника, помог ему пересесть на лавку, а волчица встала на ноги и сказала:

— Дури-то в тебе много, а сил ещё подкопить надо. — И обернулась к лекарю. — Помогай, чего вылупился?

— Нет, — твердо ответил целитель. — Пусть сидит пока. Ежели таким серым будет — никуда не пушу.

— Серым! — тут же возмутилась Мара. — Дак с чего ему розоветь тут?

Любор отвернулся, давая понять, что спорить не собирается.

Волчица фыркнула и села рядом с ратоборцем.

— Отдышись, да попробую тебя хоть по конуре этой поводить сызнава.

Он всё-таки отдышался. И смог походить, держась за оборотницу, по покою. А потом за окном повисла ночь.

— Ну? — требовательно спросила волколачка лекаря. — Теперь-то поможешь?

Однако не её натиск заставил Любора подчиниться. Парень видел немую мольбу в глазах обережника, видел, с какой жаждой он пытался вновь подчинить себе ослабевшее изувеченное тело, как хотел избавиться от навязчивой опеки креффов. Ещё бы! Просиди почти два месяца взаперти...

Поэтому целитель вздохнул и кивнул.

Вдвоем с волчицей они помогли Фебру доковылять до двери, а там, подставив плечи и удерживая под руки, вывели в узкий проход между лестницей, поднимавшейся на верхний ярус Башни, и дверь во двор.

Целитель боялся, что вой завалится, чуял, как взопрел он под рубахой. Но обережник выдюжил, хотя зубами скрипел так, что у лекаря самого челюсти сводило. На крыльце в лицо ударил порыв прохладного весеннего ветра, в котором мешались запахи леса, камня и приближающегося дождя.

У Фебра перехватило дыхание, и проклятое тело разом ослабло, обмякло...

— Дайте... сяду, — тихо попросил он.

Его опустили на ступеньки. Ратоборец закрыл глаза. Голова кружилась, кровь стучала в висках.

— Как... хорошо... — прошептал обережник.

После запаха трав и настоек, царившего в лекарской, ночной воздух казался сладким и пьяным. Небо нынче было непроглядно чёрным, без звезд. За высокими стенами крепости шумели деревья.

Любор присел рядом с воем и подпер его для надежности плечом. Мара осталась стоять, обняв рукой столбик крыльца и прижавшись к нему щекой. Все трое молчали и смотрели в непроглядную темноту. Каждый размышлял о своём.

Целитель равнодушно думал о том, что крефф непременно узнает об учинённом самоуправстве и, пожалуй, взгреет за слушание. Сечь не станет, конечно. Выдерет словами. Ихтор, как пропала его кошка, злющий ходит, словно в него Донатос вселился. Ну да ладно. Пусть покричит, душу отведет. Любору-то всё равно, а креффу облегчение. Хуже мыслей о наставнике были другие, которые уже много дней не давали парню покоя — в отличие от своих погодок, засиделся он в крепости. Давно уже его однокашники разъехались по сторожевым тройкам. А вот Любора все держали при Цитадели, будто неуча какого...

Мара, стоявшая в стороне, не догадывалась, о тяжких думах лекаря. Она глядела на тёмные тени деревьев, качающиеся за стеной, и вспоминала брата, которого не видела уже много месяцев. Он ведь где-то там. В этом самом лесу. Так далеко... Увидятся ли снова?

А Фебр вспоминал девушку. Красивую девушку с огневными глазами. «Ты у меня стрела в сердце...»

Как же больно!

За их спинами через открытую дверь Башни лился колеблющийся тёплый свет. То огоньки лучин, горящих в лекарской, подрагивали от сквозняка...

А ночь была густо-чёрной.

Обоз въехал в Цитадель поздним утром. День выдался облачный и ветреный, но тёплый. Лесана спешила и вела лошадь в поводу, а когда подбежал служка, отдала ему поводья и огляделась. Ох, долго странствовала! То-то теперь на душе тепло, будто вернулась домой после долгой отлучки.

За спиной хлопнулись высокие ворота, и девушка услышала, как Кресень говорит Чету:

— Ну, всё, купче, разоблачайся. Бить тебя будем.

Ребята выбирались из телег, смеялись, переговаривались, доставали из возков заплечники, в которых везли одежду, разбирали спрятанное под рогожами оружие.

— Эге-е-ей! — крикнул Хлад замершим в стороне старшим выучам. — Не признали, щеглы?

Послушники переглянулись, недоумевая, с чего бы торговому люду оружаться да ещё и ехать так в крепость.

— Стёша, Встрешник тебя раздери! — ругался кто-то у одной из телег. — Будет уж дрыхнуть! Как хорь спишь который день. Вылезай, приехали.

— А? — всклокоченный парень выглянул из возка и спросил сиплым ото сна голосом: — Чего орешь-то?

Он наспех пригладил торчащие во все стороны волосы.

— К Главе пойдём, — ответил ему товарищ. — Хватит храпеть.

— Хоть рожу умой свою холопскую! — посоветовал, снимающий с шеи надоевшую гривну, Чет. — Смотреть же тошно.

Спрыгнул с облучка на землю и Тамир. Огляделся.

— Со мной идём, — взяла его за локоть обережница.

Колдун посмотрел на неё безо всякого выражения и сказал:

— Тут мало что переменялось...

— Мало, — буркнула Лесана. — Чего замер?

Навий её словно не услышал. Он оглядывался с выражением тоски и узнавания на лице, а потом его взор остановился на ком-то, стоящем у Лесаны за спиной. И девушка впервые увидела в глазах Ивора то, чего не видела раньше — испуг. Обережница рывком обернулась, но позади стояла только Донатосова дурочка. Она застыла на крыльце, разглядывала приезжих и задумчиво дергала себя за длинную прядь, оплетенную обрывками ниток.

— Устал? — спросила вдруг Светла Лесаниного спутника.

Он попятился.

— А я тебя помню, — улыбнулась дурочка и направилась к мужчине, который смотрел на неё с выражением ужаса на лице. — Помню тебя, дяденька... А ты меня помнишь? Узнаешь? Вижу я тебя. Ой, и старый ты!

Блаженная бормотала, обходя колдуна по кругу:

— Ой, и тьмы вокруг тебя... А уж злобы... Почто злишься? Чем я тебе не такая?

Тамир замер, а скаженная девка приблизилась к нему и положила ладонь на грудь — туда, где под рубахой заживала подновленная нынче утром реза.

— Видишь, как оно бывает? — прошептала дурочка. — Видишь, как? Безумие глаза застит, черное с белым местами переставляет. Был ты раньше защитником, а ныне —

хищником злобным обернулся.

— У-у-уйди, — прохрипел колдун, дергая себя за ворот рубахи, словно в припадке удушья. — Уйди, дура...

— Отчего же уйти? Дурой-то ведь ты меня своей волей сделал... — тонкие пальцы пробежали по широкой груди. — Ни за что. А мне оттого — представления. Вижу то, что глазам людским заповедано, что на сердце таится, сокровенное. Вот и тебя вижу... Тьма в тебе. И горечь. Давно уж ты не заступник. Сам — беда. Сам — зло.

Мужчина оторвал от себя её утешающую ладонь, оттолкнул:

— Прочь пооди, тварь ночная... — прохрипел он, а Лесана с удивлением увидела крупные капли пота, катящиеся по лицу обережника. — Сгинь!

Блаженная улыбнулась:

— Покоя тебе надо, отдохновения. А ты всё за злом охотишься. Да только отличить его от добра неспособен уже. Иди, не бойся. Пожалую тебя.

И Светла протянула тонкие руки к побледневшему колдуну, взяла его за затылок, потянула к себе:

— Иди, иди, не бойся...

...Тамира вышвырнуло во двор Цитадели как щенка, коего злой хозяин выкидывает из избы — словно вздернули за шкуру, встряхнули и метнули поперёд собственного визга из тепла дома в холод и неприютность.

Колдун хватал ртом воздух и смотрел в переливчатые карие с синими дольками глаза, принадлежащие растрепанной чудной девке. Девка улыбалась и глядела на него с сочувствием:

— Тяжко тебе, родненький, такое ярмо вздел, чужака в душу впустил. Всё он в тебе вытопчет, всё выжжет, ничего не оставит. Мёртвый он. Оттого живое с ним рядом и угасает.

Мужчина не понял ни слова из ласкового бормотания, сказал лишь:

— Пускай.

Его странная собеседница грустно улыбнулась:

— Оттого над тобой воля чужая, что сосуд ты порожний и жить не хочешь.

Колдун вздохнул:

— Экая ты прилипчивая...

Лесана, всё это время слушавшая их разговор, несмело окликнула спутника:

— Тамир?

Он поглядел на неё со смутным узнаванием и ответил:

— Да.

— Идём к Главе! — девушка схватила его за рукав и поволокла к крыльцу.

Главы у себя не оказалось. Покой был пуст и обережники уже изготовились ждать, когда дверь за их спинами хлопнула и вошел Клесх.

— Вернулись? — безо всякого удивления спросил крефф. — То-то я гляжу полный двор мужиков. Ну, рассказывайте, как съездили.

— Плохо, — Лесана опустила глаза. — Виновата я...

— Ишь как... — протянул Клесх и опустился на скамью. — Ну, исповедайся. Послушаю... Тамир, а ты чего стоишь, как пригвождённый? Тоже виноват что ли?

Колдун покачал головой, давая сперва облегчить душу Лесане, которая за эти дни так извелась, что стала ещё тощее. На лице и вовсе одни глазищи остались.

— Упустила я Люта, — сказала обережница. — Сбежал он, едва мы от Брод отъехали. Стегнул меня прутом по глазам и был таков...

Клесх удивленно поднял брови:

— Чего так рано? Уговор был, что на обратном пути сбежит. И по глазам тебя хлестать не разрешали ему. Случилось чего?

Девушка провела рукой по отросшим волосам.

— Случилось. Сперва всё, как уговаривались, шло — он несколько раз перекинулся, чтобы волки почуяли своего и похоже было, будто мы таимся, но по глупости сами себя выдали. Они глядели, я следы видела возле стоянок... Потом сделали несколько облав, он помогал снять с лёжек дикие стаи. Выводила я и псят за тын, спускала на него... А затем, до того как в Броды приехали, на меня из чащи Ходящий вышел. Велел передать Люту, что Мара наделала беды и ушла из стаи. Я сперва думала — говорить ему или нет? Потом решила — скажу. Не просто же так этот оборотень явился. Сказала. Лют сперва было обиделся, потом вроде как отошёл... Но когда из Брод выехали, попросился перекинуться. Думала, припекло его, да и луна в силу входила, он беспокойный стал. Но только науз сняла, получила веткой по глазам... А пленник в чашу утёк.

Глава слушал девушку спокойно. И по лицу трудно было судить — гневается или нет. Хотя, что гадать. Конечно, гневается... Лесана смотрела прямо. Чего уж теперь.

— Напомни мне, — спросил, наконец, Клесх, — ты рассказала ему, что с обозом, который поедет на старую гать, повезут сестру Серого?

Обережница кивнула.

Крефф покачал головой, а потом открыл безыскусный ларец, стоявший на столе. В ларце этом обычно хранилась береста для сорочьих грамоток. А сейчас Глава вынул из него выдавший виды нож с берестяной рукоятью.

— Твоя пропажа? — спросил Клесх, испытующе глядя на выученицу.

Глаза её распахнулись, став ещё больше.

— Моя, — растерянно отыветила девушка. — А... откуда?

— Так от Рада — бродского воя. С оказией прислал.

Лесана, с трудом выталкивая слова, произнесла:

— А... у него...

— А ему Лют принес, — предваряя дальнейшие расспросы, ответил Клесх. — Прямо к тебе. Рад в лугах Поречья на ночлег остановился, твой беглец к нему и вышел. На, говорит, отдай хозяйке, а то, поди, расстроилась.

Лицо девушки вытянулось и мысли замелькали в глазах с такой скоростью, что Глава рассмеялся:

— Лесана, вот есть же бестолковые девки! Лют-то шустрее твоего соображает. Вы побег его устроить должны были на обратном пути, чтобы, когда он в стаю к Серому вернётся, с него взятки были гладки, мол, пленили, измывались, тайком возили из города в город, собаками травили, приневолили стаи на Охотников выводить, но, вот, выждал миг удобный и сбежал. И слова эти всякий оборотень, который вас по пути встречал и от города до города вёл, подтвердил бы. А тут кто-то вышел на вас, сказал про Мару. И ведь как гладко, аккурат после этого он сбегает! Если бы и старались лучше придумать — не получилось бы.

Обережница медленно заливалась краской. Во-первых, оттого, что Глава волей-неволей отозвался о ней так же, как отзывался Лют. Во-вторых, теперь произошедшее представилось девушке совершенно в ином свете, в том, в каком ранее она и не рассматривала. всё-таки правы и Лют, и Клесх. Бестолковая она.

— Так ведь он молчком! — вдруг оживилась девушка. — Ни слова не сказал! А уговор был...

Клесх покачал головой, досадуя её тугодумию:

— Из тебя лицедейка ещё хуже, чем лукавица. Хвала Хранителям, он это быстро смекнул.

Лесана тем временем нерешительно коснулась ножа, с которым давно уже попрощалась. Теплая рукоять уютно легла в ладонь. Обережница снова посмотрела на наставника:

— Значит, Лют сделает, как обещал?

Крефф развел руками:

— Скоро узнаем. Он — зверина хитрая. И, думаю, как бы дело ни выгорело, примкнёт к тому, кто окажется сильнее.

Лесана все это время разглядывала нож, гладила пальцами клинок, отыскивая новые зазубрины, осматривала — не покрылось ли железо ржой. Когда Глава замолчал, девушка спросила:

— А если Лют обманет? Если Серый приведет стаю, зная, что мы его ждем?

Клесх пожал плечами:

— Приведет — встретим. Опять же Мара — сестрица Лютова ненаглядная — нынче в Крепости. Так что на месте брата я бы многожды подумал, прежде чем козни Цитадели строить.

Лесана открыла было рот, расспросить наставника о Маре, о том, какими путями привело её к обережникам, но Глава уже повернулся к Тамиру:

— А ты чего стоишь с таким лицом, будто родную мать упокоил?

Колдун, который всё это время безучастно глядел в узкое окно, вздрогнул. Он перевёл растерянный взгляд на человека, задавшего ему вопрос, и теперь безуспешно силился собраться с мыслями. Наконец, совладал и произнёс сипло:

— Глава, муторно мне, рассудок туманится. Ты позови наузников. Я расскажу, что вспомню.

Клесх с удивлением посмотрел на Лесану, а та без слов вздернула Тамирову рубаху, показывая вырезанную у него на груди резу.

Руська нынче удрал от дядьки Донатоса, ибо наставник, вместо того, чтобы взять паренька в мертвецкую, заставил его зубрить заклинание. Да ещё такое заковыристое, что весь язык стешешь, покуда выговоришь. Одним словом, морока. Вот мальчонок и улизнул незаметно, едва крефф отвернулся к старшим ребятам.

Взрослые парни, конечно, видели, что паренёк решил сбежать, видел это и Зоран, который был нарочно приставлен следить за младшим. Но никто недотепу не выдал. Пожалели. Дитё все ж. А Руська по дурости-то сперва убежал, а потом уж подумал: ведь Зорана наставник, пожалуй, высечет, что не уследил.

От этой запоздалой мысли Русаю сделалось горько и гадко на душе. Так гадко и так горько, что он, вместо привычной охоты на ворон, отправился на конюшню. Ибо тоску его мог понять и разделить один человек во всём свете — Торень. Уж он-то умел тосковать с полным знанием дела.

Мальчонок не прогадал. Конюх сидел на узкой скамье возле старой клетки, в которой хранили овёс для лошадей, и скорбно вздыхал, вертя в пальцах какую-то железяку.

— Пришёл? — спросил конюх безо всякой радости. — Ой, горемыка ты... Одни кости да глаза во все стороны торчат.

Руська решил не сбивать мужика с горестного расположения духа, а потому не стал уточнять, каким образом глаза могут торчать во все стороны. Вместо пустопорожней болтовни он сел рядом с Торенем и тоже пригорюнился.

— Вот, погляди, — вздохнул конюх. — Это вот что? Я тебя спрашиваю, а?

Мальчик поглядел. В руках у собеседника оказалась ржавая железная колючка.

— Не знаешь? — спросил Торень, хотя и без того ответ был очевиден. — А я тебе скажу.

Конюх ещё раз покрутил колючку перед глазами и возвестил:

— Два гвоздя это. Промеж друг друга перекрученных. Небось, опять кузнецовы подмастерья дурью мерились. Во дворе валялось. Я и наступил. Уж не знаю, коим чудом стопу до кости не пропорол. Сапог, видать, спас. Но я-то ладно, хотя сапог и жалко... — Мужик покачал головой и спросил у Руськи: — А ежели бы лошадь? Чего молчишь? Тебя спрашиваю.

Паренек ответил:

— Ногу бы сбедила.

— Тьфу! — согласился конюх и сказал: — К Главе пойду. Пусть хоть всех их рядом к столбам привяжет и высечет. Умнее будут.

Он поднялся и, прихрамывая, направился прочь от конюшен. Руська проводил собеседника взглядом и понурый поднялся с лавки. Надо возвращаться. Но стыдно-то как...

В этот самый миг кто-то цепко ухватил его за ухо.

— Ах ты, щегол, — раздался знакомый родной голос, в котором нынче не было и тени теплоты. — То-то мне сказывают, что младший в лодыри подался. Почему не на уроке?

Мальчик ойкнул и виновато поглядел на сестру. Была она сердитая и осунувшаяся. Но пальцы, словно железные клещи, стискивали ухо меньшого братца. И ни радости в глазах, ни улыбки на лице. Злющая. И взгляд колючий.

— Ежели ещё раз из-за тебя старшим нагорит, — сказала Лесана, — привяжу к столбу,

спущу штаны и лично кнутом отстегаю так, что на зад две седмицы не присядешь. Понял?

У Руськи на глаза навернулись слезы обиды и вины. Он испуганно кивнул, потому что никогда прежде не видел сестру такой чужой и суровой.

— Тут тебе не деревенские посиделки-веселушки, — продолжала девушка, ведя меньшого за ухо через двор. — Привезли уму-разуму набираться, так учись, нахалёнок.

Паренёк сглатывал слезы боли и обиды, но молчал, не спорил, не хныкал, не пытался оправдываться. Понимал — права сестра. Ну и ещё боялся, конечно, твердость её руки на собственном заду испытать.

— Бегом к наставнику! — и Лесана придала братцу скорости звонкой затрепщиной.

Руська нёсся в казематы, тёр горящее ухо и думал про себя: «Вот откуда она всё узнала? Ведь только приехала! Наябедничали уже...»

Обережница же проводила мальчонку взглядом и развернулась, чтобы идти, наконец, в свой покой, а оттуда в мьльню, но в этот самый миг заметила то, чего не было во дворе Крепости прежде.

Возле крыльца в Башню целителей сколотили зачем-то крепкую деревянную скамью. И сейчас на ней сидел истощенный человек. Черная одежда ратоборца делала его осунувшееся лицо меловым, а короткие волосы были не то выгоревшими, не то седыми. Этот изможденный мужчина показался Лесане смутно знакомым, и она неуверенно шагнула вперед, страшась узнать и в то же самое время, боясь обознаться.

Он смотрел, как она приближается. Но в светлых глазах не было узнавания. Лесана поняла — он плохо её видит. И не узнает. Так же, как и она его. Лишь когда девушка приблизилась настолько, что их разделял всего десяток шагов, мужчина удивленно качнул головой и спросил с недоверием:

— Лесана?

Она кивнула, не в силах произнести ни слова.

— Я не признал, — ответил ратоборец и похлопал ладонью по лавке, приглашая обережницу сесть.

Та опустилась рядом с ним, устало прижалась затылком к острому плечу и прикрыла глаза. На душе было пусто-пусто...

— Как ты? — спросил он.

Она ответила:

— Хорошо. А ты?

— Что со мной станется? — улыбнулся Фебр и сказал тихо: — У тебя глаза мёртвые...

Лесана хмыкнула:

— Зато на душе спокойно.

Некоторое время они молчали. Девушка не знала, что говорить, что спрашивать. Да и нужно ли?

— Хорошо, что ты не сгубла, — сказал обережник и добавил: — Я боялся. Всё-таки девка.

Она неопределенно повела плечом, мол, нашел, чего бояться.

— Лесана, — тихо позвал он.

— Что?

— Мне до сих пор жаль, что тогда... — Фебр не стал договаривать.

Собеседница и так поняла и ответила:

— Мне тоже.

Хранители, кто же знал, что будет так тяжело обоим! Он жив. И она тоже жива. Но тайная нить, которая, как казалось Лесане, все эти годы тянулась меж ними от сердца к сердцу, оборвалась. Как она не почувствовала? Ведь эта нить оборвалась тогда, когда выученица Клесха смотрела из окна Северной башни в спину уезжающему из крепости вершнику.

Мужчины — не глупые девки. Они умеют смиряться с неизбежностью. Они не носят в сердце из года в год воспоминания о прошедшем, не голубят их, не лелеют — вырывают с кровью и прижигают забвением, чтобы не болело, не дёргалось. Ибо возврата нет. И не будет. Никогда.

Он понимал это, когда пришёл в её покойчик проститься. Понимал, что всё закончилось. Навсегда. И ничего больше не будет между ними, кроме общей памяти. Только она, дуреха, ещё на что-то надеялась в силу своей бабской глупости. А если вдуматься, что ему было хранить в душе? Несколько весенних седмиц, когда сердца замирали от счастья, а тела горели от жажды?

Что он о ней знал, кроме того, что она приехала в Цитадель несговоренной невестой с нежным телом и длинными косами?

Что она знала о нём, кроме того, что он стал послушником крепости на несколько лет раньше?

Хранители, да любила ли она его?

Страшно было осознавать это. Но боль сомнений раздирала душу. Любила ли Лесана когда-нибудь Фебра или ей лишь нравилось согреваться от его огня, видеть своё отражение в его глазах? Весна, весна... Тогда ещё весны имели смысл. Кровь гуляла по жилам, будоражила. И хотелось забыться, хоть на оборот сбежать от каменного холода Цитадели. Спрятаться в кольце тёплых рук — сильных и надёжных — чувствовать не боль, но нежность.

Почему все так глупо и половинно в их жизни? Почему, если любить, то лишь на короткий срок? А потом выдернуть из кровоточащего сердца, из памяти, из души? Чтобы ничего не осталось. Чтобы пусто. И спокойно.

Она ведь оплакала его уже. Простилась. И вот он рядом. Живой. И не узнал её. А она не узнала его.

Если бы было в его глазах что-то иное, кроме спокойного тепла! Увы. Так смотрят на того, кого когда-то давно знали, о ком сохранили добрую память и теперь рады встрече. Сердце его не замерло. Во взгляде не было ни боли, ни горечи.

Внезапно Лесане стало жаль и его, и себя, и ту далекую пьянящую весну, которая, не оказавшись в их жизни страшной предначертанности, могла бы стать чем-то большим, чем короткой передышкой в чреде нескончаемых лишений.

— Фебр, — девушка повернулась к нему и коснулась бледной щеки, — если бы я могла... хоть слова найти... сказать...

Она смешалась, не зная, как выразить то, что думает, как донести до него, что она была счастлива. Очень счастлива с ним. И что она благодарна ему за это счастье и ни о чем не жалеет, ни в чем его не винит.

На его бледных губах отразилась тень улыбки. Обережница покачала головой, досадуя на своё косноязычие, а потом, наконец, спросила:

— Ты любил меня? Скажи, любил?

Он медленно кивнул. В его глазах была грусть. Но не было тоски.

Ту Лесану он и вправду любил. Её он помнил. Эту новую не узнавал, но разве лишь в том дело! Больно, всегда больно отпускать из сердца первую любовь. Но какой бы скоротечной и нелепой она ни была, какой бы сильной и глубокой не казалась — она лишь тень настоящего чувства, лишь слабый его отголосок. Тем и памятна. Да только будет ли что новое? У него? У неё?

Смешно.

Обережник взял девушку за руку. Его ладонь была холодна и покрыта тонкими шрамами от ножа и неровными, недавно затянувшимися уродливыми рваными рубцами.

Лесана думала о том, как её и Фебра переменяла жизнь. Перемолола кровавыми жерновами. Ничего не оставила от них прежних. Ни лиц, ни тел, ни душ, ни сердец. И вот они сидели рядом — два пустых сосуда — и каждому снова хотелось наполниться теплом, тем самым теплом, которое согрело их четыре весны назад. Целая вечность! Но им нечем было поделиться друг с другом. Нечего отдать. Кроме разве что эха и отголосков тех чувств, что ещё остались в памяти.

Сто раз скажи слово «мёд», а слаще на губах не станет...

Ей было жалко его. Он жалел её. Как может жалеть лишь тот, кто понимает и знает цену перемен, кто видел иное — девушку с высокой полной грудью, ясными глазами и толстыми косами, юношу — широкоплечего и сильного, с открытой улыбкой и глазами, в которых отражалось весеннее солнце.

Как сильно они изменились.

— Лесана?!

Она распахнула глаза.

Напротив стояла Клёна и улыбалась:

— Ты приехала?! — она повисла на обережнице. — Нынче?

Клёна расцвела за эту весну. И красота её стала взрослее и строже. Куда-то делась юношеская угловатость, без следа пропала робкая застенчивость. Она поправилась, на щеках снова расцвел румянец, и что-то изменилось в ней, что-то... Лесана не могла понять. Видела лишь, как сильно девушка стала похожа на мать. Неуловимым изменением черт и выражением глаз, поворотом головы и улыбкой. Нелегко, должно быть, Клесху подмечать это подобие.

— Фебр, — Клёна смотрела теперь на ратоборца. — Ихтор уже разрешил тебе выходить? А я и не знала.

Лесана посмотрела на обережника и... сердце её на миг замерло. Потому что не было в его глазах той пустоты, которую она видела в них ещё несколько мгновений назад. Он и сам, наверное, ещё не осознал случившегося, не чувствовал в себе перемены, но Лесана-то заметила. Она помнила этот взгляд. Почти так же, давно-давно, четыре весны назад Фебр смотрел на неё. Почти... Но даже тогда, не было в его взгляде такой щемящей осторожной нежности.

Глупая, неужели она не видит?

— Я рада, что тебе лучше, — сказала Клёна обережнику.

А Лесана заметила промелькнувшую в её взгляде грусть. Так мать смотрит на своё повзрослевшее дитя: с любовью, гордостью и тоской, понимая, что не удержишь уже рядом, придётся отпустить рано или поздно, хотя и сердце противится.

Фебр улыбнулся девушке в ответ, но промолчал.

Лесане вдруг стало тепло на душе. Будто это ей он улыбался, будто с ней не решался

заговорить.

— Ты ведь придёшь ко мне? — Клёна посмотрела на подругу. — Придёшь нынче?

— Приду, — ответила та и добавила: — Я тебе гостинцев привезла.

Девушка почему-то засмушалась, порозовела и заторопилась:

— Я пойду, а то меня Матрела в кузню отрядила — ножи наточенные забрать...

— Иди, иди, — улыбнулась Лесана.

Клёна ушла слишком поспешно, словно сбежала.

Обережница же повернулась к Фебру. Он старательно не глядел в сторону ушедшей, будто дал себе какой-то глупый зарок.

Лесана порылась в кошеле, висящем на поясе, и вытянула на свет подарок бродского сереброкузнеца Стогнева. Тронула Фебра за плечо, а когда он перевёл на неё взгляд, положила кольцо ему в ладонь.

— Держи силок на птичку, — улыбнулась девушка.

Ратоборец смотрел на неё удивленно, потому что по-прежнему не понимал того, что для Лесаны стало очевидным.

— Она очень хорошая. Не обижай её.

Мужчина горько усмехнулся:

— Она-то хорошая. Я теперь не больно хорош, — и он показал взглядом на пустую штанину. — Я обидел её, Лесана. Сильно обидел. Когда ещё ходил на двух ногах.

Собеседница покачала головой. Она поняла, что он хотел сказать: обидел девку, когда был полон сил и хорош собой, а теперь, став немощным калекой...

— Так не обижай снова, — сказала в ответ на это обережница. — Уйми гордость-то. Отдай кольцо.

Фебр с сомнением поглядел на украшение. Клёне такое, небось, и на указательный палец велико будет. Лесана снова прижалась затылком к его плечу.

— Ты её не любишь? Или себя? — спросила она, наконец.

— Себя.

Девушка улыбнулась и поднялась со скамьи:

— Что она в тебе — дураке таком — нашла? Вот бы понять. Ладно, пойду хоть помоюсь с дороги. А ты думай, думай... Да не о себе. О ней думай.

Ратоборец улыбнулся, и на этот раз в его улыбке не было прежней грусти:

— Как сильно ты изменилась, — сказал он снова.

Лесана вздохнула:

— А вот наставник и... спутник прежний в один голос говорили, что я живу и не умнею.

Обережник покачал головой:

— Это они, любя.

Девушка усмехнулась:

— Да. Особенно второй. Кольцо не потеряй.

Она ушла.

И почему-то на душе было легко-легко.

По чести говоря, Люту очень повезло. Собственно, везение было его постоянным спутником. Нехватку Дара он искупал редкостной удачливостью. Во всяком случае, дураки именно так и считали. Лют дураком не был и цену своей удаче знал. Там, где Осенённый мог отбиться одной Силой, таким, как Лют, приходилось смекать и исхитряться.

Стая приняла его сперва настороженно, а потом брезгливо. Конечно, стая Серого. Особенно ближние. Но им не в чем было обвинить недавнего полонянина, поэтому оборотни лишь глумливо ухмылялись. Как же! Попался девке, потом, как пристяжного, она волочила его за собой, травила псами. И это с его-то гордыней!

Один из переярков Серого нарочито брезгливо фыркнул, когда Лют проходил мимо.

Оборотень замер. Медленно повернулся на звук. Из полумрака на него насмешливо смотрели жёлтые звериные глаза. Лют шагнул вперед, наклонился к волку.

— В носу свербит, чадо? — спросил он, узнавая младшего из Осенённых ближней стаи.

Тот в ответ зевнул во всю пасть, показав чёрное нёбо и розовый язык.

— Перекидывайся, — приказал Лют.

В стае его положение было выше, чем у этого переярка. Лют, хотя и не Осенённый, не вожак. С вожаким, если не хочешь занять его место, приходится считаться. Молодшему Серого становиться вожаким стаи Люта было пока не по зубам, да и без надобности. Таким припадочным слаще по лесу носиться, людей жрать, да волчиц драть. Но, если Мара не вернется, обязательно отыщется тот, кто захочет помериться с её братом силой. А значит, нельзя выказывать слабость. Слабый гибнет первым. Надо тянуть время. Ждать возвращения сестры.

Тем временем переярки поднялся с каменного пола пещеры, встряхнулся, перекидываясь. Парнем он оказался долговязым и нескладным, хотя на полголовы выше Люта. В кости же узкий, мосластый.

— Иди, спроси вожака, подтверждает ли он моё право тебя убить? — ровным голосом сказал оборотень. — Ты — Осенённый, но выказываешь неуважение. За это полагается схватка.

Парень испуганно стрельнул глазами в сторону дружков. Те растерянно переглядывались, понимая, что товарищу, как не выверни, нагорит.

Дурной нрав Люта знали все. Он был не самым ловким и сильным в стае, а не так давно ещё и охромел, но сумасбродства в нём хватало на двоих. Драться он умел и любил.

Поэтому теперь его противник с тоской понимал, что если идти к Серому, испрашивать разрешения на шибку, то вожак обязательно полюбопытствует, с чего всё началось, а когда узнает, Марин брат будет в своём праве. Значит, зачинщику ссоры и обидчику не разрешат использовать Дар. А без Дара он даже колченогого супротивника одолеет вряд ли — тот старше, крепче, хитрее, а поединчику его едва минуло семнадцать вёсен.

С другой стороны, если Серый закроет глаза на оскорбление... Нет, не закроет. Допусти он в стае неправду, остальные начнут роптать. Поэтому...

— Он не хотел тебя обидеть, — выступил вперед парень чуть постарше и примирительно вскинул руки. — Просто...

Ну и что «просто»?

Ребята вновь переглянулись, подыскивая сколь-нибудь толковый повод.

— А по-моему хотел, — сказал Лют. — И очень старался.

Он уловил какое-то движение за спиной и даже подобрался для схватки, но учуял троих из своей стаи: Тала, Живу и Надея. Те стали позади, молчаливо поддерживая вожака.

— Нет! — тут же оживился мосластый, так как, наконец, понял, что даже если вдруг и одолеет противника, потом всё одно перехватит от Серого. — Прости. Задурил.

Лют внимательно поглядел на него и сказал:

— Считай, в долгу.

Тот кивнул:

— В долгу.

На том и разошлись. Драться Люту не хотелось. Плечо ему, хотя и поправили, но всё одно — рубец дёргалo, как нарыв. Не скоро ещё заживет. Если бы этот щуплый дурак помнил про рану, то понял бы, что одержать верх в схватке ему вполне по силам. Но он не помнил.

— Зачем тебе такой должник? — покачал головой Тал. — От него проку, как от лишая на заднице.

— Пригодится, — пожал плечами оборотень и добавил: — Он Осенённый.

Вчетвером они двинулись вглубь пещеры. Лют знал — за ним теперь глядят. Наблюдают, слушают. И хотя то, что он рассказывал, подтверждали видоки, вожак ещё не скоро ослабит призор. Опять же Мара...

Нужно подумать.

Серый скоро уведет своих охотиться. Перед походом на гать Осенённым нужно набраться сил и лютости. Требуется лишь выждать.

Как же рану дергает!

Оборотень перекинулся, потому что в зверином обличье страдание переносить было легче, и улегся на мелкое крошево камней. Прижался горячей от боли спиной к холодному валуну, закрыл глаза. В стае хорошо. Всё просто и понятно. Но, чего-то будто не хватает. Наверное, как раз сложностей из мира людей. Там у них интересно. И постоянно что-то новое. Такое, от чего раз за разом диву даешься.

Почему-то вспомнился Смир и его подарок за найденный перстень — круглая железка. Лют тогда не понял, что это такое, но взял. Дают — бери. Зачем отказываться, когда от сердца? Потом узнал — такие железки назывались деньгами. Он не понимал, из чего выполнен его кругляш — из серебра или меди. Не умел отличать. Да и зачем бы? Он отдал его, не жалея, за бусы. Наверняка, это было много, торговец слишком уж обрадовался. Чуть сердце не выскочило. И вспотел. Но оборотень не чувствовал себя обманутым. На что бы ещё ему тратиться?

Волколак про себя усмехнулся. Деньги... Удобно. По-хорошему нет нужды нападать на обозы и потом тащить на своём горбу по лесным тропам добычу. Проще вытрясти из обозных купцов эти маленькие железки — нести их легче, а выручить можно больше. На взгляд оборотня, разумеется, было чистой глупостью менять толковые вещи на железные кругляши, но если так принято...

Непонятного у людей, на первый взгляд, было много. Взять хоть торжище. Съезжаются со всех концов из разных городов и весей, меняют одно на другое. И у каждой семьи своё добро. Опрочь от других. А так, чтобы общее — на деревню — не встретишь...

Ну, разве что, тын. Даже деньги не у всякого водятся, как Лесана говорит.

Однако же, у кого водятся, расстаются с этими кругляшами легко и без расстройств. Люту, вон, вообще за найденный перстень подарили. А Лесане, к слову, перепало кольцо, на которое можно было купить мало не телегу всякого добра. И за что? За спасение обычной девчонки. А по-хорошему, в чём заслуга? Всего-то не дала сожрать.

Лют зевнул.

Хм. А ведь можно напасть на обоз, стянуть с телеги кого из странников, а потом его, вроде как, «спасти» и вернуть обратно к вящей радости спутников. Вырученное же за «спасение» поделить между всеми участниками. Нет. Не пойдет. Надо крепко собой владеть, чтобы не загрызть. Этак не удержишься и всё насмарку. А то и стрелу от Охотника схлопочешь. Хотя даже не то важно. Важно другое — затея глупая, потому как одноразовая. Люди ведь не дураки. Ну, раз обманешь, два, может, даже и три, но на четвертый точно получишь мечом поперёк хребта. Значит, не следует и браться.

При мысли о мече снова заныла рана, оставленная ножом. Лют теснее вжался в холодный камень.

Надо так, чтоб без лишней опасности. Вот, если поразмыслить, чем волк хуже обережника? Иной раз даже и получше. Его странствие с людьми — тому подтверждение. А ведь обозы Охотники водят за деньги — Лесана говорила. Но что, если обоз поведет не обережник, а волколак? Хотя, нет. Случись упыри — от волка будет мало проку. Но, если на пару? Охотнику будет проще. У него, конечно, Дар, но у зверя — нюх и слух острее. Да и некоторые из оборотней тоже Осенённые, не боятся солнечного света...

Цитадель, как успел понять Лют, хоть и стоит крепко, но рук у неё не так чтобы с избытком. И вполне можно повернуть к обоюдной пользе кое-какие дела. А можно и не поворачивать.

С другой стороны, у людей есть молоко. Значит, получится выкармливать детей даже в самый голодный и трудный год... Молоко — это хорошо. Лют пил его, когда ездил вместе с обережниками по городам и весям. Дрянь. Но новорожденным ведь не втолкуешь, что надо есть мясо.

Мысли у него ворочались всё медленнее, всё труднее. Да ещё отчего-то вспомнилась Лесана. Как она пахла... У него внутри все замирало от этого запаха! И никак не вязались вместе — колючий нелюдимый нрав, женский сладкий запах и сухое, будто из одних жил свитое, тело. Ну и бестолковая она ещё. Хранители! Деревянная же! Иной раз, вовсе дура душой. Хоть прямо в глаза что скажи — не поймёт. А уж коли намёками... вовсе не дождёшься. Но так пахнет... Что вот с ней делать?

Оборотень прикрыл глаза. Спать. Спа-а-ать...

— Родненький, страшно мне! — Светла повисла на Донатосе, заливаясь слезами.

Колдун скрипнул зубами, так ему надоела дура. Выла она, как всегда, с душою и самозабвением. Только отыскала своего «Света ясного» в мертвецкой, тот же миг бросилась на шею и заголосила, словно по покойнику. А что, почему — поди пойми. Девка захлёбывалась от горя и бессвязно лопотала.

Крефф стоял, разведя в стороны руки, в одной из которых держал пилу, а в другой — щипцы.

Послушники недоуменно переглядывались, и лишь Зоран — самый сообразительный — подскочил, перенял у наставника железки и протянул тряпку вытереть руки.

Донатос кое-как перевесил блаженную на выуча, а сам отправился к рукомойнику. Светла же взялась орошать слезами растерянного парня. Тот поглаживал её по трясущимся плечам и глядел на креффа с мольбой. Наконец, наставник подошел, забрал дуру обратно и повел прочь, сказал только через плечо ребятам:

— Зоран продолжит. Приду — проверю. Если, что не так, шкуры со всех спущу.

С этим, далеко не самым светлым обещанием, колдун и покинул мертвецкую, уводя под руки свою блаженную.

— Ой, родненький, ой, родненький, — причитала та, повисая на спутнике.

Увы, понять, с чего Светлу пробрало так истошно рыдать, было невозможно.

В каменном переходе крефф наткнулся на одного из служек. Тот, увидев колдуна, обрадовался и выпалил на выдохе:

— Господине, Глава тебя звал, просил придти.

Донатос про себя выругался, хотел было оторвать воющую девку и спровадить куда-нибудь, но та вцепилась, как клещ.

— С тобой пойду!

А у самой в глазах слёзы, лицо опухшее, нос красный...

— Иди, — сломался наузник. — Но чтоб тихо! Не то в три шеи вытолкаю.

Она закивала.

...В покое у Клесха уже ходила из угла в угол Бьерга, сидел подле окна озадаченный Нэд, рядом с которым устроился Лашга, а в стороне ото всех — Тамир.

Донатос сперва и не признал собственного выуча — тот осунулся, седины в волосах стало больше, чем смоли. Даже глядел парень с бесконечной усталостью, но отчего-то на собственные руки, будто были они не его — с детства привычными, а чужими, незнакомыми.

— Ишь ты! — крефф оторвал от себя всхлипывающую Светлу и силком усадил на лавку. — Чего за сборище такое?

Тамир растерянно посмотрел на наставника и медленно сказал:

— Говорили тут однажды, будто навь упокоить можно, мёртвую душу к живому телу привязав.

Колдун, которого блаженная без устали дергала за запястье, тоже сел, отпихнул от себя девкину руку и ответил:

— Я на память покуда не жалуюсь. И чего?

— А то! — тот же миг подскочила к нему Бьерга. — То, что выуч твой всё сделал, как

наставник велел! Ты совсем ума лишился, а?

Донатос опешил от такого натиска, но быстро совладал с удивлением и рявкнул:

— Охлонись! У вас, у баб, день что ли сегодня какой особенный? Как не в себе все.

От этих слов Светла заскулила ещё жалобнее и уткнулась носом в коленки.

— Ничего я ему не велел, — продолжил крефф. — Говори толком. Разоралась.

Наузник был не в духе, да ещё скулеж дуры бередил душу, мешал думать.

— Чего ты учудил? — повернулся Донатос к своему выучу. — Как был дураком, так и остался!

— А что ему делать, коли ты сам сказал — то средство единственное? — тут же разозлился Нэд.

— Хватит! — не выдержал Клесх. — Как ни соберешь вас — только и лаетесь.

В покое воцарилась звенящая тишина. Даже Светла и та перестала всхлипывать и подвывать.

— В выуча твоего навь перетекла, — повернулся Глава к Донатосу. — Перетекла, да так и осталась. Тамир, покуда в уме ясном был, запер её резой. Теперь резу каждый день подновляет. Но сам из-за этого стал, как сосуд порожний. Что делать нам с этим?

Донатос шагнул к послушнику. Отвернул в сторону ворот рубахи, поглядел на резу.

Светла зарыдала на весь покой:

— Родненький, ты не тронь его! Злобный он!

Крефф, словно не услышал, посмотрел на послушника и спросил:

— Меня узнаешь? Как зовут, не забыл?

По лицу Тамира было видно, что он всеми силами пытается воскресить в памяти имя наставника. Увы, усилия эти оказались тщетными.

— Я так скажу, — произнёс сухо Донатос. — Мёртвому в живом не место. Это всем тут ясно. Одного надо с миром упокоить, другого с миром отпустить, ибо ни на что он после такого годен не будет. Навь из него Силу тянет. Сила иссякнет, держать мёртвую душу в теле будет нечему. Тут и помрет.

Светла заплакала:

— Родненький! Да разве ж можно так? Да что ж ты говоришь-то такое? Ты погляди, он же живой! И тот, другой — тоже. Устал он просто, душу надорвал. Его не упокоить надо, ему мир надо вернуть!

Тамир не разделял её скорби, он равнодушно глядел перед собой и молчал.

— Мир вернуть? — спросил задумчиво Клесх. — Понять бы ещё — как...

У Светлы в глазах снова задрожала влага.

— Да откуда ж я знаю! — всплеснула она руками. — Это ведь только он сказать может!

И блаженная опять залилась слезами не то жалости, не то страха, не то... дурости.

— Душу неотпущенную на земле всегда треба какая-то держит, — сказал вдруг глухо Тамир. — Навь она потому к живому тянется, что дело у неё к тем, кто остался, есть.

— И какая же треба у Ивора? — спросил насмешливо Лапта.

— Он... ищет кого-то, — с трудом вспоминая, сказал Тамир.

— Ха! — хлопнул себя по колену Нэд. — А то мы не знали будто! Небось, того, второго и ищет. Как его звали-то, а?

— Вольнец... — ответила Бьерга. — Оно, конечно, складно всё. Но откуда нам ему добыть этого Вольнца? Ты вот знаешь, где он? И я не знаю.

— Дак сам найдет, — сказал Донатос. — Раз у него до этого Вольнца дело есть, сам и

отыщет.

— То-то я гляжу, — усмехнулся Клесх, — который уж век ищет.

В это время Тамир пересушенным сиплым голосом произнес:

— «Я прихожу отпустить всякого. Но кто отпустит меня?»

Колдуны переглянулись.

— Может, поговорить с ним? — спросил задумчиво Лашта.

— Поговорить? — Донатос покачал головой. — Будешь Даром взывать, убьёшь парня.

Только ежели Ивор этот сам к нам потянется. А он, вон, молчит. Кажет лишь то, что от Тамира осталось.

Слова эти прозвучали резко и безжалостно.

— Навь на кровь тянется, — негромко произнесла Бьерга. — На живую. На Дар приходит. А скитается всегда поблизости от того места, где сгубла.

— Ещё не легче, — пробормотал на это Лашта.

Светла на своей лавке, будто в ответ на эти слова, снова расплакалась.

— Чего ты всё воешь? — спросил Донатос с досадой.

— Жалко мне вас... — ответила девка. — Лихое дело задумали.

Обережники переглянулись.

В Цитадели сделалось многолюдно. Матреле ещё ни разу не приходилось стряпать на такую ораву мужчин, каждый из которых ел за троих.

На поварне стряпухи, служки и младшие выучи, приставленные в помощь, сбились с ног. Только и делали, что жарили, парили, тушили, томили, чистили, перебирали...

В мьльнях тоже хватало хлопот. Наноси воды, чтобы каждый мог омыться, натопи печи... Но и это не всё ещё. Пришлось спешно готовить ученическое крыло — приводить в порядок покойчики, набивать соломой тюфяки, носить дрова на истоп.

Ожила крепость. Такой стала, какой не бывала прежде. Всюду или парни крепкие, или мужики молодые. Куда ни пойдёшь — на воя наткнешься. Девки из приживалок расцвели. То ли дело — выучи, с которым словом обмолвиться не успеваешь, так они заняты. И совсем другое — неженатые взрослые парни, томящиеся со скуки.

Правда, чего душой кривить, мужики без дела — напасть похуже налётчиков. Но то, если просто мужики. А обережники совсем иное. От них лиха не будет и обиды тоже. Вот и прихорашивались девушки, и улыбались чаще обыкновенного.

Две лишь ходили хмурые. Лела, которая вовсе будто не умела радоваться. И Нелюба, которая радоваться разучилась. Приехал Ильгар. Столкнулись они во дворе, ратоборец будто даже обрадовался, сказал: «Здравствуй». Девушка же ответила заносчиво, мол, мира в дому. И дальше пошла. Думала, остановит, удержит. А обережник только проводил взглядом и в другую сторону отправился.

И гордячка проревела на плече у Клёны весь вечер. Жалко её было — сил нет! Да только ведь и у подружки с любовью не ладилось. Впрочем, она о том молчала. Стыдно было.

Прошло несколько дней. Прибыли в Цитадель оставшиеся несколько обозов с ратоборцами. Стало ещё шумнее, ещё веселее. Мужикам молодым — раздолье. Поест, отоспаться... Служкам же и приживалам — новые хлопоты.

Закружилась Клёна. То одно, то другое, некогда присесть, некогда закручиниться. Но о Фебре думать не переставала. Каждый день, каждый оборот. А поплакать, душу в тоске отвести не получалось — спать валилась чуть живая от усталости.

Однажды она шла в кузню, несла мясницкий тесак, на лезвии у которого появилась кривая зазубрина. Матрела наказала попросить железных дел мастера зазубрину убрать, а тесак наточить.

Возле кузни оказалось многолюдно. Клёна сробела. Одни мужики! Не обидят, конечно, но ведь всё равно — насмешники. Впрочем, обережникам было не до девчонки. Они передавали из рук в руки железные колючки, разглядывали их, проверяли пальцами на остроту, смеялись.

— Это кто ж выдумал такое? — подбрасывая в ладони железку, спросил молодой темноволосый колдун с отчаянно прозрачными, будто слепыми глазами.

— Торень! — отозвался подмастерье из кузни. — Светом белым клянусь, он. Пришёл к Главе и давай железкой этой трясти, мол, а ежели б конь наступил?

Обережники хохотали.

— А Глава? — снова спросил черноволосый.

— Что — Глава? — весело отозвался кузнец. — Глава дуболомов высечь наказал, а потом накрутить таких железок два мешка. Вот и крутим без сна и отдыха. Хотя, какой им

отдых, все равно на задницы присесть не могут.

И снова взрыв хохота.

Клёна не поняла, чему они так веселятся, протиснулась между широкими спинами, чувствуя себя совсем маленькой, и отдала кузнецу тесак.

Мужчины затихли. Глядели с любопытством. Девушка же боялась — начнут смеяться вместо Тореня над ней — такой тоненькой, но с тяжелым топором. Нет, промолчали. А когда она уже назад возвращалась, её догнал тот самый — с глазами настолько белыми, что они казались незрячими.

— Постой, красавица, — сказал он и улыбнулся.

— Что? — поглядела на него Клёна.

— Давай помогу, — предложил он.

Девушка прижала к груди тесак, словно незнакомый обережник мог отнять его силой, и помотала головой:

— Не надо. Сама.

— Так я ведь помочь только, — сказал он и добавил, будто в объяснение: — Тошно.

— Сама, — упрямо повторила Клёна, развернулась и почти бегом отправилась прочь.

Мужчина смотрел ей вслед с улыбкой.

Снова они увиделись в Башне целителей, куда Клёну отправила Матрела — отнести Русте и хворому вою трапезу. Лекарь, уж который день без остановки готовил чёрный, как дёготь, и зловонный отвар. Сливал его в бочонок и тот стоял, рассылая смрад чуть не на версту вокруг.

По счастью Фебр сидел на лавке, возле крыльца, а с ним рядом и давешний колдун, увидев девушку, он улыбнулся, но она поглядела строго и обратилась к Фебру:

— Меня вот... Матрела прислала. Поесть вам с Рустой принесла... — ей не хотелось, чтобы он думал, будто она сама нарушила собственное же обещание — не ходить к нему, покуда не позовет.

— Спасибо, птичка, — ответил Фебр, а мужчина, сидевший рядом с ним, промолчал, но глядел тепло.

Клёна смутилась и заторопилась. Отнесла корзину наверх, после чего ушла, не оглядываясь.

Велеш повернулся к другу:

— Красивая какая! — сказал колдун с восхищением. — Тебе обед в корзинке носит, а мне не доверила себя даже до поварни проводить.

Фебр кивнул:

— Она с характером.

Обережник в ответ на это хмыкнул:

— Так это из-за неё Нурлиса тебя козлом безногим называет?

— Чего? — дёрнулся вой.

Будь у Фебра обе ноги целы, вскочил бы, как ужаленный, а так, лишь подпрыгнул слегка.

Наузник усмехнулся и хлопнул друга по плечу:

— Повезло тебе, что бабка нынче редко из каморки своей выползает. Не то наслушался бы. Она едва не каждому, кто к ней заходит, рассказывает, как ты «козёл безногий над девочкой измываешься». И добавляет, мол, лучше бы Ихтор тебе вместо ноги другое что оттяпал.

У раторборца на скулах обозначились желваки, а Велеш беззлобно рассмеялся:

— Ну уж, осерчал. Не держи сердца, не тебя одного она полощет. Меня увидела, говорит: «У, страхолюдина рыбьеглазая, опять ты тут?» Аж от сердца отлегло. Я ведь думал — померла.

— Помрёт она, — усмехнулся Фебр. — Как же.

...Серый лежал, заложив руки за голову и смотрел в небо. Лесная земля — мягкая и прохладная ласкала нагое тело. Рядом с вожак, уткнувшись носом ему под мышку, дремала довольная волчица.

Женщины. Они всегда тянутся к сильному. Их не пугает опасность, потому что они по глупости думают, будто могут её приручить. Чем сильнее мужчина, тем сильнее их любопытство и желание. И каждой грезится, что именно она станет владычицей.

Серому не нужны были владычицы. Он брал любую из волчиц и потом легко заменял её другой, чтобы одна не чувствовала превосходства над остальными. Впрочем, несмотря на такое непостоянство, детей у вожака было наперечёт. Живых, пожалуй, сосчитаешь на пальцах одной руки. Это хорошо. Дети много едят.

По счастью, волчицы могли понести только во время гона. В иные месяцы они, хотя и охотно предавались телесным радостям, но не тяжелели. Иначе выводок Серого обожрал бы всю Стаю. А так их было то ли трое, то ли четверо. Он не помнил точно. Ему приносили, показывали. Дети и дети. Все одинаковые — сморщенные, красные, узкоглазые и орут.

Он не отличил бы одного от другого, а своего от чужого. Если только по запаху. Младенцы пахли отцом. Но и к орущим свёрткам, и к их матерям, вожак утрачивал интерес сразу же, как только они отходили на несколько шагов. Он быстро уставал от женщин. А от детей уставал быстрее вдвойне. От женщин же с детьми приходил в тоску и ярость мгновенно. За ним это уже заметили.

Наконец, Серому надоело лежать. Он поднялся, перешагнул через спящую девку и перекинулся. В лесу пахло весной. Такой вкусный, честный запах. Светла любила весну. Хорошо, что скоро они будут вместе — он, Светла, весна...

Двадцать Осенённых волков из его ближней стаи. Десять обычных — крепких и сильных, которых поведёт Лют. Десять Осенённых от кровососов, во главе со Званом. И ещё десятерых он отправит вперёд. Итого пятьдесят.

Мало какая девка может похвастаться, что ради неё поднялась черна толпа мужиков. Хотя, какие ей — дуре — мужики? Шишек ей, веток, черепков. Ну да этого добра в Переходах — необеримо. Пусть забавляется. Лишь бы тут. С ним. Рядом.

Она, конечно, будет смешить его. И в сердце проснется давно забытая детская нежность. Но он уже сейчас знал, что эта нежность всколыхнется ненадолго. Потом её потеснит привычная досада, а затем и злость. Потому что Светла будет смотреть с обожающей лаской, лопотать всякую чушь... Пускай. Это всё потом. Он уже обещал, что не ударит её. Пальцем не тронет. Ну, если только совсем допечет...

Ему на холку легла мягкая рука. Нагая девушка стояла рядом и смотрела на волка. Он дёрнул головой, сбрасывая её ладонь, и глухо рыкнул. Она прижала руки к груди.

Испугалась. Хорошо. Женщины должны бояться. Только страх делает их покорными. Серый перекинулся обратно в человека и поманил оборотницу к себе. Та подошла, хотя и с опаской. Вожак указал взглядом на землю, и девушка послушно опустилась. С Марой было интереснее. Мара не совестились просить и торговаться. Ему было забавно ей отказывать и изредка в мелочах уступать. А эта, как больная собака. И глаза такие же.

В какой-то миг девка напомнила ему Светлу. И Серый раньше, чем успел осознать,

*наотмашь ударил её по лицу.*

*Она не заплакала. И он успокоился.*

Обережники ходили к Главе. О чем они наедине беседовали, простой, живущий в Цитадели люд, мог лишь догадываться. Но за седмицу побывал у Клесха каждый из Осенённых.

На конюшнях тем временем готовили возки и телеги, проверяли — довольно ли крепки, не подведут ли в пути, натягивали плотные кожаные пологи, чтобы можно было странникам укрыться от дождя и солнца.

Матрела собирала снедь, чтобы орава мужчин не голодала в пути: крупы, сало, вяленое мясо, остатки соленых грибов.

Сделалось ещё более суетно.хлопотали все без отдыха. А столь нелюбимую Клёной Лелу поставили месить хлебы.

— Противная девка, — говорила шёпотом Матрела заглянувшему на поварню Койре. — Ох, и заносчивая. А тесто её любит. Караваи выходят — один другого краше. Главное — к ней под руку не лезть, когда опару ставит, не то, так и знай, кислятина черствая из печи выйдет...

Старик качал головой, глядя на тонкую и прямую, словно камышинка, девушку.

Клёна с Лелой не разговаривала. Да и никто не разговаривал. Трудов у той нынче было втрое больше привычного. Но хлеб выходил на загляденье — высокий, с румяной хрустящей корочкой, под которой прятался ноздрястый духовитый мякиш. Запах плыл на всю Цитадель!

К ловкой стряпухе иной раз подступали парни из воев, кто постарше и посмелее. Но она и с ними не разговаривала — отодвинет плечом в сторону и дальше идёт. Ребята быстро отстали, к вящей радости других красавиц.

Заходила на поварню и Лесана — помочь, чем умела. Сидеть без дела было тошно, ратиться с парнями — того тошнее, а больше, чем ещё заняться? Ну не девок же по тёмным углам тискать?

Нынче пекли пироги. Матрела расстаралась. Захотела побаловать воев, коим со дня на день предстояло покинуть Цитадель.

Лесана понесла лакомство Фебру. Думала и Клёна пойдёт, но та отнекалась, покраснев. Ох, дела сердечные... Обережнице и тепло было, и смешно, и сладко, и тоскливо за ней — томящейся от надежды — наблюдать.

Фебра Лесана заприметила с высокого крыльца поварни. Ратоборец уже потихоньку начал ходить, благо костыль ему сколотили, наконец-то, вполне сносный. Рядом с ним неторопливо прохаживалась незнакомая девушка с длиннющими светлыми косами.

Когда обережница подошла к этим двоим, незнакомка принялась и обрадовалась:

— Ой, пироги! Ты ведь пироги несёшь, красавица, да?

Лисьи глаза были полны лукавства. А лицо... казалось смутно знакомым. Откуда только?

— Правда что ли? — обрадовался Фебр, в котором с выздоровлением пробуждалось вполне объяснимое желание есть почаще.

— Правда, — улыбнулась обережница, снимая с блюда полотенце.

Пироги засияли на солнце румяными маслянистыми боками. Загляденье!

Светловолосая девушка, не дожидаясь приглашения, сразу же сцапала пирожок и взялась жевать:

— Вкусно... Как вы такое делаете?

«Как вы», «такое»...

— Как тебя зовут? — со смутным содроганием спросила Лесана незнакомку.

— Мара, — легко ответила та.

«Так вот ты какая...» — подумалось обережнице, но в следующий миг её окликнули, прервав размышления:

— Лесанка! Лесанка!

Она обернулась, гадая, кто же это так надрывается.

Со стороны ученического крыла быстро шёл Велеш. Он улыбался, и в светлых глазах отражалась неприкрытая радость от встречи. Зимой они с Лесаной виделись мельком и не успели даже толком поговорить.

— Велеш! — помахала рукой девушка, а когда мужчина приблизился, протянула ему блюдо с пирогами.

Колдун ухватил лакомство и тут же спросил:

— Это ты *меня* так встречаешь — угощением?

Она улыбнулась и зачем-то брякнула:

— А Милад погиб...

Улыбка сошла с его лица, словно не было её.

— Знаю, — ответил колдун.

Внезапно горло у Лесаны сжалось, отказывая пропускать воздух. Вспомнилась старая клеть, набитая до отказа купеческим товаром, вспомнились пряники и вяленая прозрачная рыба. Вспомнились трое ребят, сидящих на полу на старых тканках и делящих наворованное добро.

Один из них был замучен и погиб. Другой изуродован. Двое остались — так себе целы. Но то лишь на первый взгляд. А если задуматься? Да поглубже посмотреть? Что от них — тех, прежних — сохранилось?

Вот Велеш, помрачневший, жуёт пирожок. Вот Фебр, ещё бледный и тощий, но уже входящий в силу. Опять же она — Лесана — доска, а не девка. И будто бы им троим повезло — живы. И будто бы каждый беззаботен, а в душу глянешь, чернота там, пустота, юность погибшая и ожидание грядущей сшибки, в которой неизвестно ещё, уцелеешь ли.

— Лесана? — кто-то снова окликнул её неуверенно, с робкой надеждой в голосе.

Так окликают давнего знакомого, с которым не виделись много-много лет, и оттого узнают его смутно.

Обережница снова оглянулась.

В нескольких шагах от неё стоял мужчина. Кряжистый, широкоплечий, с чёрной полуседой бородой и такими же волосами. Одет он был просто, почти бедно. Девушка видела этого человека впервые.

— Ты — Лесана? — уточнил незнакомец с неверием.

— Да... — растерянно ответила она.

— Дозволь с глазу на глаз поговорить.

Измученная обережница отошла в сторону от ребят и волчицы, по-прежнему держа в руках блюдо с пирогами.

— Бери, — сказала девушка мужчине и не удержалась, спросила: — А ты кто? Звать тебя как? Не припомню, чтоб знакомы были.

Он улыбнулся, но пирожок взял.

— Звать меня Дивеном. пришёл я к Главе вашему. Но... услышал вот, как тот темноволосый тебя окликнул.

— Что тебе надо, Дивен? — по-прежнему ничего не понимая, спросила бережница. — Помощь какая?

Он смотрел на неё как-то слишком пристально. Будто старался запомнить или напротив, воскресить что-то в памяти, а потом сказал ни с того, ни с сего:

— Вы не очень с сестрой похожи...

Лесана усмехнулась. Ещё бы! Стояна — красавица в теле, с румянцем во всю щеку, с косами, лентами, серьгами...

— Я тут принес тебе кое-что, — тем временем сказал Дивен. — Она просила передать, если встречу. Передать и поблагодарить.

Он порылся в скинутом со спины заплечнике и достал на свет вязаные носки.

Лесана взяла подарок, разглядывая с недоумением. Связаны крепко и ладно, плотные, теплые. Но зачем бы Стояне присылать ей носки, да ещё и с незнакомым старым мужиком? Эти вопросы рвались у бережницы с языка, и она уже была готова их задать, когда Дивен сказал:

— Спасибо тебе. За жену. За сына. Что не дала погибнуть. Вывела. Отпустила. Спасибо Охотница.

Просторный двор Цитадели покачнулся у Лесаны перед глазами.

Девушка застыла, одной рукой нелепо прижимая к груди вязаные носки, а другой держа пустое блюдо. И гулкое эхо от сказанных Ходящим слов разлеталось в голове на осколки. «Спасибо, Охотница».

Дивен провел у Клесха больше оборота.

О чем говорили, Лесана не ведала. Она в молчании проводила Ходящего до покоев Главы и весь этот путь проделала, прижимая к сердцу Зорянкин подарок. Что сказать — не знала, что спросить — наипаче. А потом просто ждала под дверью. Перебирала пальцами петли плотной вязки, пропускала работу в руках, гладила. Сама не понимала, что хочет нащупать или постигнуть.

Тепло родных рук? Да какие же они родные, если Зорянка даже имени своего не помнила и сестру не узнала?

Но, если не родные, то зачем этот подарок? Ничего в нём особенного нет. Носки и носки. Сколько их таких же в точности сношено, перевязано или вовсе выброшено?

Эти были колючие. Из чего их спряли? Обережница пригляделась — шерсть-то волчья! Ну, конечно, откуда у кровососов взяться овцам или козам?

Потеха.

Но в горле ком, который мешает смеяться.

Когда Дивен вышел, Клесх кивнул поспешно встающей с узкой лавки Лесане:

— Проводи его к Славену. Переночует, а назавтра выведи из Крепости.

Девушка кивнула.

Они шли узкими переходами, мужчина за её спиной молчал. Внезапно, обережница не выдержала, остановилась и обернулась:

— Скажи, — Лесана никак не могла себя заставить посмотреть Ходящему в глаза и потому глядела мимо, за спину, — как вы назвали... ну... мальчика?

Во взгляде мужчины промелькнула улыбка:

— Радош.

Обережница, не зная, что на это сказать, только кивнула и двинулась дальше.

Славена с женой поселили в старых людских, за кузней. На кровососа вздели науз — заклинание наговорили на обыкновенный оберег. Со стороны ничего чудного — ладанка и ладанка. А чем на деле эта ладанка была, знали только Осенённые. Они же раз в луну мужика и кормили. Злобы к нему никто не питал. Ни злобы, ни небрежения.

Ходящий оказался ловок в изготовлении стрел и луков. Тем тут и занимался. Делал на совесть. Оружие у него выходило ладное, крепкое, послушное. Ратоборцы его оценили. Славена уважали за умелые руки, однако дружбы с ним по-прежнему никто из Осенённых не водил, людей же он сторонился сам.

А вот Ясна пообвыклась в крепости. Было ей тут по сердцу — народу много, есть с кем поговорить, всё веселее, чем одним на заимке куковать. Да и обжились они хорошо — старая людская, конечно, стояла опричь, но оттого тут было спокойнее и тише. На первом ярусе Славен обустроил мастерскую, а на втором его жена потихоньку обихаживала два покойчика.

Лесана как-то однажды там была. Ясна обладала тем редким умением, которым всё-таки наделена не каждая женщина — создавать вокруг себя тепло, уют и красоту.

— Славен! — позвала обережница, сунувшись в мастерскую.

— Чего? — он как раз собирался заневолить лук, но увидел Осенённую и работу отложил.

— Вот... Привела к тебе... Переночевать.

Ей было неловко, но лицо Славена озарила искренняя улыбка:

— Дивен!

Мужчины обнялись, и у девушки отлегло от сердца. Она уже собралась незаметно уйти, оставив Ходящих разговаривать, но в этот миг Дивен обернулся и сказал:

— Спасибо.

Лесана отвела глаза:

— Не на чем.

И сама не могла понять, отчего же на душе так погано.

...Утром, едва рассвело, она пришла за Дивеном. Он ждал, сидя на пороге. Старый заплечник лежал рядом.

— Идем, — сказала обережница.

Мужчина поднялся.

В молчании миновали кузню. Лесана спиной чувствовала взгляд Ходящего, понимала, что он ждёт от неё хоть каких-то слов. Однако она упрямо молчала. Не было у неё слов. Горечь была. Стыд был. Глухая боль в сердце тоже была. А слов — ни единого. Возле конюшен кровосос удержал девушку за локоть:

— Охотница, послушай...

Она поглядела на него с мукой.

— Что?

— Слада... Зорянка то бишь, не так давно дочку родила.

Обережница молчала. В груди жгло и пекло, а горло словно стиснули ледяной ладонью. Зачем он ей это говорит? Что ей за дело до их детей! Захотелось вырваться. Захотелось развернуться и уйти, только бы не слышать никаких слов. Забыть эту встречу и давешний разговор. А носки треклятые сжечь! Что у неё — носков что ли нет?!

И ещё горше становилось оттого, что она понимала, пожитой Дивен догадывается обо всех этих малодушных мыслях. И стыд душил сильнее.

Ходящий же, ничем не выказывая обиды или досады, сказал мягко:

— Назвали Лесаной. Так твоя сестра решила.

Собеседница застыла, глядя куда-то сквозь мужчину, а потом хрипло ответила:

— Дай ей, Хранители, счастья не так скудно.

Круто развернулась и пошла дальше.

У ворот они расстались. Обережница перевела спутника через Черту, и он отправился к лесу. Девушка некоторое время смотрела ему в спину, а потом вдруг с горечью поняла, что не догадалась отослать сестре никакого отдарка.

В последние седмицы Нэд казался себе глубоким стариком. Будто разом навалились все прожитые годы, коих он до этой поры словно и не чувствовал. Тошно и муторно сделалось. А в чем причина, поди разберись.

Лишь нынче понял крефф.

Ратоборцы собирались в путь. Готовились к сшибке. Жили предстоящей битвой. Но собирал их не Нэд. Не он вел. Он мог лишь глядеть, как готовились в путь облаченные в чёрное мужчины, которых посадник знал поименно и помнил ещё выучами. Со дня на день вои уходили из Крепости. А он — Нэд — оставался. Со стариками, бабами, детьми, служками и калеками.

Так вся жизнь его миновала. Да и видел ли он жизнь-то, сидючи в своём покое, из года в год набираясь спеси?

А вот Клесх иной. Его-то судьба управителя ни жирком не затянула, ни властолюбием. Как был — одни ремни да жилы, так и остался. Только взгляд острее и тяжелее стал, речь отрывистее. И сколько ни юли сам перед собой Нэд, да только видно — не ослабит Клесх десницу. Останется таким и через год, и через два десятка лет. Не засидится он в Крепости, не обрюзгнет от власти. И ныне-то оттого лишь который месяц тут мается, что готовит ратоборцев, стягивает силы, а воротятся, небось, через день в новый путь тронется — глядеть, как блюдутся приказы его по городам да весям.

Тяжко и трудно было понимать это Нэду. Тяжко и трудно свыкаться с мыслью, что столь нелюбимый прежде выуч оказался умнее наставников. Что не прожог он бездельно и бездумно ни юность свою, ни молодость, да и зрелость не растратит попусту.

Это у Нэда все миновало. Для Клесха же только начинается, чего б ни думал он о себе.

И то ещё было страшно посаднику, что Бьерга ехала вместе с обережниками. Она ехала. Он оставался. Злая досада поселялась в сердце, обида на самого себя.

— Глава, — сипло сказал Нэд. — Дозволь с вами...

Понимал — о глупости просит, о несбыточном, о невозможном. Но не попросить не мог.

Клесх поглядел на Нэда с пониманием. Все он видел в глазах старого креффа. Каждую мысль. Потому что сам был ратоборцем.

— Знаешь ведь, что откажу, — ответил он. — Знаешь — почему. Так давай, будто ты не просил, а я не отказал.

Нэд грустно усмехнулся.

— Давай...

Едва он договорил, как хлопнула дверь покоя и стали входить в горницу вои. Один, другой, третий, десятый...

Кто постарше — заняли лавки, молодые устроились на полу. От избытка черной одежды и непривычно бородатых рож Нэду стало и вовсе тоскливо. Впрочем, он с собой совладал.

— Мира вам, обережники.

— Мира, — отозвались те вразнобой.

Много же их! Рискует Клесх. Все города оголил. Даже из Гродны забрал ребят... За ратоборцами вошли колдуны: Донатос, Бьерга, Тамир, Лашга. Лекари припозднились. Впрочем, пока рассаживались наузники, уж и целители подоспели — первым проковывлял

Ильд, за ним пробрались между сидящих ребят Руста, Ихтор и Ихторов старший выуч — Любор. Замыкали шествие Койра и Рэм. Эти-то пни старые куда?!

В покое стало тесно.

— Ну, все что ли? — спросил Клесх.

Ему ответили согласным гудением.

— Тогда начнём.

Он чертил прямо на стене белым мягким камнем. Ратоборцы слушали, лишь иногда отзываясь, если имели что сказать.

— Эдак-то всё ладно, — говорил иногда Ольст, показывая на белые линии. — Но вот ту телегу лучше с краю сдвинуть.

— С краю болотина, — тут же возражал густым басом Дарен. — Нечего туда двигать. Там прутье густое.

— Так, может, в другую сторону? — спрашивал кто-то из сторожевиков. — Ближе к дальнему ряду.

Гудели, спорили, иной раз вскакивали, подходили к начертанному и до хрипоты лаялись, что-то доказывая или опровергая. Клесх слушал всех, всем давал высказаться.

— А дуру? Дуру ты куда собрался сажать? Туда что ли? — махал руками на упершегося Дарена злой Лашга. — Тебе круг бережный на версту чертить?

И хлопал себя по бедру, а Дарен басил:

— Сколько надо, столько и начертишь!

— Да он-то начертит, — тут же встревала Бьерга. — А силищи где столько взять, чтобы удержать, а? Мы тебя ратиться не учим? Вот и ты не лезь. Слушай, чего говорят-то. Не впусе болтают.

Клесх смотрел на них — разгоряченных, отстаивающих каждый своё, — на неровный рисунок на стене, на стёртые и вновь начертанные линии, слушал споры и молчал.

Лишь когда все вдоволь налаялись, не по разу переругались и смолкли, он сказал:

— Понял я вас. Всех услышал. И делать будем так, — Глава взял в руку камень и начал подправлять рисунок.

Глядели молча. А потом Донатос, за весь этот оборот не проронивший ни слова, в наступившей тишине сказал:

— Хоть кто-то у нас с головой вместо репы на плечах.

Бьерга хмыкнула. И когда все уже думали, что дело оговорено, встал с полу старший Ихторов выуч Любор и сказал:

— Глава, целителей надо по трём телегам рассадить. Тут, — он указал на рисунок: — Тут и здесь.

Клесх задумчиво посмотрел и кивнул:

— Молодец.

Любор сел, кожей чувствуя тяжелый взгляд наставника, но когда обернулся, Ихтор лишь провел рукой по лбу. Молодой лекарь всё понял — рукавом рубахи стёр выступивший пот. И пить захотелось смертельно.

От подёрнутого пеплом очага веяло холодом. В ставни ветер швырял потоки воды. Первая гроза весны... Гром грохотал так, словно над Цитаделью высоко в небесах сталкивались огромные камни. В такую грозу хорошо сидеть у камелька. Слушать мурлыканье кошки...

Увы, покой, который Ихтор за долгие годы привык считать домом, был пуст и неуютен... Словно никогда и не жил здесь никто.

Целитель сел на лавку и запустил ладони в волосы. Устал. И будто не хватает чего-то. Не понять только — чего. Словно душа уснула.

Скоро ехать. Надо проверить, всего ли в достатке. Узлы в дорогу уже собрали, но лишний раз перечесть не помешает. Выспаться опять же. Выучам оставить уроков, чтобы не перемаялись от скуки. Рэм, конечно, возьмет их в оборот. Да и Койра не отстанет. Они на время переймут послушников и продолжат занятия. Ольст будет гонять ратоборцев. Нэд тоже ребятами займется. Из колдунов, правда, остаются за креффов старшие парни. Но им уже можно доверить выучей. Там один Лаштин Хабор чего стоит. Что по силище, что по норову. Мимо него и мышь не прошмыгнет, не то что ленивый подлеток.

Ещё бы, конечно...

В дверь поскреблись. Ихтор вздрогнул. Он отвык от этого звука.

Острые коготки царапали старое дерево.

Крефф помедлил, но всё-таки поднялся и, прежде чем успел сообразить, что делает — потянул тяжелую створку. Вышло на одной привычке, нежели осмысленно.

Рыжая кошка смотрела на него с порога янтарными глазами.

— Зачем пришла? — спросил Ихтор.

Она зажмурилась.

— Зачем? — повторил мужчина.

Рыжка приходила прежде. Правда, всего несколько раз. И неизменно в обличье кошки, будто надеялась, что так ему проще окажется её впустить. Но для него она больше не была кошкой. И обережник сам себе сделался противен. А почему не хотел и вдумываться. То ли не сумел простить обмана, то ли страдал от уязвленного самолюбия, то ли... Хотя чего уж врать-то? Себе зачем?

Просто все было: стыд. Мучительный и горький.

С полу Ходящая поднялась в обличье человека.

— Ты устал. Бледный, вон, аж прозрачный, — сказала девушка.

— А ты никак пожалеть пришла? — спросил крефф.

Ему было мукой даже просто смотреть на неё, не то что слушать.

— Почему не хочешь со мной разговаривать? — Огняна стояла напротив, сердитая и злая. — Чего я тебе сделала?

Ихтор растерялся. Он не умел объясняться с девками. Как-то оно не приходилось толком. Поэтому обережника вполне устраивало, что Огняна приняла его молчаливую обиду и перестала приходить, искать встречи.

— Будто обманутая невеста бегаешь от меня по всей крепости! — тем временем наседала на него Ходящая. — Я за ним! Он — от меня. И говорить не хочет. Сам отощал, как орясина стал.

Девушка без спросу вошла в покойчик и захлопнула дверь.

— Ну, отвечай! Небось, про Мару ты и мгновенья не думал, что она иного племени. На неё сердца не держал. Ей веришь. А от меня, как от скаженной, шарахаешься. Ты...

— Огняна, — прервал он ее. — Уходи. И не приходи больше.

— Почему? — в ней словно разом погасло пламя. Даже рыжина волос поблекла. — Почему?

— Потому, что я человек. А ты нет.

Ходящая застыла, будто он надавал ей пощечин, и спросила с горечью:

— В чём между нами разница? В том, что я могу перекинуться зверем, а у тебя не получится?

Он усмехнулся:

— В чём между нами разница, я только что сказал.

— Ах так? — рассердилась девушка. — Скажи об этом Ясне, которая плакала дни напролет, покуда не вернулся Славен! Маре скажи, которая на себе тащила в Цитадель обережника и помогла вам его выходить! И на себя промеж дела погляди. Что вытаращился? Погляди. Хотя бы и одним глазом. Чем ты лучше? Тем, что кровь тебе не нужна? Это, знаешь ли, дело случая. А могли бы мы и местами поменяться. Что бы ты тогда говорил?

Мужчина ответил спокойно:

— Не знаю. Ничего, наверное, не говорил бы.

Его собеседница покачала головой:

— Вы упрямы, как малые дети. Все до одного тут. Упрямы.

Он молчал. Не знал, что сказать. И правда, почему он её гонит? Как девка разобиженная. Но... стыд. Стыд, досада, уязвленная гордость. Обманывала. Столько времени обманывала. Всяким его видела. Но не призналась бы, не случись со Светлой. Так и жил бы, так и ходил в дураках. И никогда бы не узнал, что она рядом. Искал бы её в каждой женщине. И не находил. Ей ведь все равно было. Лишь, когда беду близкого по крови почуяла, раскрылась! Тогда зачем теперь пришла? Зачем, если не верила с первого дня?

Проще, наверное, было бы её обо всем этом спросить. Проще. Но он не хотел слушать то, что она скажет. Ни к чему. Он и так всё знал. И всё понимал. Лучше им и вправду не видеться. Не знать друг друга. Пусть живёт себе в крепости. Чего, вправду, ей надо от него? И почему не нужно было этого раньше?

— Огняна, мы все до одного тут — обережники, — сказал на гневное восклицание собеседницы крефф. — Нас учили убивать таких, как ты, и защищать от вас людей. Ты это знала. Оттого и скрывалась.

Девушка горько покачала головой:

— Помнишь, я говорила, что мужская стать не в красоте? А тут и тут, — она легонько дотронулась ладонью до его груди и потянулась к голове, но Ихтор отстранился.

— Так вот, — продолжила Огняна. — С умом у тебя всё ладно. А в груди пусто. Ошиблась я.

Она развернулась и вышла. Дверь закрылась. Крефф снова опустился на лавку. Ему показалось в этот миг, что там, где его коснулась теплая ладонь, тело онемело. Так холодно вдруг стало. А потом всё снова сделалось, как прежде. Ни стужи, ни боли, ни сожалений.

Людам свойственно думать, будто жизнь — череда бесконечных испытаний. Нет. Жизнь — череда непрестанных перемен. И ты или меняешься вместе с ней, или ей противостояшь. Ихтор не умел меняться. А противостоять Цитадель учила смолоду.

В полумраке белые линии на стене казались особенно яркими. Клесх смотрел на них и пытался понять — не упустил ли он чего-то. Выдвигались завтра на рассвете. Дивен сказал — с Серым придут тридцать волков и десяток кровососов из стаи Звана во главе с вожаком. Сказал, что Серый поведёт оборотней со стороны старой гати. Звановы пойдут следом и постараются сделать так, чтобы волкам не было обратной дороги.

Если Клесх ещё хоть что-то понимал в людях и не — людях, Дивен не врал. Оставалось лишь предполагать, насколько верны его подсчеты, и не задумал ли Серый чего-то ещё. Опять же, неизвестно, что наплел вожаку Лют. Тут можно лишь гадать. Если сказал, как условились, сил обережникам хватит. Если выдал то небольшое, что знал, Серый подтянет больше оборотней.

Впрочем, Фебр в одиночку, будучи оглушенным, убил троих Ходящих и нескольких покалечил. У Клесха было тридцать ратоборцев, помимо того, двадцать ребят — самых крепких и ловких, — отобранных из недавно созданных городских дружин. Пятнадцать целителей. Пришлось, правда, кроме Русты, Ихтора и их молодняка взять ещё и Ильда. Старый крефф хотя и вошёл в почтенные лета, однако Силой своей управлялся легко, а, значит, лишним не будет.

У Клесха задача была непростая — и стаю волколаков снять и своих людей уберечь. Оттого, продумывая засидку, он старался устроить всё так, чтобы даже самая кровавая битва стоила обережникам как можно меньших потерь. Осенённых и без того мало, а ежели смерть по ним косою пройдет, то особого толку от предпринятого похода не будет.

О гибели Клесх не думал. Дурак тот, кто накануне битвы начинает рассуждать о смерти. Смерть — удел мертвых. Живым надо думать только о жизни.

Внутри у него всё словно оцепенело. Крефф понимал, этот ледяной кулак однажды разожмется и душа начнет оттаивать. Но пока он чувствовал себя так, словно в нём никогда не было чего-то, кроме спокойной собранности. И тревоги ушли, и тоска. Даже сны перестали сниться. Не приходила больше Дарина, не приходила Майрико, не приходил Эльха. И не было этого глухого отчаяния, когда просыпаешься счастливым, но едва дрёма слетает с разума, понимаешь — всё было лишь сном. А явь — вот она. И тех, кто снился, в ней больше нет. И никогда не будет.

Время лечит, жизнь же берёт своё. Клесх знал и это. Любая боль рано или поздно перестает мучить из оборота в оборот. Не проходит, не становится слабее. Делается привычной. С ней смиряешься, и оттого кажется, что болит, как будто меньше. Он ждал. Терпеливо ждал, когда это случится. И, наконец, дождался.

Нэд однажды спросил его — затеял ли Клесх облаву из мести? Глава удивился. Из мести? Нет. Его душили гнев и досада на себя, злоба на обнаглевших от безнаказанности Ходящих... Но охотиться на Серого, ради воздаяния? Смешно. Мстить можно равному, разумному. Кто же мстит одуревшему псу? Клесху не нужна была месть. Ему всего-то нужна была уверенность в том, что ополоумевших волков, медведей, рысей станет меньше.

В дверь постучали. Глава встрепенулся, отвлекаясь от дум. В покое стало уже совсем темно. Обережник затеплил лучину.

— Ну? — сказал он. — Входи, коли пришел.

На пороге тот же миг возник крепкий парень с заметно отросшими волосами, открытым

лицом и носом картошкой.

— Господине... — почтительно произнёс он.

— Уруп, тебе-то чего не спится? — удивился Клесх, признав робича Радоньского посадника.

— Господине, поклониться пришел, — ответил парень, до крайности изумлённый тем, что его не только признали, но и вспомнили по имени. — Спасибо тебе.

Он переменялся. Стал твёрже, увереннее, исчезло из взгляда и голоса униженное смирение. Ладный дружинник получился из бывшего холопа. А коли отобрали его на облаву, значит, старается. А, может, и сам вызвался.

— Будет... — ответил Глава и поинтересовался: — Отец-то больше добро не таит?

— Не таит, господине, — Уруп зашёл и сел на лавку. — Господине, я просить тебя пришел.

Клесх удивленно приподнял брови:

— Опять?

Парень не смутился, кивнул и ответил:

— Дозволь грамоте обучиться. У сторожевиков добро считать времени не с избытком. А я в городе всем свой — с холопами знаком и мне они верят. Я могу считать подати и знать наверняка — утаивает кто или по чести платит. Господине, я на совесть работать буду, ни медяшки не утаю. Только грамотой не владею — не по силам оттого взяться.

Глава откинулся к стене и внимательно поглядел на парня. Уруп смотрел с надеждой, а на его простом круглом лице жила спокойная уверенность не только в себе и своих словах, но и в данном обещании. Твердый был Уруп. Как камень. Об такого и нож затупишь, и зубы сточишь.

— Я поговорю со Стреженем, — сказал Клесх.

Уруп просиял и ответил:

— Да как он сам меня к тебе отрядил. Сказал, мол, иди, проси. Коли Глава дозволит, я не против.

Обережник усмехнулся:

— Да я гляжу, без меня меня женили...

Собеседник мучительно покраснел и отвел глаза. Ему сделалось неловко.

Клесх рассмеялся:

— Да будет уж. Как девка на сватинах. Вернёмся, останешься до осени при Цитадели. Обучишься грамоте и счету, а в урожайник отправишься обратно.

Дружинник кивнул, поднялся, снова поклонился:

— Мира в дому.

— Мира.

Уруп ушёл, а Клесх так и остался сидеть, задумчиво глядя перед собой. Назавтра пускаться в путь. Глава поднялся, подошел к окну. Отсюда был виден обезлюдевший двор Цитадели и тёмные тени деревьев за стеной.

С утра обоз выдвинется в сторону Встрешниковых Хлябей. Не пройдет и двух седмиц, как схлестнутся люди и Ходящие. Осенённые. Сказал Дивен правду или солгал, выполнил Лют уговор или нет — уже не имело значения. Две седмицы.

Клесх не доверял никому из Ходящих и потому стянул такие силы, каких хватит и в том случае, если никто из его подельников не сдержит уговор. Исход битвы был ясен. Не ясна цена. Но одно обережник знал наверняка — эта сшибка изменит привычный уклад жизни и

людей, и Ходящих. Вот только к добру ли, к худу ли — пока неясно.

Над лесом повисла ночь. Лучина в светце затрещала и погасла. Крефф остался в кромешной темноте. Он думал о том, почему так спокоен и вдруг внезапно для себя постиг ответ.

У каждого человека должно быть то, ради чего стоит жить, то, что страшно потерять. Ведь если не стоит за душой страх потери, то никаких других страхов в ней не остается вовсе. Клесх давно уже всё потерял. Потому ничего не боялся. Но ведь, кроме него, жили ещё на свете люди, которым было, чем дорожить. Жили в постоянном страхе. Этих людей обережник и собирался защитить. В память о тех, кого защитить не смог. Потому и месть тут была совершенно ни при чём.

Мягкий тюфяк казался Тамиру набитым не сеном, а жёсткими прутьями. Тело ныло и жаловалось. Тянуло и выкручивало каждую кость. Обрывки смутных не то видений, не то воспоминаний кружились в голове, и казалось, рассудок раздирает на части.

То мерещилась девочка, покрытая свищами и язвами, то мокрый лес, то девушка, склонившаяся над свитком, то подземелья и окостеневшие трупы на оббитых железом столах, то рычащая старуха с растрепавшимися седыми космами, то мертвый старик, вытянувшийся на лавке, то просторная поварня и запах хлеба, витающий по ней... И ещё он помнил ночное небо, от края до края усыпанное звездами... Звезды падали, оставляя за собой сияющие росчерки. Что-то было тогда. Что-то ценное. Тамиру мерещились тёмные глаза, смотревшие на него с любовью. Он не помнил девушку. И не знал теперь — было это с ним или с Ивором.

— Тамир...

Он вздрогнул и вскинулся на своей лавке. Рядом сидела Лесана. Её лицо бледным пятном выделялось в полумраке покойчика.

— Чего? — спросил обережник осипшим голосом.

— Можно я с тобой лягу?

Мужчина удивился:

— Зачем?

Собеседница помолчала, а потом сказала:

— Уснуть не могу. Тошно мне. Одной в темноте... Не знаю как объяснить. Просто тошно.

— Ложись, — пожал он плечами.

— Надо лавки сдвинуть, — сказала девушка.

Он поднялся, чтобы ей помочь, и в этот самый миг волна воспоминаний накрыла с головой...

— Лесана, — Тамир вцепился в её плечи. — Лесана, я помню! Лавки... мы сдвигали лавки, чтобы согреться. Ты, я и ещё девушка, не знаю, как её звали. Скажи, ведь было?

Она мягко стиснула его ладони, понимая, что он цепляется за слабые проблески памяти, пытаюсь сохранить себя.

— Было, Тамир.

Он улыбнулся. Устало и грустно.

— Знаешь, я ведь уже несколько седмиц не сплю...

Девушка посмотрела с ужасом, а колдун продолжил:

— Совсем не сплю. Представления эти. То одно, то другое. Я лежу, вижу их. И в голове пусто, как в разохшемся ведре. А заснуть не могу. Будто рой пчёл в груди. Так больно...

Лесана обняла его, чувствуя, как сердце заходится от жалости и тоски. Почему всё так? Почему? Откуда горечь эта? Зачем им? За что? Хранители! Если есть вы, просто дайте погибнуть. Пусть закончится всё. Навсегда. Потому что ничего в их жизни из прошлого не осталось, а нового не создать, не построить новое на развалинах. И горькую память из сердца не вырвать. Так и будет сидеть там занозой.

Они легли, поделив одно одеяло на двоих. Обережница обняла колдуна, прижалась к нему всем телом. Они так спали уже. Как давно это было... Девушка уткнулась лбом

мужчине в спину, он накрыл ладонью её руку, лежащую у него на плече.

— Потерпи, — сказала Лесана, не зная, что ещё к этому добавить.

...Она проснулась, когда рассвет едва забрезжил. Тамир лежал на спине, устремив застывший взгляд в потолок.

— Пора собираться, — сказал колдун.

Девушка вздохнула.

— Тьфу, вот же вонища! Тухлой рыбы ты туда что ли подмешал? — ругались обережники, по очереди зачерпывая из бочонка, который Руста любовно пополнял отварами всю седмицу.

Целитель хмуро смотрел на полуголых парней, остервенело размазывающих по поджарым телам смрадную жижу.

— А уж липкая-то! — плевались ратоборцы. — Руста, тебя ей намазать!

Лекарь лишь недовольно фыркал в ответ, перебирая сложенные в телегу мешки с травами.

Несколько возков в «торговом» поезде были крытыми. В них предстояло ехать обмазавшимся зельем воям. Этим же зельем протирали оружие, поручи и поножи из вареной кожи, напиткивали пологи на двух особых телегах, чтобы даже острый волколачий нюх не мог учуять — сколько точно в обозе людей и какой «товар» они везут.

...Провожать обережников высыпала вся Цитадель. Пятнадцать телег набралось в обозе. Вели поезд трое ратоборцев: Клесх, Лесана и Дарен. Последнего хотели было обрядить простым странником, но могучий крефф нелепо смотрелся в мужицких портах и простенькой голошейке. А уж бугры мышц даже одежда не скрывала. Поэтому ехал он в облачении воя.

Лесана про себя радовалась, что её, в отличие от Бьерги не принудили вздеть бабское. Колдунья в скрывшем волосы покрывале, темной разнополке и женской рубахе смотрелась неузнаваемо. Стояла она в стороне, о чем-то беседуя с Нэдом, и глядел посадник на наузницу с такой нескрываемой любовью и тоской, что Лесане сделалось не по себе.

Донатоса тоже было не признать. В выдавших виды портах, посконной рубахе и легкой свите казался он чужаком — хмурым, недовольным, желчного вида. Но Светла жалась к нему, словно не замечала угрюмости. Колдун подсадил девку в телегу и следом забрался сам. Дурочка радовалась предстоящему путешествию, что-то лопотала, пытаясь растормошить недовольного спутника. Тот лишь отмахивался.

Ихтор, одетый в такое же простое мужицкое платье, что и остальные, отличался от обережников лишь повязкой на лице, скрывающей изуродованную глазницу. Со стороны казалось, будто хворый ездил в крепость за помощью к лекарям, а теперь возвращается домой в надежде пойти на поправку.

Кони нетерпеливо фыркали, переступали с ноги на ногу. Суетились служки, рассаживались по обозам обережники, пересчитывали мешки со съестным, проверяли оружие.

Лесана верхом на Зюле терпеливо ждала, когда сборы закончатся и, наконец, Клесх даст знак трогаться в путь. На сердце было маетно. Все ли вернутся? Краем глаза девушка увидела, как ратоборцы прощаются с Фебром. Он глядел на бывших соучеников с тоской, которую всеми силами старался скрыть. Внезапно взгляды обережницы и искалеченного воя встретились. Фебр улыбнулся одними губами, а Лесана покачала головой, словно призывая его не кручиниться, и похлопала ладонью по кошелю, висящему на поясе, тем самым напоминая про отданное несколько дней назад кольцо.

Стоял у входа в казематы в толпе послушников-колдунов притихший, присмиривший Руська. Всё утро он был тише воды и ниже травы — боялся разреветься. Поэтому Лесана

расцеловала его ещё в покойчике, чтобы не бередить на людях. Паренёк всеми силами старался держаться по-взрослому, хотя это и оказалось, ой, как непросто. Сестра помахала ему рукой, и братец жалобно улыбнулся, а потом ткнулся лицом в локоть Хабору. Старший выуч похлопал молодшего по плечу, скупно утешая.

На крыльце поварни замерла тётка Матрела в окружении помощниц. Глаза у девок были на мокром месте. Лишь одна застыла прямая, как тростинка, с лицом равнодушным и холодным. Глядела она с надменной обидой на кого-то в толпе собирающихся воев. Лесана проследила за взглядом и увидела Клесха, склонившегося из седла к Клёне. Падчерица что-то говорила отчиму, и он с улыбкой кивал, потом поцеловал девушку в макушку и повернулся к стоящей чуть в стороне Маре. Волчица обронила лишь несколько слов. Обережница, конечно, не слышала, каких именно, но догадалась — Ходящая просит о брате. Клесх в ответ лишь усмехнулся, но ничего не сказал, только повернулся к спутникам. Махнул рукой.

Вот и всё. Пора.

Лесана выезжала последней, спиной чувствуя встревоженные взгляды десятков глаз. Всхлипывали девки, даже Матрела, и та украдкой вытирала глаза. А потом высокие ворота медленно закрылись и лишь мрачная громада Цитадели черными провалами окон глядела в спины уезжающим обережникам.

Двор крепости опустел. Стало как-то особенно тихо. Медленно разошлись по делам служки. Порскнула прочь с крыльца Башни целителей рыжая кошка. Старшие выучи погнали прочь молодых — уроков им нынче никто не отменял. Нэд — мрачный и серый от тоски — ушёл на верхний ярус. Клёна круто развернулась и тоже отправилась по своим делам.

Фебр разжал руку, на которой лежало кольцо, и теперь заворуженно смотрел на поблескивающее в свете утреннего солнца серебро, старался собрать разбредшие мысли. Наконец, придя к какому-то решению, ратоборец поднялся и, опираясь на костыль, поковылял от Башни целителей в сторону главного *жила*.

Какие же крутые в Цитадели всходы! Обережник миновал два и понял, что выше уже не поднимется. Опустился на широкий подоконник, прислонил костыль к стене и замер, пытаясь восстановить дыхание. Ему казалось, он сидел всего несколько мгновений, но вдруг за плечо осторожно тронули. Мужчина открыл глаза. Напротив стояла Клёна и смотрела неодобрительно:

— Ты зачем один пошел так высоко? А упадешь?

Ратоборец улыбнулся:

— Упаду, поднимусь. Да и пора уже ходить дальше, чем на десяток шагов.

Девушка вздохнула, и лицо у неё стало виноватым. Фебр сразу пожалел о сказанном.

— Постой, — он удержал Клёну за руку.

Она удивленно оглянулась.

— Я с тобой поговорить хотел, да, видишь, силы не рассчитал, — сказал он, виновато.

Собеседница подошла ближе, глядя на него с удивлением.

— Знаешь, я о чем жалею? — спросил вой и тут же сам ответил: — О том, что получилось всё неправильно. Не по-людски. Ты другого заслуживаешь. Я не хотел тебя обижать, ни тогда, в Старграде, ни... ни здесь.

Слова давались ему тяжело. Фебр, как и все обережники, не был речист.

— Я подумал тогда — дитё же совсем. Натерпелась. А тут вроде как спаситель... Девичье сердце, оно ведь на заботу и ласку отзывчивое. Вот и приглянулся. Ты мне понравилась, потому я и участи тебе горькой не хотел. Сама посуди, взял бы тебя, а потом вернулся... таким. Тут вся жизнь впереди, а уже, как будто и вдовая.

Он понимал, что говорит, наверное, непонятно, а может и глупости вовсе, но ему хотелось сказать, облегчить душу, объяснить. Ратоборец смотрел на девушку, но та стояла, опустив глаза долу, и по лицу не понять было, о чём думает.

— Ну, а потом, видишь, как случилось, — продолжил обережник. — И вышло вроде ещё гаже. Калекой стал. А ты выхаживала. Но я ведь как раз от этого тебя уберечь хотел. Получилось же наоборот. Стыдно. И как после того, что там, в Старграде было, сказать тебе правду? Выходит, стоило ноги лишиться, и тут же иные песни завёл. Я ведь думал тогда... не всерьёз ты, думал, по юности. По глупости, может. Нелепо всё...

Фебр замолчал, не умея объяснить то, что чувствовал: *мужчина* должен признаться девушке в сокровенном, *он* должен добиваться, подарки дарить, защищать, голубить. А у них вышло иначе. И ему жаль. Очень жаль, что так оно обернулось и теперь этого уже не исправить. Он не знал, что ещё добавить, что сказать, поэтому поднялся, опираясь одной рукой о стену, а другую протянул Клёне.

На раскрытой ладони поблескивало серебром широкое кольцо.

Девушка смотрела на украшение, а сердце билось и подпрыгивало, словно хотело выпрыгнуть через горло. Она осторожно протянула руку и кончиками пальцев коснулась кольца. Горячее. Всё ещё не веря, Клёна подняла глаза на мужчину. Он глядел на неё внимательно, и во взоре таилась даже не тревога — страх.

Внезапно сделалось смешно. Хранители пресветлые, какие же они оба дураки! Стоят и боятся. Одна, что от неё собрались откупиться, отказаться навек, другой, что его не простят и подарок не примут. Девушку словно встряхнуло изнутри, и она расхохоталась, уткнувшись лбом обережнику в грудь.

Она смеялась, обхватив его обеими руками, прижавшись крепко-крепко. А мужчина смотрел растерянно, испуганно, не зная, что могло её так насмешить в словах, которые он с таким трудом подбирал. Он не понимал, насмехается она над ним или над тем, что он сказал. Не разумел даже, означает её смех согласие или отказ. Поэтому решил выяснить единственным известным ему способом — наклонился и поцеловал смеющиеся губы. Решил — оттолкнет, значит заслужил.

Клёна не оттолкнула.

Её губы были мягкими и пахли липовым цветом...

Светла сидела в возке, тесно прижавшись к Донатосу, и разглядывала его ладонь, которую держала в руках. Гладила тонкими пальцами белые рубцы шрамов, водила по изогнутым линиям. Крефф ладонь не отбирал — дурочка молчала, и за это он готов был отдать ей хоть обе руки разом.

— Ясный мой светоч, — тихо сказала девушка. — Как жалко мне тебя, если б только знал ты. Если б только понять мог...

Обережник безмолвствовал — помнил, пророни хоть слово, от сказанной будет не отделаться. Но когда она повернулась, глухое раздражение покинуло колдуна. Ибо глядели на него переливчатые очи, лишённые дикого огонька безумия.

— Почему жалко? — спросил Донатос, боясь спугнуть видение.

— Изуродовала тебя жизнь. Как многих уродует. Искалечила. Только иным, битым, да посеченным, Хранители радость посылают — надежду, что душу обогреет, к жизни вернёт. А тебя они милостью своею обошли. В юности ты ещё зачерствел. И отогреть было некому. Вот и копилась злоба в тебе, иссушала.

Он смотрел на девушку потрясённо и молчал.

— Я отогрела бы тебя, вытянула, — прошептала Светла. — Кому-то Хранители дают Силу плоть лечить, мне дали Дар исцелять души. Больно это — скорбь чужую, как собственную чувствовать. Изнанку каждого видеть. Вот Глава ваш. Выжгло его изнутри. Чёрен он, как копоть. А у тебя душа, словно пустыня каменная. Где ни росточка не пробьется, ни былиночки. И девушка та, которую ты обидел, словно льдом скованная. И стынет сердце, согреться не может. Несчастные вы.

Донатос осторожно перехватил руку говорившей и спросил:

— Отчего ты ко мне потянулась? Не к другому кому?

Она безмятежно улыбнулась:

— Пожалела. Калек всегда жалко. А ты не телом, душой искалеченный.

Светла ласково погладила креффа по заросшей бородой щеке и улыбнулась:

— Я ведь помочь могу. Оттого и тянет к тебе, что в помощи ты острее других нуждаешься. Радость дней мимо проходит, а ты её не видишь, не чувствуешь, не умеешь жить.

Колдун криво ухмыльнулся:

— А ты, будто, научишь.

Девушка в ответ грустно покачала головой:

— Не я. Боль тебя научит. Жизнь тем сильнее бьёт, чем сильнее ей упрямишься. А ты не упрямься, хороший мой. Нет-нет, а вспомни дуру-то...

В этот миг треклятая телега подскочила на кочке, блаженная испуганно моргнула, и взгляд тёмных глаз стал снова дурковатым. Девка закудаhtала:

— Ой, ой, родненький, трянуло-то как. Не ушибся?

Крефф покачал головой. Говорить опять расхотелось.

...На постой остановились вечером. Телеги расставили по кругу, чтобы было не видно, что творится внутри. Развели костры. Один нарочно разложили так, чтобы дым сносило в чашу, мешая глядеть и отбивая запахи.

Ратоборцы, ехавшие в крытых телегах, спешно поменялись местами со спутниками. А

когда дым развеялся, мужчины всю окатывались водой, смывая дорожные пот и пыль.

Бьерга хлопотала у котла с кашей, помешивала варево длинной ложкой, Клесх ушёл чертить бережный круг, Лесана подседа к костру. Колдунья заметила её и спросила:

— Ты что такая невеселая?

— А чему веселиться? — вопросом на вопрос ответила бережница. На сердце у неё было тяжело.

Тамир лежал ничком в телеге. Ни с кем не разговаривал. Едва остановились на постой, к нему забралась Светла и взялась ворковать, перебирая мужчине волосы. Дурёху не трогали.

Наконец, когда каша сготовилась, Лесана отправилась за колдуном и блаженной. На диво наузник спал. Глупая девка сидела, ласково пропуская между пальцами полуседые пряди: «Измаялся... истомился... горе горькое... пройдет все...»

Заслышав шаги, Светла оглянулась и сказала тихо Лесане:

— Не буди его. Пусть выспится. На силу укачала.

Это прозвучало глупо. Но бережница, несмотря на всю дурость сказанного, послушалась. Помогла Светле выбраться из возка, а та вдруг прижалась к Осенённой и прошептала:

— Крутом ходят... злющие такие... страшно...

— Не бойся, — успокоила её Лесана. — Не тронут.

Дурочка пытливым взглядом заглянула собеседнице в глаза и сказала:

— Тронут, зорька ясная. Эти тронут. И не подавятся.

Стая мчалась вперед. Тянулась через чащу. Оборотни не принимали человеческого обличья, неслись во всю звериную силу. Кровососы, впрочем, не отставали. Шли следом, но вроде как опричь. У каждого заплечник, из которого несло нестерпимой луково-чесночной вонью. Волки терпели.

Днями останавливались для сна. Серый отправлял вперед двоих-троих из ближней стаи, чтобы проглядели лес, а если надо подкормились, чем придется.

Зван со своими устраивались поест. Вяленая дичина, лук. Эх, и воняло! Волки чихали. Кровососы посмеивались.

Люту Серый приказал держаться ближе к Звановым. Мол, гляди за ними. Лют глядел. Иногда перекидывался, чтобы поест с ними мяса.

В Переходах ещё, когда Серый чуть ослабил надзор, Лют ходил к кровососам. Спросил тогда Звана:

— Кто из твоих сестре помог?

Мужчина усмехнулся:

— С чего взял?

Лют ответил:

— Запах. Серый так и не учуял того, кто с Марой был. Значит, не волк.

Зван спрятал улыбку:

— А вожак твой не понял.

Оборотень пожал плечами:

— Понял, небось. Оттого и велел за вами глядеть. Так кто?

Зван мог бы промолчать. Но он знал Люта с того самого дня, когда Серый привел стаю в пещеры. Лют обладал живым умом, не любил пустой болтовни и не славился бессмысленной кровожадностью. Он понимал, что оборотни в Переходах лишь гости и старался жить в ладу с хозяевами, по возможности, помогая. Волки его — не Осенённого — слушались беспрекословно, да и не было в его стае свирепых или злобных. Люди, как люди.

Однажды Лют предложил Звану помощь в охоте. Тот сперва не понял даже, о какой охоте речь, а когда дошел — долго смеялся. Лют смеялся вместе с ним. Он предлагал загонять зверя.

Кровососам нужна была дичь. Но дичь чуяла Ходящих и выслеживать её было трудно. А волки легко снимали с лежек кабанов, гнали оленей или лосей. Им было весело. Они любили погоню. Звановым это во многом облегчило жизнь, обеспечив стаю мясом.

Другой раз Лют рассказал, какую деревню собрался обнести Серый. Волкам необходимы были плоть и кровь. Стае Звана — утварь, ткани, одним словом, всё, что не требовалось мертвецам.

Поэтому, когда к Звану пришла Мара, приволочив на спине умирающего Охотника, вожак кровососов не отказал бедовой девке в помощи. Вдвоём с Дивеном она протащила обережника путаными подземными тропами, а потом через Горючий Ключ, скрывая следы. Дивен, как умел, помог лечить человека...

Нынче же Лют ловил на себе задумчивый взгляд Звана и понимал, что вожак кровососов что-то решает для себя. Оборотень ни о чем не спрашивал. Захочет — сам скажет. Так оно и вышло. Когда ели, Зван негромко промолвил:

— Лют, ты... ежели там жарко придется, не вздумай назад бежать.

Оборотень поглядел на него внимательно. В голубых глазах промелькнуло насмешливое понимание. Он ничего не сказал. Просто кивнул.

До старой гати оставалось два дня пути.

Тамир проснулся зябким утром. Кто-то заботливо укрыл его войлоком, подложил под голову свернутую свиту. Но всё одно — шея затекла. Колдун потёр руками лицо. Заря ещё только занималась. Между деревьев висел туман, а небо было серым.

Обережник сел в возке, привычным движением дернул за ворот рубаху, вытянул из-за пояса нож. Подправил резу. Внутри него билось и кричало чужое безумие. Сознание двоилось, тянуло душу тоской, изводило ожиданием. Внутренности, казалось, мелко дрожали от напряжения. Он понимал — и тоска, и ожидание — не его. Но уже не отличал, не мог отделить себя от того чужака, что завладел его телом, памятью и разумом.

Рассудок мутился, будто Тамир был лишь гостем в собственном теле. И сердце стискивали не то страх, не то предвкушение. Реза под рубахой вспыхивала болью. Эта боль, такая живая и острая, смешивалась с тоской и отчаянием. Отчаянием непонимания. Страшно открыть глаза и не помнить, кто ты, что у тебя за плечами.

Зияющей чёрной дырой была его душа. И в эту бездонную пропасть без следа канули воспоминания. Иногда что-то будто бы стучалось в сердце, старалось воззвать из темноты. Колдун замирал, силясь понять, постигнуть... впусте. Темнота оставалась темнотой, а боль — болью. И ничего не менялось.

Он нёс в себе эту боль и чувствовал себя сосудом, наполненным до краев, или рекой в половодье, готовой выйти из берегов. Рекой, да. Тогда ведь тоже случилось половодье. И его несло, качало на волнах...

Мужчина закрыл лицо ладонями. Хранители! Прекратите эту муку! Каждый новый день отхватывал от души кусок и его будто сжирала сидящая в теле человека навь. Питалась она не кровью. Питалась она памятью, силами сердца, всем тем, что делает человека — человеком. Уроками прошлого. Страданием, радостью, горечью, печалью... Сжирала без остатка оставляя после себя мертвую стынь.

Он выбрался из телеги, стараясь не разбудить Лесану. Сегодня он помнил её. Смутно, но помнил. Недавно, в Цитадели, она спала рядом, прижимаясь к нему горячим живым телом. Это не будило в мужчине ничего плотского. Просто было тепло...

Чёрное кострище ещё хранило жар присыпанных золою углей. Тамир разворошил их и стал складывать влажные от росы дрова. Он озяб. И хотел согреться. Вдруг плечи обхватили сзади две тонкие руки.

Ивор в теле колдуна вскинулся, но не смог уйти в чёрную пустоту чужой памяти.

— Чш-ш-ш... — ласково зашептали на ухо. — Слышишь меня? Слушай... Я тебе помогу. Иным тут помочь нельзя. А тебе — по силам.

Навь в человеческом теле затрепетала, забилась.

— Не бойся. Недолго осталось. Потерпи...

Девушка села рядом, поглядела переливчатыми глазами:

— Путь иных короток. Твой же долгов был и страшен. Я сумасшедшая ведь. Как ты. Я понимаю... Ты спи... Я позову...

Она держала его за руки и улыбалась. Через её пальцы в застуженное тело Тамира лилось утешительное тепло.

Что было потом, он не помнил.словно чёрная завеса опустилась на глаза.

...К старой гати подъехали, когда солнце давно уже перевалило за полдень. Клесх

махнул рукой, мол, останавливаемся. Обоз, неспешно катившийся по лесной дороге, замер.

Поляна перед гатью была вытянутая и неровная, как блин у нерадивой хозяйки. Болото же по краям заросло густым прутьем.

— Тпру-у-у! — удержал лошадей Стрежень и закричал вперед: — Чего встали-то, раскорячились? Плотней, плотней бери!

Со стороны казалось — обычная дорожная суета. Восемь телег тесным рядом встали вдоль обочины, отсекая гать от лесной чащи. Иначе такой змеище тут было и не разместиться. Два крытых возка въехали на поляну и устроились по краям. Остальные пять подвод поменьше — втиснулись поперед прочих и остановились абы как, без порядка. Зато с гати, как ни гляди — не усмотришь, что за ними делается.

— Эге-е-ей, — тут же заорал Дарен кому-то из «купцов». — Кресень, по дрова ступайте. Стемнеет скоро. Да кусты немного потяпайте, гать-то, почитай с осени не подновлялась.

Люди разбрелись, каждый занявшись своим делом. Елец с Четом чистили лошадей, запряжённых в малые повозки, что стояли ближе всего к гати. Донатос пустился обходить место привала, словно радуясь возможности размять ноги. Бьерга с несколькими ребятами из дружинных чистила лук и репу, готовилась варить похлебку.

Будто обычной жизнью жил обоз. Мужчины обустроивали кострище, кто-то отправился за водой. Возвратился Лашта, ходивший якобы проверять гать — туда, где яростно рубили топорами раakitник двое ребят, — а на деле начертить перед узким перешейком обманный бережный круг.

Клесх, как положено обозному ратоборцу, обносил телеги оградительной чертой. Лесана знала — позади, за плотным рядом телег, выстроившихся неприступной преградой к лесу, бережник круг не замкнет. Там, когда придет час, будут ждать колдуны. Чего? Того, чего тут ждут все, невольно напрягшись внутри, изготoвившись к схватке.

Один Тамир был равнодушен к происходящему. Он устроился возле костра, кутаясь в войлок. Ни с кем не разговаривал. Молчал и глядел на огонь. К нему не подходили, не донимали, хотя Донатос и глядел настороженно. Впрочем, было полно других хлопот, поэтому к парню не приставали.

Стемнело, как показалось Лесане, слишком быстро. Ночь не опустилась, а прямо-таки пала на лес. Бережница почувствовала, как заглодело нутро. Ей было страшно. Путники поели уже в потемках. И так же в потемках разбрелись по своим возкам. Лес был тих и безмятежен.

Серый и с ним трое матёрых наблюдали за людьми. Странников набралось всего четыре десятка. Именно столько насчитали волки, которых вожак отправил вперед — наблюдать.

Четыре десятка человек и с ними трое Охотников. Обозники чувствуют себя в безопасности. Но он — Серый — знает, они зря столь беспечны. Осенённые Звана остались позади, шагах в пятидесяти. Там же — матёрые из ближней стаи. Ждут.

Дело надо сделать быстро, пока спящие не опомнились.

Волколак страстно вдыхал летний воздух: к запаху людей, лошадей, пота, дыма и стряпни примешивался тонкий особенный запах родной крови. Светла... Он не видел её, но чуял, она там, среди этих людей. Лют не солгал.

Вожак крадучись двигался вперёд, отыскивая преграду, закрывающую путь Ходящим в Ночи. Где-то рядом совсем. Вот и она! Не пускает. Он застыл, как вкопанный. Снова принюхался и перекинулся в человека. Коснулся подрагивающими от нетерпения пальцами бережной черты. Неистовый Дар полыхал в крови, искал выхода.

Заклятье Охотника рассыпалось бледными болотными искрами. Вот и все. Люди, ждите. Мы идем. Как вкусно вы пахнете! Светла, дура, где ты?

...Светла, спавшая в крытом возке, встрепенулась. Увидела сидящего рядом Донатоса и стиснула его руку. Колдун посмотрел на дурочку вопросительно, она в ответ лишь улыбнулась. И была в этой улыбке такая тоска, что креффу стало не по себе. Девушка вдруг потянулась к нему, обняла, прижалась тесно-тесно. А через мгновение тишину ночи разорвал волчий вой.

Крефф расцепил дурехины руки, передал скаженную устроившемуся с ними же Стреженю — ратоборцу из Радони. Мужчина перехватил блаженную. Та не сопротивлялась, лишь смотрела огромными испуганными глазами на обережников. За долгие дни пути Светла привыкла к спутникам и знала поименно тех, кто ехал в одном с нею возке: Стрежень, Гвор, Звенец — они постоянно были рядом. Но теперь девушка со страхом и трепетом увидела, как мгновенно переменились их прежде спокойные лица, сделались жестокими, напряженными. Она слышала и биение сердец — частое, отрывистое... Стало вдруг страшно. Скаженная уткнулась носом в широкую грудь своего защитника.

Звенец поднялся, сбрасывая полог с телеги. Весенняя ночь повисла над лесом, но среди сотен её пряных запахов Светла почуяла один — самый родной и близкий. Девушка отняла голову от груди Стрежня, запрокинула голову и завывала, захлёбываясь от ужаса, отчаяния и непоправимости того, что началось.

...Он услышал её, а потом и увидел — там за беспорядочно расставленными телегами — в одном из возков его сестра выгибалась в руках у Охотника. Серый ринулся вперед — туда, к ней, ведь бережная черта более не была преградой.

...Лесана вскочила в полный рост. Они с Клесхом устроились в середине обоза — отсюда хорошо было видно всю поляну.

Глава стоял рядом с выученицей и спокойно наблюдал за происходящим. Четверо огромных волков кинулись через снятую бережную черту. Один — самый здоровый — нёсся вперед, трое ринулись на ближайшие телеги, в которых спали люди.

Пронзительный крик и навстречу хищникам из повозок выпрыгнули шестеро ратоборцев. Сквозь яростные вспышки Дара Лесана заметила, как несколько быстрых теней

метнулись от брошенных подвод к могучим деревьям, растущим по краям поляны.

Леденящий душу волчий вой полетел над чащей. Дикая стая — чёрным потоком устремилась на поляну. Со своего места девушка видела, как обережники тянут за уздцы хрипящих лошадей, разводят стоящие в беспорядке телеги. Волки, устремились в освободившуюся брешь. Кони, вроде и привычные к запаху зверя, всё же напугались. Несколько хищников отделились от общего потока, бросились туда, куда отходили люди. Заржала испуганно и рванулась в сторону кобыла, на спину которой взлетел зверь. Сверкнул в темноте голубым росчерком Дар... Визг, хрип, серые тени покатались в разные стороны. Во тьме не различить людей и зверей — всё смешалось.

...Лют шёл в числе последних волков — не Осенённых — тех, кого Серый взял с собой только за силу и злобу. Когда стая ринулась вперёд, устремляясь на поляну, откуда уже неслись крики, рычание и хрип, оборотень оглянулся. Спутники Звана поспешно сбрасывали заплечники и вовсе не торопились следом за оборотнями. Про себя Лют усмехнулся. Знать, не просто так несло от котомок кровососов луком. Отбивали запах. Впрочем, чего они там тащили, ему уже было неинтересно. Вместо того чтобы нестись вместе со всей стаей, Лют на краю поляны ринулся в сторону. Над ухом свистнула стрела, волк припал к земле и пополз на брюхе к лежащей на боку, перевернутой телеге.

Остро пахло кровью, потом, страхом.

...Она была рядом! Он чуял её запах, а потом услышал крик. На мгновенье Серый забыл обо всем. Она близко...

— Светла-а-а! — он перекинулся из зверя в человека. И в этот миг осознал, что попал в ловушку, что его не только ждали, но и готовы были встретить.

Дикая хмельная ярость подступила к горлу.

— Све-е-е-ете-е-е-ел! — нёс ночной ветер протяжный, полный тоски крик.

...Телеги, выставленные по краям поляны, вспыхнули одновременно и жарко. Пологи, которые напители Рустиным отваром, чтобы отбить запах, с них сдернули и, политые маслом дрова, переложенные соломой, занялись тот же миг.

Отступавшие к длинному ряду повозок четверо ратоборцев, что-то горстями разбрасывали за собой из плотных кожаных мешков. Стая, уже целиком втянувшаяся на поляну, устремилась к людям. Однако звери, длинными прыжками мчащиеся к добыче, ни с того, ни с сего утратили прыть, взвыли, покатались кубарем.

Хищники смешались: визжали, хрипели, крутились, не понимая, что случилось. И в этот самый миг сверху посыпались стрелы. Они летели одна за другой, оставляя в воздухе яркие голубые вспышки.

...Елец, вспотевший и запыхавшийся, с окровавленным мечом в руке, вспрыгнул на телегу к Лесане и Клесху.

— Ну, Торень! Приеду — расцелую! — сказал ратоборец, выдергивая из налучи лук.

Лесана бросила стрелу к тетиве и застыла, отыскивая цель. Костры разгорелись. На поляне стало светло, как днем. Где-то в стороне протяжно и тоскливо завыл зверь. Девушка узнала этот голос. Хотя прежде не думала, что сможет отличить зов одного волка от другого.

— Донатос, — услышала обережница спокойный приказ Главы. — Закрываете черту.

Ратоборцы с телег размеренно метали стрелы в ярящихся хищников.

...Серый понял, что просчитался, когда налетел на Стену. Да. На Стену. Дальние повозки, к которым он так рвался, и откуда его звала Светла, оказались обнесены ещё одним обережным кругом — нерушимым и крепким. Охотники забрасывали стаю стрелами, и

подобраться к людям было невозможно. Сестра кричала надрывно и с отчаянием.

Оборотень упал на колени перед невидимой преградой, положил ладони туда, где тянулась непрерывная нить чего-то могучего Дара... Чиркнула, задев плечо стрела. Плевать. Сила сопротивлялась силе, но Серый не зря был вожаком, не зря столько дней подпитывал свою яростную мощь человеческой кровью и кровью Осенённых. Черта вспыхнула пронзительной зеленью и разлетелась на затухающие искры. Он сломил препону, толком даже не почуввав усилия.

Опьяневшая от боли, злобы и ярости стая кинулась к возкам.

Клесх слетел с телеги навстречу ощерившемуся хищнику. Меч со свистом опустился, отсекая голову с разъявленной клыкастой пастью.

— Све-е-ете — е-е — л! — выгибалась в руках Стрежня блаженная и простирала руки туда, где катались по земле сцепившиеся звери и люди. — Све-е-ете — е-ел!!!

...Донатос слышал, как заходится дурочка.

— Велеш, по-вдоль поляны за обозом! — крикнул крефф выучу. — Тяни мне навстречу!

Понятливый парень спрыгнул с телеги, взмахом руки увлекая за собой ратоборца. Елец, перехватив меч, последовал за колдуном. Бьерга и Лашта тянули линию за возками, щедро поливая черту кровью и Даром. Донатос со взмыленным Дареном кинулся на другую сторону. Мало круг замкнуть, надо его ещё и удержать, чтобы втянувшиеся на поляну звери оказались заперты в нём и не могли сбежать от возмездия в чащу.

А в это время, там, за телегами, где кипел бой, несколько ещё не опьяневших от запаха крови волков пронзительно завывали, отзывая стаю обратно в лес. В общей свалке их слышали немногие. Вместе с вожаками бросились прочь, пытаясь обмануть смерть, около дюжины зверей. Они устремились в пока ещё не замкнутый чертой путь — обратно на гать. Напарывались на железные колючки, но мчались, не чувствуя боли, мечтая лишь об одном — спастись!

Хищники скрылись в темноте, но уже через миг ветер донёс с болота пронзительный визг, хрип и вой. Это Звановы Осенённые встретили тех, кому обещались помогать.

Среди волков на поляне началась свалка. С деревьев их хладнокровно отстреливали занявшие засидки ратоборцы, земля под лапами оказалась усеяна железными колючками и только путь к телегам, с которых тоже сыпались стрелы, оставался открытым. Озверевшие от боли и ярости хищники рванули на верную смерть. Навстречу им с возков спрыгивали ратоборцы. Свистели мечи, вонзались стрелы... Вспышки Дара разлетались искрами, ослепляя и заставляя кровь закипать от ненависти и злобы.

...Серый одним длинным прыжком преодолел расстояние до телеги, на которой билась в руках Охотника Светла. Рядом с ней Сила оборотня горела и полыхала так жарко, что в груди пекло, будто туда насыпали раскаленных углей. Одного из ратоборцев, перекрывших ему дорогу к сестре, Серый отшвырнул небрежным ударом лапы. Ух, как клокотал в нём Дар...

Другой Охотник спрыгнул с возка, увлекая за собой кричащую девку, третий кинулся наперерез волку. Серый погреб его под собой, сминая, как сухостой, и бросился следом за сестрой. Он уже был близко, когда дорогу ему заступил кто-то пахнувший очень знакомо... Оборотень вспомнил запах малого, который бегал в его стае, и которого пришлось убить вместе с детьми кровососов.

Человек его не боялся. И Дар в нём клокотал так же, как в супротивнике. Серый прыгнул, Охотник шагнул навстречу...

Светла билась в руках уцелевшего ратоборца, но когда огромный зверь взмыл в прыжке, кидаясь на человека, блаженная девка замерла и закричала, срывая голос:

— Тами-и-и-ир!!!

...Колдун вынырнул из чёрной пустоты в сияющую огнями, кричащую от боли и рычащую от ярости ночь. Он сидел в своём возке и не мог понять, где находится и что творится вокруг. Лишь чувствовал: кто-то ходит рядом, смотрит из темноты чащобы на кипящую схватку.

Обережник выбрался из телеги и замер, глядя в непроглядный мрак раскинувшегося за поляной леса. Мимо носились и хрипели звери, свистели и вонзались в землю стрелы. Но всё это было так далеко-далеко, что казалось отголосками навьего царства, а не живой кипящей здесь и теперь битвы.

Сердце сжалось и затрепетало. Тамир походкой слепца побрёл вперед. Сзади кто-то кричал — истошно, захлебываясь ужасом. Колдун не повернулся. Его было дернули за руку, но он, незряче, высвободился. Мимо просвистела стрела, обдав лицо горячим от близости костра ветром. Хищники визжали и рычали. Тамир не обращал внимания. Вспышки Дара, яркое пламя горящих телег превратили ночь зеленника в яркий день. Ветви кустарников, узкие листья ракиты, осот, растущий по берегам болота — казались нарисованными углем.

В груди всколыхнулась застарелая боль. Она поднялась из сердца к горлу и застряла там, душа стон. На окраине поляны, возле перевернутой телеги стоял на коленях человек. Тамир узнал Вольнца. Тот склонился над растерзанным обережником, положив прозрачные ладони на бескровный лоб погибшего воя.

— Он умер, — сказал Вольнец.

В его голосе скорбь причудливо сливалась с безразличием:

— Они всегда умирают. А я не могу помочь. Я ведь пытаюсь. Но они умирают.

Навий вскинул глаза на колдуна.

Под этим усталым, полным безнадёжности взглядом Тамир почувствовал, как его собственная душа, словно холстина, с треском рвется, расплывается на две части, обнажая пустоту, которая пряталась за ней.

Обережник протянул руки к нави.

— Поди...

Тот поднялся с колен — бледный и усталый.

Из непроглядно-чёрных, словно дыры, глаз текли слезы.

— Я прихожу отпустить всякого... Но кто отпустит меня?

— Друзе... — тихо отозвалось что-то в Тамире. — Друзе... Искал ведь тебя.

Защитная реза на груди вспыхнула и будто холодная вода выплеснулась через неё из тела. Сразу стало жарко.

Колдун пошатнулся и упал на колени. Сил в ногах не осталось. Снизу вверх обережник смотрел на две полупрозрачных тени, стоящие друг против друга. Тело у него горело, словно по жилам лилось расплавленное серебро.

— Заплутал я... — сказал негромко Ивор. — Искал тебя. И год, и два, и не помню сколько. Что же сперва не шел ты, а когда пришёл — бросил нас?

Прозрачная тень пошатнулась. Вольнец ответил:

— Виноват я. Повернуть бы вспять...

У Тамира кружилась голова. Он не слушал, о чём эти две тени толкуют. Помнил лишь одно — нет ничего гаже зловредной нави. Немеющей рукой колдун потянул из-за пояса нож

и вонзил клинок в землю. Потом понял, что забыл посечь ладонь. Даже не протирая оружия, вскрыл запястье. Кровь потекла обжигающим ручьем.

Шатаясь, наузник пополз вокруг навьих, бормоча слова заклинания. Ему казалось, будто руда льется как-то, слишком уж быстро. Сзади зарычал волк. Тамир не обернулся. Ему нужно было замкнуть круг, чтобы навьи не выбрались.

За спиной кто-то что-то проорал. Краем глаза обережник увидел взметнувшуюся с края поляны хищную тень. Услышал рычание, а потом визг. Огрызающийся клубок переплетённых звериных тел покатился в заросли ракиты.

Какой же бесконечный круг! Когда Тамир его замкнул и начал бормотать заклинание отпущения, показалось, будто вместе с Даром, кровью и силами из тела уходит жизнь.

Навь неотрывно глядели друг другу в чёрные дыры глаз. Обережник не знал — видят они хоть что-то или нет. Он слышал их голоса — зыбкие, словно огонь на ветру, звучащие будто из далёкого далека:

— Прощения лишь дай мне... Виноват я... И нет вины этой горше...

— Прощаю, друже. Прощаю...

Слова рассыпались, превращаясь в шорох ветра, в шум деревьев, в шелест травы... Навьи сплелись бесплотными руками, и слабое сияние текло от них в темноту ночи.

— Отпускаю вас, — прохрипел Тамир, замыкая обережный круг и слабеющей рукой дочерчивая последнюю резу, — с ми... ром...

Он ещё успел подумать, что, наверное, никогда на отпущение двух беспокойных душ не лилось столько крови, сколько было пролито на этой убогой полянке нынче ночью. А потом перед глазами все закрутилось, ослепительная вспышка Дара брызнула искрами во все стороны. Тамир улыбнулся и упал лицом вниз.

...Клесху показалось, будто его накрывает волной — огромной, как волны Злого моря, на берегах которого он вырос. Чужой Дар обрушился на креффа и здоровенный волк ринулся, продавливая противника, сиюсь одолеть.

Никогда прежде ратоборец не видывал такой силищи у Ходящего.

Человек упал на колени, опрокидываясь одновременно с этим на спину, прогибаясь в поясице. Зверь канул на него сверху, погребая под собой, и налетел мягким брюхом на пылающее железо. Волк взревел, рванулся, но в этот самый миг на спину ему приземлилось что-то цепкое, сильное. Жесткая рука вцепилась в загривок, вынуждая Ходящего запрокинуть голову.

Удар ладонью по широкой груди не причинил Серому боли. Но его яростный, неистовый Дар вдруг потух, словно залитый водой костер. Оборотень захрипел, повалился на Охотника. Тяжелые челюсти сомкнулись, дробя кости. Справа от себя волколак услышал пронзительный девичий крик, вспомнил о Светле. А через миг ночь разлетелась на осколки и зверь ослаб. Потому что калёное железо, вонзавшееся в него раз за разом, наконец-то, достигло сердца.

Добивали оборотней уже в полумраке. Телеги, полыхавшие по краям поляны, прогорели. Однако ребята из дружинных споро подтащили валежин и на рдеющих углях разложили новые костры. Теперь место побоища снова было видно из конца в конец.

Лесана и ещё кто-то из ратоборцев с трудом отвалили тушу оборотня с тела Клесха.

Правое плечо у креффа оказалось раздроблено тяжелыми челюстями, и кровь хлестала из раны потоком.

— Ихтор! Руста! — закричала обережница, ладонями закрывая страшную рану. — Сюда!

Она гнала по пальцам Дар, силясь остановить багряную реку, но уже через несколько мгновений кто-то оторвал её ладони от плеча наставника, потеснил в сторону. Трое целителей склонились над раненым Главой. Лесана, покачиваясь, встала, и обозрела место сшибки.

Повсюду в беспорядке валялись волчьи туши, утыканные стрелами или с разверстыми влажно блестящими разрубам. Кое-где среди звериных тел виднелись человеческие.

Насколько хватало глаз, вплоть до стены леса, поляна напоминала собой перепаханное поле. Трава вытоптана, земля изрыта когтями, залита лужами чёрной в свете костров крови, а застигнутые смертью звери и люди, переплелись в последних объятиях. Так и лежали.

Враги, дравшиеся с остервенением и яростью, теперь словно забыли о многовековой ненависти. Вот ратоборец с разорванной грудиной, лежит, накрытый тушей волколака, вот оборотень со снесенной с плеч головой, приник телом к мертвому противнику. Смерть примирила всех.

Из Земли, из стволов деревьев торчали древки стрел. Хрипели издыхающие волки, стонали те, кто успели перекинуться в людей и теперь корчились, истекая кровью. Мелькали тени обережников, добивавших зверей. С деревьев спускались лучники. Среди черных груд бездыханных тел ходили целители, отыскивая раненых, которые не могли подняться сами или лежали в беспамятстве.

Дружинники, не так уставшие, как обережники, начали растаскивать тела — волков в общую кучу на краю поляны, погибших и раненых ратоборцев — на телеги. Мимо Лесаны пронесли на плаще тело дружинного воя с лицом, будто сорванным ударом мощной лапы.

Лишь сейчас, остывая от схватки, девушка почувствовала, как болит и пульсирует бедро. Посмотрела — распаханно когтями. А она и не почувствовала.

Надо было развернуться и идти к телегам, узнать, кто погиб, кто выжил, помочь. Но силы в ней словно разом иссякли. Неужели всё закончилось? Эта мысль не вызвала ни торжества, ни радости. Просто пришла и ушла. А ещё показалось, будто что-то не так. Что?

Люта не было. Нигде.

Лесана двинулась в сторону гати, туда, откуда во время битвы слышала знакомый вой.

Вот ведь. Разве можно было подумать, что у волков такие разные голоса? Но обережница как-то научилась отличать протяжную, продиращую до костей, песнь Люта от любой другой.

Девушка перешагивала через искореженные, изуродованные смертью звериные туши. Один матерый лежал, весь утыканный стрелами, а под ним — человек. Видно лишь руку.

С трудом Лесана отвалила тушу. Парень из дружинных. Мёртв. Горло разорвано так, что

белеют позвонки. Обережница двинулась дальше.

Рассвет наступал медленно и неохотно. Поднимался туман. Зыбкие сизые волны тянулись от болота, напоздали на груды мёртвой плоти.

Он лежал в зарослях лещины. Лесана узнала бы этого волка и в крошечной темноте. Узнала по черной полоске шерсти, тянущейся вдоль хребта к хвосту, по светлым подпалинам на брюхе и лапах, по вытянутой морде и острому носу. Кусты, где он лежал, были разворочены и смяты. Сразу видно — два сильных зверя швыряли тут друг друга яростно и зло, с одним желанием — убить. Противник — крупный переярок со стрелой в шее — валялся рядом.

Впрочем, это было не важно.

— Лют... — девушка замерла, почему-то боясь подойти.

Подобраться к нему было неудобно — кусты эти погнутые и переломанные — не продерёшься. Кое-как обережница пролезла через сплетенные ветви, опустилась рядом. Положила ладонь на широкий лоб. Ресницы дрогнули, почувствовав касание. По звериному телу прошла слабая дрожь. Зелёные глаза с трудом открылись.

У него был разорван бок — шкура содрана и обвисла безобразным кровавым клоком, оголив влажно блестящие ребра. А под лопаткой торчало древко сломанной стрелы. Поймал всё-таки. В такой суматохе кто же отличит своего волка от чужого? Да и отличили бы, жалеть не стали. Зверь он и есть зверь.

— Лют...

Он дышал тяжело и прерывисто, розовый язык вывалился из раскрытой пасти, свесился до земли.

Волколак попытался перекинуться обратно в человека. Лапы слабо скребли по подмятым ветвям лещины, но обратиться Лют не мог. Силился отчаянно, невзирая на боль, да только впусе.

— Тише, тише, я помогу... — Лесана мягко коснулась звериной морды. — Тише...

От её ладони потекло бледное голубое сияние. Оборотень трудно вздохнул. По жёсткой шерсти пронеслись мелкие слабо вспыхивающие зелёные искорки.

Лют открыл глаза. Голубые глаза, в которых уже плыл туман отрешённости. Он был на отходе.

— Лют...

— Ты... цела? — едва слышно спросил оборотень.

Лесана кивнула, чувствуя, как слезы застилают глаза, текут по щекам и падают с подбородка. Ручьями. Бегут и бегут. Почему она снова жалеет Ходящего?

— Да, — хрипло ответила она, убирая с его бледного лба волосы. — Я цела.

— А... я... нет... — улыбнулся он, преодолевая боль.

Всегда улыбался. Может, даже и засмеялся бы, но сил уже не осталось.

Он поднял тяжелую, окровавленную руку, осторожно коснулся щеки обережницы, пачкая бледную кожу, и прошептал:

— Дался тебе... этот... старградский вой... я ведь... был... намного лучше...

Девушка, с трудом сдерживая рыдания, сипло сказала:

— Был...

Она торопливо водила пальцами по его разорванному боку, отпуская искры Дара. В ней не так много осталось, но всё же хоть что-то. Плоть срасталась неохотно, *жила* еле-еле прикипала к жиле.

Глаза у него закатывались, но Лют усилием воли принуждал себя жить.

— Я... его... привел... — едва слышно произнёс волколак. — Не... солгал...

А потом его ладонь упала. И тело обмякло. Голова, лежавшая на сгибе лесаниной руки, отяжелела, безжизненно свесилась. Голубые глаза закрылись.

Девушка прижала эту безжизненную тяжелую голову к груди и зачем-то начала укачивать.

Слабое сияние Дара катилось с пальцев, переливаясь, вспыхивая, оплывая текучими огоньками, скользило по окровавленной коже, рассыпалось. Лицо мужчины было бледным и застывшим. Лесана вдруг подумала, что ничего он не умер. Не мог он так легко умереть. Издевается. Или просто спит. Устал.

Он проснется. Его опять позовет луна. Он же не может не отозваться на зов луны? Это её — Лесану — он не услышит. Потому что посмертие у них разное... Волки ведь уходят не туда, куда уходят люди.

— Спи... — шептала она. — Спи...

Кто-то кричал от боли. Где-то скулил и взвизгивал зверь. Люди перекликались, громко разговаривали. Они его уже не разбудят.

— Спи...

Лесана перебирала длинные волосы, гладила холодный лоб. И баюкала, баюкала Люта. Жестокая схватка, боль, страх — все отступило, отодвинулось куда-то далеко-далеко. Все казалось сейчас ненастоящим, случившимся не въяве.

— Спи... — шептала она.

И он спал. И голубые искры просачивались сквозь кожу. И таяли, словно снег.

Она укачивала его, прижавшись губами к макушке. Слезы бежали-бежали... горько-солёные. Соль — постоянный спутник потерь. Когда мужчины льют кровь, женщины льют слёзы. И то и другое одинаково солоно. Так уж заведено.

Но по ком она нынче плачет? Кто он для неё? Мертвый оборотень, который прежде, то заставлял задыхаться от досады, то злил до кипучей ненависти, то вынуждал вспыхивать от обиды.

А теперь он умер.

Так зачем она по нему плачет?

Непослушный своенравный зверь. Больше он не встанет рядом, прижавшись лобастой головой к её бедру. Больше не отразится в зелёных глазах луна. Он не будет кататься в снегу, а потом встряхиваться, ставя дыбом ость, не запрокинет голову, чтобы с тоской поглядеть в ночное небо и завывать.

Он спит.

Туман плыл и плыл.

Серого, наверное, уже сбросили в болотину... А, может, ищут Лесану, забыв, в горячке, как оттаскивали её от Клесха. Вдруг решат ещё, что сгибла в бою. Ну и пусть. Не такая уж это и неправда, если подумать. Что-то в ней умирало, угасало, засыпало вместе с Лютом.

Но когда её пылающих рук коснулась холодная окровавленная ладонь, девушка оцепенела. Сердце рухнуло в пустоту. Он не мог переродиться так быстро. Нет! Он не станет упырем. Только не это. Только не упокаивать его сейчас, тут, посреди поляны. Хранители!

Ледяные пальцы стиснули её — горячие и подрагивающие.

— А говорила... надоед... — он едва шептал.

— Ты... — обережница смотрела в мутные от боли голубые глаза, на подрагивающие в

улыбке губы... — Ты притворялся?!

Если бы Лесана могла сейчас его убить, то убила бы, не раздумывая, но она слишком хорошо помнила, как это больно, когда он мертв.

— Ты...

Она попыталась его оттолкнуть, но Лют с неожиданной силой дернул её к себе за затылок, а потом перекатился, подминая, накрывая собственным телом.

Девушка чувствовала горячую кровь, сочащуюся из его ран, пропитывающую её одежду.

— Я не притворялся, — тихо сказал он, уткнувшись носом ей в шею. — Есть же глупые девки... От боли сомлел.

Оборотень говорил, будто без прежнего усилия. Ну да, верно. Он ведь постоянно смеялся и твердил, что на волках всё заживает быстрее, чем на собаках. А Дар Лесаны ему помог. Но если бы она пришла позже? Если бы не успела?

— Как же ты пахнешь... — прошептал Лют, выдыхая запах её кожи — запах пота, крови, железа, мокрой волчьей шерсти, запах, которым она напилась за время боя, запах медленно покидавшего её страха.

Она обхватила его за плечи и прижалась всем телом.

Дура. Какая же дура! Он ведь не человек. И человеком никогда не станет.

Словно в подтверждение этих мыслей, Лют медленно, с наслаждением лизнул её неведомо как оцарапанную в схватке шею.

— Вкусная...

Лесана закрыла глаза, чувствуя, что слёзы по-прежнему текут и текут из-под ресниц. Не человек. Не человек...

И когда жесткие губы коснулись её губ, она разрыдалась, не в силах больше сдерживаться. Разрыдалась, прижавшись лбом к его лбу, вцепилась в задубевшую от крови рубаху. И, казалось, все слезы, непролитые за пять весен жизни в Цитадели, выплескивались из неё именно сейчас.

Уходила из сердца, смытая этой полноводной рекой, Айлиша, уносило глубокую вину перед Тамиром, страх и беспомощность перед Донатосом... Солёный поток вымывал из души боль по Дарине, по Эльхе, по родителям и сёстрам, для которых стала чужой, по сгнувшей без возврата юности, по утерянной тогда же первой любви, по гибели друзей...

Лют стискивал оберезницу за плечи, а она тряслась и никак не могла успокоиться. Потому что боль хлестала из неё потоком, неслась неудержимой волной, заставляя захлёбываться, опустошая и освобождая сердце для того, кто не мог, не должен был в нём поселиться. Для волка, который не поймешь, когда врёт, а когда говорит правду. Для её волка.

— Вот есть же дуры, — шептал оборотень, вжимая Лесану в себя.

В тот миг, когда Серый упал Светла внезапно перестала блажить и рваться. Ослабла в руках Стрежени. Поникла. Ратоборец отпустил её, потому что сам едва не валился от усталости. Девка упала на колени рядом с волчьей тушей, уткнулась носом в жесткую шерсть и затихла. Она лежала так едва не оборот. Не плакала, не кричала... Про неё даже и позабыли — хватало более насущных забот. Дружинные ребята помогали целителям с ранеными, колдуны упокаивали павших.

Донатос уже вернулся от телеги с мертвецами, а блаженная по-прежнему лежала на окоченевшем волке.

— Светла, — присел рядом с ней крефф, осторожно убирая с лица девушки растрепавшиеся волосы. — Хватит лежать. Поднимайся.

Она смотрела сквозь него.

Колдун взял блаженную за плечи и попытался поднять. Она не сопротивлялась — безвольная, словно тряпичная кукла. Донатос отвел её в сторону и кивнул ребятам, чтобы уносили оборотня. Однако едва те приблизились, Светла вцепилась обережнику в рубаху и засипела сорванным голосом:

— Не трогай его, не трогай, не трогай!

Несчастная тряслась и глядела на креффа с такой мольбой, словно бы люди задумали хоронить её брата живым:

— Я виновата, виновата-а-а-а!!! — хрипела она, глотая слезы.

— Светла, Светла, — успокаивал дурёху колдун. — Ни в чем ты не виновата. Успокойся...

Но девушка по-прежнему цеплялась ледяными скрюченными пальцами за его рубаху и надсадно шептала:

— Я знала, знала... Тот, тот другой всё вывернул, всех искалечил. И меня, и тебя, и его. Всех. Я знала... я виновата...

Она дрожала, словно в остуде. Потом увидела, как несколько парней опять подхватили тушу волколака, пошатнулась, протянула руки к окровавленному зверю и тихо заплакала:

— Хвостик, Хвостик... Пожди чуть-чуть... Хво-о-о-остик...

Донатос прижал скаженную к себе, а она беспомощно повисала у него на руках, по-прежнему силясь дозваться того, кто давно её не слышал. Колдун обнимал дурочку, гладил по спутанным волосам, пытался увести, но она, снова вскидывалась с безнадежным отчаянием и шептала прерывисто, взхлеб:

— Он же брат мой! Брат единоутробный! Тот меня ума лишил, а его сердца! Не виноват он... — и снова озиралась, искала глазами мертвого волка, сипела: Хвостик, хвостик, пожди меня...

Крефф не понял, кто кого чего лишил, не понял, о чём она шепчет.

— Не успела я, — тряслась Светла. — Не успела-а-а...

У колдуна рвалось сердце, но он не понимал её. Видел лишь: девка лишилась последнего ума. Она и без того была рассудком скорбная, а уж после побоища нынешнего вовсе тронулась.

Дурочка едва стояла, он опустил её на землю, а она на коленях, путаясь в подоле рубахи, поползла к оборотню. Донатос не нашел в себе сил удержать. Подумал — пусть поймет, что

мёртвый, выплachtetся, ей легче станет.

Девка же вцепилась в шерсть волколака, начала трясти, звать хриплым прерывистым шепотом:

— Светел, Светел... я же чуть не успела! Хвостик!

Страшно и больно было глядеть на её отчаянную скорбь.

Лишь когда тонкие пальцы провалились в остывшую уже ножевую рану, Светла смолкла. И долго-долго разглядывала черную от крови ладонь. А потом разом словно угасла. Легла рядом с остывшей тушей, прижалась щекой к впалому волчьему боку, и закрыла глаза.

Она уже не плакала, когда её подняли. Не лопотала, когда отнесли и уложили на одну из телег. Не отзывалась, когда окликали по имени, когда тормозили. Смотрела перед собой и молчала.словно оцепенела.

— Светла, — тихо звал Донатос. — Светла...

Девушка безмолвствовала. И не было больше в её глазах ни безумия, ни слез, ни переливчатых разноцветных искр. Только пустота.

Клесха, крепко схваченного повязками, бледного до синевы, но живого и злющего устроили в одном из возков. Главе рассказывали о потерях.

Волкам удалось разорвать трёх лошадей и четвертую спугнуть в чащу. Две телеги сгорели, третья была перевернута и разломана. Раненых сочли много — человек пятнадцать, а то и больше, целители уже с ног сбились. Погибли семеро дружинных парней и двое ратоборцев — Гляд и Сней. Стало быть, остались Печища с Любьянами без воев.

Скорбные перечисления прервал неожиданный взрыв хохота, несущийся от дальних телег. Парни, стоявшие там, заходились от души и по мере того, как к ним подступались, выяснять причину внезапного веселья, число безудержно хохочущих только возрастало.

Клесх приказал себя посадить, чтобы понять, чего такого приключилось в той стороне обоза, где уже в несколько десятков глоток заходились бережники.

— Да раздайтесь вы в стороны, кони! — рявкнул Любор, который, как насадка квохтал над Главой, боясь позволить ему лишнее движение.

Когда же смеющиеся расступились, взору открылся скрюченный Ильд.

Одной рукой старый целитель держался за простреленную поясну, а другой сжимал выдернутый из борта телеги деревянный дрын, на который теперь опирался, словно на клюку.

Как у тщедушного креффа хватило сил выворотить такую орясину — осталось загадкой. Однако, совершив сей подвиг, Ильд двинуться дальше в своём удалстве уже не смог. И застыл в стойке бабы, дёргающей репу. Так он простоял до самого окончания битвы, покуда не хватились. Как старого бережника не задрали волки или свои же не подбодрили в суматохе случайной стрелой в зад — поди пойми.

— Что ж вы ржете, как жеребцы, — стонал Ильд, сам едва сдерживаясь от смеха. — Я ж молодых защищал.

Под раскаты безудержного хохота лекаря донесли до ближайшей телеги, где передали на попечение сбившегося уже с ног Ихтора.

— А Руста где? Дарен? — спрашивал тем временем Клесх.

От смеха рана у него раскрылась, и повязка теперь набрякла от крови.

— Дарен сгиб. Руста тоже, — угрюмо известил Елец. — Когда оборотень на обоз с целителями вспрыгнул, Ильда-то скрючило, а Руста выучей расшвырял и с волком сцепился. Я поздно подоспел, тот ему уже горло разорвал.

— Кровососы что? — морщась от боли, продолжал выяснять Глава.

— Кровососы волков, как уговаривались, встретили, — ответил подошедший Озбра. — Они им гать досками с гвоздями набитыми вымостили. Доски-то небольшие, меньше аршина, но положены через раз. Кто на одну не напоролся, на другую налетел. Оставшихся Звановы же рогатинами и добили. Я когда на гать ступил, там уж отвоевались. Зван только сказал, мол, мы с вами по чести и вы, дескать, от уговора не отказывайтесь. Ну и в чащу утекли, как не было их.

— А Тамир где? — внезапно вспомнил Клесх. — Видел его кто?

...Тамира нашли в стороне от гати за обломкам перевернутой телеги. Он лежал вниз лицом. Сперва подумали — мёртвый. Но перевернули — дышит. Ихтор щупал парня, пытаясь понять, чего с ним стряслось. Ран на теле никаких не было, только порез на

запястье. Даже защитная реза на груди затянулась, превратившись в белый шрам.

— Парень будто не в себе, — разводил руками лекарь. — Никого не узнает и не помнит ничего, только спать клонится. Пока в телеге лежит. Ребята его Даром пользуют. Ледяной весь, как покойник, но вроде не при смерти... Бьерга его глядела. Говорит, нави нет и следа, но сам он, словно досуха выжат.

Вернулась Лесана, которой в общей суматохе забыли хватиться. Шла, пошатываясь, волоча на плече серого от страдания Люта. Зарёванная, всё лицо в бурых разводах, видать, как слёзы — сопли вытирала окровавленными руками — так и засохло. Подол рубахи оторван, и чёрная полоска ткани стягивала глаза оборотня.

— Живой никак? — спросил безо всякого удивления Клесх.

— Да тебя, как я погляжу, тоже ничего не берёт, — усмехнулся Лют, вытягиваясь рядом на соломе.

Утро разгоралось медленно. Небо из серого сделалось сиреневым, потом розовым... А когда взошло солнце, измученные ратоборцы завалились по телегам спать, оставив дневные хлопоты на целителей, колдунов и ребят из дружин, которыми бойко распоряжался Уруп. Те до вечера сваливали туши оборотней в болото, расчищали поляну, стряпали обед, упокаивали погибших, лечили раны выжившим. И так всё это обыденно делалось, словно не кипела здесь несколько оборотов назад яростная сшибка, не гибли люди...

Он открыл глаза, не понимая, где находится, не помня, что произошло. Над ним склонилась обеспокоенная девушка.

— Тамир? — спросила она. — Тамир, ты слышишь меня?

Мужчина кивнул. Он её слышал.

Тонкая, неожиданно сильная рука скользнула ему под спину, помогая подняться. К губам приложили миску с пахнущим мёдом отваром.

Колдун сделал несколько глотков.

Вкусно. Он выпил всё и посмотрел на девушку, силясь вспомнить её имя. Она была худая, коротко стриженная, бледная. Казалась смутно знакомой.

— Ты... кто? — спросил, наконец, обережник.

— Лесана, — ответила она. — Ты меня не узнал?

Он покачал головой. Узнал. Имя не помнил только.

— Поспи, — сказала она.

И мужчина послушно сделал, как просили.

В следующий раз, когда он проснулся, Лесана покормила его теплым хлебовом. Тамир чувствовал, что силы возвращаются, а вместе с ними медленно и неохотно возвращалась память.

— Серого поймали? — спросил колдун, припоминая, что вроде как именно для этого и пускались в путь.

— Поймали, — ответила она.

Он удовлетворённо кивнул и сел. Внутри было пусто-пусто. Ни радости, ни сожаления. Равнодушие. Глухое и гулкое. Поглядел в сторону. Увидел на соседней телеге девушку со спутанными волосами, в которые были вплетены перышки и нитки. Девушка сидела, привалившись спиной к бортику, и смотрела перед собой. Голову ей щупал целитель с изуродованным лицом. Сам бледный, как навь, чуть живой.

Тамир попытался вспомнить имя. Ихтор.

А лекарь тем временем говорил:

— Не пойму, что с ней. Здорова ведь.

Сидевший рядом колдун, в коем Тамир смутно признал наставника, сказал:

— Она не пьёт и не ест, что в рот вкладываешь, даже не глотает.

Ихтор вздохнул:

— Не знаю, чем помочь. Если так пойдет. Дня через три умрет девка.

Случилось так, как сказал лекарь. Светла умерла через три дня.

Донатос сам её упокоил. А тело положили в ту телегу, на которой везли мёртвых обережников.

Прежде Тамир не видел креффа таким застывшим. Впрочем, всё случившееся колдун отметил с прежним равнодушием. К нему подступались с расспросами, что случилось, отчего он, как мёртвый. Он не знал, что ответить. Разводил руками — мёртвым он не был. Мёртвые не дышат, не говорят. А он умел и то, и другое. Он ел, когда чувствовал голод, и, когда уставал, спал. Но беседовать не хотел и с трудом вспоминал имена тех, кто пытался с ним разговаривать.

Подходила Бьерга, хотела узнать, что стало с навьими. Тамир ответил, мол, упокоил с

миром обоих. Колдунья смотрела с изумлением. Не верила. Снова и снова шупала его, пропуская сквозь пальцы Дар. Удивлённо качала головой. Но в конце концов, Глава что-то сказал, и она отступилась.

Один из молодых ратоборцев уверил:

— Бабу ему надо. Тогда встрепенётся.

Тамир устало подумал, что только бабы ему и не хватало. Отстали бы все. Так надоели...

Дни пути текли однообразной вереницей. Колдуну казалось, едут слишком уж долго, но потом он понял, что просто много спит. Просыпается, засыпает, снова просыпается. Мнилось, будто спит очень подолгу. А на деле, небось, вскидывался на каждой кочке.

Лесана сидела в повозке рядом с наставником. Лют ночью оторвался от обоза, перекинулся и умчал куда-то в чащу. Благо, Ихтор пожалел оборотня — приставил одного из выучей, чтобы подлечил раны от Лесаниного ножа, когтей волка и стрелы ратоборца, воткнувшейся в спину Ходящего, к его везению, на излете.

— Знал бы, что так натерплюсь, в жизни не сунулся бы дружка твоего защищать, — бубнил Лют.

— Тамира? — удивилась Лесана.

— Его, его. Вышел, как скаженный, на колени грохнулся среди поляны и давай бормотать, потом по кругу на карачках пополз. Я в кустах схоронился, а тут гляжу, он стелется, бурчит чего-то, а от обоза вашего один из ближних Серого несется. Ну, я и прыгнул наперёд...

Обережница удивилась:

— Как же ты не ослеп? Там ведь костры горели.

Ее собеседник задумчиво потёр лоб:

— Да не знаю... Прыгнул и все... А уж потом не до костров было...

Лесана рассмеялась.

— Смешно тебе, — тут же сварливо отозвался Лют. — Ладно. Пойду, побегаю. Тошно с вами. А ты спи.

И унесся в чащу.

Девушка смотрела ему вслед.

— Трудно тебе придется, — сказал негромко Клесх.

Выученица вздрогнула.

— Что?

— Что слышала. Придётся трудно.

Лесана покраснела, втайне порадовалась, что наставнику не видно в темноте её запыхавших щёк и спросила:

— Почему?

Крефф усмехнулся:

— Он — себе на уме. А ты простовата.

— Дура, да? — с угрюмым вызовом спросила обережница.

— Бываешь и дурой, — подтвердил Клесх. — Простодушная ты. А он — нет. Поэтому и трудно тебе с ним будет. К этому готовься.

Девушка замерла, уставилась в полумрак остановившимся взглядом, а потом спросила:

— Вот ты наставник мой. Мужчина. Так объясни. Я же всё за ним знаю. Знаю, какой он. Почему ж...

Она смешалась и не решилась договорить.

Клесх закрыл глаза. Он по-прежнему был бледен, хотя рана его заживала хорошо. Ихтору с выучами удалось собрать кости и жилы, а значит со временем вернутся и сила, и ловкость.

— Почему одного любишь, а от другого с души воротит? — обережник понял выученицу без слов. — Да кто ж тебе ответ даст? Потому. Лют — не самый плохой выбор. Но и не самый лучший.

Лесана с тоской поглядела в чашу.

Наставник сказал:

— Сердцу не прикажешь. А что дальше будет — поглядим.

Зван и его стая возвращались обратно в Переходы. Первый день они шли на пределе сил, опасаясь погони. Однако к исходу этих изнурительных долгих суток поняли, наконец, что никто их не преследует. Отыскали старый лог, заросший густым кустарником, там и заснули вповалку.

Их битва на гати была короткой и кровавой. Волки не ожидали удара в спину и, налетев на заслон, погибли, не успев толком защититься. Да и не особо защитишься от рогатины. Звану, правда, разорвали плечо, но плоть потихоньку затягивалась. Мясо оно и есть мясо — болит сильно, а заживает быстро.

Охотники дали Ходящим уйти невозбранно. Может, и хотели бы отправиться вдогон, но достало им других хлопот. Однако Цитадель знала про Переходы. А это для Звана и его стаи означало только одно — с людьми придётся договариваться, придётся учиться жить и рядом, и опричь. Этого уже не избежать. Изменилось всё. С битвы на гати привычный уклад перевернулся, став с ног на голову. В одном Серый был прав: «Лес велик, а укрыться негде».

Перемены всегда страшат. Зла и добра в них поровну.

Мужчины шли настолько быстро, насколько могли. Осенённых в пещерах осталось чуть больше десятка, а баб и ребятишек следовало кормить. Луна уже подходила. И кровососы спешили так, как могут спешить только скованные тяжкой повинностью люди.

У Черты их встретил Дивен.

Обнялись.

— Как вы тут? — спросил Зван. — Все целы? Все в уме?

Вопрос был несправедливый, но Дивен, вместо толкового ответа развел руками:

— Уж не знаю, что и сказать.

Вожак нахмурился:

— Ну? — он устал, а напряжение последних седмиц сказывалось, вынуждая досадовать. — Говори толком.

Дивен задумчиво потёр подбородок.

— Я надясь жену кормил. Она ж у меня совсем слабая после родов. Крови дал, а её ею вытошнило. Думал, занемогла. Испугался. Но Вышининых кормить стали — та же беда. Все здоровы, а блюют, аж нутро выплёвывают.

Зван тяжело опустил на поваленное дерево.

— Все здоровы, а крови не хотят?

Дивен растерянный сел рядом:

— Выходит, что так...

Вожак на эти слова горько усмехнулся:

— Идём. Устал я, сил нет.

Пещеры встретили возвратившихся тишиной и прохладой. Мужчины разошлись по избам, Дивен тоже направился домой. У него сердце изболелось за жену. Она уже который день была сама не своя. Спала плохо, да и Лесана постоянно плакала, видимо, чувствуя материну тревогу. И как их обеих утешить Дивен не ведал.

Когда он вошел в сени, то замер на пороге. Слада опять не спала. Он слышал, как она негромко напевает, ходя туда-сюда по горнице. То ли укачивала меньшую, то ли сама была не в силах заснуть и старалась хоть как-то разогнать сведавшую её тоску. Слада часто пела

эту песню, когда укачивала детей. И Дивен знал её от слова до слова. Слышал сотни раз... Но сейчас отчего-то в горле встал ком.

Лес шумит вековой за околицей села.  
Ой, прядись моя нить поровней, поровней.  
Я тебя, милый друг, всё из леса ждала.  
А моё веретено только кружится быстреей.  
Вот и вечер уже, солнце скрылось за горой.  
Ой, прядись моя нить поровней, поровней.  
Лишь тревога на сердце, потеряла я покой.  
А моё веретено только кружится быстреей.  
Ночь пришла на порог. Только милого всё нет.  
Ой, прядись моя нить поровней, поровней.  
Ночь — разлучницу прошу: «Подскажи ты мне ответ!»  
А моё веретено только кружится быстреей.  
Как найти мне тебя? Где же ты, милый друг?  
Ой, прядись моя нить поровней, поровней.  
За тебя я пройду, сто потерь, сто разлук.  
А моё веретено только кружится быстреей  
Пусть тебе, любый мой, моя нить укажет путь.  
Верю я, ты придешь. Ночи нас не разлучить.  
Злобным морокам лесным — им тебя не обмануть.  
И своё веретено не устану я крутить.

— Слада, — тихо позвал муж.

Она оглянулась и улыбнулась ему усталой измученной улыбкой.

— Скажи мне, что с тобой? — Дивен подошел, перенял у неё из рук спящую дочь. —

Что?

Однако, когда она села на скамью и расплакалась, он оказался не готов к тому, что услышал:

— Дивен, я хочу домой... Я так устала...

Мужчина впервые не знал, что ей ответить, что сказать. Куда — домой?

— Мне которую уж ночь дед снится. И знаешь, что говорит? Любовь, мол, сила полноводная, она одна лишь душу исцеляет, — женщина спрятала лицо в ладонях и проговорила сквозь подступившие к горлу рыдания: — Я так соскучилась по маме!

— Слада... — потрясенно повторил Дивен, чувствуя, как подкашиваются ноги.

— Она ведь меня и не узнает, — глухо произнесла жена. — Столько лет прошло...

Зоряны нет, а Слада ей чужая.

Дивен ещё никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Надо было что-то сказать, как-то утешить, но вместо этого он спросил:

— Слада, почему ты их помнишь?

И та ответила, преодолевая слезы:

— Не знаю...

— Еду-у-ут! Наши еду-у-ут! — завопил из окна Северной башни Русай.

Уже который день он просиживал тут, в тоске глядя на убегающую в лес дорогу. Дорога оставалась пустынна. Мальчонку снедала тоска. Все, кто дорог ему был в Цитадели, уехали и как сгинули. Пропали без следа.

Крепость оцепенела в ожидании. И вроде все старались вести себя, как обычно: так же занимались выучи, своим чередом тянулись уроки, суетились служки, но будто осиротела каменная твердыня...

Девки из прислуги и приживалок, нет-нет, а прятали заплаканные глаза. И даже тётка Матрела всякий раз спрашивала Руську, когда спускался он со своей верхотуры:

— Не видать?

Он уныло качал головой. Стряпуха вздыхала. Мальчонок не догадывался, что жалела она не воев, а его — исхудавшего, почерневшего от тоски. Про воев Матрела знала, что нечего их караулить — приедут в свой черёд или пошлют вперёд нарочного, который скажет, чтобы готовили мыльни и стряпали трапезу.

Но не было ни воев, ни нарочного, ни даже иных каких странников.

День тянулся за днем, ночь за ночью. Девки плакали, выучи занимались, вороны каркали, а ратоборцы все не ехали и не ехали, словно навовсе забыли про родной кров.

И вот нынче, когда уж и солнце перевалило за полдень, Руська едва не вывалился из окна, увидев, как мелькнули в просвете между деревьев телеги, тянущиеся неспешно по серой ленте дороги.

— ЕДУ-У-УТ!!! Наши еду-у-ут!

И счастливый вестник едва не кубарем скатился по крученой лестнице во двор, куда на его крик уже сбегались со всех сторон люди. Ух, до чего их, оказывается, много осталось в крепости! А ведь казалось, будто пусто здесь совсем стало.

Выучи тянули в стороны тяжелые створки ворот. Руська шмыгнул в щель, не став дожидаться, когда распахнут настезь, и понесся навстречу обозу, поднимая босыми пятками облачка серой пыли.

— Леса-а-а-ана!!!

Было слышно, как смеются вои в обозе, завидев мальчонка.

А тот взлетел на одну из телег и повис на шее сестры.

Остальные обитатели Цитадели сгрудились во дворе.

За спинами рослых ребят, стоявших плотной стеной, бегала, подпрыгивая рыжеволосая девка. Она пыталась выглянуть между широких спин, чтобы увидеть возвращающихся, но поняв, сколь тщетны все усилия, ткнула в бок одного из послушников, отпихнула в сторону другого, поднырнула под локтем третьего и опрометью бросилась вон.

Девка пролетела мимо первых двух телег и понеслась дальше, цепляясь за бортики возков, тревожно вглядываясь в лица сидящих там мужчин. Она не знала, что ей делать, если обоз кончится, а того, кого она ищет, в нём не окажется...

...Ихтор только проснулся. Разбудили его крики и счастливый визг Русая. Обережник сел в телеге, откинул рогожу, которой укрывался от свежего ветерка, и сонно огляделся.

— Приехали что ли? — спросил он сидящего на облучке Кресеня.

В этот миг кто-то вцепился ледяными пальцами креффу в запястье, Ихтор обернулся и с

удивлением увидел Огняну.

Она стискивала его руку, идя рядом с телегой.

— Живой... — не то спросила, не то сказала девушка и добавила жалобно: — Напугал...

Целитель смотрел в янтарные глазищи, а потом протянул Ходящей вторую руку и она, легко оттолкнувшись от земли, забралась к нему в возок. Взяла в ладони изуродованное изможденное лицо и долго-долго смотрела, будто не верила, что это и вправду он, будто подозревала, что вместо Ихтора мог вернуться самозванцем кто-то другой, нарочно вырвав себе глаз и разворотив половину рожи, дабы обмануть одну рыжую девку.

Крефф не понимал, чего она силится рассмотреть. Но ему так нравился этот внимательный пристальный взгляд, так нравилось, что она не убирает рук. И когда, в досталь налюбовавшись его заросшим щетиной и измятым со сна лицом, Огняна улыбнулась, он не нашел ничего лучше, чем спросить:

— Как ты смогла выйти?

Она хлопнула рыжими ресницами и медленно перевела взгляд на громаду Цитадели.

— Не знаю...

Во дворе было шумно и царила такая суматоха, словно не обоз с уставшими, грязными и израненными мужиками приехал, а свадебный поезд.

Донатос смотрел на суету с равнодушной усталостью. К нему подступили выучи, однако первое, что спросил подбежавший Зоран: «Мира, наставник, а Светла-то где?»

— Там, в телеге, — махнул рукой крефф в сторону возка с мертвецами.

Ему не хотелось говорить. И слушать ничего не хотелось.

Рыжая девка-оборотница как-то вышла из крепости, переступила наложенную Бьергой черту. Как? Да не все ли равно... Помыться бы.

С тупой болью в груди обережник уже смирился. Там где раньше жили раздражение и злоба, теперь поселилась тянущая мука.

— Отбери десятерых ребят, — услышал колдун распоряжение Главы старшему из служек. — Пусть роют могилу на буевище. Мёртвых надо похоронить. Я прикажу колдунам прибрать тела. Они упокоены, но не обмыты...

— Зоран, — негромко сказал Донатос и не узнал свой голос — сиплый, старческий: — Займитесь покойниками. Светлу не трогайте. Сам я.

Парень поглядел на креффа с горьким пониманием. Кивнул и ушел.

Колдун, с трудом переставляя тяжелые непослушные ноги, отправился в свой покой.

В покое на столе стояла миска со Светлиными забавами: бусинами, черепками, перышками, камушками, шишками. Лежал на лавке обломок старой ложки. Где-то в ларе была припрятана и рубаха, которую сшила дурочка.

Донатос взял блюдо, наполненное тем, что всякий здравый рассудком человек назовет мусором. Запустил руку, взял горсть «богатств» долго-долго рассматривал. Ссыпал обратно. Поставил на стол.

Крефф перебирал в памяти то, что говорила ему скаженная, когда входила в короткие просветления. Пытался вспомнить, а называла ли она хоть раз себя иначе, чем дурой? Не вспомнил. Зато все прочие для глупой были лучше, добрее, умнее, благороднее её самой. Как так выходило, что она — нищая, скорбная рассудком, не имевшая за душой ничего, кроме мусора и старой залатанной рубахи, была богаче их всех? Она ведь жила в мире, в котором не было зла. Не видела она зло и в сердце его не впускала.

Потому, небось, никогда жалость в ней не иссякала. Донатос рывком поднялся с лавки и застыл, глядя в окно. Что-то, доселе незнакомое, творилось у него в душе. Он не знал этому названия. Просто почувствовал, как скрутило разом все внутренности, свило в тугие жгуты.

В дверь осторожно постучали.

Крефф отворил.

На пороге стоял Зоран — взгляд виноватый.

— Наставник, мы Светлу в покойницкую снесли. Но Глава говорит нынче всех похоронить надо...

По парню видно было, он ждал, что наставник, как было у того в привычке, сорвется, обругает, скажет что-то обидное. Выуч уже к этому изготовился, зная желчный нрав наузника. Но Донатос сказал:

— Я понял. Сейчас спущусь. Сходи к Нурлисе, попроси рубаху чистую исподнюю. Да холстину — тело завернуть. И воды принесите.

Зоран вскинул на креффа расширившиеся от удивления глаза и кивнул.

— Иди, — сказал колдун, понимая, что ему нечего добавить. Желчи в нём не осталось. Только тоска. Страшная тоска, с которой он не знал не то что, как жить, но и как переспать первую ночь в Цитадели.

...Погибших хоронили уже в сумерках. Складывали в общую ямину. Светлу — обряженную в чистую рубаху, с расчесанными волосами — положили между воев. Она покоилась в серёдке — тоненькая, белая, какая-то очень маленькая и особенно жалкая рядом с ширококостными мужиками.

Закапывали сгибших торопливо, словно хотели поскорее закончить, чтобы не скорбеть по павшим, но порадоваться, наконец, вернувшимся. Всклипывали девки. Донатос стоял на краю ямины и глядел за тем, как прибывает земля.

Кто-то подошел к нему, крепко обхватил за пояс и расплакался, уткнувшись лицом в живот. Колдун с удивлением посмотрел вниз и увидел вихрастую белобрысую макушку Русая. Паренёк вжимался в обережника, сотрясаясь от слез.

— Ну, будет, будет... — негромко сказал крефф, поглаживая острые мальчишечьи плечи и не зная, что ещё добавить.

— Дяа-а-адька — а-а, — безутешно выл Руська. — Жалко-то её ка-а-ак!

— Жалко, — сказал Донатос и, наконец, понял, что же такое чудн *о*е происходит с ним, отчего перекручивает нутро, и дыхание как будто схватывает. — Жалко, Русай...

Тризны вечером не было. И вообще всё понеслось кувырком и не в лад. Ехали, думали — передохнут, дух переведут. Вышло иначе.

Клесх только из мыльни возвратился — ещё с волосами сырыми и рубахой к влажному телу липнущей, а уже распорядился через оборот собирать креффов.

Нэд зашел к Главе, когда тот жадно ел, одновременно с этим разбирая сорочки грамоты, накопившиеся за дни отлучки.

— Что ты взыскался? — спросил посадник. — Нет ведь уже этого Серого. Дай людям роздыха. Поспокойнее все же дни для Цитадели настали...

Клесх посмотрел на него поверх развернутого свитка угрюмо и зло:

— Нет и не будет у Цитадели спокойных дней, Нэд. Нешто ты не понял? Ходящая нынче из крепости вышла. И защита, которую Бьерга установила, не стала ей преградой. Я выучам наказал у ворот на страже всю ночь стоять. И засовы запереть. А ты «дай людям роздыха».

Посадник с вытянувшимся лицом слушал эту гневную отповедь.

— погоди, погоди! Ты другого кого пробовал за ворота вывести? — подался он вперед.

— Попробуем ещё, время будет, — «утешил» его Клесх. — Нынче надо решать, что делать станем, если Ходящие так же легко в города и веси заходить-выходить будут. Вот уж запоем... Сегодня Лесану надо усадить в креффат. Хватит ей без дела болтаться. Выуча старшего Рустиного, не помню имени, тоже, Лаштиных Ургая и Хабора, Ольстова Ильгара. А то у нас не креффат, а сборище стариков и калек.

Глава уже не глядел на собеседника и не думал о том, что речь его резка и в чем-то обидна. Он гвоздил и гвоздил словами:

— В Любяны и Печища надо отправить ратоборцев. Ихние-то сгибли. Возьмем из старших Дареновых. Ребята у него всегда крепкие были. К слову, у Ольста Радомир — толковый парень, уже год в тройке сторожевой квасится в Суйлешши. Надо отзывать в Цитадель. На его место поставить, да хоть Свельта, он как раз доучился. И завтра же всех воев распустить обратно по тройкам. Нечего им тут рассиживаться. В дороге раны зализали, отдохнули — спали, как хорьки. Будет с них. Креффам пора за выучами ехать — весна на исходе, в деревнях сватовство вот-вот начнется, упустим ребят, сами потом будем локти грызть.

Нэд вскинул руки, призывая Главу хоть на миг осадить бешено скачущие мысли:

— Охолопись, я понял. Всё понял. Успокойся, Клесх. Что ты взъярился? — посадник пожитым умом понял то, чего на его месте не понял бы кто-то другой — Клесх, как это бывает с теми, кто всю жизнь привык бороться с трудностями в одиночку, не знал, как ему разорваться, чтобы ничего не упустить.

Поэтому Нэд повторил:

— Охолопись. Дай людям хоть в мыльни сходить, чистое вздеть да по куску в рот закинуть. Я тебе вот что скажу. Старших выучей до осени оставь гонять подлетков. Молодых ребят из креффата отправим искать Осенённых. Бьерга, Ихтор, Лашта и Донатос — тоже поедут. В крепости со мной останутся старики, молодые и старшие выучи. А там видно будет.

Клесх задумался и покачал головой:

— Иначе всё Нэд. И оборачиваться нам теперь вдвое быстрее придется. Или ты не

понял? Так я объясню. У нас ведь тут Лют ещё. И он не впусте обратно притащился. Не только из-за девок своих, у него, помимо Мары с Лесаной, другой интерес... Он нам помог и теперь будет торговаться за стаю... И он видел, как девка — Ходящая за ворота выбежала. Точнее не видел, а учуял. Хм... а ведь верно... у волколаков острый нюх. Ходящего от человека они всегда отличат...

Мысли Главы скакали, как блохи, и Нэд за ними уже не поспевал, да видимо и сам Клесх не поспевал тоже.

— Довольно! — твердо сказал посадник. — Утро вечера мудренее. Это у тебя шило в зад. А за окном ночь и люди хотят спать. Креффат, оборотни и выучи обождут до рассвета. Да и ты уймешься, покуда голова не лопнула.

Клесх вдруг в ответ на эту отповедь беззвучно засмеялся:

— Спать хотят, — он уткнулся лбом в ладонь и плечи подрагивали. — А я-то подумал... Понял, понял. С Бьергой и парой слов перемолвиться не успели? Иди уж. Спи.

В последнее слово он нарочно подбавил издевки.

— Да, тьфу на тебя! — разозлился посадник и ушёл.

Но в коридоре остановился, и самому сделалось смешно. На нижнем ярусе Нэд столкнулся с Ильгаром, который со свертком в руках торопился в сторону поварни.

— А, вот и ты, — обрадовался старый крефф. — Завтра после утренней трапезы сразу поднимайся к Главе.

Ильгар растерянно кивнул, недоумевая, зачем он понадобился Клесху да ещё с самого ранья. Впрочем, нынче у него была другая забота.

...«Забота» протирали миски, когда ратоборец вошёл на поварню.

— Нелюба! — окликнул он её.

Та обернулась — лицо обиженное, глаза сердитые.

Вой улыбнулся:

— Я купил в Славути... — Он протянул ей сверток и добавил: — Хотел до отъезда отдать, но... вдруг бы не вернулся.

Девушка медленно протянула руку к подарку, словно боясь коснуться. Ильгар терпеливо ждал.

Это было покрывало, из тех, какие носят мужние женщины, пряча волосы. Красивое. Тонкой работы, с затейливой вышивкой по краю.

На поварне воцарилась тишина. Нелюба молча взяла паволоку и, не отводя взгляда от обережника, накинула её на голову. В тонком покрывале она стала внезапно словно бы старше и строже. Девушки и служки переглядывались, пряча улыбки, и лишь одна осталась равнодушна к случившемуся. Впрочем, никто не видел, чтобы Лела хоть раз улыбалась.

...Тамир плохо помнил дорогу к Цитадели. И приезд в крепость тоже отзывался в нём беспорядочными вспышками: его тормозят выучи, но быстро отступают, потому что отвечает он коротко и скупно, Клесх говорит назавтра будет разговор. Пускай будет. Тамиру всё равно. Он совершенно безучастен и к себе, и к другим. Похоронили погибших. Донатос поглядел на своего бывшего выуча и к обряду не позвал. Словно понял, что парню даже это нынче не по силам.

Колдун ходил в мыльни, потом в трапезную. Он не знал чем ещё себя занять. Бродил с яруса на ярус, надеясь, что, быть может, в душе что-то отзовется, всколыхнется и он перестанет быть просто пустой скорлупой, наполнится хоть чем-то — горем, разочарованием, надеждой. Но старые стены оставались только старыми стенами, всходы

всходами, а люди людьми.

Он поднялся на Северную башню и долго сидел на подоконнике узкого окна, пытаясь вспомнить, почему сюда пришёл и что у него с этой башней связано. Не вспомнил. Посмотрел на лес в сумерках, на лиловое небо, на воронов сидящих на зубцах стены. Стало скучно. Он спустился вниз, во двор.

Потом ходил в башню Целителей, вдыхал запах трав. Сушеница будила смутные не воспоминания даже, а тени воспоминаний. Но непонятно было — приятных или нет. Тамир снова ушел. Поднялся на самый верх Старой башни. Глядел на затянутое облаками тёмное небо. Стоял долго-долго. Наконец, понял, что уже давно превалило за полночь и ушёл спать.

Спал он без снов и пробудился с первыми красками рассвета — отдохнувший, свежий, и по-прежнему пустой, как скорлупа. Снова оделся, снова отправился ходить по спящей крепости. Поймал себя на слабой зависти к тем, кто ещё спал — им по крайней мере было не так тошно.

Посидев на лавке возле Башни целителей и поглядев как заливают Цитадель рассветные краски, Тамир отправился на поварню. Не потому, что проголодался, а просто потому, что везде уже был.

На поварне было пусто. Служки ещё не поднялись. И только за столом возле окна стройная незнакомая колдуну девушка яростно месила хлебы. Почему-то это пробудило у него в душе слабое любопытство.

Обережник застыл в дверном проеме, привалившись плечом к косяку. Девушка яростно ворочала белый ком теста. Мука с широкой доски взлетала белой пылью и медленно оседала обратно. Косые лучи встающего солнца лились в раскрытое окно, делая каменные пол и стены поварни бледно-розовыми. Стряпуха крутила, вертела тесто, проминала ладонями, продавливая пальцами, и оно послушно расползлось или наоборот, собиралось обратно в ком.

Тамир замороженно наблюдал за тонкими руками, за белой и лёгкой мучной пылью. Потом он с удивлением понял, что стряпуха плачет. Иногда она застывала, погрузив обе руки в тесто, беспомощно всхлипывала, а потом сердито вытирала лицо локтем и продолжала свой яростный труд, больше похожий на сражение.

Девушка, видимо, всё-таки почувствовала сторонний взгляд, потому что резко обернулась и испуганно уставилась на неслышно явившегося чужака. От неё не укрылось ни его серое одеяние, ни ладони, покрытые застарелыми шрамами, ни густая седина в тёмных волосах, ни уставшее лицо.

— Что глядишь? — спросила она звенящим от слёз голосом.

Он покачал головой.

Стряпуха отвернулась и снова набросилась на тесто. Тамир подумал, что, если бы она могла, то набросилась бы с такой же яростью на него, за то что пришёл и наблюдал, как она плачет по неведомой и, в общем-то, совсем неинтересной ему причине.

— Чего встал? — сердито повернулась Лела к незнакомцу.

Она ненавидела себя за то, что кто-то застал её в слезах, ненавидела Цитадель, ненавидела эту проклятую поварню, ненавидела своё одиночество, ненавидела мужчину, смотревшего на неё. Единственная радость была в её жизни — рано утром прийти сюда месить тесто, на нём вымещая и обиду, и боль, и унижение. Выплакаться, когда никто не видит, когда никто не спросит, не станет жалеть или осуждать, говоря, что поделом. Выплакаться и весь день потом хранить ледяное презрение.

Лела надеялась, колдун развернется и уйдет. Но он продолжал стоять и немигающим взглядом наблюдать за тем, как она выплескивает злобу и досаду на будущих хлебах.

Вот что ему надо?

Рыдания душили девушку. Неужто ей теперь и в том, чтобы выплакаться в одиночестве, будет отказано? Или Глава нарочно приставил этого хмурого чужака — глядеть, не удумала ли дочь казнённого посадника какую пакость?

— Чего ты смотришь? — снова повернулась девушка к равнодушно молчащему бережнику, и вдруг воскликнула, едва не сорвавшись на рыдания. — Лучше бы муки подал!

Он отлепился от косяка. Прощел к рукомойнику, сполоснул ладони, вытер их о чистый рушник, зачерпнул из мешка горсть муки, бросил на доску. Потом, так же молча, взял девушку за запястья, вытянул её руки из теста и отодвинул стряпуху от стола.

Лела замороженно следила за тем, как смуглые ладони ловко обкатывают тесто в муке.

— Что ты его колотишь, как бельё в польньё? — спокойно спросил мужчина.

Девушка не нашлась, что ответить. Она застыла возле окна, держа на отлете измазанные в муке и тесте руки.

— Как тебя зовут? — спросил колдун.

Она ответила:

— Лела.

Он кивнул.

Тогда она спросила:

— Хочешь сбитня?

И он кивнул ещё раз.

Лют однажды расспрашивал Лесану про солнце. Это было ещё до битвы на гати, когда они ездили с ним по сторожевым тройкам.

— Лесана, — волколак сидел на ступеньках крыльца и смотрел в ночное небо: — А солнце, оно какое?

Обережница пожала плечами. Она стояла рядом и задумчиво глядела на звёздную дорожку.

— Теплое... Радостное...

Оборотень хмыкнул и посмотрел на собеседницу:

— А лицо есть? — он кивнул на маслянисто-жёлтую луну, которая смотрела вниз, склонив скорбный лик.

Лесана сперва не поняла, а потом рассмеялась:

— Не знаю, нет, наверное...

— Почему не знаешь? — удивился Ходящий.

— Оно очень яркое, Лют, — терпеливо объяснила девушка. — На него нельзя смотреть. А если смотришь, то слепнешь, ничего не видишь.

— Слепнешь? — он вскинул брови, отчего стало ясно, что слова обережницы не вызывают у него доверия.

— Оно ярче луны, — с улыбкой объяснила собеседница. — Много-много ярче. Люди на него не могут глядеть.

— Я знаю, что ярче, — сказал оборотень. — Я не знал, что вы тоже не можете на него глядеть. Вот бы посмотреть...

Девушка спросила:

— На что?

— Ну, как это, когда солнце, — Лют развел руками: — Вот небо, оно чёрное...

— Голубое, — улыбнулась Лесана. — Днём небо голубое. Или синее. Как незабудки.

Волколак озадачился и даже уточнил:

— Не чёрное?

— Нет, — она снова улыбнулась. — Совсем не чёрное. И звёзд нет. А облака белые, как сливки. Или сизые бывают, словно крылья горлицы, или желтые, как пенки, а на закате ещё красные, будто калина...

Лют вздохнул:

— Поглядеть бы...

Он был любопытным.

...Лесана проснулась оттого, что волколак тормозил её за плечо.

Девушка с трудом разлепила веки.

— Лесана! — тряс её Лют. — Лесана!

— А? — спросонья она не соображала, чего он так всполошился. И вдруг поняла — яркое солнце заливало покойчик, оборотень смотрел на девушку, и по его лицу катились слёзы.

Рука обережницы сама собой потянулась нашарить повязку, брошенную накануне где-то рядом, но Лют перехватил её за запястье:

— Лесана, я вижу! — сказал он потрясённо. — Небо и правда голубое!

Глаза у него слезились, но он не слеп и тряс девушку за плечи:

— Я вижу, понимаешь? *Вижу!*

И столько счастья было в голосе Ходящего, что обережница взяла его лицо в ладони. Слёзы ручьем полились по её пальцам. Она вытирала их, но они всё равно текли без остановки.

— Как ты можешь видеть? — ничего не понимая спросила она.

Лют улыбнулся и ответил:

— Не знаю...

Млада стояла на коленях в меже и полола репу. Межа была длинная, репа мелкая, а трава разрослась — только дергай. Поясница уже затекла, да и голову напекло, поэтому, когда сверху на женщину упала тень, она вздохнула с облегчением. Небось, Елька прибежала, принесла кринку холодного кваса и ломоть хлеба с молодым луком. Хранители, хоть передохнуть!

Остриковна распрямилась, да так и осталась стоять на коленях, щурясь против яркого солнца. Рядом с ней застыла женщина в простой домотканой рубахе, с непокрытой головой и перекинутой через плечо холстиной. В холстине спал младенец. Чуть позади женщины угрюмой натороженной тенью замер её спутник — мужчина с усталым лицом и густой сединой в волосах и бороде. Он держал за руки худеньких девочку и мальчика, очень между собой похожих. Дети глядели испуганно, но с любопытством.

— Мама? — робко спросила женщина. — Мама, ты меня не узнаёшь?

Млада смотрела на неё снизу вверх, а потом медленно, словно во сне протянула к чужинке измазанные в земле руки и прошептала:

— Зоряна... доченька... вернулась...

Хорош выдался цветень — первый месяц лета! Дивно хорош.

**КОНЕЦ**

*Больше книг на сайте — [Knigolub.net](http://Knigolub.net)*

# От авторов. Небольшое разъяснение о нежити

Что стало с нежитью?

Те, кто смогли остаться людьми (в философском смысле этого слова) те просто утратили потребность в человеческой крови, как инсулине и получили возможность ходить не только ночью, но и днем. Однако вряд ли это отразится на их сверхъестественных способностях (скажем, возможности бывших кровососов общаться ментально или оборотней — перекидываться в зверей). Дикие.... они уже давно не люди и людьми, конечно, не станут.

Будут ли подниматься покойники? Время от времени, наверняка.

Беда в том, что, как заметил Клесх, разумные Ходящие получили возможность беспрепятственно пересекать обережные круги. Но, вероятно, не все и не всегда. Это нашим героям еще только предстоит выяснить. А еще проблема в том, что теперь бывший кровосос или оборотень легко может притворяться человеком, не являясь при этом человеком, будучи сильнее, опаснее. Но опять же, Клесх не знает еще — осталась эта возможность только Осененным или еще кому-то.

Будут ли рождаться оборотни дальше? Наверное, да. Возможно, их будет становиться с каждым поколением все меньше. А возможно и нет.

Одним словом, перед Цитаделью и людьми стоят новые вызовы. Жить им предстоит в новом неизведанном мире.

Но... ведь не все бывшие монстры — монстры. Подавляющее большинство хочет просто жить. Что, конечно, не избавит их от предвзятого отношения людей, подозрительности и несправедливости.

И как-то в любом случае придется людям и не-совсем-людям опять делиться. Только на этот раз не по видам: человек или Ходящий, а по качествам: мерзавец или порядочный. Что только добавит неразберихи и смуты.

Вон, взять хоть Люта, который, несмотря ни на что, элемент самый асоциальный. В отличии от, например, Звана или Дивена, которые простые порядочные мужики.

Так что, думаю, этот мир ждет немало увлекательных событий и неожиданных открытий.

Ну и кровопролитие тоже. Пока еще все устаканится...

Одним словом, кто-то станет человеком, но со сверх способностями (например, умением общаться ментально или нечеловеческой физической силой и скоростью). Кто-то не станет, так и будет жить в двух ипостасях — зверином и человеческом.

А охотники никуда не денутся, будут исполнять роль народной милиции))) Ведь нарушители закона будут в любом случае)))